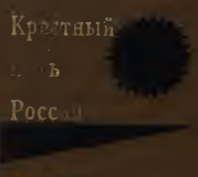
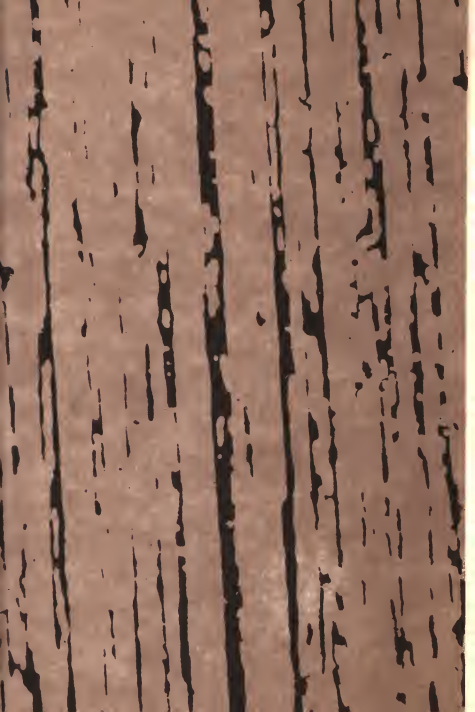


ОЛЕГ ВОЛКОВ

Погружение во тьму





Олег Волков

Погружение во тьму

из пережитого

Москва
«Советская Россия»
1992

84Р7
В67

Художник **В. Серебряков**

Волков О. В.

В67 Погружение во тьму: Из пережитого — М.: Сов. Россия, 1992.— 432 с.— (Крестный путь России).

Эта главная книга старейшего русского писателя Олега Васильевича Волкова — его рассказ о двадцати восьми годах, проведенных в советских тюрьмах, лагерях и ссылках. Подлинность описываемых событий делает книгу документом новейшей истории в одном ряду с «Архипелагом ГУЛАГ» А. И. Солженицына. В то же время это роман такой художественной силы, такой языковой родниковой чистоты, какого давно не знала отечественная литература.

В $\frac{4702010201-045}{М-105(03)92}$ 92—1992 84Р7

ISBN 5—268—01460—9

...Я поздно встал, и на дороге
Застигнут ночью Рима был.
Ф. И. Тютчев. Цицерон

И я взглянул, и вот, конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним...

Откровение св. Иоанна (гл. 6, стих 8)

Ольге, дочери моей, посвящаю

НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ ШТРИХОВ

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

...Голые выбеленные стены. Голый квадрат окна. Глухая дверь с глазком. С высокого потолка свисает яркая, никогда не гаснущая лампочка. В ее слепящем свете камера особенно пуста и стерильна; все жестко и четко. Даже складки одеяла на плоской постели словно одеревенели.

Этот свет — наваждение. Источник неосознанного беспокойства. От него нельзя отгородиться, отвлечься. Ходишь ли маятником с поворотами через пять шагов или, закружившись, сядешь на табурет,— глаза, уставшие от знакомых потеков краски на параше, трещинок штукатурки, щелей между половицами, от пересчитанных сто раз головок болтов в двери, помимо воли обращаются кверху, чтобы тут же, ослепленными, метнуться по углам. И даже после вечерней поверки, когда разрешается лежать и погружаешься в томительное ночное забытье, сквозь проносящиеся полувоспоминания-полугрезы ощущаешь себя в камере, не освобождаешься от гнетущей невозможности уйти, избавиться от этого бьющего в глаза света. Бездушного, неотвязного, проникающего всюду. Наполняющего бесконечной усталостью...

Эта оголенность предметов под постоянным сильным освещением рождает обостренные представления. Рассудок отбрасывает прочь затеняющие, смягчающие покровы, и на короткие мгновения прозреваешь всё вокруг и свою судьбу безнадежно трезвыми очами. Это — как луч прожектора, каким пограничники вдруг вырвут из мрака темные береговые камни или вдавшуюся в море песчаную косу с обсевшими ее серокрылыми, захваченными врасплох морскими птицами.

Я помню, что именно в этой одиночке Архангельской тюрьмы, где меня продержали около года, в один из бесконечных часов бдения при неотступно сторожившей лампочке, стершей грани между днем и ночью, мне особенно беспощадно и обнаженно открылось, как велика и грозна окружающая нас «пылающая бездна...». Как неодолимы силы затопившего мир зла! И все попытки отгородиться от него заслонами веры и мифов о божественном начале жизни показались жалкими, несостоятельными.

Мысль, подобная беспощадному лучу, пробежала по картинам прожитых лет, наполненных воспоминаниями о жестоких гонениях и расправах. Нет, нет! Невозможен был бы такой их невозбранный разгул, такое выставление на позор и осмеяние нравственных основ жизни, руководи миром верховная благая сила. Каленым железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милосердия — а небеса не разверзлись...

* * *

В середине тридцатых годов, во время генеральных репетиций кровавых мистерий тридцать седьмого, я успел пройти через круги двух следствий и последующих отсидок в Соловецком лагере. Теперь, находясь на пороге третьего срока, я всем существом, кожей ощущал полную безнаказанность насилия. И если до этого внезапного озарения — или помрачения? — обрубившего крылья надежде, я со страстью, усиленной гонениями, прибегал к тайной утешной молитве, упрямо держался за веру отцов и бывал жертвенно настроен, то после него мне сделалось невозможным даже заставить себя перекреститься... И уже отторженными от меня вспоминались тайные службы, совершавшиеся в Соловецком лагере погибшим позже священником.

То был период, когда духовных лиц обряжали в лагерные бушлаты, насильно стригли и брили. За отправление любых треб их расстреливали. Для мирян, прибегнувших к помощи религии, введено было удлинение срока — пятилетний «довесок». И все же отец Иоанн, уже не прежний благообразный священник в рясе и с бородкой, а сутулый, немощный и униженный арестант в грязном, залатанном обмундировании, с безобразно укороченными волосами — его стригли и брили, связанным,— изредка ухитрялся выбраться за зону: кто-то добывал ему пропуск через ворота монастырской ограды. И уходил в лес.

Там, на небольшой полянке, укрытой молодыми соснами, собиралась кучка верующих. Приносились хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей антиминс и потребная для службы утварь. Отец Иоанн надевал епитрахиль и фелонь, мятую и вытертую, и начинал вполголоса. Возгласия и тихое пение нашего робкого хора уносились к пустому северному небу; их поглощала обступившая мшарину чаща...

Страшно было попасть в засаду, мерещились выскакивающие из-за деревьев вохровцы — и мы стремились уйти всеми помыслами к горним заступникам. И, бывало, удавалось отрешиться от гнетущих забот. Тогда сердце полнилось благостным миром и в каждом человеке прозревался «брат во Христе». Отрадные, просветленные минуты! В любви и вере виделось оружие против раздирающей людей ненависти. И воскресали знакомые с детства легенды о первых веках христианства.

Чудилась некая связь между этой вот горсткой затравленных, с верой и надеждой внимающих каждому слову отца Иоанна зэков и святыми и мучениками, порожденными гонениями. Может, и две тысячи лет назад апостолы таким же слабым и простуженным голосом вселяли мужество и надежду в обреченных, напуганных ропотом толпы на скамьях цирка и ревом хищников в增вивариях, каким сейчас так просто и душевно напутствует нас, подходящих к кресту, этот гонимый русский попик. Скромный, безвестный и великий...

Мы расходились по одному, чтобы не привлечь внимания.

Трехъярусные нары под гулкими сводами разоренного собора, забитые разношерстным людом, меченным страхом, готовым на все, чтобы выжить, со своими распрями, лютостью, руганью и убожеством, очень скоро поглощали видение обращенной в храм болотистой поляны, чистое, как сказание о православных святителях. Но о них не забывалось...

Ведь не обмирщившаяся церковь одолевала зло, а простые слова любви и прощения, евангельские заветы, отвечавшие, казалось, извечной тяге людей к добру и справедливости. Если и оспаривалось в разные времена право церкви на власть в мире и преследование инакомыслия, то никакие государственные установления, социальные реформы и теории никогда не посягали на изначальные христианские добродетели. Религия и духовенство отменялись и распинались — евангельские истины оставались неколебимыми. Вот почему так ошеломляли и пугали открыто провозглашенные принципы пролетарской «морали», отвергавшие безотносительные понятия любви и добра.

Над просторами России с ее церквами и колокольнями, из века в век напоминавшими сиянием крестов и голосами колоколов о высоких духовных истинах, звавшими «воздеть очи горе» и думать о душе, о добрых делах, будившими в самых заскорузлых сердцах голос совести, свирепо беспощадно разыгрывались ветры, разносившие семена жестокости, отвращавшие от духовных исканий и требовавшие отречения от христианской морали, от отцов своих и традиций.

Проповедовались классовая ненависть и непреклонность. Поощрялись донос и предательство. Высмеивались «добренькие». Были поставлены вне закона терпимость к чужим мнениям, человеческое сочувствие и мягкосердечие. Началось погружение в пучину бездуховности, подтачивание и разрушение нравственных устоев общества. Их должны были заменить нормы и законы классовой борьбы, открывшие путь человеконенавистническим теориям, породившим фашизм, плевелы зоологического национализма, расистские лозунги, залившие кровью страницы истории XX века.

Как немного понадобилось лет, чтобы искоренить в людях привычку или потребность взглядывать на небо, истребить или убрать с дороги правдоискателей, чтобы обратить Россию в духовную пустыню! Крепчайший новый порядок основался прочно — на страхе и демагогических лозунгах, на реальных привилегиях и благах для восторжествовавших и янычар. Поэты и писатели, музыканты, художники, академики требовали смертной казни для людей, названных властью «врагами народа». Им вторили послушные хоры общих собраний. И неслось по стране: «Распни его, распни!» Потому что каждый должен был стать соучастником расправы или ее жертвой.

Совесть и представление о грехе и греховности сделались отжившими понятиями. Нормы морали заменили милиционеры. Стали жить под заманивающими лживыми вывесками. И привыкли к ним. Даже полюбили. Настолько, что смутьянами и врагами почитаются те, кто, стремясь к истине, взывает к сердцу и разуму, смущая тем придавивший страну стойловый покой.

И когда я в середине пятидесятых годов — почти через тридцать лет! — вернулся из заключения, оказалось, люди уже забыли, что можно жить иначе, что они «гомо сапиенс» — человек рассуждающий...

Глава первая

НАЧАЛО ДЛИННОГО ПУТИ

Московская моя жизнь оборвалась внезапно в феврале тысяча девятьсот двадцать восьмого года. И как оказалось — на очень долго. Неполных шесть лет в Москве прошли без особых тревог. Даже относительно легко. Так бывает, когда живешь со дня на день, без ясной цели, какую ставят себе люди, прочно стоящие на земле.

Я считал свое существование зыбким, сравнительную обеспеченность — счастливой случайностью, поскольку не раз убеждался в обманчивости всяких предположений на будущее. На попытках вновь поступить в университет я ожегся и, испытав процедуру чисток, примирился с положением и обязанностями переводчика — поначалу в Миссии Нансена, потом у корреспондента Ассошиейэд Пресс, у каких-то концессионеров, пока не поступил в греческое посольство, где ежедневно читал посланнику по-французски московские газеты и составлял пресс-бюллетень. Денег было немного, но свободного времени достаточно. А главное — мне была предоставлена комнатка в помещении консульства, благо для меня несравненное, заставляющее ценить обретенное положение.

Я много читал, что-то сочинял, ходил в театры и концерты, любил «круг друзей» и вечера, где можно было, приодевшись, щегольнуть не вполне утраченной светскостью. В мои двадцать с лишним лет все это выглядело настоящей жизнью, в чем-то перекликавшейся с тем, как некогда жили отцы и деды.

Правда, время от времени действительность напоминала о себе: быстро облетала знакомые дома весть о чьем-нибудь аресте. Круг наш сужался. Но чекисты тогда только набивали руку, кустарничали. Массовые «coups de filet»[1] были еще

[1] Облава, прочесывание *(фр.)*.

впереди. И я, хоть гадал при каждом таком случае — когда наступит мой черед? — все же не испытывал постоянного гнетущего ожидания. Не зная, что возле тебя берет разгон страшный жернов, назначенный раздавить и перемолоть все неспособное немо и обезличенно служить целям власти, не подозревая, что в среде друзей уже предостаточно завербованных агентов, готовых предать, донести, участвовать в любой провокации с ревностью новообращенных,— будучи в неведении всего этого, нехитро считать игрой случая то, что становилось ежедневной принадлежностью жизни. Я, кроме того, жил в экстерриториальном доме. И мог, затворив за собой парадную дверь, вполне по-мальчишески показать нос любым филерам и агентам ЧК. Не переоценишь ощущение безопасности и надежности у человека, в те времена ложащегося спать без страха ночного звонка!

* * *

Был пасмурный, словно растушеванный, февральский день. Городские шум и движение тонули в мягком снегу. Дома стояли отрешенные и угрюмые. Зима уже растратила свой блеск, силу и стужу и вяло доживала положенные сроки. Но еле уловимый, радостно отдающийся в сердце признак близкой весны еще не обозначился.

Я остановился на тротуаре возле Сухаревой башни, ожидая, когда можно будет перейти улицу. Очутившийся рядом человек в пальто с добротным меховым воротником незаметным движением вытащил из-за пазухи развернутую красную книжечку и указал мне глазами на надпись. Я успел разобрать: «Государственное политическое управление». Тут же оказалось, что по другую сторону от меня стоит двойник этого человека — с таким же скуластым, мясистым лицом, бесцветными колючими глазами и в одинаковой одежде. К тротуару подъехали высокие одиночные сани. Меня усадили в них, и один из агентов поместился рядом. Лошадь крупной рысью понесла нас вверх по Сретенке на Лубянку...

Все произошло настолько быстро и буднично, что сознание мое не успело перестроиться. Я не полностью понимал, что не просто так вот еду по московской улице, как если бы нанял лихача прокатиться, а уже опустилась между мною и прохожими — возможностью остановиться у киоска, зайти в магазин, заговорить с кем хочу — невидимая преграда, прообраз того железного занавеса, о котором спустя два десятилетия так верно скажет Черчилль.

И люди на тротуарах не видели ничего особенного в санях

с двумя седоками в штатском, не могли предположить, что у них на глазах вершится воскрешенный постыднейший обычай — рожденное произволом и самовластием Слово и Дело!

Впрочем, в ту минуту я был далек от исторических аналогий. В голове лихорадочно проносились обрывки мыслей, соображения — в чем можно меня обвинить? Вернее, что может быть известно чекистам о моих делах, образе мыслей, не слишком осторожных высказываниях? Как отвечать и держать себя на следствии? Не то чтобы я был совершенным новичком в этих делах. Еще в первые годы революции, пока я жил на усадьбе, мне пришлось дважды побывать в уездной тюрьме — об этом я, может быть, расскажу в своем месте. Но название «Лубянка» звучало достаточно зловеще и не могло не вызвать смятения. Резко, грубо оборванные живые нити — интересы, начатые дела, привязанности, на полуслове оборванные общения — болезненно отдавались в сердце, полня его тревогой и тоской...

Где-то возле Кузнецкого моста сани наши прибились к тротуару и замедлили бег. Я не сразу сообразил, что именно мне кивали с бровки, насмешливо приветствуя, два праздно стоящих субъекта в темных пальто. Они-то наметанным глазом сразу признали знакомого рысака из конюшен оперативного отдела и своего дружка в сопровождавшем меня седоке. Знали, вероятно, и ожидавшую меня участь. Я подумал об улицах, кишевших агентами. И о том, что не вздумай я прогуляться из дома до посольства, а воспользуйся приглашением консула поехать на его машине, этим молодцам не пришлось бы сегодня доставлять меня в свои застенки. Не случилось ли однажды, что посланник, опасавшийся козней ЧК, пожалуй, более моего и сочувствовавший их жертвам, напуганный слухами об очередной волне арестов, запретил мне выходить из дома и приезжал за мной в своей машине. А потом увез меня на длительный срок в турне по греческим колониям на юге России и таким образом спас от возможного ареста. «Ça fait toujours plaisir de narguer les flics lorsqu'ils embêtent les braves gens»[1],— посмеивался он.

Это произошло около полудня. А глубокой ночью меня, после бесконечной процедуры опроса, обыска, отбора вещей, завели в камеру внутренней тюрьмы.

Более полусуток провел я в кабинете следователя. Если и до этого искуса у меня не было иллюзий — еще в самом на-

[1] Всегда приятно подразнить шпиков, когда они досаждают порядочным людям *(фр.)*.

чале, еще в семнадцатом году, мне, юноше, стало очевидно, что отныне беззаконие займет место закона, лишь для видимости порой рядясь в его одежды,— то диалог с подручными Дзержинского, «рыцаря революции», убедил окончательно: правосудием тут и не пахнет. Петрово зерцало лежало, разбитое вдребезги, у порога этого управления — главного блюстителя новой классовой справедливости!

Мне цинично и неприкрыто был предложен выбор: сделаться сексотом, то есть доносчиком, «шпынем»,— или садиться за решетку.

— Видите ли,— вежливо и толково, не опуская глаз, точно рассуждая о выборе профессии или места жительства, объяснял мне щуплый и говорливый человек лет сорока, в военной форме с петлицами, похожий одновременно на давешних агентов и на интеллигента средней руки,— иностранцы относятся к вам с доверием, вам легко завести среди них связи, которые окажутся для нас полезными. От вас потребуется только слушать, иногда выспрашивать, запоминать и... передавать нам.

Тщетно было бы возмущаться подобным предложением: обрабатывавшим меня то в одиночку, то вместе двум следователям попросту нельзя было бы объяснить отвращение к ремеслу доносчика. И я, как умел, отговаривался неспособностью играть роль тайного агента, неизбежностью провала.

— Коль на то пошло и вы настаиваете, чтобы я делом доказал свою лояльность,— отбивался я,— пригласите меня на гласную должность, без нужды маскироваться: надену форму, буду у вас переводчиком.

Они попеременно взывали к моим патриотическим чувствам — я должен был помогать им парировать вражеские замыслы; соблазняли картинами легкой жизни — они могут и материально обставить мое существование достаточно привлекательно; показывали когти: «Берегись! Знаем о тебе достаточно, чтобы упечь!» Теряя выдержку или разыгрывая негодование, грозили: «Расшлепаем в два счета — как замаскировавшегося беляка!» Наскакивали с матерной бранью.

И снова и снова подсовывали подготовленную расписку и перо: я должен был подписать, что отныне обязуюсь сообщать обо всем виденном и слышанном некоему лицу, с которым буду встречаться по его указаниям, при непременном условии «тайны» нашего сговора. Я соответственно отшвыривал или спокойно клал на стол ручку, им в тон грубо или вежливо отказывался подписывать бумажонку.

Диалог затягивался, и я с радостью ощущал в себе нисколько не слабевшую силу сопротивления. Во мне укрепля-

лось и ширилось некое упрямство, бесповоротная решимость не уступать.

Чем более ярились и изощрялись в дешевых доводах следователи, страшнее и реальнее звучали их угрозы, тем тверже и находчивее я отбивался. И овладевал мною веселый азарт выигрываемого поединка: «Кукиш вам! Не попадусь я в ваши тенета, и ни черта вы со мной не сделаете!»

Потому что про себя я все-таки заключил: нет у них материалов, чтобы состряпать и самое пустяшное обвинение. Пусть рыльце и было у меня в пуху — пользуясь добрым расположением некоторых иностранцев, я пересылал подписанные псевдонимами статьи и фельетоны в некоторые французские и греческие газеты на темы нашей действительности,— но проделки эти ускользнули от всевидящего ока бдительной власти. Прочих грехов за мною не водилось, и я не допускал, чтобы мне могло что-нибудь серьезно угрожать. Подмоченная биография — нашли чем пугать!

Были тут и самоуверенность молодости, и убежденность — со школьной скамьи — в позоре репутации фискала, и вполне реальный страх связать себя с ведомством, не брезговавшим провокацией и самыми вероломными путями для своих целей, мне чуждых и враждебных.

...Случалось потом, в особо тяжкие дни, вспоминать эту пытку духа на Лубянке в феврале уже далекого двадцать восьмого года. Перебирая на все лады ее обстоятельства, в минуты малодушия я жалел, что в тот роковой час не представилось другого выхода. Но никто больше никогда никаких сделок мне не предлагал, и обходились со мной как с разоблаченным опасным врагом. Впрочем, я всегда безобманно чувствовал: повторись все — и я снова упрусь, уже ясно представляя, на что себя обрекаю...

Убедившись наконец, что своего им не добиться, очередной следователь вдруг сделался подчеркнуто формален и деловит. Достал из ящика заготовленный ордер на мой арест, демонстративно подписал и, молча показав мне его, вызвал конвоиров. Двум тотчас появившимся свежим, подтянутым и таким сытым парням в форме, лучившимся готовностью выполнить любое приказание, он кивком указал на меня, процедив в виде напутствия:

— А теперь мы вас сгноим в лагерях!

— Ни хрена вы со мной не сделаете! — дерзко бросил я ему, уходя между двумя стражами.

Но — Боже мой! Сколько раз пришлось мне впоследствии вспоминать эту угрозу! Ведь и вправду — едва не сгноили...

* * *

Когда в глазке раздалось: «Собирайся с вещами!» — я понял: воли мне не видать. Предстоит Бутырка. И стало страшно жаль покидать свое двухнедельное пристанище — чистую, тихую камеру в бывшей гостинице во дворе старейшего страхового общества «Россия». Огромное здание, обращенное во внутреннюю тюрьму, стало подлинно глухой могилой, из которой никогда не было совершено ни одного удачного побега.

У заключенного вырабатывается страх перед всякой переменой, как бы дурно и убого ни было место, где он как-то обжился и приспособился. Звериное чувство норы. Неведомое впереди выглядит грозным и коварным. Всякие переводы и переезды — ступенями лестницы, сводящей все ниже и ниже.

И когда я собрался и присел с узелком в руках в ожидании, мне уже не вспоминалось, какой жуткой клеткой показалась мне в первые мгновения эта тесная комнатенка с оконной решеткой во всю стену. Страшило предстоящее.

Мне было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации — статья УК 58, пункт 10, предусматривающий широчайший диапазон кар: от кратковременной высылки до многолетнего заключения и даже высшую меру при отягчающих обстоятельствах. Следователь раза два нудно и вяло меня допрашивал. Я отвечал односложно, никак не поддаваясь его попыткам вызвать на спор о власти и порядках, где бы он мог подловить меня на антисоветских взглядах. Протоколы получались пустопорожними, и я продолжал считать, что «побьются, побьются, да и отступятся». В крайнем случае запретят на три года проживать в Москве...

Но при таком исходе обычно сразу освобождают — следователь отбирает расписку с обязательством выехать в указанный срок. Вызов с вещами безо всякой расписки означал: из-за решеток меня не выпустят. И стало не по себе, когда дверь распахнулась и из коридора мне сделали знак выходить. Помимо дежурного, там стоял конвоир с бумажкой — накладной, без которой меня в дальнейшем, как ценный груз, уже больше не перемещали.

Подобные мытарства описаны многажды. За рубежом и в самиздатовских рукописях рассказывается о большевистских тюрьмах, в советских книгах — о порядках у фашистов и диктаторов. Однако суть их и подробности неразличимы, и «еще но» повествование о набитых арестантами машинах, обысках и вошебойках, раздевании с отбиранием ремней и очков, от-

парыванием пуговиц, о перенаселенных камерах, о двух-, а то и трехъярусных нарах, тюремщиках-садистах и угрюмых коридорных, об издевательствах и избиениях, об изощренных способах превращать человека в мычащее безвольное существо, обо всей усовершенствованной технике содержания наловленных противников и подавления личности — обо всех кругах ада, через которые прошло за советские годы в России больше народу, чем, вероятно, на всем земном шаре за всю историю человечества,— такой рассказ не откроет никому ничего нового...

...В толстом невысоком человеке с подстриженной седой бородкой и пенсне на шнурке, суетливо раздевавшемся рядом со мной перед тюремными обыскивателями в синих халатах, я неожиданно узнал Якова Ивановича Бутовича — тульского помещика и коннозаводчика. О нем много толковали в Москве как об удивительном эквилибристе: Яков Иванович не только остался хозяином своего завода в новой ипостаси заведующего, но и стал главнейшим консультантом по конному делу в Наркомземе, у Буденного и еще где-то. Им из своих коллекций был создан музей истории коннозаводства в России; он будто бы разговаривал из кабинетов губернских властей по прямому проводу с самим Троцким; ездил по-прежнему в коляске парой в дышло. И держал в черном теле назначенного к нему на завод с великими извинениями комиссара: «Нынче иначе нельзя, Яков Иванович! Уж не обижайтесь — с нас тоже спрашивают!»

Было известно, что Яков Иванович резко одергивает называющих его «товарищем Бутовичем».

Надо сказать, что этот барин и тут, в унизительной для человека позиции, вынужденный догола раздеться, раздвинуть ягодицы и приподнять мошонку под пристальным взглядом тюремщика, он и тут, переконфуженный и жалкий, старался держаться с достоинством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопрос анкеты, он с некоторым вызовом бросил на все помещение: «Сословие? Дворянин, конечно!»

Мы с Бутовичем были более связаны общими знакомыми, чем личными отношениями, и все же оба встрече обрадовались! Но вида не подали: пронюхав о нашем знакомстве, надзиратели непременно поместили бы нас по разным камерам. Нам же сейчас ничего так не хотелось, как очутиться вместе: в этих условиях становится дорог мало-мальски свой человек.

Нас уже обволакивала мутная и зловонная тюремная стихия с ее суетой, многолюдием, окриками... И с острым ощуще-

нием утраты права собой распоряжаться. Команда строиться парами, команда оправляться, разбирать миски со жратвой, ложиться, замолкать...

В приемном помещении набивалось все больше разношерстного народа. Нас переписывали, загоняли партиями в баню, выстраивали у вошебойки, тасовали, сортировали. Потом стали разводить по камерам.

Поначалу особенно поражала вонь ношеной прожаренной одежды, вызывавшая тошноту,— арестантский стойкий запах, исходивший от каждого из нас. Он запомнился на всю жизнь: я и сейчас, через полстолетие, узнаю его изо всех — этот тюремный кислый и острый тряпичный дух. Дух нищеты и неволи.

* * *

Моим соседом по нарам оказался польский ксендз пан Феликс, напомнивший мне выведенных во французских романах прошлого века деревенских кюре — мягких в обращении, благожелательных и опрятных. Он выслушивал собеседников учтиво, ответы свои взвешивал. Очень заботился о чистоте сутаны — она у него сильно обносилась, кое-где порвалась, но пятен на ней не было. Выговаривал русские слова пан Феликс правильно, но подбирал их медленно и часто заменял польскими. Познаний моих в латыни было недостаточно, чтобы перейти на язык Тацита, но к французскому мы оба прибегали охотно, хотя патер невесело шутил, что ему необходимо упражняться по-русски, так как впереди — неизбежная отправка «во глубину России».

Образованный, как все католические священники, пан Феликс был интересным собеседником. Но, пускаясь с ним в длительные рассуждения, я всегда был настороже: в моем эрудированном друге болезненно кровоточили обиды, нанесенные некогда национальному самолюбию поляков русскими монархами. Я опасался неосторожным словом их разбередить. Тем более что современные преследования поляков в Западном крае заставляли меня чувствовать себя отчасти «ненавистным москалем», угнетателем и душителем его народа. Хотя мне и незачем было, находясь с ним на одних нарах, отмежевываться от советских жандармов, опустошавших цвет польской интеллигенции и духовенства. С прошлым же обстояло сложнее.

Однажды в разговоре я упомянул о тетке своей, урожденной Новосильцовой,— фамилии, столь же одиозной для поляков, как и Муравьев. И убедился, насколько — более чем через

полвека — свежи воспоминания о карателях. Следы их грубых сапог навсегда оттиснуты в народной памяти. Забываются подробности, точные факты, но общее ощущение недоверия, опасливого неприятия, неуважения к потомку насильников сохраняется. Пан Феликс заметно волновался, задетый за живое случайным упоминанием фамилии сподвижника Муравьева-вешателя, неотделимо слитой со штурмом Варшавы, с казаками, разведенными на постой по усадьбам польских панов... Очень много лет спустя я встретил венгра, с гневным презрением и неостывшей ненавистью поминавшего Николая I, душителя венгерского восстания 1848 года. Это было, правда, года через четыре после появления советских танков на улицах Будапешта...

И я не уточнял своего отношения к романам Сенкевича, пан Феликс придерживался того же в разговорах о Пушкине. Любое прикосновение к прошлому вело к пороховому погребу взаимных претензий и соперничеств, способному взорваться и повести к разрыву. Я же ценил возникшую взаимную симпатию и наши хоть и хрупкие, но искренние отношения, основанные на одинаковости нравственных критериев.

Пан Феликс был перепуган, оскорблен и глубоко несчастен. Так и чувствовалась его привычка к одиноким медитациям, к размеренному обиходу в скромных стенах дома при костеле и к безграничному уважению прихожан. Мог ли он когда представить себя в общей камере, среди грязи и матюгов, среди людей чуждых и страшных! Хождение в уборную «соборне» оставалось для него пыткой... Он заливался румянцем, стыдясь под чужими взглядами справлять нужду. А много ли находилось народу, достаточно милосердного, чтобы отвести глаза от пана Феликса, наконец решившегося забраться с подобранными полами сутаны на толчок! А тут еще надзиратель с порога уборной поносит «бар», не умеющих оправиться по-солдатски...

Бедный, бедный пан Феликс! Как ни был он сдержан, в его рассказах прорывалась тоска по канувшим бестревожным дням, по выхаживаемым им цветам, украшавшим убранные комнаты и запрестольный образ Мадонны в алтаре. Как беспомощен был этот старый холостяк, живший в оранжерейной обстановке, созданной заботами служанки, наизусть знавшей его вкусы, слабости, привычки! Этот взрослый ребенок целомудренно конфузился при малейшем фривольном слове, не подозревал подвоха и насмешки в лицемерно почтительном вопросе о вере, заданном заведомым хамом с тем, чтобы сказать сальность по поводу Непорочного Зачатия.

И вдвойне, втройне трагически бедный и несчастный, если подумать, что Бутырская тюрьма была лишь промежуточной ступенью между предшествовавшими ей мытарствами по узилищам и дальнейшей тяжкой участью... Пан Феликс не ведал сомнений — он искренне и безраздельно исповедовал свою веру, знал, что жизнь его в руках Божиих. И это авось да и помогло ему перенести лютое мучительство, доставшееся на его долю перед концом.

...Что за тоскливые, трудные воспоминания! И даже страшно, что я не могу с уверенностью назвать фамилию пана Феликса: Любчинский ли, Любчевский... не помню уже! Так стирается бесследно память об отцах Иоаннах, панах Феликсах... О тысячах подобных подвижников. Хотя именно они не дают угаснуть огоньку, еще не окончательно поглощенному потемками...

Чтобы отключиться от чадной обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, полнящих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку. Я скоро начинаю сносно читать, улавливаю смысл: это нехитро для русского, знающего латынь. И мой учитель умиленно внимает классическим периодам прозы Сахновского или Ожешко. В тюремной библиотеке отличная коллекция старых польских книг — память о прошедших через Бутырку партиях польских повстанцев, ссылаемых в Сибирь.

Пан Феликс нередко меня прерывает, чтобы поправить произношение, но чаще, чтобы повторить какой-нибудь пассаж, подчеркнуть музыкальность и благозвучие родного языка. Не удерживается, декламирует Словацкого, увлекается.

— Впрочем,— спохватывается он,— и в русском языке есть очень красивые слова. Например, «Спаситель»,— и, воздав таким образом дань моим чувствам россиянина, продолжает читать дальше.

Теснота, праздность, подспудно гложущая каждого тревога за свою судьбу... Они побуждают искать развлечений. А скудность возможностей родит раздражение против тех, кто ухитрился устраниться — живет или делает вид, что живет какими-то своими интересами, отгораживающими от тюремных будней. Не каждый способен углубиться в книгу — и вид уткнувшегося в нее человека вызывает у бесцельно слоняющихся по камере беспокойство, зуд. И хочется помешать, затащить книгочея в общий круг. Авось легче станет, когда все до единого будут так же нудно ждать прогулки ли, бачков с баландой, вызова ко врачу — одной из тех вех, какими метится нестерпимо длинный день.

Мимолетное раздражение и досада на счастливца, умеющего заполнить свое время, перерастает в зависть. А она непременно ведет за собой целый хоровод «добрых» чувств: озлобление, желание травить отгородившегося, карать за попытку выделиться из стада. И вспыхивают перебранки и ссоры, дикие выходки с вырыванием книги, расшвыриванием фигур с шахматной доски, а то и драки.

— Пше прошем, пшедошем, вшистко, пшистко, пан, дзинкую бардзо! Как насчет паненок, пан ксендз? — забубнил около нас, кривляясь, один из самых скучливых и непоседливых сокамерников, некто Загурский, немолодой одессит, привезенный в Москву на доследование по какому-то запутанному таможенному делу. Он явно намеревался высечь хоть подобие развлечения из задирания пана Феликса.

Сам Загурский, если не лежал на досках, уставившись в одну точку, неприкаянно бродил промеж всех, дразня и приставая — впрочем, расчетливо, чтобы не нарваться на резкий отпор. Книгу в руки он не брал никогда.

— Перестань-ка, Илья Маркович! Пан Феликс занят со мной, ему некогда. Иди-ка лучше полежи перед прогулкой, — обратился я к нему миролюбиво, но твердо. И Загурский, пробормотав еще что-то и для престижа постояв около нас, отошел. Всполошившийся пан Феликс дрожащими руками листал книгу, ища потерянную страницу.

По утрам ругань и ссоры возникают по всякому поводу. Зато под вечер ослабевает напряженность ожидания возможных бед и подвохов, всегда караулящих подследственных, на три четверти — случайных фигурок в крупной политической игре верхов советской иерархии. И все становятся спокойнее. Даже ищут дружелюбного общения.

Вызовы после поверки случаются редко. Увозимых на ночные допросы уже отправили — это делается заблаговременно. Возвратились и побывавшие у следователей — взъерошенные, на грани истерики или пришибленные и опустошенные. Улеглось всегдашнее волнение, вызываемое поступлением передач: кто-то еще размягченно переживает заботы домашних или друзей, кто, наоборот, еще глубже погрузился в свою заброшенность. Обычное «отчисление» в пользу «беспередачных» (отголоски артельных порядков политических в царских тюрьмах, быстро заглохшие в советских) давно распределено и съедено. Продолжают, отвернувшись от всех, оберегать свои переживания после встречи с родными редкие счастливцы, получившие свидание.

В этот сравнительно тихий промежуток времени до отбоя

можно услышать серьезный разговор о себе, исповедь, непроизвольную жалобу... Словно и сквозь старые тюремные стены проникают мягкость и задушевность вечерних часов. Впереди — почти полсуток тишины и успокоенности: за тобой не придут, никуда не поволокут. Спи, покуда снова не зашевелится всеми сочленениями отлаженная тюремная машина.

Повезло Якову Ивановичу Бутовичу. В камере появился высокий массивный человек в черной, военного покроя гимнастерке. В такие облачаются крупные «спецы» в рангах консультантов при наркомах и их заместителях. Им не доверяют, но одновременно за ними ухаживают и их ублажают. Это — старые специалисты и интеллигенты. У этих людей выработалась особая манера держаться: сознавая себя советскими сановниками — и ущемленными бывшими одновременно, они осмотрительны. И то чрезмерно выпячивают свою прошлую барственность, то, чтобы за нее не потерпеть, вовсю подделываются под преданных слуг режима.

Помещенный к нам Крымзенков — кажется, Константин Иванович? — оказался одним из главных консультантов Наркомзема, как раз по коневодству. Он отлично знал Якова Ивановича и не скрывал своего восхищения перед ним. «Лучший знаток орловского рысака в России, он вывел достойного преемника бессмертного Крепыша — знаменитого Ловчего, слава которого облетела все ипподромы мира!» — так несколько торжественно аттестовал он Бутовича. Сам же Крымзенков был всего лишь сыном очень состоятельных родителей, с ранних лет пристрастившимся к лошадям. Он обладал удивительным талантом — угадывать в любой лошади текущие в ней крови, за что и был высоко ценим отечественными коннозаводчиками, прибегавшими к его советам при отборе производителей.

Необщительный Яков Иванович с Крымзенковым беседовал часами. Они словно не могли наговориться, перебирая и сопоставляя тысячи вариантов скрещивания линий, способных дать новых рекордистов. Генеалогию русских рысаков оба знали по восходящей вплоть до Сметанки графа Орлова. Углубившись в ее сплетения, собеседники покидали тюрьму и кочевали по прославленным конным заводам России. При этом Бутович поправлял Крымзенкова всякий раз, что тот упоминал их новые названия вместо старых: «Вы хотели сказать завод «Телегиных», «Лежнева» или «Коншиных».

Любителям внимать чужим разговорам скоро наскучивали рассуждения о статях и резвости рысаков с героическими кличками, и они уходили. Кознетворцы же не рисковали заде-

вать: Крымзенков — широкоплечий и крепкий, с пудовыми кулаками, да и манера Якова Ивановича расхолаживала нахалов.

— Принеси-ка мне чаю, — спокойно, с уверенностью в своем праве распоряжаться, сказал он как-то Ваське Шалавому, распущенному карманнику, вздумавшему приступить к нему с остротами. Вор, всем на удивление, отправился к чайнику нацедить кружку. — Спасибо, голубчик, — поблагодарил Бутович, принимая из его рук чай, точно и не ждал, чтобы его поручения не выполнили.

В Бутовиче были все приметы русского барства: вежливость, исключавшая и тень фамильярности; сознание собственного достоинства, и даже исключительности, при достаточно скромной манере держаться; благосклонность с еле проступающим оттенком снисходительности; забота о внешнем благообразии и — вскормленное вековыми привычками себялюбие. До чего простодушно Яков Иванович не спохватывался, что опустошил скромные запасы простака, вздумавшего угостить его домашним печеньем и неосторожно развернувшего перед ним весь кулек! Как искренне не замечал, что, располагаясь на нарах, беспощадно теснит деликатного соседа, придавленного его генеральским задом!..

Мой пан Феликс, всю жизнь укладывающийся после Angelus'a[1], и тут ложится после поверки. Перед этим он, отвернувшись ото всех, долго стоит в углу на коленях — мы занимали с ним крайние места на нарах у окна — и читает про себя все полагающиеся молитвы на сон грядущий. Уже просветленный ими, желает мне спокойной ночи и засыпает сразу. А во сне тихонько посапывает и чмокает губами...

После перевода в Бутырку я был очень скоро выбран своими сокамерниками старостой. Это накладывало кое-какие обязанности и наделяло известной властью, сопровождаемой, как водится, привилегиями. Так, я разбирал конфликты, назначал дежурных уборщиков, принимал новичков и отводил им место на нарах. И — самое главное — служил посредником между коридорным начальством и нашей братией. То есть между двумя враждебными станами, ведущими непрекращающуюся глухую войну. Мы отстаивали свои мифические права, там придерживались тактики держания нас в страхе и превентивных мер. Мне кричали в глазок: «Староста, почему шум после отбоя?», «Староста! Захотел в карцер? Кто у тебя записку во

[1] Вечерняя молитва *(лат.)*.

двор кинул?» Или: «Еще раз увижу, что у тебя в карты играют, не миновать, тебе отсидки!»... Я стучал в дверь, требовал пятнадцати минут прогулки, взять в стационар припадочного. Доказывал, что ни карт, ни шума, ни драки не было. Эти перепалки с надзирателями сильно укрепляли мой авторитет.

Перед сном я этаким осматривающим свои владения хозяином прохаживался по камере — низкому сводчатому помещению шагов в двадцать длиной. Сплошные нары, разделенные проходом шириной в два шага, настелены по прежним царским подъемным койкам. Этих коек двенадцать, нас же наталкивалось в камеру около пятидесяти человек. В горячие дни скапливалось и до семидесяти. И тогда последующий отлив до «нормы» был как облегчение. Словно мы начинали дышать свободнее.

Некоторое время в нашей камере находился худой и невзрачный человек лет двадцати шести, одетый, в дорогой, но сильно потертый костюм. Его перевели сюда из внутренней тюрьмы, где он провел более трех месяцев. Следствие по его делу было закончено. К концу дня он сникал. Неподвижный и сосредоточенный, сидел на краю нар. Чем позднее становилось, тем более проступала его напряженность. И когда как-то среди ночи всех разбудили крики и шум борьбы в коридоре — кого-то, как объяснил бывалый уголовник, повели на расстрел,— с ним случился обморок.

Я чувствовал, что он ищет, кому рассказать о себе и своих, очевидно нелегких, переживаниях. И однажды, в заключительную свою инспекционную прогулку по камере, заговорил с ним. Услышал я рассказ тягостный и поучительный...

На разные лады рисовались людям возможности, открывшиеся перед ними на просторе, усеянном обломками разрушенного мира: созидай себе новый на освободившемся месте! Кто простодушно уверовал в свою миссию устроителя земного рая; кому мерещилась свобода, расковавшая угнетенный ра́зум, расцвет духовных сил человека. Иной видел наступление сроков расчета за вековые обиды, День отмщения, перешедшего из рук Провидения в человеческие; тот возликовал, полагая, что дорвался до вожделенных благ, даваемых властью и безнаказанностью...

Лёву революция застала старшеклассником городского училища в одной из западных губерний. С отменой черты оседлости его семья переселилась в Москву. Однако он не стал завершать образования, полагая, что познал достаточно для осуществления давно занимавших его мечтаний. «Иные мрежи его уловляли...» Шестнадцатилетний подросток сделался зав-

сердатаем черной биржи, свел знакомства в банках. И в короткие сроки объединил вокруг себя группу, или, называя вещи своими именами,— шайку лиц со служебным положением, позволявшим проводить крупные финансовые операции, приносившие всем участникам баснословные доходы. Мне теперь не вспомнить, в чем заключались эти махинации, но я никак не забуду поразившую меня их элементарную простоту. Можно было изымать из кредитных учреждений солидные суммы так, что никакие ревизии не могли обнаружить подлога.

Я имел перед собой несомненного финансового гения. Он еще на школьной скамье усмотрел в непроницаемой броне государственной валютной системы щели и лазейки, где не срабатывали никакие контроли. Правда, то было время расцвета нэпа, зарождения торгсинов, валютной биржи и двойного курса денег, но все же казалось невероятным, чтобы недоучившийся подросток придумал, как отвести себе из потока государственных сумм полновесную струю. Да так, что и поймать было нельзя. Мой потенциальный Фуггер или Ротшильд говорил, правда, что его «система» была как раз рассчитана на сложность громоздкого учета, основанного на категорическом отказе в доверии кому-либо и именно поэтому обладавшего множеством изъянов.

— Раньше, когда государственный банк под честное слово артельщика или маклера отпускал стотысячные суммы, мне бы это дело не удалось,— признавался он.— Прежнее доверие лучше преграждало путь злоупотреблениям, чем сейчас горы запутанных бухгалтерских документов... Ах, если бы не этот случай!

Имел он в виду поимку на границе одного из своих сообщников. Тот решил бежать с чемоданом денег за рубеж, пока не грянет гроза, которую он, по поговорке «сколько веревочка ни вьется...», считал неизбежной. Пришлось расколоться: более ста тысяч в золоте и долларах — улика чересчур весомая. Замять дело на ранней стадии не удалось. Как объяснял Лёва, беглец торговался и упустил момент: надо было сразу поступиться девятью десятыми суммы — и его бы отпустили!

Тут Лёва, вероятно, ошибался. Дело было слишком крупным, чтобы отделаться взяткой. Оно затрагивало центральные финансовые органы и буквально потрясло руководителей: Лёва рассказывал, что во время следствия к нему приезжали крупные чины из Наркомфина, банковские деятели и, почесывая затылок, выслушивали его объяснения. Как бы ни было, великий финансист остался неразоблаченным: его предали.

Теперь он думал о развязке. О неизбежной, не оставляющей места надежде. И все существо его протестовало.

Лёва знал, что, ведя крупную и дерзкую игру, рискует головой. Но только сейчас, когда была позади изнурительная схватка со следователями, когда остыл накал борьбы и незанятому воображению представлялся неминуемый конец, в нем разливался ужас. К ночи он подступал вплотную, брал за горло. И чтобы заглушить его, Лёва искал слов ободрения, в какие мог бы на мгновение поверить, собеседника, который бы отвлек от прислушивания к тому, что происходит в коридоре.

Прижавшись ко мне, точно ища укрытия, Лёва говорил вполголоса, сбивчиво и торопливо. Его сотрясала дрожь. Он не мог справиться с прыгающими губами и смолкал. Ожидание вызова на казнь, подробности которой он узнал в тюрьме, не отпускало Лёву, не давало забыться в разговоре. Я обнимал его за плечи, старался уверить, что крупные хищения не непременно ведут на эшафот; говорил, что его могут простить, чтобы воспользоваться необычными его способностями, направив их уже на пользу государства. Но слушал он плохо. Его занимала только тишина за дверью камеры.

Я оставлял его и шел на свое место. Долго не засыпал. Что-то от страхов этого пойманного мошенника передавалось и мне. Приготовленность к возможности быть приговоренным к «вышке» жила в те времена в любом человеке, трезво оценивающем принципы диктатуры пролетариата, утвердившие законность террора, уничтожения заложников, массовых казней. Да и участь Лёвы терзала воображение, пусть он своими руками себе ее уготовил. Он не был стяжателем. Деньги сами по себе его не занимали. У него их было намного меньше, чем у сообщников: он их расшвыривал и раздаривал. У Лёвы не было вкуса к тратам и приобретательству. Это был игрок. Азартный, способный зарваться, черпавший упоение в риске. Быть может, испытывавший гордость создателя головокружительных, неуязвимых благодаря строгой логике построений и комбинаций, наслаждавшийся вдобавок сознанием единоборства с махиной целого государства...

Я все взглядывал на жалкую фигурку сокрушенного игрока, продолжавшего маячить над распростертыми, накрытыми всякой одеждой спящими. Лёва не решался лечь и был глух к окрикам надзирателя. Он ждал...

Его скоро увели. Однако милостиво: днем. Именно это обстоятельство на миг его обнадежило. Он сравнительно спокойно собрался и нашел в себе силы подойти проститься. Я пожал его горячую, влажную руку, избегая смотреть в побелевшее лицо...

Глава вторая

Я СТРАНСТВУЮ

Общая камера не меньше одиночного заключения приучает уходить в себя, в свой воображаемый мир. Туда погружаешься так глубоко, что начинаешь жить вымышленной жизнью. Отключившись от окружающего, рассудком и сердцем переживаешь приключения, уже не подвластные твоей воле. Это род сновидений, но без их нелепостей и провалов и, как они, бесплодных.

И все же это — чудесное свойство. Для заключенного — дар Провидения. Воображай себе невозбранно — солнечный мирный край, ласковое море, музыку, стол, за которым дорогие для тебя лица, или трибуну, откуда кто-то — может быть, ты — неопровержимо доказывает гибельность злых путей... Можно пережить целый роман...

Быв потревоженным и возвращенным к действительности, я спешил вернуться к порванной цепочке грез. И вновь оживали знакомые лица, прерванные отлучкой разговоры, общения, милые сцены...

И когда позади уже накопилось много тюрем, пересылок, лагерных землянок и бараков, я умел покидать их в любое время — среди камерного неспокойства, на тюремном дворе, у костра на лесосеке. Я переставал видеть то, что было перед глазами, слышать шум и уходил в свои вольные пределы. Нередко сочинял длинные обращения к человечеству — мне казалось, с каждым годом я могу сказать нечто все более серьезное и нужное, почерпнутое из познанной изнанки жизни. Я бился над рифмами, низал строки статей.

Со временем все меньше заглядывал в будущее, а обращался к воспоминаниям. Прокручивал ленту назад, по примеру Аверченко, задерживаясь на отдельных вехах.

В те четыре или пять месяцев, что я провел в Бутырской

тюрьме в двадцать восьмом году — сначала в камере, потом в больничной палате с ее целительной тишиной, покоем и малолюдством,— меня более всего занимал первый год революции, начало его, за которое успело проклюнуться и навсегда угаснуть столько надежд.

* * *

1917 год. Весна. Я готовлюсь поступать в университет, и ничто не занимает меня более записок Цезаря: «Callia est omnis divisa in partes tres»[1],— да еще выучиваемых, зазубриваемых наизусть «Метаморфоз» Овидия. Я до сих пор могу отбарабанить, уже не помня смысла иных слов: «In nova fert animus mutatas dicere formas»...[2]

Ежедневно погружаюсь в дебри латинской грамматики с приходящим ко мне репетитором, неулыбчивым и строгим. Он — в неизменной черной паре с высоким тугим крахмальным воротничком. От него исходит какой-то строгий запах, не вполне подавленный ароматом бриолина, щедро умастившего его гладко зачесанные прямые волосы. Мой респектабельный ментор заканчивает духовную академию и всеми помыслами принадлежит теологии. Но латынь любит истово. И декламирует без конца римских поэтов, восторгаясь «медными звуками».

Будущий богослов и меня заразил своим преклонением перед языком «высокой классики». Я с разгона учил и запоминал много больше требовавшегося по программе. Торжественные периоды Цицероновых обличений и заклинания Катона Старшего заслоняли занятия в Тенишевском училище, последний, шестнадцатый семестр которого я заканчивал. Учился-то я всегда без особого рвения — разве по легко дававшимся мне языкам и истории добывал хорошие отметки,— тут же вовсе остыл к наукам, далеким героических образов Древнего Рима.

Впрочем, порядка и строгостей уже не было и в стенах моего модного училища. За считанные недели оказались расшатанными и рушились школьные устои. Мы, старшеклассники, приохочивались митинговать, шлялись по городу, на глазах утрачивавшему столичные чин и строй. Резко обозначилось и размежевание по сословным симпатиям: тогда еще только возникали представления о классовой розни. Мы,

---

[1] Галлия поделена на три части *(лат.)*.
[2] Я расскажу о воплощении в новые формы *(лат.)*.

школьники, как-то инстинктивно, самотеком распадались на группки, еще не враждебно, но уже настороженно относившиеся друг к другу.

Тошнее всех приходилось монархистам. После трех отречений, оставивших трон пустым, они утратили почву. Мне, прочитавшему гору мемуаров роялистов и знавшему назубок «Жирондистов» Ламартина, мерещились преданность низвергнутой династии, растоптанные белые лилии, строки гимна: «O Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne...»[1] Однако подлинные события возвращали на землю — царь и его брат отступились, сложили оружие, не попытались спасти монархию: не смешно ли было поддерживать в себе настроения шуанов?

Хотя все симпатии мои принадлежали идее императорской России, я стал прислушиваться к тому, что исповедовали сторонники ее преобразования в государство, управляемое парламентом, с выборами, всеми свободами, гласностью — полным набором атрибутов демократического правления: не то в республику по французскому образцу, не то в конституционную монархию на аглицкий манер.

Но я был в возрасте, когда почитаешь политику и разговоры о ней достоянием взрослых. У меня, помимо латыни, была пропасть своих забот и интересов. И не было чувства причастности и тем более ответственности за происходящие события...

Тем не менее я старался не пропускать вечеров в гостиной родителей, где со времени февральской революции постоянно бывал давнишний друг моего отца Иван Федорович Половцов, волею случая оказавшийся в самой гуще политических страстей. Он был депутатом Государственной думы. Иначе говоря, в числе тех, кто взялся довести корабль российской государственности до Учредительного собрания — мерещившейся впереди благословенной пристани, где все наладится и устроится на новую чреду столетий.

И хотя сам Иван Федорович, можно сказать, лишь носил звание депутата — он принадлежал не к выборным, а назначенным правительством членам Думы и, числясь во фракции октябристов, никогда не поднимался на трибуну, не произносил ни охранительных, ни взрывных речей, а входил в какие-то комиссии и подкомиссии,— сияние его корпорации, олицетворявшей в те поры чаяния россиян, распространялось и на него. Мы слушали Ивана Федоровича как оракула. Этот остроумный светский человек, чувствовавший себя дома в Париже, переведший «Сирано де Бержерака» своего друга Ростана, умел

[1] О Ричард, мой король! Все тебя покидают! *(фр.)*

прекрасно рассказать салонный анекдот про Керенского, красочно описать перепалки в Таврическом дворце, конфиденциально сообщить о готовящихся серьезных мерах против подрывных элементов, подкупленных Германией.

В элегантном сюртуке с шелковыми отворотами, скрадывавшем неказистость его фигурки, он стоял у черного, отделанного бронзой и инкрустацией стола — такие называли тогда дворцовыми,— с чашечкой послеобеденного кофе в руке и, чувствуя себя в центре внимания, с видимым удовольствием занимал общество.

В гостиной были в моде исторические аналогии.

— Итак, mon cher député,— спрашивала моя мать с живым интересом,— notre Kérensky, n'est-il pas un véritable tribun, le Danton de notre révolution?

— Pourvu, Madame, qu'elle n'engendre pas un nouveau Robespierre[1].

Но и сквозь эту изящную салонную болтовню и милые сердцу русских офранцуженных дворян аналогии нет-нет и прорывались озабоченность, растерянность. Пугали развал армии, расправы с офицерами. Тут — это уже понималось — никакими чудесами красноречия и историческими сравнениями не поможешь: из глубин, из низов поднималось страшное, будившее память о пережитом прадедами. И это страшное было на руку резко и вызывающе объявившей о себе кучке отчаянных радикалов с программой, не принимаемой — увы! — всерьез теми, кто тогда управлял Россией, зато звучавшей благовестом пришедшему в движение народу.

Отец мой был в то время директором правления крупнейшего Русско-Балтийского завода, выполнявшего военные заказы. Лишь ненадолго появлялся он в гостиной из своего кабинета, где работал допоздна. Сведения отца, почерпнутые из накаленного заводского котла, докладов промышленных контрагентов, встреч в деловых и банковских кругах, из увиденного на фронте — он более года ездил с санитарными поездами Земского союза,— мало походили на приносимые Половцовым с думской трибуны.

— Эти большевики не сидят сложа руки,— озабоченно говорил отец,— агитируют... Среди рабочих и в армии их влияние растет, и это благодаря провозглашаемым ими совершенно

---

[1] Дорогой депутат.

— Не подлинный ли трибун наш Керенский? Дантон нашей революции?

— Лишь бы, сударыня, она не породила нового Робеспьера (*фр.*).

невыполнимым, но таким заманчивым обещаниям! Только малограмотный народ можно тешить ими: «Полная национализация фабрик и заводов», «Вся земля — мужикам», «Немедленный мир с Германией»... От таких слов, как от вина, кружится голова. Вот их и слушают. Народ смертельно устал от войны. Он готов идти за любым, кто посулит немедленную перемену. Все это плоды невежества... Поди втолкуй, что громкие заявления большевиков — демагогия, пустые фразы, расставляемая простонародью ловушка... Надо бы, что ли,— обращался он к Ивану Федоровичу,— чтобы Дума организовала комитет по контрпропаганде, где бы разъяснялись патриотические цели войны, говорилось о реформах и преобразованиях, какие утвердит Учредительное собрание...

К впечатлениям от этих разговоров прибавлялись и непосредственные, полученные вне дома.

Однажды машина отца, в которой его шофер отвозил меня с каким-то поручением, оказалась затертой в толпе на узкой набережной Фонтанки. Остановившийся лимузин с двух сторон обтекал плотный поток демонстрантов — рабочие куртки, шинели, редкие пальто. Чуть приглушенные зыбкой преградой стенок машины людской ропот, возгласы и крики доносились, как всплески враждебной стихии. В стекла то и дело заглядывали, пригнувшись. Вид скромно сидящего и, несомненно, напуганного подростка разочаровывал, вызывал досаду: не на ком отыграться! Хотя угрозы «вытряхнуть щенка с мягких подушек» или «спустить поплавать в речку» звучали более озорно, чем злобно, страху я, что и говорить, натерпелся. Да и шофер сидел в своей дохе ни жив ни мертв.

А в ранний утренний час, в пустынном парке на Крестовском острове, возле дворца, я видел, как матросы охотились на человека. Как на дичь...

Человек в разорванной морской тужурке, с непокрытой головой и залитым кровью лицом, задыхаясь, бежал рывками. Едва он исчез за деревьями, как послышались крики погони, топот. По его следу, тоже из последних сил, бежало пять или шесть матросов. «Утек, гад, утек!» — чуть не плакал высокий, с побелевшим лицом и стеклянными глазами. Срывающийся, отчаянный голос его был по-бабьи тонок. «Никуда не денется,— хрипло басил другой.— Пымаем!» Он увязчиво трусил сзади, коротконогий и лохматый, в одной тельняшке, с наганом, который почему-то держал за ствол...

Из каждого булыжника петроградских мостовых прорастала ненависть. Все поры замутившейся жизни источали злобу.

* * *

...Нет, он не казался мне дьяволом-искусителем, этот старик с остатками седых волос на крупной голове, горбатым носом, несколько выступавшей нижней губой и с лежащими на воротничке складками дряблой кожи. Он приезжал к моему отцу и снова и снова уговаривал его подумать о себе, о будущем семьи и перевести — пока возможно! — деньги за границу. Будучи много старше отца, банкир Шклявер считал, что обязан предостеречь его от «опасных заблуждений молодости».

Был Шклявер одним из главных акционеров и распорядителей Русско-английского банка, а отец — членом его правления. Служебные их отношения — банкир очень ценил деловые качества моего отца — давно перешли в дружественные. Мы были знакомы домами. Мать моя обменивалась визитами с женой банкира, нестарой веселой француженкой, забавно коверкавшей русские слова. Все попытки говорить на нашем языке она со смехом бросала, чтобы картаво затараторить на своем. Мать к ней благоволила.

...Маленький и круглый, в просторном смокинге старомодного покроя, Шклявер семенил по кабинету отца, заложив за спину короткие руки.

— Отрешитесь от иллюзий, дорогой Василий Александрович,— убеждал он его.— Россию я люблю не меньше вашего, хотя вы родились в древнерусском городе, а я в местечке Могилевской губернии! Она дала мне положение, деньги, дружбу благороднейших русских людей — все, что у меня есть...— Шклявер говорил спокойно, несколько глухим голосом, вдруг останавливаясь, чтобы пристально взглянуть на отца.— Но, мой милый идеалист, той России, какую вы надеетесь увидеть, не будет и через триста лет: народ не способен управлять своей судьбой. Он выучен слушаться только тех, кто присвоит себе право ею распоряжаться, не спрашивая о согласии, кто обходится с ним круто. И ни за что не поверит вчерашним господам, вдруг заговорившим обходительно. Что-то хитрят баре, скажет он. Царя, мол, спихнули, чтобы прибрать все себе. Эти слухи об обмане, кстати, умело раздувают те, кто готовится вырвать власть у этой самой буржуазии, как нас ныне величают... Не улыбайтесь, Василий Александрович, эти сектарии много сильнее и опаснее, чем вам рисуется: не забывайте, что их финансирует германский генеральный штаб...

В этом старом, искушенном банкире чувствовалась незаурядная умудренность, опыт много видевшего и вдумывающего-

ся в жизнь человека. Отец слушал внимательно, однако — это улавливалось — не хотел поступаться своими оценками. Опытный Шклявер относил их к разряду иллюзий и продолжал настаивать:

— Я не политик. Я всего-навсего присяжный поверенный, имевший всю жизнь дело с людьми, доверявшими мне свои деньги. И потому не берусь предсказывать, что будет с государством. Зато судьбу рубля предвижу точно: через месяц-другой он не будет стоить и бумажки, на какой напечатан. За границей мы пока пользуемся доверием. Но это ненадолго. Деловые люди — народ трезвый и скоро раскусят, как быстро надвигается на Россию деловое банкротство. Курс рубля еще кое-как держится — это чудо. Есть социалисты, Альбер Тома, Ллойд Джордж... Они верят Керенскому, пока в его кабинете остаются известные на Западе фигуры... Если вы сегодня не разрешите перевести ваши вклады нашим партнерам в Англии, я не поручусь, что завтра буду в состоянии это сделать. Хотите ехать вместе? Мы уезжаем через две недели в Париж — сын закончит образование в Сорбонне, и вы поместите туда своих детей... или в Оксфорд. Решайтесь! Дорогой Василий Александрович, мы с вами не можем рисковать — у нас семьи. А в России разгорается пожар, рядом с которым пугачевщина, жакерии, девяносто третий год будут выглядеть пустяшными волнениями... Да, да, он тем более страшен, что его будут раздувать извне силы, враждебные России, поверьте старому другу. Хотите, я закажу для вас заграничные паспорта и билеты в одном поезде с нами? Мы едем через Або...

О, эти магические названия! Сорбонна, Оксфорд... Если дедам мерещились Гейдельберг и Иена, то для многих из нас именно Сорбонна и Оксфорд воплощали вершины мыслимой учености. Я готовился поступить на факультет восточных языков, открывавший путь к дипломатической карьере. Знаменитые средневековые колледжи Оксфордского университета, где уже не первое столетие изучают языки Востока, рисовались мне прочной ступенью для блестящих успехов на избранном поприще: не английские ли дипломаты — образец выдержки, такта и деловитости в глазах всех прочих наций? И потом — путешествие, жизнь в незнакомой стране (разумеется, временная!), лучшие теннисные корты в мире... И я уже видел себя в традиционной мантии и шапочке разгуливающим под сводами аудиторий и галерей одного из оксфордских колледжей.

Однако отец и слышать не хотел ни о каких отъездах — даже «временных», как рисовалось тогда. Не то чтобы он оста-

вался глух к предупреждениям Шклявера или сам не видел бессилия умеренных политиков спасти Россию от крушения, каким ему представлялся переход власти в руки крайних партий. Но крысы, покидающие обреченный корабль,— образ для русского интеллигента неприемлемый... Допустимо ли оставлять родину в беде?.. Были, кроме того, смутные упования на какие-то непредвиденные благоприятные обстоятельства — «авось да все образуется», несомненное предубеждение к жизни эмигранта, боязнь лишиться родных стен, милой русской земли... Словом, целая цепь причин и обстоятельств, делавших для отца расставание с Россией невозможным.

— Как это переводить деньги иностранным банкам? Государственный долг России и без того огромен,— убеждал он не только меня с братом, приступившим к нему с просьбой отправить нас учиться в Англию.— Мы русские или нет? Недалек конец войны. А тогда сам собой устроится порядок. Даже смешным покажется, что из-за каких-то демагогов, вроде Троцкого и Ленина, мы поддались панике. Все эти агитаторы и понятия не имеют о России! Жили себе за границей, высасывая из пальца теории, а русского народа и в глаза не видели. Да и все их схемы еще Достоевский развенчал... Ах, Боже мой, если бы мы были чуть более образованными! Тогда понимали бы, как опасна для народа эта социальная демагогия... Ну что они могут дать России? Гражданскую междоусобицу, анархию, тиранию и — реки крови... А в результате тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты... Нет, нет, нельзя удирать, нельзя допустить, чтобы авантюристы обманули народ.

Это настроение в отце поддерживали вести из деревни: приказчик отписывал, что дом к приезду подготовлен, весенние работы в огородах и оранжерее идут своим чередом... Все-де благополучно и спокойно. И было решено: семья — мать с младшими детьми — отбудет в положенное время, в середине мая, в деревню. Мы же с братом — моим близнецом поедем вслед за ними после экзаменов. И мы перестали думать об Англии.

Еще несколько ранее, в марте, для нас открылось новое поприще — весьма привлекательное в семнадцать лет. Несколько недель мы выполняли обязанности городовых, а кто постарше — околоточных, в рядах новоявленной милиции, заменившей разогнанных чинов полиции. Юнцам — старшеклассникам и студентам — импонировала роль увешанных оружием всамделишных стражей города, властных остановить прохожего, проверить постояльцев в номерах, обыскать трактир,

заподозренный в торговле запрещенными спиртными напитками.

В моей семье, исповедовавшей добротный российский либерализм, это служение новым порядкам рассматривалось как выполнение патриотического долга и укрепление законности, преграждающее путь анархии и беспорядкам. Однако наши рассказы о ночных похождениях чрезвычайно смущали мать: какая опасность для нравственности от соприкосновения со всякими вертепами и их обитательницами! И быстро сдавшийся отец предложил нам вернуться к нашим прямым обязанностям: я вновь углубился в латинские склонения, брат Всеволод зачастил в студию Рериха. Он надеялся осенью поступить в Академию художеств.

* * *

После отъезда семьи в квартире сделалось очень тихо и пустынно. Отец уезжал с утра и чаще всего давал знать, что не вернется к обеду. Всеволод, решив воспользоваться отсутствием докучного домашнего надзора, порхал по знакомым, участвовал в не совсем праведных загородных прогулках — словом, еще не приобщившись к миру богемы, стал заранее познавать ее нравы.

Его дела в студии, кстати, шли отлично. Он уже считал себя питомцем Академии. Надолго исчезали из дома пожилая наша кухарка и шустрая горничная. Очереди у булочных — хороший предлог для отлучек. Неметеные пыльные улицы Петрограда в начале этого лета стали подлинным клубом, где праздная за отъездом господ прислуга, отмененные дворники и пропасть досужего люда на все лады толковали и перетолковывали вороха новостей и слухов, щедро просыпавшихся на столицу.

Я был настроен серьезнее брата (его вдохновляли натурщицы, меня — доблести римских консулов) и усидчиво занимался за своим столом или рылся в шкафах отцовской библиотеки. Изредка гулкую тишину пустой квартиры нарушало пронзительное дребезжание телефона — тогдашние аппараты трещали на манер старинных будильников. Звонили знакомые и родственники — все сообщали об отъезде. «Передай маме или папе, что мы уезжаем туда-то тогда-то»... Вечером я докладывал отцу: Ефремовы или Игнатьевы просили дать им знать в Новочеркасск, когда и куда мы соберемся; снова звонили от бабушки — она все же решилась переехать «на время» к младшей дочери в Орел; такие-то обнимают и надеются на скорую

встречу в Париже... Начинался великий исход российской интеллигенции за рубежи ощетинившейся отчизны...

Отец, и без того расстроенный и утомленный — заводы замирали и администрация была бессильна остановить развал,— выслушивал меня молча и спешил уединиться в своем кабинете. При каждом таком бегстве он падал духом. Его мучило, хоть он и не признавался, что он отказался укрыть семью от грядущих превратностей. Прав ли он, что не едет за границу? Особенно поразило отца внезапное решение эмигрировать нашего домовладельца Николая Степановича Цвылева, его приятеля с отроческих лет. Тот принадлежал к старинному роду богатых новоторжских купцов, с которыми отец состоял в дальнем родстве по материнской линии. Едва ли не каждый вечер они играли в винт, большей частью у Николая Степановича, благо мы жили на одной лестнице.

Мне никогда прежде не приходилось видеть отца таким удрученным и озабоченным, как в день, когда его друг объявил, что «собрался бежать, пока нас тут всех не перерезали». Отец долго потом ходил мрачным и молчаливым.

Тучи вокруг сгущались. В начале июня семнадцатого года этого нельзя было не ощущать, особенно в Питере, уже раскипевшемся и забурлившем всеми выплеснувшимися наружу страстями. В стрельбе на Невском можно было различить призрак грядущей гражданской смуты. Именно тогда отец принял ничего не разрешающее половинчатое решение: перевел в иностранный банк часть своего состояния. Но покинуть Россию не решился...

Ах, кабы Волга-матушка да побежала вспять да кабы можно было жизнь сначала начать!

Я лежу на своих досках, тесно ужатый с двух сторон соседями, и гадаю: как бы обернулась жизнь, последуй отец совету своего друга-банкира?

Идет одиннадцатый год революции. Многое определилось. Многое утрачено безвозвратно. Есть ли приобретения? Разве горькое удовлетворение по поводу оправдавшихся ожиданий: раскаиваться в своем неприятии «октября» не приходится — все обернулось именно так, как предчувствовалось тогда, при виде первых начиненных мстительной ненавистью людских потоков, заливших проспекты Петрограда... Поманив мужиков землей и призывом «Обогащайтесь!», уверив пролетариат, что он сам — власть (а раз так, то какие протесты?), спаянные круговой порукой правители стали лихорадочно расправляться с возможными конкурентами. Внушив страх, покорность и немоту, развязали себе руки для экспериментов. Да, это все виде-

лось и тогда, сквозь мишуру слов о новой, какой-то особой свободе и демократии в пролетарском государстве.

Члена Думы Половцова, владевшего стихом и написавшего политическую сатиру — поэму о дуре Федо́ре, распустившей уши на сладкие посулы,— давно нет в живых. Как, впрочем, и Ленина, чье имя стало знаменем и вывеской, за которыми закладываются основы правления — самого непререкаемого и авторитарного, какое только можно себе представить.

Тогда, в 1917 году, Половцов заметался. Убедившись, что ему, бывшему предводителю дворянства Могилевской губернии, туда лучше не показываться, а оставаться в Петрограде опасно, он в конце лета приехал к нам, в Тверскую губернию.

В нашей благословенной Никольской волости было спокойно. Окрестные мужики не проявляли враждебных чувств. Но в Торжке, нашем уездном городе, обстановка сильно накалилась. После октябрьского переворота там сразу появился эмиссар новой власти — как выяснилось потом, самозванец — матрос Клюев, дебютировавший расстрелом десятка заложников и конфискациями, смахивавшими на грабеж.

Иван Федорович снова метнулся в Питер — со смутными планами о чем-то договориться, что-то предпринять. Но ни к каким заранее обреченным замыслам приступить не удалось: он вскоре захворал и умер в своей нетопленной холостяцкой квартире... Без единой души, какая бы напоследок о нем позаботилась... Жившая у него экономка поспешила, едва ее барин слег, съехать, прихватив, что только удалось, из его добра. У Половцова была собрана коллекция ценного охотничьего оружия.

Давно умер и отец — вдали от семьи, однако в доме доброго человека, старого священника села Михаила Архангела на Волхове. После бегства из усадьбы, как раз во время бесчинств Клюева, отец провел там зиму: возле того села закладывались сооружения Волховской электростанции. Строительством руководил друг отца генерал Кривошеин, пригласивший его на должность своего заместителя.

Отцу, наверное, пока он брел пешком со своей поповки в контору строительства — одинокая прямая фигура, темнеющая на глади волховского льда,— не раз сквозь тревогу за оставленную в деревне беспомощную и беззащитную семью вспоминались упущенные возможности. Мучили страхи за нашу участь. Мы не переписывались — боялись выдать отцовский адрес, и он мог вообразить любые беды. Как бы легче было ему, знай он, что нас, и в самом деле неприспособленных, растерявшихся — Всеволод и я оказались опорой, кормиль-

цами младших сестер и братьев, восьмидесятилетней бабушки, привезенной к нам после тяжких мытарств, матери, всю жизнь прожившей огражденной от забот,— знай он, что нас опекали знакомые мужики! Те самые, что приходили к нему со своими нуждами и бедами, помнили его с детства, водили на охоту, наконец, служили у него на усадьбе. Мужики, уважению к которым он учил нас с детства и доверием которых гордился...

Какой-нибудь задиристый и взбалмошный Иван Архипов, старый волчатник Христофор или молчаливый длиннобородый Самойло, прежний конюх, заходили к нам как бы невзначай, по пути в лес или в лога, чтобы не приметили новые власти. И, расспросив барыню о здоровье, задержавшись по этикету за спотыкливым разговором, уже прощаясь, в последнюю минуту, неловко вынимали из-за пазухи или кузовка завернутые в тряпицу хлеб, кусок солонины или рыбину, яйца, банку меда, совали, стесняясь, кому-нибудь из детей: «Нате-ка деревенского гостинца!» — и торопились уйти.

Чаще мужики присылали своих баб с меркой картофеля или мукой. Бабы сокрушались открыто: «И какая вам жизнь пришла! Хлеба досыта не стало!» И мать, как ни держалась, плакала. Должно быть, не только растроганная, но и от горького сознания, что всегда была предубеждена против мужиков: она всю жизнь боялась деревни...

И не передать, до чего было дорого тогда это сочувствие, прорывавшее замыкавшееся вокруг нас кольцо недоброжелательства и отчуждения.

Отец об этом не знал, хотя верил в прочность своих добрососедских отношений с окрестными деревнями. Должно быть, надеялся, что «свои» мужики не обидят. Но знал он и то, что они от власти не защита. Да и время настало, когда сын от отца отрекается, друг предает друга...

Так и умер, снедаемый тревогой, пришибленный крушением своей веры в Россию. Умер скоропостижно, разуваясь после возвращения из конторы. Об этом мы известились много спустя: священник не знал нашего адреса, письмо его долго плутало.

Темной осенней ночью 1919 года пешком через границу ушли в Финляндию генерал Гри-Гри, как прозывался у нас Григорий Григорьевич Кривошеин, с женой — грузной дамой возраста моей матери, дочерью — гимназисткой старших классов и двумя сыновьями — военными инженерами. Те несли мать на руках...

Отец умер в феврале девятнадцатого года, когда уже бушевала гражданская война. Когда от жуткой расправы с царем

и его семьей пахнуло возвращением к временам опричнины и казням Ивана Грозного. Когда более лишений и голода Россию придавила проводимая беспощадной рукой ломка прежних устоев. И ошеломленная кровавыми расправами страна, отученная молиться, погрузилась в страх и немоту. И уже явственно обозначилось крушение иллюзий, свойственных людям его среды и поколения.

Родился отец в 1861 году, за две недели до отмены крепостного права. Рос и мужал в разгар Великих реформ. Корнями принадлежал тем средним слоям провинции, где прочно уверовали в пользу просвещения, земских учреждений и спасительность постепенного преображения жизни. Где воспитывалось сознание — в высшей степени — своего долга перед «мла́дшим братом».

Так случилось, что рано осиротевшего отца, оставшегося без всяких средств, увезла из Вышнего Волочка к себе дальняя тетка, богатая вдова новоторжского промышленника Краснoперова. Она более заботилась о подготовке племянника к практической деятельности, чем поощряла обучению наукам. Закончив в шестнадцать лет городское училище, отец стал заниматься делами тетки, вскоре поручившей ему управление своими паровыми мельницами и небольшим имением.

Решающее влияние на отца оказало общение с семьей соседних помещиков Петрункевичей. Оттуда вышли будущие столпы российского либерализма, составившие впоследствии партию конституционных демократов. Там молились на Кони и Ковалевского, были в ходу близкие к народничеству взгляды на крестьян. И отец, деятельный и увлекающийся, то участвовал во Всероссийском съезде мукомолов — самым юным его делегатом от уезда,— то в качестве гласного городской управы хлопотал об открытии школ и больниц, добивался учреждения стипендий у местных тузов-благотворителей.

Женившись в последние годы века на моей матери — племяннице соседки по имению, вдовы известного ученого-артиллериста генерала Н. В. Маевского,— отец расстался с деревенским житьем и переехал в Петербург. Поприщем избрал службу в частных компаниях, хотя связи, приобретенные благодаря родне жены, и открывали ему облегченный путь продвижения по ступенькам табели о рангах. Думаю, что в этом сказывалось предубеждение к касте чиновников, свойственное вольнодумцам того времени, чтившим авторитет шестидесятников, Успенских и Михайловских. Деревня была оставлена, но не забыта: теперь туда приезжали, как на дачу, в летние месяцы.

Уже в юношеском возрасте я узнавал от старых крестьян о большой вальцовой мельнице, где работало и кормилось несколько окрестных деревень, сгоревшей в первые годы столетия; об изведенной стае гончих и былых волчьих облавах; о распаханных отцом в пору его увлечения хлебопашеством полях, теперь заросших лесом. В запущенном парке высилась Негрова могила — сооруженная из крупных валунов пирамида над любимым черным пойнтером отца Негром; в сарае лежали ощетинившиеся зубьями заморские цепные бороны и монументальных размеров остовы плугов, некогда бороздивших от века спящие десятины лесных пустошей. Крестьяне рассказывали о «Василь Ляксандровиче» как о человеке понятном и доступном. Поминали добром прожитые с ним годы. Мужики намекали, что-де, женившись на «генеральской дочери», как величали они мою мать (хотя дед мой по матери вышел в отставку в капитанском чине), отец распростился с вольной деревенской жизнью. И многозначительно вздыхали: то ли было не житье — с охотами, лошадьми, веселыми разъездами! Особенно отмечалось прежнее пристрастие отца — неутомимого охотника и меткого стрелка — к полевым досугам. На удивление всем, он вскоре после женитьбы решительно покончил с охотой, перестал интересоваться выездами и пристрастился к цветоводству. Да еще завел всевозможную рыболовную снасть.

Впрочем, более этого изменения вкусов отца мужики про себя отмечали наступившее разобщение, конец привычных отношений. Словно не стало прежнего «своего» деревенского соседа, с которым сжились, несмотря на разность положения и состояний. Когда живут долгие годы бок о бок, помещик начинает знать и вникать во все мелочи домашней обстановки жителей своей деревни. Может посочувствовать терпящему от сварливого или гулливого нрава его бабы, помочь советом и делом. Мужику же становятся известны все обстоятельства событий на усадьбе, и он не без лукавства заводит разговор о зачастившей туда барыньке из недалекого сельца... Каждодневное общение сменилось редкими встречами с наезжавшим из столицы петербургским барином, которого надо посвящать в местные дела... А у него и времени для этого нет, обстоятельно не побеседуешь!

Однако охотничьи собаки были раздарены и ружья пылились на стойке не потому, что «подрезали соколу крылья», как полагали в деревне, а из-за исканий отца. Пора увлечения проповедью Толстого сменилась значительным интересом к входившим в моду теософам и индусским учениям. Отец не

только не ездил по праздникам с семьей в церковь, но избегал присутствовать на молебнах, устраиваемых по разным случаям на дому. И сделался вегетарианцем. Замечу, однако, что эта новая направленность убеждений и правил отца была не способна окончательно заглушить в нем страсть охотника — во всяком случае, он позаботился, чтобы у нас с братом, когда мы подросли, были ружья и собаки. Немолодой егерь Никита был приглашен направлять наши первые шаги в лесу, хотя мать, по сочувствию своему ко всему живому, не одобряла нашего посвящения в Немвроды.

Потом, когда отца не стало, обстоятельства надолго отгородили меня от потока деятельной жизни. Это способствовало длительным размышлениям. И я, перебирая в памяти вехи его жизни, известные мне, к сожалению, лишь в общих чертах, все хотел угадать: был ли он в душе удовлетворен тем, как она сложилась? Радовали ли его успешная карьера делового человека и приобретенное состояние? Заполнили ли они целиком его жизнь? Или не покидало никогда подспудное сожаление о минувших деревенских заботах и радостях? Не томило ли когда воспоминание о запахах земли, первых весенних движениях жизни в природе? Заменили ли ему наконец легкие городские связи и приятельства прежнюю близость с земляками? Я все вспоминал, каким оживленным и помолодевшим возвращался отец из своих долгих лесных прогулок, с каким добродушным юмором передавал беседу с встреченным ненароком деревенским знакомым стариком, укорявшим его за то, что ходит он по своему лесу не с ружьем и собакой, а с топориком и метит им сухостой...

— И без тебя знают, какое дерево на дрова рубить: ишь, дело себе нашел... За пастухом бы своим лучше глядел, чего он скотину по покосам распускает!

Но отца решительно не занимало кое-как ведущееся хозяйство. попросту не входил в его заботы, поручив их приказчику, своему бывшему крупчатнику, то есть самому значительному лицу на его мельнице. Зато лес отец любил! Берег и в случае нужды распоряжался покупать бревна у лесопромышленников, но своего не сводил. Если он неизменно велел отпустить с миром деревенских коней и коров, пойманных ретивым работником на наших угодьях, то порубщика он вряд ли легко простил бы!

Зато как хороши были эти несколько сот десятин нетронутого леса! Они тянулись по правому берегу Осуги с ее глубокими плесами и заросшими утиными заводями. Мохнатые непроницаемые опушки, светлые, залитые солн-

цем сосновые боры, густые темные ельники, веселые березовые рощи... А какие укромные, говорливые родники прятались в тихих ложках! Что за чистая, студеная вода бежала по разноцветным, сверкающим камушкам... В светлые майские дни осинники и разнолесье полнились голосами птиц. Отец знал, как поет каждая пичуга. Мог рассказать о любом цветке и травке...

И мне представлялось, что в родных деревенских местах душа у отца распахивалась шире. В каждодневное существование вливались тепло и покой узнанной с детских лет деревенской жизни. Она же рисовалась ему прибежищем и исходом в роковые месяцы семнадцатого года. Отправив семью в деревню, отец, подавленный грозным оборотом дел в столице, приехал туда и сам. «Переждать бурю в тихой гавани» — так, вероятно, рисовалось ему отсиживание в имении,— пока бушуют яростные городские стихии. И вынужденное бегство оттуда было для отца окончательным крушением, утратой веры в ценность и правду своих идеалов: он мог убедиться, что в день испытаний оказался не в одном стане с дорогим ему крестьянским миром, а отнесенным к его врагам. Отец, я не сомневаюсь, до последнего своего часа считал мужиков не враждебными ему лично, а жертвами искусной пропаганды, манившей немедленной раздачей земли и обогащением за счет буржуев. И все же он должен был переживать горчайшее разочарование. Не мирных и обходительных земских деятелей, сельских врачей и учителей, посвятивших себя деревне, послушались мужики, не им поверили. А слепо и безрассудно потянулись за теми, кто больше сулил, звал мстить и «грабить награбленное».

Как и значительная часть старой русской интеллигенции, отец более всего ценил непопранное человеческое достоинство, право свободно мыслить. И в старых порядках отвергал прежде всего ущемление этого права, насильственные пути. Он верил в силу убеждения, рисовал себе свободные, открытые трибуны, форумы, где из столкновения мнений рождается истина!

За те два с лишним года, что отец прожил после революции, уже отчетливо и бесповоротно определилось: захватившие власть большевики озабочены в первую очередь подавлением свободного слова, проблесков самостоятельной мысли, истреблением всякого сопротивления. Им нужно заставить признать себя единственным выразителем воли народа и вождем, которому все обязаны слепо подчиняться. Круто укрощаемый му-

жик и несколько мягче взнуздываемый рабочий должны были отождествлять себя с властью.

Но говорить об этом, разоблачать самозванство и обман, растолковывать, что железная решетка новых порядков ведет к закабалению и образованию олигархии, уже было нельзя. Да и бесполезно: в первые годы революции язык разума и сердца не мог быть понят и услышан. В возбужденной толпе всегда восторжествует дерзкий демагог, льстящий ее настроениям, и будет посрамлен разумный, увещевающий голос.

Очень тяжелыми, трагически грустными должны были быть размышления и переживания русских просвещенных людей, оказавшихся у разбитого корыта своих человеколюбивых бескорыстных идеалов, какими они жили вплоть до октябрьского переворота семнадцатого рубежного года. Тем более тяжелыми, что темным и гибельным виделся им путь, на который столкнули Россию новые правители. Им, мечтавшим о пробуждении и расцвете русской души. И где-то в глубине сознания должно было томить раскаяние, понимание своей, пусть косвенной, вины перед царем Освободителем, мудро и бесстрашно направившим Россию по верному пути справедливого устройства, процветания и достойной жизни...

И, быть может, милостью Божией был для отца сердечный приступ, унесший его в могилу на пятьдесят восьмом году жизни. Он увидел только цветки, еще мог держаться слабой надежды... Ягодки завязались через десяток свирепых и кровавых лет.

Глава третья

В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ

Здесь тихо. Почти просторно. И — главное — дверь в коридор постоянно не заперта. Можно, когда вздумаешь, без надзора проследовать в отхожее место. И там никто за тобой не присматривает и не торопит: свобода! После толкотливой и душной камеры тюремная больница была курортом. Повезло и с соседями: тихие, спокойные люди — все больше молчат, лежат с книгой или, как я, отсыпаются.

Мне удалили аппендикс. Операция прошла легко, и я полеживаю — расслабленно и умиротворенно. Отчасти потому, что расписался в уведомлении об окончании следствия. Иначе говоря, знаю, что меня не станут больше таскать на допросы и дополнительно «шить» — по перенятому у уголовников словечку — какое-нибудь состряпанное дело. Следователи, видимо, решили: наскреблось достаточно, чтобы Тройка или Особое совещание уцепились за видимость провинности и могли «по совести» влепить мне срок. Приобретенные за четыре месяца тюрьмы опыт и знания позволяли угадать исход: мне предстоит трехлетняя высылка, к какой обычно присуждают «болтунов», как окрестили «агитаторов» — рассказчиков анекдотов и веселых неосмотрительных людей, отпускающих острые шуточки по поводу порядков. С такой перспективой я вполне примирился. С воли передали, чтобы я выбирал Ясную Поляну, где меня устроят друзья семьи.

Итак, я ждал. Коротал как мог время и воображал будущее. Судьба, думается, распоряжается так, чтобы я взялся всерьез за дело: от дилетантских попыток писать перешел к серьезной литературной работе. Скрашивал ожидание и близкий мне человек.

Георгий Михайлович Осоргин был несколько старше меня. Уже в четырнадцатом году он новоиспеченным корнетом

отличился в лихих кавалерийских делах. Великий князь Николай Николаевич лично наградил его Георгиевским крестом.

Осоргин принадлежал к совершенно особой породе военных — к тем прежним кадровым офицерам, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский, средневековый лад, как некий возвышенный вид служения вассала своему сюзерену. Осоргин боготворил великого князя. Шеф полка, да еще царский дядя, член священной семьи помазанников Божиих, Николай Николаевич облачался Георгием в какие-то недоступно-чистые ризы, и всякий поступок великого князя, его высказывания, привычки и манеры в передаче Георгия приобретали особый, высший смысл.

«Его высочество», как нередко называл он Николая Николаевича, был и лучшим наездником в русской кавалерии — «А это что-нибудь да значит, дорогой мой, при наших-то кентаврах!»,— обожаемым командиром и отцом солдатам, примером преданности традициям русской армии.

В роковые первые месяцы войны гвардейская кавалерия, заведенная бездарным генералом Безобразовым под немецкие пушки, была разгромлена. Уцелевшего Георгия ненадолго причислили к штабу Верховного Главнокомандующего — великого князя,— и он «имел счастье» выполнять собственные приказания Николая Николаевича. К традиционному преклонению прибавилась личная преданность. То был кульминационный период жизни Осоргина.

Всякую крупицу воспоминаний о великом князе он берег свято.

...Вот Николай Николаевич, задержавшись в дежурной комнате, напомнил Георгию, что они однополчане — великий князь не только был шефом Конного полка, но некогда командовал им,— и расспросил его о старых офицерах. И Георгий, воспроизводя эту краткую сцену, переживал ее неповторимость. Голос его звенел... И мне видятся со стороны саженная сухопарая фигура, суровое лицо главнокомандующего и миниатюрный, худенький Георгий, вытянувшийся в струнку и снизу вверх взирающий на своего кумира. Он — кумир,— всегда резкий и требовательный к офицерам, тут, при встрече, напомнившей молодость, оттаял и говорит вежливо, мягко, как умели все Романовы...

Убежденный, не ведающий сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной царской семьи. Как раз он был в числе офицеров, участвовавших в попытке ее спасти, был выдан и присужден к расстрелу. По какому-то случаю

его амнистировали, а спустя немного лет снова схватили.

Приговоренный к десяти годам, Георгий отбывал срок в рабочих корпусах Бутырской тюрьмы. Должность библиотекаря позволяла ему носить книги в больничную палату. Будто перечисляя заглавия иностранных книг, он по-французски передавал мне новости с воли, искоса поглядывая на внимательно и тупо слушающего нас надзирателя.

К именитому, старинному роду Осоргиных принадлежала св. Иулиания. Приверженный семейным традициям, Георгий наследственно был глубоко верующим. Да еще на московский лад! То есть знал и соблюдал православные обряды во всей их вековой нерушимости — пел на клиросах и не упускал случая облачиться в стихарь для участия в архиерейском служении...

Как-то Георгий зашел проститься.

— Слава Богу, удалось-таки выхлопотать перевод в лагерь,— с облегчением сказал он.— Отправят на Соловки. На Соловецкие острова! Чистое небо, озера... Святыни наши. Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа...

От него же я узнал: справлявшиеся обо мне в прокуратуре близкие подтверждают, что меня вышлют...

Воистину, «что нашего незнанья и беспомощней, и грустней...». Я отбыл на Соловках два неполных срока — и вернулся. Осоргин нашел там свою смерть. Вскоре после своего водворения в лагерь... «Кто смеет молвить «до свиданья» чрез бездну двух или трех дней?»

...В один день со мной такую же операцию аппендицита сделали моему соседу по койке Махмуду Мамедову, уроженцу Закавказья. Случайная и недолгая эта встреча запомнилась навсегда.

В то время в Бутырке их было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусаватистов. Цвет тюркской — по-позднейшему, азербайджанской — интеллигенции... Мне открылся мир неведомый и своеобразный. Мир небольшого народа, отчаянно отстаивающего свою самостоятельность. Свои традиционные воззрения и обычаи дедов.

Когда потом пришлось бок о бок жить с мусаватистами на Соловках, я видел, каким сыновним уважением окружены у них седоголовые, как заботливо следят старшие, чтобы никто не был обделен за братской трапезой, как внимательны к тем, кто ищет уединения для молитвы... По ним я мог судить, насколько далеко зашло за минувшее десятилетие одичание русского общества. Как ожесточились характеры по сравнению

с окраинным народом, куда позднее проникли и где на первых порах осторожнее внедрялись заповеди новой морали.

Смуглый, почти черный на белизне постели, Махмуд сидит, скрестив по-восточному ноги. Он рассказывает о своем крае.

Хотя Махмуд был учителем в районном городке, в нем так очевидна слитность с природой. И чудились мне в певучих интонациях его голоса приглушенные звуки пастушьего табора, разносящиеся над горными пастбищами и пустынными ущельями его родного Карабаха.

Веснами всей семьей, с барантой, коровами, с навьюченными домашним скарбом лошадьми откочевывали в горы, на пастбища, к заснеженным вершинам. И там, в шатрах, устланных коврами, подолгу жили, изготовляя сыры и молясь Аллаху. Месяцы жизни под близкими звездами, в сосредоточенной тишине пустынных гор — и осеннее возвращение в долины, к людям, в мир насилия и противоречий. Они вступали в него, и постепенно размывались накопившиеся в душе примиренность и покой, меркли ощущения сына земли, смиренно склоненного перед начертаниями правящей миром Высшей Духовной Силы...

События захлестнувшей Россию революции разливались по Закавказью, наслаиваясь на местные соперничества и национальную рознь. Обстановка эта развязывала руки для сведения счетов между кланами и общинами, для расплаты по старым обидам. Махмуд видел в преследовании мусаватистов кровавую расправу с личными врагами ставленника Москвы Багирова, тогдашнего азербайджанского проконсула.

Скупо рассказывал Махмуд об убийствах в бакинских застенках, о сопровождавших дознания избиениях и пытках. Следы их — темными пятнами, шрамами — были на всем теле Махмуда. Тогда эти наглядные свидетельства возвращения к приемам средневековья еще не укладывались в сознании, казались отражением нравов жестокого Востока. Какой-то тамерлановщиной, немыслимой в новой, Советской России.

Впоследствии пришлось достаточно насмотреться и на примитивно зверские, и на изощренные приемы выколачивания «показаний» на следствиях, да и самому пройти через достаточно мучительные искусы... Но тогда, в Бутырской тюрьме, мне даже трудно было поверить, чтобы говоривший со мной спокойный и так дружелюбно относящийся к нам человек испытал дыбу и недосчитывался зубов, выбитых сапогами...

Махмуд был искренен и прост. Мог отдать и последнее. Доверчивость его и доброжелательность удивляли.

...Обширное сводчатое помещение, где формировали

этап, походило на восточный базар. Из камер пригоняли сюда смуглых людей в смушковых папахах, обутых в мягкие кавказские ноговицы, нагруженных перинами и ковровыми сумками. Было тесно и шумно. Приветственные возгласы обнимающихся однодельцев с непривычки звучали оглушительно. Я успел выучить несколько фраз на тюркском языке, мог по складам читать арабские слова. На мои «салам алейкум» приветливо отвечали обступившие меня земляки Махмуда, крепко жали мне руку и сочувственно жестикулировали, давая понять, что друг их друга и им дорог и близок.

Разделенные языковым барьером, мы тем не менее ухитрялись выразить радость по поводу конца тюремного сидения, наивно надеясь на лучшее будущее в лагерях. Мусаватисты твердо верили в обещанный им режим политических. Сильные своей спаянностью, они были готовы за него бороться. Среди них были европейски образованные, знающие иностранные языки и историю революционного движения политические деятели, испытавшие гонения в царское время. Они ждали чего-то вроде поднадзорной жизни прежних ссыльных...

Я тоже не унывал, хотя всего неделю назад, расписавшись в ознакомлении с постановлением Особого совещания, порядочно пал духом: я готовился к ссылке[1], а присудили меня к трем годам заключения в лагерях с последующими ограничениями.

Отчасти утешило тщеславное рассуждение: в лагерь попадают все же личности, сочтенные опасными. Чем я хуже других? В конце концов, я иду по стопам Георгия, разделяю участь многих родственников и знакомых, порядочных людей, которым, говоря начистоту, не по пути с режимом, основавшимся на насилии, лжи и демагогии. Мы в лагере будем вместе — кучка несогласных, не сдавшихся и больше не обязанных притворяться и лгать. Навесили нам ярлыки «контриков» — так будем их достойны!

Не понюхав лагерей, я полагал, что заключенный там может быть самим собой, сохранить свое лицо. И не знал, что попадаю на Соловки в канун изменений, которые должны стереть

[1] Поясню современному читателю, не посвященному в оттенки тогдашней шкалы мер пресечения: ссылка отличалась от более легкой высылки. Последняя предполагала свободный выбор места жительства, из которого исключалось некоторое количество городов: был «минус шесть» (самое легкое), «минус двенадцать» и чуть ли не до «пятидесяти двух». Ссылка назначалась в отдаленные места и сопровождалась жесткой регламентацией передвижения, периодическими явками на регистрацию, ограничениями вида работы (исключались ответственные и административные должности, ссыльные пополняли кадры чернорабочих) и т. д.

без остатка следы сходства советских мест заключения с царскими политическими централами. Не знал, что скоро придется захлебнуться в современных удушливых эргастулах, отстаивая, забыв обо всем остальном, возможность элементарно порядочно себя вести, сохранить подобие человеческого облика!

Но что бы ни ожидало впереди, я при вызове на этап испытывал известное удовлетворение: признан политическим противником — не какой-нибудь проштрафившийся чиновник или схваченный за руку растратчик... Я могу и дальше прямо смотреть в глаза людям. Меня беспокоило, что значусь я осужденным по двум статьям: контрреволюционной — за агитацию — вполне меня устраивавшей; и по одному из пунктов 59-й, слывшей в обиходе бандитской; пункту, предусматривающему «незаконное хранение валюты». Основанием послужили отобранные у меня при аресте доллары, какими выплачивали мне в посольстве жалованье. Не бросит ли это, думалось мне, там, на Соловках, на меня тень в мнении «своих» — чистокровных контриков?

Если уж совсем глубоко разбираться в причинах приподнятого настроения, с которым я собирался на свой первый этап, надо сказать об испытываемом на воле неотступном чувстве пригнетенности, подспудной тревоги, переходящей в ожидание беды. Настораживали новости и слухи, взгляды встречных, всюду мерещились соглядатаи. Выбивали из колеи аресты знакомых и газетные глухие сообщения о «раскрытых заговорах». Суживались и рамки жизни; теснили «чистки», становилось трудно прописаться, выбрать работу. Анкеты все глубже всверливались в твою генеалогию, связи, занятия. Словом, чувствовал себя просвечиваемым и подозреваемым. Был окончательно задушен голос церкви, совершенствовались намордники, надетые на печать, сцену, суждения, юмор.

Впоследствии стало очевидным: освобождаясь из лагеря, попадаешь из ограниченной зоны в более просторную. Но тогда, в двадцать восьмом году, это было еще не вполне отчетливым предчувствием. И пусть я еще не был беспросветно затравлен, взнуздан, одурачен и обезличен, как с тридцатых годов, все же имел основание считать: променяв московское свое существование на Соловки, теряю не так-то много. И даже избавляюсь от заячьего своего житья.

Бодрость мою поддерживали и благополучно складывавшиеся условия этапирования. Лучшего состава и желать было нельзя. Уголовники, само собой, с нами были. Но по шакальей своей повадке шкодить только всей стаей, при явном перевесе сил, держались незаметно и даже угодливо.

Надзиратели и конвой потели, терялись, разбираясь в грудах формуляров с неизменными «Ибрагимами-Махмудами-Мустафами-Ахмедами-оглы». Обступленные темноволосыми, смуглыми людьми в одинаковых папахах и со сходными чертами восточных лиц, не говоривших или не желавших объясняться по-русски, тюремщики, уже не чая тщательным опросом самостоятельно установить личность сдаваемых с рук на руки арестантов, вверились старшине мусаватистов. И как же подобострастно подсовывали они ему бумаги, ограждали от напирающей толпы. Лишь бы не напутать, справиться к сроку: эшелон должен отойти по расписанию...

Нам с Махмудом из-за свежих швов нельзя носить вещи. И сколько же рук подхватило наши пожитки! Мы спокойно сидели в сторонке на груде барахла — кто-то подменил нас на «шмоне»: перетряхивал и укладывал наше добро под воровски быстрыми гляделками обыскивающих. В этой толпе «иноплеменных», так просто и естественно по одному доброму слову своего земляка включивших меня в свой братский круг, я сразу почувствовал себя очень надежно. И бойко объясняющийся по-русски Эйюб Ибрагимов, разрушаемый злой чахоткой молодой бакинский журналист с отбитыми легкими; и молча клавший мне на плечо руку седой муэллим — законоучитель,— не умевший словами выразить отеческое одобрение; и другие, чьи сочувственные кивки и знаки безобманно свидетельствовали искренность, привычку доверять и оказывать внимание незнакомцу, благожелательность,— все они держались как искренние мои друзья. Я до слез, остро и болезненно ощущал тепло человеческой общительности, уже утраченной нашим обществом, разложенным подозрительностью, завистью, натравливанием друг на друга...

* * *

Вышки, сколоченные из хлипких бревнышек. Пятачок площади, обнесенный оградой из колючей проволоки. На нем, возле примитивного дебаркадера, длинный низкий барак. Это Кемьский пересыльный пункт. Зловеще знаменитый Попов остров — «КЕМЬ-ПЕР-ПУНКТ», зона на каменистом и болотистом берегу Белого моря, недалеко от захолустного деревянного городка Кемь. Место пустынное[1], голое и суровое.

[1] Пересыльный городок с рядами бараков, выстроенных вдоль дощатых линеек, с издевательским кумачом «Добро пожаловать!» на воротах был выстроен позднее. В 1931 году в барак у дебаркадера уже не заводили.

Здесь комплектуют партии, переправляемые на остров. Кто погостил тут в конце двадцатых годов, никогда его не забудет...

Эта пересылка учреждена при основании Соловецкого лагеря, когда заключенных считали на десятки и скупые сотни. Сейчас тут столпотворение. Мой этап, окруженный вохровцами, сидит на камнях в стороне от зоны и следит, как идет прием опередившего нас эшелона. Только что выгруженных из теплушек заключенных, ошалелых и растерянных, с великой бранью и зуботычинами построили в колонну и бегом погнали на голый скалистый мысок. Там всем велели бросить узлы и чемоданы, и плечистые вахтеры начали многочасовое учение — муштровку с мордобоем. Мусаватисты встревожены. При выгрузке из вагонов и нас было приняли в кулаки. Однако по чьему-то распоряжению быстро отступились. И все же какой-то особый любитель потешиться над беззащитным успел в кровь разбить лицо замешкавшемуся пожилому врачу. Староста мусаватистов, атлетически сложенный, бешено налетел на охранника, смял его, швырнул на рельсы. И убил бы, не удержи свои...

Набежало начальство, последовали объяснения. Оцепившие платформу вохровцы защелкали затворами. Но, видимо, было приказано обойтись без кровопускания. Быть может, сочли целесообразным на первых порах уважить иллюзии «политических». Вскоре там — за глухими соловецкими стенами — можно будет отыграться сторицей! Переполох был все же большой. Тюрки совещались, вырабатывали тактику, какой бы оградиться от произвола. И наблюдали.

Более суток — первых лагерных суток — мы посвящались в лагерные повседневные порядки: зрителями сидели на валунах и смотрели, будто римляне со ступеней амфитеатра на арену цирка. У нас на глазах людей избивали, перегоняли с места на место, учили строю, обыскивали, пугали нацеленными с вышек винтовками и холостыми выстрелами. Падающих подымали, разбивая сапогами в кровь лицо. Отработанные ловкие удары кулаком сбивали человека с ног, как шахматную фигурку с доски... Трясется седая борода у проделывающего бег на месте коротенького старика с вытаращенными глазами на пунцовом лице; рядом не может подняться присевший по команде толстозадый мужчина и жмурится, отворачиваясь от затрещин; подальше тяжко пинают ногами молодого грузина, отказывающегося повторить упражнения. «Убивайте, сволочи!» — истерически кричит он. И его действительно бьют смертно...

Потеряно представление о времени. Ряды приплясываю-

щих на месте, прыгающих и приседающих новоявленных лагерников все чаще расстраивают падающие с нелепыми жестами фигурки, а неутомимые здоровяки в бушлатах все так же бодро похаживают между ими, расправляя плечи, особенно лихо и весело раздавая зуботычины и покрикивая: «Не к теще на блины, сукины дети, приехали, мать вашу так и мать вашу этак!»

В жемчужном небе за нежными облаками висит ночное солнце, серые безмолвные чайки пролетают над скалами; слышен ласковый плеск волн... Воздух над живой гладью моря свеж и целителен. И дико содрогается даль от отрывистого рева «здра!», без конца повторяемого измученными людьми, которых учат хором приветствовать начальника. Беззакатная ночь позволяла конвейеру действовать безостановочно...

Хватало дела и охранникам из заключенных. Эти дюжие, мордастые, отъевшиеся парни со знаками различия на рукавах, окрещенные зубоскалами-урками хлестко и непристойно, упарились и охрипли. Отбиты кулаки и сел голос — надо оправдать льготный паек, оказанное доверие! И не только это. Безнаказанно чинимое, поощряемое насилие прививает вкус к нему: бить и унижать становится потребностью. Всхлипы и стоны вызывают остервенение. Молчаливо сносимые удары — желание забить до смерти.

И хотя наш этап был отчасти пощажен — нас, когда рассосались потоки принимаемых и отправляемых, «оформляли» сравнительно спокойно, впечатление от такого цинически откровенного метода ударяло обухом по голове. Пусть память и хранила расправы и насилия первых лет революции, да и в тюрьме не миндальничали, но еще не приходилось убеждаться, чтобы произвол возводился в систему. Да к тому же развернутую в таких масштабах...

Сознание своей артельности поддерживало в мусаватистах надежду отстоять права «политических». Я же знал: увиденное — это отражение моей участи.

...Осматривавший этап лагерный врач, грубо и нетерпеливо сорвав прилипшие повязки, освободил меня на три месяца от общих работ. На первых порах это ограждало от тяжелых испытаний. Но в ушах стояли матовые стуки ударов и падений, беспощадная брань и угрозы; но перед глазами — искаженные лица избиваемых, не видящих конца кошмару!

«Тут Соловецкий лагерь особого назначения, там-тара-рам, пере-там-тара-рам! — лихо неслось над онемевшей толпой.— Тут по струнке ходить будете! Дурь выколотят!» И выколачивали. А с «дурью» и душу живу.

Соловецкий лагерь особого назначения... сокращенно СЛОН. Изображение этого мудрого и кроткого животного сделалось официальной эмблемой лагеря.

И вот я — уже заведенный в зону Кемьперпункта зарегистрированный зэк на списочном составе Соловецкого лагеря. В бараке мне указано место на нарах, где, по прочно внедрившейся лагерной традиции, все лежат на боку и повертываются по команде. Прошло несколько дней, и я не чаю, когда выкликнут меня на этап. Многих из прибывших со мной отправили. И в первую очередь — неудобных, строптивых мусаватистов. Лица кругом все новые, появляются и исчезают в лихорадочно дергающемся ритме. Как «инвалид» я лагерю не нужен; как трехлетник с ерундовой статьей — не предмет попечения и забот ИСЧ (информационно-следственная часть — лагерный сыск), сосредоточенных на большесрочниках, и меня не торопятся отправить отсюда, с пересылки.

Колючая проволока охватывает площадку не более 100×100 метров. В бараке — узкий проход и двухэтажные сплошные нары под низкой крышей. Я еще настолько зелен, что не могу даже днем ненадолго прилечь из-за фантастического количества клопов. Они ползут по стойкам нар сплошными вереницами, как муравьи по стволу полюбившегося дерева.

Преодолеть брезгливость невозможно, хотя усталость и валит с ног. Я выхожу на улицу — к тем, кто, подстелив что попало на камни с влажными ямками между ними, устраивается там спать. Тут другой враг: тучи комаров, какие еще не приходилось видеть. Северный тундровый гнус, от которого нечем — да еще и не умеешь — оборониться. Как ни закутывайся и ни прячься, комары проникнут и доймут. Тонкое «з-з-з-з» над ухом — и уже ждешь, настороже. И нельзя ни заснуть, ни уйти в мечтанья. Подумать только: спустя несколько лет, в глухих зырянских болотистых лесах, я уже не замечал их...

С подлинным ужасом слежу за дневальным — всклокоченным мужиком в неописуемых лохмотьях с потемневшим, покрытым коростой лицом и свирепыми непогасшими глазами. Он не говорит по-человечески, только хрипло матерится. Получая хлеб в каптерке на барак, умудряется урвать себе несколько паек. И прячет их в заношенных обносках, грудой наваленных в его углу. Когда, согнувшись над лоханкой с баландой, словно заслоняя ее всем телом, он сидит там и, чавкая, давясь, жадно и торопливо ест, то кажется, подойти ближе — зарычит и покажет зубы. И этот изъеденный насекомыми, утративший человеческое подобие отверженный шалеет и суетится, лишь

начинают выкликать на этап: боится, что его стронут с места! Он уже два года дневалит в этом бараке... И перемен не хочет ни за что.

Свыкнуться с этим кошмаром! Жить не в грозном, фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду — помойной яме?! В клоаке, смрадном загоне, выворачивающем наружу подлую изнанку существования, заставляющем дышать испарениями скученных немытых тел, уложенных сплошным слоем на липких, почерневших от грязи горбылях? В аду, перед которым знаменитый «Cour des miracles»[1] — чинный опрятный пансион.

И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет... Но это наблюдения уже прошедшего не через один лагерь человека. Тогда же я был еще новичком, не поборовшим предрассудков и предубеждений, внушенных воспитанием. С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... И не мог решиться лечь!

В какой-то мере эта закваска, полностью никогда так и не выветрившаяся, служила источником дополнительных осложнений. У охранников всех рангов она вызывала зуд — выкорчевать этакое неположенное чистоплюйство. Но она же помогла мне и сохраниться. И, испытывая танталовы муки голода, я не мечтал попастись на отбросах; не соблазнялся самокруткой за пайку; и в невозможных условиях ухитрялся мыть руки, следить за собой; всегда считал для себя исключенными всякие «мастырки» — членовредительство, снадобья, обморожение, на время спасающие от тягот... Словом, не шагнул на ту нижнюю ступеньку, с которой рукой подать до лагерного шакала, доходяги-фитиля или до одичавшего дневального с Кемьперпункта...

На улице, кроме комаров, были и «попки», как метко прозвала лагерная братия нахохленных и важных караульщиков, порасставленных на вышках. Их надо всегда остерегаться: они могут застрелить запросто. Не только — Боже упаси! — нельзя подойти к проволоке ближе запретных метров, что всегда сошло бы за «попытку к бегству». Но и трижды не дай Бог привлечь их внимание и раздразнить, даже держась на узаконенном расстоянии. Пуля могла достать и тут.

А как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. С вышек беспорядочно палили. У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как ухитрился чеченец

[1] Двор чудес *(фр.)*.

проползти под проволокой? Кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железку — так, что тот рта не успел раскрыть? Ведь было светло, как днем.

Со смельчаком ушли еще двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно; прячась за камни, перебегая, ползя юрко и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули — чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого.

Тело лежало под вышкой, в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди: зэки по одну сторону проволоки, обескураженные «попки» — по другую. У заключенных в то утро был более бодрый вид. Зато охрана — в отместку — не знала удержу...

...Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они не называли своего имени, на все вопросы ответ был один: «Бог знает!»; отказывались работать на антихриста. И никакие запугивания и побои не понудили их «служить» злу, то есть власти, распинавшей Христа. И охранники отступились. Но побег, за которым последовали выговоры и упреки сверху — «Просмотрели! Распустили!»,— подхлестнул служебное рвение.

И вот кучку державшихся вместе исхудалых, оборванных и немых сектантов загнали в угол зоны и, связав руки, поставили на выступающий валун. Было их человек двадцать: два или три старца с непокрытой головой, лысых и седобородых; несколько мужчин среднего возраста — растерзанных, с ввалившимися щеками, потемневших, сутулых; подростки, какими рисовали нищих крестьянских пареньков передвижники; и три нестарые женщины в длинных деревенских платьях, повязанные надвинутыми на глаза косынками. Как случилось, что сектанток не отделили, а держали в нашей зоне? Быть может, специально привели из женбарака, стоявшего неподалеку.

Командир распорядился: стоять им на валуне, пока не объявят своих имен и не пойдут работать. Тройке стрелков было приказано не давать «сволоте» шевелиться.

Строптивцев поставили «на комары» — так называлась в лагере эта казнь, предоставленная природе. Люди как бы и ни при чем: север, болота, глушь, как тут без комаров? Ничего не поделаешь!

И они стояли, эти несчастные «христосики» — темные по знаньям, но светлые по своей вере, недосягаемо вознесенные ею. Замученные и осмеянные, хилые, но способные принять смерть за свои убеждения.

Тщетно приступал к ним взбешенный начальник, порвал на ослушниках рубахи — пусть комары вовсю жрут эту «падлу»! Стояли молча, покрытые серым шевелящимся саваном. Даже не стонали. Чуть шевелились беззвучно губы.

— Считаю до десяти, ублюдки! Не пойдете — как собак перестреляю... Раз... два...

Лязгнули затворы. Сбившиеся в кучку мужики и бабы как по команде попадали на колени. Нестройно, хрипло запели «Христос воскресе из мертвых...». Начальник исступленно матерится и бросается на них с поднятыми кулаками.

Продержали их несколько часов. Взмолились изъеденные стражи. И начальник махнул рукой: «А ну их к...»

О пытке комарами мне приходилось читать в книгах о краснокожих Америки, Леонов рассказал в «Барсуках», что к ней прибегали озверевшие деревенские богатеи. Теперь я знал, как это делается. Потом, на острове, мне пришлось не раз видеть эти окаянные комариные пиршества.

* * *

Снова ощущаю благодетельные последствия вспоротого в тюрьме брюха. Меня, как инвалида, не спускают в трюм корабля, а оставляют на палубе. Я сижу, предоставленный себе, на своем «сидоре» — бауле с пожитками. Тут же бутырский сокамерник — инженер Литвиненко. Он затих, усевшись с поджатыми под себя ногами, и лишь иногда по инерции тихо шепчет и вздыхает. Вообще он непрерывно плачет и причитает. На тюремном жаргоне — «косит на психа». Я тоже подозреваю, что он прикидывается. Во всяком случае, предельно растравляет и преувеличивает свое нервное расстройство.

«Миленькие мои,— целыми днями рыдал он в камере после приговора: трех лет лагерей.— Да за что мне такое? Следователи мои дорогие, хорошие мои люди, всегда уважал вас, любил, а-а-а, Советскую власть вот как люблю, о Ленине плачу! Нет его, заступника...» Он всхлипывал у двери, в глазок, чтобы слышал коридорный, охал и стонал, китайским болванчиком раскачивался на нарах. И всем надоел. Его одергивали и бранили, урезонивали, стыдили. Он же только продолжал повторять свое «Миленькие вы мои!», обливаясь слезами.

Внезапная перемена — Литвиненко до того сыпал приба-

утками, посмеивался, с аппетитом ел — не убедила тюремного врача. Его продержали десять дней в больнице и, признав психически здоровым, отправили на этап.

В Кемьперпункт он прибыл вскоре после меня. И там уже прочно вошел в роль расслабленного юродивого. Роль, самую неблагодарную в лагерной обстановке. Отказчик и «филон» для нарядчика и охранников, он — беспомощное ничтожество в глазах зэков, затравленных и потому ищущих, над кем безнаказанно поиздеваться. «Психов» обирают до нитки, загоняют в самый грязный угол, выталкивают из очереди за баландой. Самые бессовестные отнимают пайку.

И «психи» быстро доходят — становятся «фитилями», слюнявым, грязным и вшивым отребьем, какое свозят на пропащие инвалидные лагпункты, а оттуда — в яму...

На палубе, кроме нас, нет никого, и Литвиненко замолк. Сидит, не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Разумеется, он болен: мешки под глазами, отечное лицо, дряблые щеки. Три месяца назад это был румяный здоровяк. Поговорить с ним? Отклонить от затеянной безвыигрышной затеи? Но с первых моих слов он начинает плаксиво причитать. А обстановка слишком исключительна, чтобы долго хлопотать о судьбе этого горюна.

Боже мой! Облитая солнцем гладь моря, свежий его запах, наносимый ветром, легким и ласковым... Вереница мягких сверкающих облаков, улегшихся у самой воды. Крупные чайки лениво машут крыльями, летят рядом, так близко, что различаешь всякое перышко... Простор, воля! Корабль идет плавно и бесшумно, скользит по бесконечной равнине, оставляя позади белеющую пеной дорогу, не исчезающую, сколько хватает глаз. День жаркий, но от воды тянет прохладой. И все вокруг — свет, тепло, тишина — охватывает, словно ласковыми руками, баюкает, врачует...

Но язвит душу память о бараке и его грязи, о стойкой пронзительной вони скученных тел, заношенного платья и давленых клопов. Вечной зарубкой на сердце — память об измученных, распухших от укусов лицах, о подростке с крепко закушенной губой и размывшими кровь на лице слезами... Память о конвоирах, ударами приклада наотмашь — куда попадет! — подбадривающих выводимых за зону арестантов. Об «убитых при попытке к бегству»...

...С настойчивостью отчаяния приступал этот паренек к нарядчику. Я прислушался. И всего-то вымаливал он разрешение идти на работу с другой партией! Невзлюбил его конвоир и, если отправят на работу с ним,— застрелит. Не перевели. Как

бедняга ни втискивался в середину строя, ни хоронился, конвоир таки подкараулил, когда тот неосторожно отделился за нуждой. И застрелил — в двух шагах от строя. При попытке к бегству, разумеется...

Только что оставленный подлый и грязный — ничего возвышенного — ад не покидает меня и здесь, на палубе. А тут еще этот малодушный, слабый человечек, уцепившийся за юродство, как за спасение. Досадно за собрата-интеллигента, играющего такую комедию, применяемую уголовниками, но и осуждать не велит совесть: не хватило стойкости!

Из-под вздетого форштевня обозначились очертания берега — темной неровной линии над обрезом моря — с четким белым пятном строений. Как ни мало интересовались мы, русские люди начала века, историей своей церкви, как ни равнодушно, а то и предвзято, ни относились к монашеству,— обаяние Соловецкого монастыря пережило наводнение трезвых позитивных воззрений. И в то безвременье молва о тунеядцах монахах, корыстью, ленью и блудом порочащих православные обители, обходила Соловецкую. И в чуждом древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках — строгий устав и чин служб едва не дониконовские. Что туда стекаются мужики из разных губерний — молиться и работать на святых угодников Зосиму и Савватия. А когда началась война с Германией, монастырь откликнулся по-минински: тряхнул богатой казной, открыл в столице лазарет на шестьсот коек. По примеру монастырей XVII века — оплотов веры и государства — жертвовал отечеству крупные суммы.

Вход в бухту вешили каменные глыбы с огромными крестами из лиственницы. Открылись белые силуэты обезглавленных соборов и колокольни. Купола заменены пирамидальными тесовыми крышами. Но неизменными, такими же, как на старых гравюрах, высились на монастырской стене тяжелые башни с конусным верхом. Эта сложенная из гранитных валунов ограда, казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь ее видеть, первое впечатление — вечности созданного — не сглаживалось.

Прежние путешественники на Соловецкие острова рассказывали о слезах, о сиявших счастием лицах богомольцев, при виде седой обители забывавших беды многотрудной жизни. Я был слишком человеком своего времени, закрытым для подобного просветления, и все-таки... И все-таки с невольным трепетом всматривался в несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым покушениям...

Корабль вплыл в тень каменных громад монастыря. Этап,

сбиваемый кулаками, оглушаемый святотатственной бранью, сошел на берег. И еще сильнее, чем на палубе, я ощутил, что здесь святыня длинной чреды поколений моих предков: точно незримо реяли вокруг их душевные устремления, их смиренные помыслы.

Кто искал здесь утешения, приходил за очищением, кто усердной молитвой и обращением к религиозным началам жизни надеялся помочь людям в их скорбях. Почти шесть веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы. Молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно веровавшие в добрую людскую суть. И тщились побороть силы зла, вывести к свету и радости с темных перепутий жизни.

Теперь, что не стало больше окутывавшей остров оберегаемой от века тишины; что место смирных монахов и просветленных богомольцев заступили разношерстные лагерники и свирепые чекисты; что уже меркли тени прежних молельников за Русь и на развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа,— душа и сердце продолжали испытывать таинственное влияние вершившейся здесь веками жизни... несмотря ни на что! Влияние, заставлявшее вдумываться в значение подвига и испытаний.

* * *

В Преображенском соборе находилась тринадцатая — карантинная — рота: сюда помещали привезенных на остров этапников.

Нары в три яруса заселены сплошь. Люди шевелятся как тени, говорят вполголоса, и тем не менее в высоком куполе древнего храма этот сдержанный шум и случайные возгласы отдаются несмолкаемым гудением... Некий чудовищный улей.

Улей этот в непрерывном движении: одних угоняют, другие поступают, соседи то и дело меняются. Много преступников — воров и убийц, однако здесь же и тесные кучки мужиков в тяжелых овчинных полушубках: они крепко держатся друг друга. В темные углы забились сектанты с изможденными лицами, лихорадочными глазами и нательными крестиками, сделанными из связанных ниткой палочек, висящими на гайтанах из женских волос. Попадаются старцы с сенаторскими бакенбардами и старомодными пенсне на потертом шнурке.

Окрики вахтеров заставляют всех оторопело вскакивать, бестолково бросаться с готовностью выполнить любое прика-

зание. Одни сектанты сидят по-прежнему отрешенными, словно ничего вокруг их не затрагивает.

По проходу между нарами медленно идет в окружении целой свиты начальник пересылки — легендарный Курило, с ногами колесом, как у заправского кавалериста, и со стеком в руке. У него неторопливые жесты, негромкий голос, глаза прищурены. Иногда он, приостановившись, начинает когонибудь пристально в упор разглядывать. Молча. И вдруг молниеносно хлестнет наотмашь стеком, норовя рассечь лицо. Потом продолжает обход.

И каждую ночь в бывшем притворе происходят расправы. Оттуда доносятся вопли и выволакивают в кровь избитых людей. Их бросают в карцер — огромное подземелье под собором.

Но вот Курило остановился против меня. Я сижу на краю нар. Разглядываю его сблизи. У него подчеркнуто офицерская выправка, он слегка подергивает обтянутой галифе ляжкой, небрежно играет стеком. На нем тонкие кожаные перчатки — не марать же руки!

— Не вставайте, ради Бога,— предупреждает он мою попытку подняться перед начальством. Курило слегка, по-петербургски, грассирует.— Мне про вас говорили. Я тоже петербуржец, хотя служил в Варшавской гвардии...

Мы вспоминаем Петербург, находим общих знакомых, называем дома, где обоим приходилось бывать,— мир тесен! Курило, оказывается, второй год в заключении, устроен сносно, «насколько возможно в этих условиях, ву компренэ...», и готов оказать содействие. Пять минут назад он на моих глазах хлестал по лицу, кощунственно матерясь, подвернувшегося старого еврея, вероятно, провизора или мелкого почтового чиновника в прошлом.

— С этой сволочью иначе нельзя, ничего не поделаешь!

О, лагерное начальство знало, что делало, когда порасставило одних заключенных надзирать за другими, поощряя при этом самых ревностных и жестоких, готовых служить безотказно. Находились садисты, обретшие в ремесле палача свое призвание. Рассказывали, что Курило лютовал еще в гражданскую войну, будто бы мстя за изнасилованную красноармейцами невесту и истребленную семью. Как бы ни было, в его лице проглядывало что-то опасное и сумасшедшее... Разумеется, таким «бывшим», как я, со стороны Курило и его подручных ничего не грозило, разве пришлось бы выполнять прямое приказание начальства. И когда он, вежливо приложив руку к фуражке, отошел, я почувствовал облегчение.

В карантинной роте я не пробыл и трех полных суток. Под вечер третьего дня в собор пришел санитар с предписанием забрать меня в лазарет. Я поспешил за ним, провожаемый завистливыми взглядами окружающих. Темнело, и в проходах между нарами уже похаживали вахтеры, прикидывая — с кого начать и что отнять. Уже были разбитые в кровь лица, отобранные вещи, уведенные в застенок жертвы...

Ворожил мне Георгий. Был он делопроизводителем лазарета — правой рукой главного врача Эдиты Федоровны Антипиной, умной и властной дамы из семьи состоятельных московских немцев. Она заставила лагерное начальство с собой считаться, держалась достойно и независимо. Знающий врач, она и свою санчасть наладила отлично. Расторопный, по-военному пунктуальный Георгий был ей ценным помощником.

Работал он с редким в лагере рвением: служба давала ему возможность делать пропасть добра. Не перечесть, сколько выудил он из тринадцатой — карантинной — роты священников, «бывших», беспомощных интеллигентов! Укладывал их в больницу, избавлял от общих работ, пристраивал в тихих уголках. И, зная, насколько это способствование «контре» раздражает начальство, Эдита Федоровна неизменно помогала своему верному адъютанту. Георгий спасал — она выдерживала попреки сверху. И отстаивала раз взятых под покровительство. Зато, когда время пришло, и отыгралось же начальство за свои уступки...

В стареньком кителе и фуражке, надетой на манер, выдававший за версту кадрового кавалериста, Георгий весь день сновал между лазаретом, ротами, управлением, добиваясь облегчений, переводов, пропусков, льгот.

Я был одним из многих, кто благодаря его участию счастливо миновал чистилище — длительный и обязательный искус общих работ — и сразу оказался устроенным; стал ходить «в должность» — статистом санчасти. Осоргин же помог мне поселиться в монастырской келье. Можно было жить чисто, неприметно, тихо. До поры, разумеется. Потому что зыбко лагерное благополучие.

Жили мы втроем. Келья наша была на втором этаже здания, выстроенного еще в XVIII веке. Двойная, отгораживающая от всякого шума дверь в коридор. В двухаршинной толще стены — крохотное окошко. Обращено оно в узкий проход между Преображенским собором и нашим приземистым корпусом — бывшим Отрочьим. Тишина глухая — и ни один звук снару не проникает: должно быть, сюда и в старое время едва доносился колокольный благовест. Монахи могли

погружаться в молитву и размышления, отрешаться от всего сущего на земле. Ждать праведную кончину.

В подобных кельях жили наши святители: Илларионы, Петры, Сергии, Филиппы, Гермогены... Писались поучения и летописи, «Слова»... Нет, не немы эти стены!

Тут настолько обособленно, что и нам, нынешним келейникам, можно забыть про гудящие соборные своды, отражающие тысячи голосов, про кучки, вереницы и толпы снующих всюду, спешащих и отправляемых людей.

Нас, как я упомянул,— трое. Бухгалтер управления — старый байковский служащий из Киева, ненароком зачисленный в белые офицеры. Он не склонен задумываться над тем, что обусловило его водворение в лагерь, как и меня, на три года. Он работает в привычной конторской обстановке, за столом со счетами. Имеет пропуск в «управленческую» столовую, поселен очень сносно. О чем тужить? Чего ждать?.. Я смутно запомнил этого человека, в общем-то легкого для совместной жизни, воспитанного и молчаливого. И начисто забыл его имя. Зато другого своего сокелейника я сейчас словно вижу и слышу.

Был он с виду типичный русский батюшка — добродушный, полный, приземистый, приветливый. Небольшая бородка и мягкие пухловатые руки.

— Ну что тут у вас? — говорил с порога кельи отец Михаил.— Что хорошего слышно?

Непременно хорошего! Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни. Эта расположенность — видеть ее доброе начало — передавалась и его собеседникам: возле него жизнь и впрямь казалась светлее. Не поучая и не наставляя, он умел рассеять уныние — умным ли словом, шуткой ли. Не прочь был пошутить и над собой.

Отец Михаил нисколько не погрешал против истины, говоря, что не тяготится своим положением и благодарит Бога, приведшего его на Соловки. Тут — могилы тысяч праведников. И молится он перед иконами, на которые крестились угодники и подвижники. Вера этого ученого богослова, академика, была по-детски непосредственной. Верил он всем существом, органически.

Из нашего каждодневного общения я вынес четкое впечатление о нем как о человеке мудром и крупном. По манере жить, умению входить в дела и нужды других можно было судить о редкостной доброте — той, что с разумом. Его находчивость и острота в спорах позволяли представить, как блистательны

были выступления депутата Государственной Думы священника Михаила Митроцкого с ее трибуны.

...Духовенство на Соловках поголовно зачислялось в роту сторожей. Отец же Митроцкий подшивал бумаги в какой-то конторе Управления. На работу он ходил в военного покроя тужурке и сапогах. Вечером же надевал рясу, скромную скуфью и шел за монастырскую ограду. В кладбищенской церкви святого Онуфрия регулярно отправляли службы немногие оставленные на острове монахи.

В двадцать восьмом году еще разрешалось заключенным — духовным лицам и мирянам — посещать эти службы. Православным был отведен храм на погосте. Прочим вероисповеданиям и сектам — часовни и церкви, каких много было разбросано вокруг монастыря.

Вечером закрывались «присутствия» и «рабочая» жизнь лагеря замирала. Удивительно выглядела в это время неширокая дорога между монастырской стеной и Святым озером. Глядя на идущих в рясах и подрясниках, в клобуках, а то и в просторных епископских одеждах, с посохом в руке, нельзя было догадаться, что все они — заключенные, направляющиеся в церковь.

Мерно звонил кладбищенский колокол. Высокое северное солнце и в этот закатный час ярко освещало толпу, блестело на глади озера. И так легко было вообразить себе время, когда текла у этих стен ненарушенная монастырская жизнь...

Мы шли вместе с отцом Михаилом. Он тихо называл мне проходящих епископов: преосвященный Петр, архиепископ Задонский и Воронежский; преосвященный Виктор, епископ Вятский; преосвященный Илларион, архиепископ Тульский и Серпуховский... Тогда на Соловках находилось в заключении более двадцати епископов, сонм священников и диаконов, настоятели упраздненных монастырей.

— Думаю, настало время,— говорил отец Михаил,— когда русской православной церкви нужны исповедники. Через них она очистится и прославится. В этом промысел Божий. Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков. Ведь и сейчас они для нас — надежная веха... Вот и вы — петербургский маловер — поприсутствуете на здешних богослужениях и сердцем примете веру. Она тут в самом воздухе. А с ней так легко и не страшно... Даже в библейской пещи огненной.

Службы в Онуфриевской церкви нередко совершало по нескольку епископов. Священники и диаконы выстраивались

шпалерами вдоль прохода к алтарю. Сверкали митры и облачения, ярко горели паникадила... В двух хорах пелиис кусные певчие — оперные актеры. Богослужения были приподнято-торжественными, чуть парадными. И патетическими. Ибо все мы в церкви воспринимали ее как прибежище, осажденное врагами. Они вот-вот ворвутся... Так семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире.

...Слева от амвона, всегда на одном и том же месте, весь скрытый мантией и куколем с нашитыми голгофами, стоял схимник. Стоял не шелохнувшись, с низко опущенной головой, немой и глухой ко всему вокруг — углубленный в себя. Много лет он не нарушал обета молчания и ел одни размоченные в воде корки. Годы молчания и созерцания. Ему не удалось уйти в глухой затвор: камеры, в которых замуровывались соловецкие отшельники, находились под угловыми главами Преображенского собора, обращенного в пересылку. И я гадал: задевает ли схимника происходящее вокруг? Не подтачивают ли его мир разрушившие Россию события? Или они для него — незначащая возня у подножия вершины, на которую вознесла его углубленная беседа с небом?..

С клироса, глазами пронзительными и невидящими одновременно, озирал стоящих в храме иеромонах. Лицо его под надвинутым на брови клобуком — как на древних новгородских иконах: изможденное, вдохновленное суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклоняться от пенья по крюкам. Знаменитые столичные диаконы при нем не решались петь молитвы на концертный лад. Еще об этом монахе знали, что был он из вятских мужиков-богомольцев, приехавших на месяц по обету потрудиться на Соловках. И прожил здесь пятьдесят лет.

Суриков написал бы с него стрельца — непреклонного, для которого дьявольское в любом новшестве. Мы все были для него пришельцами, несшими гибель его святыне.

В церкви, освещенной огнями паникадил и лампад, тесно. Слова и напевы тысячелетней давности, покрой риз и облачений заповедан Византией. Кто знает — не надевал ли эту самую епитрахиль или фелонь Филипп Колычев, соловецкий игумен, а потом — митрополит Московский и всея Руси, задушенный Малютой в Отрочьем монастыре в Твери? Нет ли в этой преемственности и незыблемости отпечатка вечной истины? Какие неисповедимые пути привели столько православного духовенства сюда, в сложенную из дикого камня твердыню россиян на севере — седую соловецкую обитель? Не

воссияет ли она отныне новым светом, не прославится ли вновь на длинную череду столетий?

Эти мысли тревожат сознание — веришь и сомневаешься... Отрадно бы обрести опору в трудной жизни — не стояла ли некогда и не выстаивала ли Россия на твердой вере? Или все не так, а попросту — поток революции смыл и похоронил старую Россию, а церковь словно уцелела, вот и родилась иллюзия, что она способна, как дуб, выстоять в любое лихолетье?..

Прервалось пение на клиросах. Старческий, слегка дребезжащий голос призывает молиться за «страждущих, плененных и сущих в море далече». При этих словах к горлу подступает комок. Да, да, именно про нас: плененные, кругом плещет студеное Белое море... «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вас...» И эти слова заставляют тянуться к некоей благодатной и всемогущей силе, способной защитить, укрыть от захлестнувших мир зла и насилия. Эти короткие, как приступ головокружения, минуты умиления сменяются возвращением к трезвой оценке бытия... К евангелию в потемках церкви сквозь притихшую толпу пробирается, набожно крестясь, комендант пересылки Курило, целует образки на переплете...

Службы были долгими. Мы выходили из церкви, когда вокруг уже лежал светлый покой летней беломорской ночи. В необычном освещении ряды одинаковых крестов не отбрасывали тени и выглядели призрачными. Непотревоженно лежал под ними столетиями прах почивших в Бозе иноков. Монахи не запускали ни одной могилы — и самой древней; обновляли крест с надписью и холмик. Можно было отслужить панихиду по останкам монаха XVI века. Такая преемственность казалась несокрушимой... И становилось страшно. Страшно за будущее своего отечества, своего народа, отлученного от своих отцов — их веры, дел, обычаев, забот...

* * *

...Сверкают белизной стены корпусов со средневековыми названиями — Отрочий, Рухлядный, Квасоваренный. Громада соборов Соловецкого ставропигиального монастыря как будто излучает свет. В ограде часть обширных мощеных дворов обращена в цветник с отлично ухоженными клумбами, скамьями вдоль разметенных, посыпанных песком дорожек.

В погожий летний день тут настоящее светское гулянье: прохаживаются и сидят люди с отличными манерами. Они учтиво друг с другом раскланиваются, благовоспитанно

разговаривают вполголоса, нередко вставляя французские слова. Если случится пройти тут даме из женбарака, знакомые очень изысканно целуют ей руку. У большинства этих светских людей вид потрепанный и болезненный, на них одежда, обтершаяся на тюремных нарах, но держатся они чопорно и даже надменно. Это — защитная реакция упраздненных, попытка как-то удержаться на краю засасывающей лагерной трясины, предохранить что-то свое от размывания мутной волной обстановки, прививающей подлую рабскую психологию. Хлипкая внешняя преграда...

Церемонность этих людей только подчеркивает их немощность и обреченность. Здесь бывшие сановники и придворные, бывшие правоведы и бывшие лицеисты, бывшие помещики и офицеры, бывшие присяжные поверенные, кадеты, актеры... Все бывшие, для которых нет будущего.

Я много моложе большинства этих людей — они принадлежат предшествующему поколению,— и потому, вероятно, лучше отдаю себе отчет в непоправимости происшедшего. Как-то до меня донеслось: «Мы с вами еще послужим...» Это, доверительно пожимая локоть собеседника, произнес, заключая разговор, седой, очень благообразный господин в заплатанной куртке английского покроя, бывший дипломат, которого мне потом называли. Нет, невозможно было его представить себе в черном с золотым шитьем мундире царского посла, как уже не вписывались в память золоченые купола монастыря, замененные дощатыми четырехскатными крышами...

В этот мой первый соловецкий срок я не мог в полной мере проникнуться горечью и жутью лагерной жизни. После впечатлений тюрьмы и пересылки настали дни, наполненные делами и интересами, позволявшими отвлечься от бесплодных, трудных раздумий и сожалений. Создался некий внутренний мирок, за пределы которого можно было не заглядывать — творившееся там словно не касалось меня непосредственно. То была передышка, период иллюзий, отгораживавших от истинного положения. Эти иллюзии питались чисто внешне благоприятными обстоятельствами.

Заботами оставшихся на воле близких и не забывавшего меня посольства, я ни в чем не нуждался. Был отлично одет и обут, располагал запасом «бонов» — соловецкой валюты — для лавки, прачки, на прихоти. Пожалуй, никто из соловчан в те поры чаще моего не ходил в контору за посылками.

Работа не требовала особых усилий — я бывал свободен и большую часть присутственного времени. Присвоенные же моей должности прерогативы позволяли невозбранно выхо-

дить за зону — ограду монастыря. Более того — бродить по всему острову.

С лишком год после моего водворения на Соловки — до зимы двадцать девятого — тридцатого, открывшейся Варфоломеевской ночью, массовыми убийствами заключенных — пятьдесят восьмая статья, иначе говоря, «бывшие» в широком значении, не подвергалась последовательной травле. Наоборот, контрики ведали хозяйственными учреждениями, возглавляли предприятия, руководили работами, управляли складами, финансами, портом, санчастью; заполняли конторы. Комендатура — внутренняя охрана лагеря — комплектовалась бывшими военными.

Такое доверие «бывшим» оправдывалось: они не воровали, порученное им выполняли на совесть. И начальство сквозь пальцы смотрело на исподволь отвоевываемые ими для себя привилегии: общие помещения и физическая работа сделались уделом бытовиков. Проштрафившегося или неполюбившегося контрика отправляли на общие работы и поселяли на нарах.

В предоставленную себе лагерную элиту входили люди самых разных сословий и состояний. Исключались из нее одни стукачи. «Падших ангелов» — разжалованных партийных и советских деятелей — в те годы еще не отправляли в лагеря наравне с нами, не было и представителей новой, послереволюционной интеллигенции. По статье 58 УК поступали в подавляющем большинстве одни «бывшие» — дворяне, чиновники, военные, духовенство, принадлежащие торгово-промышленному сословию и прежним интеллигентным профессиям. Принятый в замкнутый соловецкий круг бывал негласно проверяем. Его прошлое, связи, знакомства подвергались просвечиванию.

Мне пришлось испытать это на себе.

...На первых порах встречен я был сочувственно и с доверием. Достаточной рекомендацией служили хлопоты обо мне Осоргина. А скоро нашлись и связующие нити знакомства. Так, бывало, бабушка моя, Елизавета Андреевна Левестам, усаживала рядом с собой гостя и не отпускала, пока не устанавливала общей родни, хотя бы в четвертом колене.

На острове находилось несколько бывших флотских офицеров и гардемаринов. С ними мне — правнуку известных адмиралов Лазаревых — было легко установить контакты. Они все знали адмирала Андрея Максимовича Лазарева, двоюродного брата моей матери, его сына моряка Максима, Авиновых и других членов тесного круга военных моряков.

Однако вскоре я стал замечать в обращении со мной холодок, некую уклончивую осторожность. А со стороны некоторых — и подчеркнутую неприязнь. Клубок пришлось распутывать Георгию.

— Сел по бандитской статье и еще удивляется... Как же тут не насторожиться? Ты, может, кассы взламывал...— шутил он, но за «расследование» взялся всерьез. И вот что выяснилось.

Была на Соловках небольшая группа заключенных филологов. Из них ближе я знал Николая Греча, безнадежно больного чахоткой молодого человека, резкого и озлобленного. Сразу после ареста его оставила обожаемая жена, а с приговором — десяткой лагерей — исчезла надежда завершить когда-либо увлекавшее научное исследование.

Все филологи считали, что своим водворением на остров они обязаны Юрию Александровичу Самарину, сотруднику их института, исправно несшему службу осведомителя. Он несусветно оговорил всех на следствии, топил на очных ставках. Греч и его приятели, установив близкие мои связи с семьей Самариных, знакомство с Юшей, как звали Юрия Александровича в московских уцелевших гостиных, заключили: остерегаться надо и меня. Знающему мою подноготную Георгию пришлось, чтобы рассеять распространенное жертвами Юрия Самарина подозрение, поручиться за меня. Впоследствии Греч рассказывал подробности очных ставок, на которых Самарин уличал своих сослуживцев в контрреволюционных замыслах.

— Слава богу,— говорил Георгий,— что нет в живых Александра Дмитриевича. Что бы с ним было? Узнать такое о единственном сыне, надёже рода... А каково будет Лизе? Ведь об этом надо дать знать в Москву, предостеречь. И такое могло случиться в семье Самариных!

Действительно, было чему ужасаться. Род этот и впрямь дал России честнейших общественных деятелей. Александру Дмитриевичу Самарину, отцу Юрия, занимавшему несколько месяцев пост обер-прокурора Святейшего Синода, Николай Второй предложил подать в отставку: Самарин не устраивал околораспутинскую камарилью. В Петербурге говорили, что с его уходом в правительстве не осталось ни одного порядочного человека. Московское дворянство поспешило тогда выбрать Александра Дмитриевича своим губернским предводителем.

В семнадцатом году на Соборе Православной церкви была выдвинута кандидатура Самарина на московскую митрополичью кафедру. Он не захотел принять постриг — говорили, что

из-за дочери Елизаветы, в которой Александр Дмитриевич души не чаял.

Эта удивительная русская девушка едва не с пятнадцати лет взялась за полные тягот и опасностей обязанности связной. С монашками из разогнанных монастырей и верующими женщинами стала ездить по России с одеждой и деньгами, тайно жертвуемыми заточенным и сосланным духовным лицам. И — по стопам воспетых русских женщин — последовала за отцом в якутскую ссылку. Вот только не было у нее заботливо снаряжавшей в путь состоятельной семьи, ни преданной горничной, ни терявшихся перед петербургской аристократкой смотрителей и комендантов... А были — езда в нетопленных вагонах, мешочники и озлобленный люд. Были заградительные отряды с хлебнувшими сладкой безнаказанности плохо говорящими по-русски стрелками...

У брата Лизы не было и сотой доли спокойного мужества сестры. Пожалуй, именно трусость определила падение Юрия. В органах его крепко припугнули. И — страх земной пересилил страх кары небесной! А в семье Самариных незыблемо: «без Бога — ни до порога»...

Юша Самарин не пропускал служб. В храме подряд ко всем иконам прикладывался, отбивал перед ними земные поклоны. И со слезами умиления! И как строго он порицал недостаточно чинное стояние в храме, опоздание к богослужению или манкирование поцелуем руки подающего крест священника! Перед ним и значительно более искушенный в церковностях человек, чем я, должен был чувствовать себя оглашенным. И вот что, оказывается, таилось за набожностью, за этим усердием христианина...

... Что бы ни меняли на Соловецких островах новые люди, какие бы порядки ни заводили, как бы противоположны ни были цели и задачи пришельцев вековому назначению монастыря,— перед находившимся в те годы в лагере русским человеком лежала открытой летопись отвергнутых путей России.

...В глубь нетронутых лесов, вдоль берегов разбросанных по острову бессчетных озер шли обставленные крестами тропы. Вели они к потаенным скитам, где длинные годы молились и спасались старцы... Здесь в двадцатом веке продолжалось начатое еще в Киевской Руси. Здесь жили легенды о Сергии Радонежском, Кирилле Белозерском, Нилах и Пафнутиях, Иосифах, рубивших в глухих дебрях кельи, расширявших границы православия и русской государственности.

Каждая пядь соловецкой земли, каждый монастырский камень говорил о горстках подвижников, радевших о духовности. Подвиг веры сочетался с трудами, приносившими земные плоды. Тысячи и тысячи богомольцев — мужиков архангельских, вятских, олонецких, пермских, со всего севера России — встречали здесь своих земляков. Видели их, в подрясниках скуфьях, ухаживающими за скотом, возделывающими землю, искусных рыбаков и плотников, мореходцев, гончаров, кожевников, скорняков, каменщиков...

И я ходил по острову, как по огромному музею истории оего народа, исполненной тягот, опасностей и свершений.

В надвратной Благовещенской церкви и в бывших покоях настоятеля было выставлено средневековое оружие — бердыши, пищали и пратазаны. Соловецкий игумен был одновременно и комендантом крепости с гарнизоном из монахов, обученных ратному делу.

.Неподалеку от гавани на морском берегу лежит Переговорный камень. По преданию, на этом месте настоятель твердо отверг предложение англичан сдать осажденную обитель. Высадить десант и брать штурмом отчаянных божьих иноков бритты не решились. И ограничились бомбардировкой с моря. От гранитных стен ядра отскакивали горошинами. Следы их монахи обозначили кружками. Память о вкладе Соловков в оборону отечества... А монахи рассказывали паломникам, что споспешествовали обороне и чайки, густыми стаями налетавшие на вражеские корабли и криками своими и обильным испусканием помета сеявшими растерянность и смущение в рядах неприятелей. И подводили к фреске, украшавшей изнутри шатер над криницей: по палубе, преследуемые огромными птицами с широко разверзтыми клювами, метались бравые артиллеристы королевы Виктории в испачканных мундирах и с залепленными белыми потеками лицами.

В глубине острова, меж лесистых горок и затененных ложбин, дремали тихие каналы. Берега их и шлюзы, выложенные замшелыми камнями, были укреплены вечными лиственничными ряжами. Каналами монахи соединили цепь озер для сплава бревен. И по всему рукотворному водотоку развели красную рыбу и хариусов.

Вдоль Святого озера тянулись огороды, ряды длинных монашеских теплиц. На тучных пастбищах острова Большая Муксалма паслись крупные породистые коровы — остатки стада, за которые Соловецкий монастырь награждался медалями Императорского общества поощрения племенного животноводства. Этот остров километровой дамбой, сложенной

из каменных глыб, соединялся с главным, где был монастырский кремль.

А на Малой Муксалме, входящей в Соловецкий архипелаг, до лагерного времени вольно жили лапландские олени, выпущенные еще при игумене Филиппе.

На пустынном морском берегу мне доводилось видеть небольшую артель рыбаков-монахов, заводивших тяжелый морской невод. Делали они все молча, споро и слаженно — десяток бородатых пожилых мужчин в подпоясанных подрясниках и надвинутых до бровей скуфьях. Самодельные снасти; карбасы, на каких плавали новгородцы; исконная умелость этих рыбаков, слитых с набегавшими студеными волнами; каменистая полоса прибоя, и за ней — опушка из низких, перекрученных ветрами березок... Все в этой картине от века: древнейший промысел, отражавший прочные связи человека с природой, да еще освященный евангельским преданием... Нет, не суждено было этим мирным русским инокам стать апостолами. Однако они уже познали полную меру тревог и преследований, и оставались считанные дни до изгнания их с острова. И — кто знает? — не ожидали ли их там, на материке, как прославленного соловецкого игумена преосвященного Филиппа, современные Малюты Скуратовы?

Я бродил по окрестностям монастыря, простаивая возле покрытых славянской вязью крестов, огромных, в два-три человеческих роста. Их ставили по обету или в память события, отметившего вехой размеренные монастырские будни. Входил в заброшенные часовни с остатками скромного убранства, уже разгромленные, уже оскверненные. В одной из них древнее распятие послужило мишенью для стрельбы. Расщепленное и развороченное пулями дерево светлело из-под краски.

У стены Преображенского собора уцелели две могильные плиты. Под одной — останки Авраамия Палицына. Имя келаря Троице-Сергиевой лавры сразу переносило в тяжкие годы Смуты и говорило о преданности русскому делу. Рядом — могила последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Кальнишевского, заточенного в монастырь при Екатерине II. Неподдельные свидетельства истории...

Под сводами церкви над Святыми воротами и в примыкающих настоятельских покоях был устроен небольшой музей. Немногочисленный персонал его — заключенные, в большинстве научные работники, занимавшиеся и на воле русской историей. Находки в не полностью разгромленных монастырских архивах и ризницах лишали их сна.

Среди этих увлеченных была сотрудница Эрмитажа, дама забальзаковского возраста, подлинный синий чулок. Она, по собственному признанию, беспокоилась лишь о том, чтобы успеть уложиться в свой трехлетний срок и довести до конца особенно важные описи. Стопы рукописных книг в кожаных переплетах с медными застежками отгораживали ее глухой стеной от лагерных тревог, приносили ощущение причастности большому нужному делу — где бы его ни делать!

Но вот на блеклом и холодном горизонте этой старой девы забрезжил огонек, суливший ей свою долю радости.

В музее работал молодой человек — замкнутый, воспитанный и, как легко угадывалось, очень одинокий, без сохранившихся живительных связей с волей. Ему была очень кстати заботливая утешительница, к тому же взявшая на себя попечение о его мелких нуждах холостяка, для которого стирка платка и штопка носков вырастают в проблему.

Не хочу гадать о том, как далеко зашли их отношения. Знаю лишь, что она, никогда не ведавшая ответной любви, сильно привязалась к потерпевшему крушение, по-детски беспомощному человеку. Синий чулок расцвела. Непривлекательная внешность ее почти не замечалась: женщина, впервые по-настоящему полюбившая, не бывает дурнушкой.

Предмет ее стал еще больше сторониться людей и проводил все время в музее. Но вид его являл заботу пристрастных женских рук. Знавшие эту пару, не сговариваясь, опекали ее как могли. Что в лагерных условиях означало: ничего не замечать, молчать и по возможности способствовать уединению.

Но как бы сказали в старину, создание Врага Рода Человеческого — лагерь, порожденный силами зла,— по природе своей не способен вместить начал добра и счастья. Нашлись завистники — из тех, кому непереносимо терпеть соседа, в чем-либо более удачливого, благополучного. И донос сделал свое дело.

Возлюбленный был схвачен среди ночи в общежитии и увезен на Заяцкие острова — дальнюю командировку, носящую ярлык штрафной. Гибельные эти острова предвосхитили гитлеровские Vernichtungslagern — лагеря уничтожения.

Ее оставили в покое, тем усугубив отчаяние. Легче было бы самой подвергнуться преследованиям, чем думать о неразделенных испытаниях дорогого человека, брошенного в барак с бандитами и охраняемого садистами... Мало сказать, что она погасла: за рабочим столом, заваленным книгами, сидел сломленный, опустошенный человек...

Через некоторое время Георгию и его другу Александру

Александровичу Сиверсу удалось вытащить с Зайчиков пострадавшего за «половую распущенность» — таким подлым языком определялись подобные нарушения лицемерного лагерного пуританизма — и перевести на Муксалмскую ферму, в относительно сносные условия. Это несколько взбодрило сразу постаревшую, двигающуюся как автомат несчастную его приятельницу.

Как-то, стоя возле меня, разглядывавшего вериги — массивные, грубо выкованные кресты, цепи и плашки с шипами, какие носили, смиряя плоть, монахи, надевая их поверх власяницы, а то и на голое тело, она тихо сказала:

— Легче бы их носить,— и отошла.

Кстати — о Сиверсе. По делу о лицеистах он был приговорен к расстрелу, замененному десяткой. В лагере возглавлял один из хозяйственных отделов управления. А потом...

Искалеченные, растоптанные судьбы... Вороха горя и унижений, долгие годы издевательств, жестокости, пыток, убийств. Как поверить, что ими утверждаются высокие идеалы!

...Иногда Георгий уводил меня к епископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыни, верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем. Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку и разрешало ему жить уединенно и в покое.

Дни короткого соловецкого лета пригожи и солнечны. Идти по лесу — истинная радость. Довлевшие каждому дню заботы — позади, а природа, с ее неподвластною нам жизнью, захватывала нас. Всполошно взлетали из-под ног выводки рябчиков. Нетронутые, алели в гуще подлеска яркие северные пионы. Перепархивали молчаливые таежные птицы. Обдавали запахи хвои и трав. Глухари склевывали на дороге камушки...

Преосвященный встречал нас радушно. В простоте его обращения были приятие людей и понимание жизни. Даже любовь к ней. Любовь аскета, почитавшего радости ее ниспосланными свыше.

Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу. Приветливый хозяин, принимающий приставших с дороги гостей. И был так обходителен, так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов.

Мне были знакомы места под Серпуховом, откуда был родом владыка Илларион. Он загорался, вспоминал юность. Потом неизбежно переходил от судеб своего прежнего прихода к суждениям о церковных делах России.

— Надо верить, что церковь устоит,— говорил он.— Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящие огоньки — когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер... Я вот зиму тут прожил, когда и дня не бывает — потемки круглые сутки. Выйдешь на крыльцо — кругом лес, тишина, мрак. Словно конца им нет, словно пусто везде и глухо... Но «чем ночь темней, тем ярче звезды...». Хорошие это строки. И как там дальше — вы должны помнить. Мне, монаху, впору писание знать.

Иллариону оставалось сидеть около года. Да более двух он провел в тюрьме. И, сомневаясь, что будет освобожден по окончании срока, он готовился к предстоящей деятельности на воле. Понимая всю меру своей ответственности за «души человеческие», преосвященный был глубоко озабочен: что внушать пастве в такие грозные времена? Епископ православной церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страдания и гонений, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям.

Тогда уже укрепилась «живая» церковь — красная, как ее прозвали, непостижимо примирявшая Христа с властью Антихриста. Соблазны живоцерковников таили величайшую опасность для веры. Именно ее судьбы тревожили владыку. О себе он не думал и был готов испить любую чашу.

Мы не засиживались, зная, как осаждают нашего хозяина посетители. Друзья старались ограничить их наплыв. Популярность преосвященного настораживала начальство, и можно было опасаться расправы. Через Георгия Илларион поддерживал связь с волей, и тот приходил к нему с известиями и за поручениями.

И короткая беседа с Илларионом ободряла. Так бывает, когда общаешься с человеком убежденным, умным и мужественным. Да еще таким стойким: власть стала преследовать владыку, лишь только повела наступление на церковь. Иначе говоря, едва осмотревшись после октябрьского переворота.

* * *

...Полстолетия — срок немалый для человеческой памяти. В ней то выпукло и даже назойливо всплывает будничный

мусор, то — невосполнимый провал, темнота... Тщетно ытаешься вытащить на свет важное звено пережитого. И каже порой лишенным смысла кропотливый труд, предприняты как раз с тем, чтобы дать потомкам правдивое свидетельство очевидца...

Я писал, что первый срок на Соловках отбыл легко. Наполненность жизни отгораживала меня от судеб большинства солагерников. Но не подвох ли это памяти? Не результат ли сопоставления с последующими окаянными днями? С годами, неизмеримо более трудными, растоптавшими первоначальную стойкую надежду на счастливые перемены и недолговечность выпавших на мою долю передряг?

Или участник событий не способен ощутить их подлинные масштабы, оценить всесторонне и разбирается в них по-слепому?

...В конце пятидесятых годов, уже выпущенный из лагерей, я отправился в места, где, казалось мне, наверняка нападу на следы своего прошлого. Найду, к чему привязать самые сокровенные воспоминания о детстве, составлявшем продолжение жизни отцов и дедов, детстве, органически спаянном с прежней Россией, откуда почерпнуты ощущения мира и исконные привязанности.

Что за горькое паломничество! На месте усадьбы — поле, засеянное заглушенным сорняками овсом; где темнел старый бор — кусты и рассыпавшиеся в прах пни; возле церкви, обращенной в овощехранилище и облепленной уродливыми пристройками,— выбитая скотом площадка со сровненными с землей семейными могилами... Ничего не узнать! Неприкаянным и бесприютным обречено блуждать и дальше бесплотное, уже не привязанное к земному реперу воспоминание.

Невозможность подтвердить показания памяти смущает. О тех бедах — нет справочников, доступных архивов. Нагроможденная ложь похоронила правду и заставила себя признать. Как глушилки пересиливают в эфире любой мощи передачу, так торжествует настойчивый и беззастенчивый голос Власти, объявившей небывшим виденное тобой и пережитое, отвлекающей от своих покрытых кровью рук воплями о бедах народов других стран! Эту теснящую тебя всей глыбой объединенных сил государства ложь подпирают и приглядно рядят твои же собратья по перу. Пораженный чудовищностью проявляемого лицемерия, сбитый с толку наглостью возглашаемой неправоты, ощупываешь себя: не брежу ли сам? И не привиделись ли мне ямы с накиданными трупами на Соловках, застреленные на помойках Котласской пересылки, обезумев-

шие от голода, обмороженные люди, «саморубы» на лесозаготовках, набитые до отказа камеры смертников в Тульской тюрьме... Мертвые мужики на трамвайных рельсах в Архангельске...

Все это не только в голове, но и на сердце. А перед глазами — статьи, очерки в журналах, целые книги, взахлеб рассказывающие, с каким энтузиазмом, в каком вдохновенном порыве устремлялись на Север по зову партии тысячи комсомольцев строить, осваивать, нести дальше в глубь безлюдия светлое знамя счастливой жизни... Смотрите: возведены дома, выросли целые поселки, города, протянулись дороги — вещественные свидетельства героического труда! Над просторами тундры и дремучей тайги эхом разносится: «Слава партии! Слава коммунистическому труду!»

Не следует думать, что эти переполненные восторгами писания — плоды пера невежественных выдвиженцев, провинциальных публицистов или оголтелых, нерассуждающих «слуг партии» — отнюдь нет! Авторы их — респектабельные члены Союза писателей, отнесенные к элите, к цвету советской интеллигенции, глашатаи гуманности и человечности. Они начитаны и подкованы на все случаи жизни. Это позволяет им вовремя перестраиваться — с тем чтобы всегда оставаться на плаву, не растеряться и при самых крутых переменах. Надобно было — публиковали статьи в прославление «великого вождя», превозносили Павленко с его «Счастьем», возвели в корифеи пера автора «Кавалера Золотой Звезды»... Переменился ветер — не опоздали с «Оттепелями», а затем и сборниками, курившими фимиам новому «кормчему»... После его падения какое-то время принюхивались, чем запахло. И, учуяв, что восприемнику угодно какое-то время поскромничать, стали хором восхвалять коллективную мудрость руководства и на досуге переругиваться между собой, забавляя публику неосторожными попреками в «беспринципности»...

Нечего говорить, что все эти «инженеры человеческих душ», благополучно пережившие сталинское лихолетье, были превосходно осведомлены о лагерной мясорубке и, пускаясь в дальние вояжи по новостройкам, отлично знали — знали как никто! — что путь их через болота и тундру устлан костьми на тысячах километров... Знали, что огороженные ржавой колючей проволокой, повисшей на сгнивших кольях, площадки — не следы военных складов; что обвалившиеся деревянные постройки — не вехи триангуляционной сети, а вышки, с которых стреляли в людей. Видели на Воркуте распадки и лога, где расстреливали из пулеметов и закапывали сотнями «оппози-

ционеров»... И среди них — прежних их знакомцев и приятелей по московским редакциям...

И вот писали — честным пером честных советских литераторов свидетельствовали и подтверждали: не было никогда никаких воркутинских или колымских гекатомб, соловецких застенков, тьмы погибших и чудом выживших, искалеченных мучеников. И весь многолетний лагерный кошмар — вражьи басни, клевета...

...Я в Переделкине, под Москвой. Иду по дороге, огражденной с обеих сторон заборами писательских дач. Мой спутник, Вениамин Александрович Каверин, издали узнав идущих навстречу, тихо предупреждает:

— Я с ним не кланяюсь...

Мы поравнялись и молча разминулись с высоким и грузным, слегка сутулившимся стариком, поддерживаемым под руку пожилой мелкой женщиной с незапоминающимися, стертыми чертами. Зато бросались в глаза и врезались в память приметы ее спутника: неправильной формы, уродливо оттопыренные уши и тяжелый тусклый взгляд исподлобья. В нем — угрюмая пристальность и настороженность: выражение преступника, боящегося встречи со свидетелем, потревоженного стуком в дверь интригана, строчащего донос. Испуг — и готовность дать отпор, куснуть; вызов — и подлый страх одновременно. В крупных застывших чертах лица и взгляде старика, каким он [illegible]ьзнул по мне, — недоверие и враждебность: их вызывает [illegible]реча с незнакомцем у людей подозрительных.

Это был земляк и сверстник Каверина, вошедший одновременно с ним в группу писателей из провинции, осевших в начале двадцатых годов в Москве, которых приручал и натаскивал Горький, тогда уже достаточно перетрусивший и соблазненный кремлевскими заправилами, чтобы стать глашатаем насилия, лицемерно оправдываемого демагогическими лозунгами, — Валентин Катаев, одна из самых растленных лакейских фигур, когда-либо подвизавшихся на смрадных поприщах советской литературы.

Нелегко было, вероятно, Каверину порвать с прежним попутчиком. В этом — мера низости автора «Сына полка» и «Белеющего паруса»: уж если деликатный и мягкий Каверин решился не подавать ему руки... Впрочем, Каверин, если в книгах своих и воспоминаниях старается замкнуться в цитадели «чистого искусства», отгораживающей от критики порядков,

не позволяет себе судить о политике, то поступками своими — выступлени ми в защиту гонимых, действенным сочувствием к жертвам травли — подтвердил репутацию честного и достойного человека.

В среде советских литераторов, где трудно выделиться угодничеством и изъявлениями преданности партии, Катаев все же превзошел своих коллег. Ему нужно было сначала заставить простить себе отца-офицера и собственные погоны в белой армии, потом — добиться реальных благ, прочного положения. Ради этого в возрасте, когда, по старинному выражению, пора о душе думать, Катаев не гнушался, взобравшись на трибуну, распинаться в своей пылкой верности поочередно Сталину-Хрущеву-Брежневу, обливать помоями старую русскую интеллигенцию, оправдывать любое «деяние» власти — хотя бы самое тупое и недальновидное,— внести посильную лепту в охаивание травимого, преданным псом цапнуть того, на кого науськивают, лгать и лицемерить, льстить без меры. Глухой к голосу совести, не понимающий своей неблаговидной роли, брезгливости, с какой обходят его прежние знакомые, Катаев тем более возмущает чувство справедливости, что ему было дано от рождения во всем разбираться и понимать: не неграмотным деревенским пареньком встретил он революцию, не могла она обольстить его. С открытыми глазами оправдывал он насилие и клеймил его невинные жертвы.

Но нет ныне Лермонтовых, способных бросить негодяям в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью». Да и прошли давно времена, когда бесчестье угнетало человека: понятие это скинуто со счета. Во всяком случае, в кругу современных «толпящихся у трона» литераторов.

Дивиться ли тому, что ныне пишут о Соловках, куда зазывают рекламные туристские проспекты... «Спешите посетить жемчужину Беломорья, живописный архипелаг с уникальными памятниками зодчества!»

И высаживаются толпы посетителей с пассажирских лайнеров в бухте Благополучия, изводят километры пленки, восхищаются, даже проникаются чем-то вроде изумления перед циклопической кладкой монастырских стен. И — разумеется — слава Партии, обратившей гнездо церковного мракобесия в привлекательный туристский аттракцион!

Кто это взывал к теням Бухенвальда? Кто скорбным голосом возвещал о стучащем в сердце пепле Освенцима? Почему оно осталось глухо к стонам и жалобам с острова Пыток и Слез? Почему не велит оно склонить обнаженную голову и задуматься над долгим мартирологом русского народа, столбовой

путь которого пролег отсюда — с Соловецких островов?..

Мне видятся они погруженными в Пифагорову тень, окутанными, как саваном, мертвящим мраком, удушающим и глухим: загублены, повергнуты справедливость, правда, человеколюбие, милость, сострадание... Тихая монашеская обитель, прибежище веры и горстки мирных иноков с мозолистыми руками, обратилась в поприще насильников, содрогается от брани и залпов, сочится кровью и муками. Это ли не знаменье и символ времени?

* * *

Я, сотрудник санчасти, проникаю к ним беспрепятственно. Вахтер у входа в больницу даже не интересуется, почему я зачастил туда. Между тем я делаю то, что стоит поперек планов начальства: сломить мусаватистов, разбив их на разобщенные группы. Мне же удается доставлять в больницу записки и устные послания от развезенных по дальним командировкам, а из больницы — переправлять указания главаря голодной забастовки, старосты всей партии мусаватистов. Эти связи ободряют протестантов, в них источник силы, мужества.

Уже более двух недель ими держится голодовка. Это отчаянная, но безнадежная и оттого еще более высокая попытка отстоять статус «политических», избавленных от обязательных общих работ.

На первых порах все мусаватисты были поселены вместе — в один из старых монастырских корпусов, переименованных в роты,— и оставлены в покое. Но такое положение слишком противоречило целям лагеря и настроениям начальства: именно в этот период на смену «кустарничеству» приходила заново разработанная крупномасштабная карательная политика. И мусаватистов попробовали застать врасплох: вывели на двор как бы на проверку и... передали нарядчикам. Произошли свалки и соблазнительные для всей прочей серой скотинки сцены... От лобового наскока пришлось отказаться.

В некую ночь оперативники и мобилизованная военизированная охрана, включая самых главных начальников, переарестовали всех мусаватистов и развезли их в Савватьево, Ребалду, на Муксалму — кого куда. И там стали выволакивать на работу. Мусаватистам удалось потаенно снестись. И в один день и час они объявили голодовку по всему лагерю.

Около пятидесяти мусаватистов были оставлены в кремле.

На одиннадцатый или двенадцатый день голодовки всех их перевели в палаты бывшего монастырского госпиталя, освобожденные от больных. Врачей обязали следить, чтобы голодающие тайно не принимали пищу; приставили караул, подсылали уговаривать, нащупывали — не найдутся ли раскольники... В общем, начальство тянуло, ожидая указаний из Москвы — как поступить с тремя сотнями бунтарей.

Нечего говорить, что мы им сочувствовали и желали успеха, хотя и жило в нас сложное чувство неприятия разницы между нами: с какой стати их режим должен отличаться от нашего? Ведь и мы не уголовные преступники, а такие же «политические», как и они.

— Такие, да не такие,— говорил Георгий.— Они вон как все дружны и согласны. Мы же — каждый за себя и про себя, да еще кто в лес, кто по дрова... И потом, перебит хребет, не стало мужества. Они открыто заявляют: мы не признаем большевиков и стоим за свои порядки для своего народа. А приступи к любому из нас? Ведь вилять станет, отвечать с оговорочками: «Помилуйте, я за советскую власть, вот только тут меня маленько обидели...» — и начнет о какой-нибудь ерунде канючить... Вот и можно нас, наравне с урками, тыкать «в ус да в рыло»,— закончил неисправимый поклонник Дениса Давыдова.

Отмечу, что хотя Осоргин и говорил обо «всех», сам с превеликой твердостью заявлял на допросах: «монархист и верующий».

...Они лежали молчаливые, сосредоточенные, в каком-то напряженном покое. Я пробирался меж коек к моему Махмуду, всем существом чувствуя на себе пристальность провожающих меня с подушек взглядов — строгих и отчужденных. Большинство мусаватистов было настроено стоять до конца. Добровольно обрекшие себя на смерть смотрели на меня как на чужого человека, находящегося от них по другую грань жизни. Пусть и знали, что пришел друг.

Махмуд был все так же приветлив и улыбался, словно и не было гибельного поединка и на душе его — мир и покой. На мои встревоженные вопросы он отвечал лишь неопределенным, типично восточным жестом приподнятой руки. Избегая прямого ответа, говорил чуть шутливо: «Все в руках Аллаха»,— и решительно отклонял мои передаваемые шепотом предложения спрятать под подушку кулек наколотого сахара.

В борьбе с бесчестным противником допустимы любые приемы защиты — с этим Махмуд был согласен. Но нельзя

не делить общей участи, не быть честным по отношению к товарищам.

Пожалуй, по лихорадочному блеску глаз и потрескавшимся губам можно было угадать, что эти так тихо и спокойно лежащие люди про себя борются с искушением отодвинуть вставший вплотную призрак конца. Многим из голодающих, жестоко пострадавшим в бакинских застенках, приходилось тяжко — их, изнуренных, покрытых холодным потом, уже крепко прихватила чахотка. Некоторые бредили...

Их все-таки сломили. Обещали — приходил к ним сам начальник лагеря Эйхманс — дать работу по желанию и вновь поселить всех вместе. Тут же принесли еду — горячее молоко, рис.

Само собой — обманули... Знали, что у человека, ощутившего счастье перехода на рельсы жизни после трехнедельного соскальзывания в тупик смерти, уже не хватит духа вновь с них сойти... Не поддались лишь староста мусаватистов и несколько его ближайших друзей. Мы с Георгием пытались их уговорить.

— Я решил умереть,— твердо сказал нам староста.— Не потому, что разлюбил жизнь. А потому, что при всех обстоятельствах мы обречены. Большинство из нас не переживет зиму — едва ли не у всех туберкулез. Оставшихся все равно уничтожат: расстреляют или изведут на штрафных командировках. На какое-то время спасти нас мог бы перевод в политизолятор. Да и то... Мы и на Соловки-то привезены с тем, чтобы покончить с остатками нашей самостоятельности. В Баку мы для них реальные и опасные противники... Но не стоит об этом. Мы и наши цели слишком оболганы, чтобы я мог коротко объяснить трагедию своего народа...— Он закрыл глаза и долго молчал. На осунувшемся его лице мы прочли волю человека, неспособного примириться с отвергаемыми совестью порядками.— Так уж лучше так, не сдавшимся.

Напоследок он пошутил:

— Я потребовал перевода с острова... в солнечную Шемаху! Случится мимо ехать — поклонитесь милым моим садам, кипарисам, веселым виноградникам... Прощайте, друзья: таких русских, как вы, мы любим.

Я не помню имени этого героя азербайджанского народа, хотя не забыл его черты: высокий, смуглый красавец с открытым лбом над густыми бровями и умным внимательным взглядом. Знаю, что был он пейски образован, живал в Париже Вене.

Вскоре после прекращения общей голодовки его и трех ос-

тавшихся с ним товарищей увезли в бывший Анзерский скит, обращенный в штрафное отделение. Все они там один за другим умерли — староста на пятьдесят третий день голодовки. Говорили, будто их пытались кормить искусственно и кто-то из них вскрыл себе вены... Остальные мусаватисты рассосались, потонули во все растущей массе заключенных. О них не стало слышно.

Спустя несколько месяцев дал знать о себе Махмуд. Я ходил к нему в Савватьево, где какие-то доброхоты устроили его на молочную ферму учетчиком.

В последний раз, что я его навестил, он, словно предчувствуя, что больше встретиться нам не суждено, проводил меня довольно далеко. Мы шли по укатанной лесной дороге, над головой плыли низкие грузные тучи, то и дело сыпавшие колючей снежной крупой, тут же таявшей на земле,— стояли темные, ненастные октябрьские дни. Махмуд вспоминал теплую карабахскую осень, просвечивающие на солнце грозди винограда, соседок, собравшихся в его доме перед праздником, чтобы помочь перебрать рис для плова... Он крепился, поддакивал высказываемым мною надеждам: «Не может быть, чтобы не пересмотрели приговор, так долго продолжаться не может!» — и зябко засовывал руки поглубже в рукава овчинной шубенки. Шел Махмуд медленно, чтобы не задохнуться. Мы на прощание обнялись, и я ощутил под руками птичью хрупкость его истощенного тела.

Оглядываюсь на мою длинную жизнь — я это вписываю в 1986 году — и вспоминаю случаи, когда я чувствовал свою вину русского из-за принадлежности к могучему народу — покорителю и завоевателю, перед которым приходилось смиряться и поступаться своим, национальным. Так было в некоторые минуты общения с паном Феликсом, много спустя — при знакомстве с венгерским студентом. Но особенно, когда развернулась перед глазами трагическая эпопея мусаватистов: словно и я был участником насилия над слабейшим!..

* * *

Подходили к концу темные месяцы моей первой соловецкой зимовки. Солнце стало дольше задерживаться в небе, подыматься выше, и в наши будни проникли предчувствия весеннего оживления: словно с открытием навигации и освобождением острова ото льдов и в судьбах заключенных непременно произойдут какие-то сдвиги. И уж, разумеется, в добрую

сторону. В пустовавшем зимой сквере между Святительским и Благовещенским корпусами стали вновь задерживаться, а то и, поманенные обманчивым солнечным пригревом, посиживать на лавках заключенные, более всего обитатели сторожевой роты — духовенство, свободное от дежурств. Чернели сутаны собравшихся тесной кучкой католических священников. Они держались особняком, редко когда по своей инициативе заводили разговоры с нашими батюшками. Пан Феликс, завидев меня, тотчас покидал своих и подходил ко мне.

Мы встретились с ним на острове как старые друзья. Был он устроен сносно: через сутки дежурил у какого-то склада, получал от Красного Креста посылки и деньги. Мы уже не возобновляли наших польских чтений, но беседовали подолгу. Большей частью у меня в келье, за мирным чаепитием.

Однако чувствовалось, что пана Феликса гложут тревоги, от которых здесь ему труднее отвлечься, чем в Бутырках. Не сбывались надежды на заступничество польского правительства или Ватикана, какими поманило свидание с польским дипломатом накануне отправки из тюрьмы. Католические священники убеждались, что уповать им не на кого: они целиком в руках власти, взявшейся искоренить их влияние.

Ксендзы, объявленные эмиссарами вражеского окружения и шпионами, преследовались особенно настойчиво. Как ни скудно проникали известия на остров, пан Феликс по редким письмам своих прихожан, писавших [illegible] казательно и робко, догадывался о ссылках и арестах самых близких ему людей, обвиненных в связях с ним — агентом Пилсудского!

Тоска... Ни одно из предчувствий пана Феликса не обмануло его.

Как-то под утро в кельи сторожевой роты ворвался отряд вохровцев. Они перехватали спавших польских ксендзов — около пятнадцати человек. Едва дав одеться, вывели и, связав им руки, посажали на телеги и под конвоем увезли в штрафной изолятор на Заяцких островах.

Участь ксендзов разделил тогда и Петр, епископ Воронежский. То была месть человеку, поднявшемуся над суетой преследований и унижений. Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он с метлой в руках, в роли дворника или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевались сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал, как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо

большого начальства, оно, завидев его издали, отворачивалось, будто не замечая православного епископа — ничтожного зэка, каких, слава Богу, предостаточно...

Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы: они пасовали перед достойным спокойствием архипастыря. Оно их принижало. И брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза...

Преосвященный Петр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело пророческим видением: уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие...

Епископа Петра схватили особенно грубо, словно сопротивляющегося преступника. И отправили на те же Зайчики...

За свою лагерно-тюремную карьеру я не раз бывал запираем в камеры с уголовниками, оказывался с ними в одном отделении «столыпинского» вагона или в трюме этапного парохода. Трудно передать, как страшно убеждаться в полной беспомощности оградить себя от насилия, от унизительных испытаний, не говоря о выхваченной пайке и раскуроченном «сидоре». Еле теплится надежда, что надзиратель или конвоир, в какой-то мере отвечающий за жизнь этапируемых, вовремя вмешается.

Случалось, правда, и не так редко, что таких, как ты, крепких и не робких, подбиралось несколько человек. И тогда удавалось не только отбиться от уголовников. До сих пор с мстительным наслаждением вспоминаю эти очистительные побоища, загнанных под нары избитых, скулящих и всхлипывающих «блатарей».

Но отчаянна была участь слабых, пожилых, одиноких — даже в тюрьмах и на этапах, с упомянутой мною тенью заступы охраны. Ее и признака не могло быть на Заяцких островах, где вохровцы боялись заходить в барак к заключенным. И там долю вброшенного к штрафникам интеллигентного человека, тем более немощного, тем более кроткого нравом духовного лица, я опять сравню с долей христиан, вытолкнутых на арену цирка к хищным зверям. Позади — палачи с бичами и заостренными палками; впереди — клыкастые пасти со смрадным дыханием. Вот только тигры и львы были милосерднее: не терзали подолгу свои жертвы. Штрафникам с Заяцких островов — матерым убийцам и злодеям, татуированным рецидивистам — была полная воля издеваться, бить, унижать:

они знали, что охрана не заступится. Потому что «фраеров» швыряли к ним для уничтожения...

...Та моя первая, «благополучная», соловецкая зима оказалась последней для якутов, перед самым закрытием навигации большой партией привезенных на остров.

Ходили слухи о подавленном в Якутии восстании, но проверить эти туманные новости было нельзя: якуты не понимали или не хотели говорить по-русски и ко всем «не своим» относились настороженно, отказываясь от всякого общения. От тех, кто мог добыть сведения в управлении, узналось, что на Соловки привезли состоятельных оленеводов — тойонов, владевших многотысячными стадами.

По мере проникновения советской власти глубже на Север якуты откочевывали все дальше, в малодоступные районы тундры, спасаясь от разорения, ломки и уничтожения своего образа жизни и обычаев. За ними охотились и ловили тем рьянее, что у них водилось золото и драгоценные меха. Их расстреливали или угоняли в лагерь.

Якутов скосила влажная беломорская зима и отчасти непривычная еда. Они все — до одного! — умерли от скоротечной чахотки.

...Иногда волна распра́в лизала самый мой порог. Так, неожиданно был схвачен и увезен на Секирную гору[1] близкий мой знакомый и сосед по келье Эдуард Эдуардович Кухаренок — средних лет инженер-путеец. Считался он незаменимым: высококвалифицированный спец, руководивший прокладкой островной узкоколейки.

В этом человеке были сильны предубеждения подлинного специалиста, отлично знающего свое дело, к невежественным руководителям, некая кастовая исключительность, не допускавшая малограмотного вмешательства в его дело. При смелом характере и остром языке, он умел посадить в лужу, ядовито оспорить и доказать как дважды два несостоятельность распо-

---

[1] Нет, вероятно, надобности здесь описывать этот ставший известным на весь мир застенок на Соловках. Его хорошо знают по другим публикациям. Для тех же, кто сидел на острове, не было страшнее слова. Именно там, в церкви на Секирной горе, достойные выученики Дзержинского изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств, начиная от «жердочки» — тоненькой перекладины, на которой надо было сидеть сутками, удерживая равновесие, без сна и без пищи, под страхом зверского избиения, до спуска связанного истязуемого по обледенелым каменным ступеням стометровой лестницы: внизу подбирали искалеченные тела, с перебитыми костями и проломленной головой. Массовые расстрелы также устраивались на Секирной.

ряжений «гражданина начальника». Но более всего самонадеянный инженер досаждал тем, что не давал лютовать, энергично осаживал расходившихся охранников. Если к этому прибавить богатырскую стать Кухаренка, независимость, манеру свысока разговаривать с презираемыми им «начальничками», то станет очевидным, насколько он намозолил им глаза.

До поры до времени Эдуарда Эдуардовича спасала незаменимость — другого знающего железнодорожника на острове не было. С нами Кухаренок был обходителен и приятен, весел, даже немного шумен; в нем чувствовался bon vivant старого пошиба. В своей келье он ухитрялся устраивать нечто вроде вечеринок, на которых строил куры смазливенькой охраннице из женбарака. Ее присутствие обезопасивало незаконное сборище. В роли хлебосольного хозяина Эдуард был просто великолепен: широкий жест, легкая шутка, исполненный с неподражаемым прищуром и легким притоптыванием под воображаемую гитару куплет...

Два месяца мы о нем ничего не слышали. А потом, когда увидели, не узнали... И не то было страшно, что сделался он худ, припадал на ногу и подергивалась его лихая голова. Непереносимо было убедиться в полной апатии, в потускневшем сознании Эдуарда. То был не воображаемый, литературный, а подлинный Живой Труп. Его бы добили и замучили насмерть на Секирной. Но железной его силы и стойкости хватило до дня, когда та пухленькая девчонка из охраны нашлатаки ход к коменданту Секирной, и тот велел своим катам отступиться от Кухаренка.

С месяц после того провалялся Эдуард Эдуардович на каменных плитах Спасо-Вознесенской церкви на Секирной, пока не пришло распоряжение — говорили, из Москвы — со штрафного изолятора его вернуть и восстановить на прежней должности. Начальство учуяло, что переборщило: Кухаренка велено было лечить и дать полный отдых. Навещая его в больнице, я видел, что любой разговор ему в тягость.

Вскоре его вывезли с Соловков на спецкомандировку. Прошел слух, что Эдуарда Эдуардовича освободили по личному распоряжению наркома путей сообщения... Тогда именно и узналось, что был Кухаренок крупнейшим спецом в своей области.

В обязанность статистика санчасти входило посещение 13-й пересыльной роты, где принимались и откуда отправлялись этапы. Помимо сбора данных для отчетности о поступивших, я мог попутно справиться о «своих», предпринять попыт

ку помочь кому возможно. Через медперсонал почти всегда удавалось устроить перевод в больницу и избавить от общих работ.

Чаще всего на осмотр этапа мы отправлялись вдвоем с фельдшером Фельдманом, петербургским немцем, умевшим веско и безапелляционно объявить больным и вызволить из тяжкого трехъярусного ада пересылки собрата «по статье».

Были мы с Фельдманом ровесниками и земляками. У обоих жизнь после революции не сложилась — его вытурили из университета, и он прозябал на каких-то медицинских курсах. Понимая друг друга, мы действовали всегда согласно.

Нередко уходили вдвоем на прогулки или сами себя направляли на статистически-санитарные обследования по командировкам. А когда стала зима, Фельдман раздобыл в охране лыжи, и по воскресеньям мы целыми днями бродили по острову. Был Фельдман несколько чопорен, по-немецки аккуратен и методичен. И если и не располагал к нашим «расейским» отношениям нараспашку, то для дружбы на западный, сдержанный манер подходил как никто.

Слыл он знающим медикусом. К нему повадились обращаться охранники и вольнонаемные — за советом, порошками, освобождением. Тут мой приятель бывал мудр и находчив: и откажет, бывало, но так ловко, что тупой вохровец даже расчувствуется. И во всех случаях — приобретал пособников для облегчений и поблажек нуждающимся. Их у Фельдмана всегда был полный реестр: этого перевести с кирпичного завода в сапожную мастерскую, того зачислить в «труппу» (ведь были же театр, эстрада, хор, оркестр, декораторы, режиссер... даже примадонны!), тому дать на две недели отдых...

При внешней холодности был Фельдман отзывчив и обязателен: и перечислить невозможно, скольким соловчанам он помог. А кого и спас.

Однажды, просмотрев списки нового пополнения, я ринулся разыскивать своего кузена. По пути на пересылку гадал — узнаю ли того Игоря Аничкова, которого не видел уже более десятка лет. Знал я его петербургским хлыщом, кичившимся, впрочем, не только светскими манерами и родовитостью, но и исключительной образованностью, блистательным знанием языков.

Родители его жили на широкую ногу, по-барски. И, как было принято в известном кругу, не по средствам. У Аничковых все было не совсем, как у подлинно богатых людей: если и была дача на Каменном острове — то наемная; для журфиксов приглашались лакеи из ресторана, не было и своего городского вы-

езда. Но на мою мерку подростка, приученного к скромному обиходу, Аничковы жили вельможно. И Игорь запомнился мне на крыльце дома с колоннами, одетым для верховой езды, с ожидавшим его конюхом в куртке с блестящими пуговицами и подседланной кровной лошадью. Подавляли крюшоны и лимонады, налитые в сверкающие глыбы льда, подносы с мороженым, разносимым лакеями в белых перчатках на детских праздниках, устраиваемых Аничковыми в их квартире на Английской набережной.

Игорь всегда смотрел как бы сквозь меня: он был старше лет на шесть и не замечал кузена, едва вышедшего из-под опеки гувернантки. Дружил же я с его сестрой Таней, моей ровесницей. Смелая и даже отчаянная юница признавала лишь буйные мальчишеские игры. Зато старшая, Вета, была воплощением лучшего тона: всегда подтянутая, ходила с опущенными глазами, как учили в Смольном. Мать их, тетя Аня, дама чрезвычайно образованная, жившая годами во Франции и дружившая с какими-то оксфордскими светилами, была довольно близка с моей матерью, отчасти на почве увлечения теософией. Об отце их я лишь знал, что он был профессором университета, состоял в видных кадетах. Видеть его дома никогда не приходилось. У нас он появлялся с трехминутным визитом на Пасху и на Новый год, в числе торопливых поздравителей, разъезжавших в положенные дни табунами по столице.

Игорю было откуда-то известно, что я на Соловках, и потому он не выразил особого удивления при встрече. Мы несколько неуверенно расцеловались, а разговор пошел у нас и того более спотыкливый. Вместо подтянутого стройного студентика с усиками, в безукоризненно сидящем мундире я разглядывал тучноватого мужчину с одутловатым лицом, обрамленным бородкой монастырского служки. И только неистребимое грассирование и типично петербургские интонации напоминали прежнего блистательного кузена. Да и я никак не походил на того подростка в костюмчике с отложным воротничком, что лазал с его озорной сестрой по деревьям, забирался на крышу дома через слуховое окно и поил кошку валерьянкой. При подобных «родственных» встречах лишь воспоминания об общих дорогих лицах способны растопить ледок отчужденности. Но Игорь сразу и очень решительно оборвал разговор о родне, и свидание получилось скомканным и холодным.

Игорь невнятно упомянул, что получил три года лагеря из-за каких-то знакомств среди духовенства. Неожиданным было его увлечение богословием, творениями отцов церкви — прежде он признавал одно сравнительное языкознание. Но

более всего удивил меня Игорь предложением встречаться с ним... как можно реже — из предосторожности!

Впрочем, подобной мнительности дивиться по тем временам не приходилось: любое общение, знакомство, родственные связи могли всегда служить источником больших и малых бед. Игорь был типичным напуганным интеллигентом: решил, что и в лагере следует придерживаться совета Лафонтена pour vivre heureux, vivons cachés[1]. И был, вероятно, прав.

В дальнейшем я, следуя его инструкциям, никогда Игоря не навещал. Он же заходил ко мне считанное число раз в мою контору — канцелярию санчасти — с просьбами о своих сотоварищах по жилью и работе. Игорю повезло: с помощью Георгия он быстро устроился сторожем и был поселен вместе с духовенством.

Неисповедимы, говорили в старину, пути Господни. Удивляешься, как иной раз непостижимо минуют человека испытания или, наоборот, жестоко на него навалятся, подчас добивают! Мать Игоря, растеряв семью, сама не только уцелела, но и до конца долгой жизни пользовалась великими благами в качестве профессора университета. Слыла лучшим знатоком английского языка в советском ученом мире. Тане удалось уехать за границу и стать там модной художницей. Сестру же ее, похожую на фарфоровую маркизу, несчастную Елизавету (Вету), увезли в сибирские лагеря и через несколько лет расстреляли...

Игорю, казалось, не избежать тяжкой участи: судимость, происхождение, манеры, приверженность церкви, многочисленная репрессированная родня — все складывалось против него. Между тем он отделался легким испугом. После детского срока в лагере и незатянувшейся высылки последовали возвращение в родной город и университетская кафедра. И — венец праведной карьеры послушного ученого мужа — обеспеченная старость персонального пенсионера, доктора наук, без пяти минут члена-корреспондента!

И, не обладая героическим характером, Игорь был не способен обеспечить свое благополучие ценой подлости. Если и пытался подделаться под стиль окружения, мимикрировать, то делал это неуклюже и наивно. Так что власть всегда знала, с кем имеет дело. И тем не менее допустила его включение в круг расчетливо ублажаемой советской научной элиты. Игра ли случая судьба Игоря, или отражена в ней некая закономерность?

---

[1] Чтобы жить счастливо, надо жить прикровенно *(фр.)*.

Частичный ответ я нашел позднее, когда, после десятилетий лагерей и ссылок, пришлось вернуться к тому, что я мог считать «своей средой» — в общество уцелевших знакомых и родственников, научившихся существовать при утвердившихся порядках. Со своим «экзотическим» лагерным опытом и навыками жизни, приобретенными в заключении, я оказался как бы посторонним наблюдателем, знакомящимся с неведомыми нравами, манерой жить и думать.

Более всего бросались в глаза всеобщая осмотрительность и привычка «не сметь свое суждение иметь»! И дружественно настроенный собеседник — при разговоре с глазу на глаз! — хмурился и смолкал, едва учуивал намек на мнение, отличное от газетного. Одобрение всего, что бы ни исходило от власти, сделалось нормой. И оказалось, что в лагере, где быстро складываются дружба и добрая спаянность, где очень скоро выдают себя и «отлучаются от огня и воды» стукачи, мы были более независимы духом.

Уже вне лагеря, на так называемой «воле», мне приходилось — самым неожиданным образом — слышать от людей «интеллигентных», великих знатоков в своей специальности, видных университетских фигур суждения, точь-в-точь воспроизводящие расхожие пропагандистские доводы газетных передовиц. И это далеко не всегда было перестраховкой, осторожностью, а отражением внушенного долголетним вдалбливанием, кулаком вколоченного признания справедливости строя и его основ. Не то чтобы люди произносили верноподданные тирады для вездесущих соглядатаев и мнящихся повсюду подслушивающих устройств: начисто отвыкнув от критического осмысления, они автоматически уверовали в повторяемое бессчетно.

Помню однажды, в тесном, отчасти родственном кругу, не веря ушам своим, слышал, как пожилой профессор, известный классик и переводчик — побывавший, кстати, в ссылке и потерявший брата в лагерях,— веско высказывал соображения о спасительности однопартийной системы и опасностях демократической многоголосицы. Он вполне серьезно ссылался на наши «свободы» и намордники, надетые на трудящихся в странах капитала!

Оспаривать эти чудовищные для меня «истины» было бесполезно: такой образ мыслей сделался частью мировоззрения Тщетно было бы взывать: «Очнись! Вглядись во все вокруг — где хоть проблеск свободной мысли? Намек на справедливость, раскрепощение, исправление нравов? Решись, отважься, откажись от добровольно надетых шор, дай себе волю судить не-

предвзято!» К моему ершистому инакомыслию относились снисходительно, осуждали мягко, со скидкой на пережитое: человеку-де досталось, пусть и несправедливо (впрочем, находились упрекавшие меня за непокорный нрав!), он поотстал от современности, судит по временным недочетам, частности заслонили ему главное...

Игорь, правда, ни тогда, ни в хрущевские и более поздние времена не распространялся о преимуществах большевистской олигархии. Но каким-то инстинктивно срабатывающим рефлексом выводил за пределы беседы, предупреждал любое недозволенное, дерзкое суждение: то как бы недослышит, замнет реплику, заговорит о другом, то красноречиво укажет на дверь в коридор и стены, имеющие уши...

Понятно, что никакой нужды в подобной осторожности не было — в середине шестидесятых годов в столице и в Ленинграде едва ли не в открытую обменивались самиздатовскими рукописями, поразвязались языки, подслушивающие устройства еще не были широко распространены. Да и кабинетик в квартире Игоря был изолирован от всего мира. Но сказывалась многолетняя, вошедшая в плоть и кровь привычка остерегаться всего и собственные мысли держать при себе. И даже такой просвещенный человек, как мой ученый кузен, не мог себе позволить справедливо оценить режим! Защитного окраса ризы помогали раствориться в общей массе и не привлекать внимание недреманного ока Власти.

* * *

Весна... Старенький биплан, доставлявший на Соловки почту с материка, стал летать чаще, хотя из-за хронических неполадок и починок предугадать его появление было нельзя. Пилот Ковалевский — будто бы царский летчик, отчаянная голова — не раз падал и разбивался. Но, подлечившись и подлатав машину, снова высматривал подходящую погоду и в очередной раз рисковал лететь.

Прилета Ковалевского ждали с нетерпением: он доставлял вместе с казенной и почту для заключенных. Не проходило и двух часов, что самолет, нещадно оттарахтев в небе, садился, как по лагерю расползались слухи: такому-то пришло освобождение, на «лагерные дела» — в основном грабежи и насилия, совершенные уголовниками,— поступили приговоры и т. д. А через день-другой счастливчикам раздавали письма и денежные переводы.

И вот в конце апреля 1929 года меня срочно вызвали в ад-

министративный отдел Управления. Там под расписку дали прочесть извещение о замене лагерного срока высылкой! Новость была ошеломляющей...

Ошеломляющей, хотя я и знал, что брат Всеволод обо мне хлопочет. Причем пользуется незаурядным «блатом». Корни этого покровительства мне придется объяснить, потому что судьба его — показатель времени.

Итак, летом восемнадцатого года моя семья жила в деревне. И к нам в усадьбу, как в чудом уцелевшее тихое пристанище, приезжали из беспокойного, опасного Питера родные и друзья семьи. Среди них — генерал Кривошеин с супругой и детьми, а также его сослуживец, бывший начальник Михайловского юнкерского училища полковник Горчаков, с общительной, мило кокетливой и очень молоденькой женой Надеждой Васильевной.

Этот Горчаков — нестарый боевой офицер, ходивший в штатском,— производил впечатление нервного, утратившего равновесие человека. Он то решал срочно уезжать — и ему готовили экипаж,— то передумывал, развивал планы переезда на юг, писал и рвал письма. И как-то в одночасье собрался и уехал. И все это в каком-то отчаянном порыве, словно решившись идти навстречу неизбежному. Уехал с женой, как ни уговаривали его не подвергать ее всяким превратностям.

Вскоре по возвращении в Питер Горчаков был арестован. И в первую же ночь на Гороховой он принял яд, который с некоторых пор всегда носил с собой.

Те годы всех поразбросали. Чреда напряженных событий не позволяла разыскивать прежних знакомых. И следы Надежды Васильевны затерялись...

По совету Пешковой, возглавлявшей еще не совсем придушенный «Политический Красный Крест», брат отправился хлопотать обо мне в приемную «всесоюзного старосты». И в секретаре Калинина узнал... Надежду Васильевну! По счастью, она не отреклась от предосудительного знакомства, а отнеслась к нашей беде очень сочувственно. У нее с Всеволодом сложились добрые, прочные, доверительные отношения, весьма благотворно сказывавшиеся на моей судьбе — пока ее патрон сам не «погорел»: лишенный всякого влияния, он смирнехонько доживал свои дни.

После июльских дней семнадцатого года Горчакову, еще возглавлявшему тогда Михайловское училище, довелось оказать существенную услугу Калинину, которого он в силу каких-то обстоятельств знал. Горчаков помог Калинину на время скрыться из Петрограда и избежать ареста.

Оказалось, что у Михаила Ивановича долгая память на добро (бесспорный «недостаток», может, и определивший бесславное завершение калининской карьеры). Приехав из Москвы в Питер уже Председателем ВЦИК, он стал наводить справки о Горчакове. Потом разыскал его вдову, нестерпимо бедствовавшую и голодавшую в нетопленной квартире. Михаил Иванович тут же перевез ее в новую столицу, поместил в бывшей гостинице «Петергоф», где находилась его приемная, и определил к себе в секретари.

Столь высокое покровительство перечеркнуло «темное» прошлое молодой женщины. Оно распространилось и на ее семью, нищенствовавшую в Ташкенте, где отец Надежды Васильевны долгие годы был нотариусом.

Так состоялось переселение в красную столицу провинциальных общипанных «бывших» — юриста, очень старомодного, с гончаровскими баками и в мешковатой чесучовой паре, его супруги, в шляпке-корзинке с выгоревшими цветами, и трех прехорошеньких девиц на выданье. Обо всех, и очень последовательно, позаботился Михаил Иванович: нашлись квартиры, должности. И даже женихи. Одним из них оказался сам «всероссийский староста», оставивший свою благоверную (эстонку, по слухам, достойную женщину) ради совсем юной сестры Надежды Васильевны — Верочки.

Познакомился Калинин и с Всеволодом и тут же взялся устроить судьбу полюбившегося ему тверского «земляка». Да и свет оказался тесен. В семье моей знали генерала Мордухай-Болтовского, тверского помещика, в доме которого вырос деревенский паренек Миша. Генеральские сыновья увезли его с собой в Питер и как могли способствовали посвящению подростка в заводской труд и революцию. Не берусь сказать— довольны ли они были последующими успехами своего питомца!

Президиум ВЦИК и постановил освободить меня из лагеря. Всеволода Калинин рекомендовал во Внешторг, и брат уехал в Шанхайское торгпредство. В XVIII веке подобные метаморфозы назывались «попасть в случай».

...Я вышел из Управления, распираемый радостью. И между тем замедлял шаги: совестно было объявить о своем счастье Георгию, отцу Михаилу, другим соловецким друзьям. Нежданная моя удача только подчеркивает безысходность их участи... И я малодушно пробрался в пустовавшую в этот час келью, не объявившись никому из них.

— Ты что спрятался?! — ворвался ко мне Георгий.—

Знаем, все знаем... Давай обниму и перекрещу... Поздравляю! И не вздумай себя считать виноватым перед нами... Ведь нынче не скажешь, что спокойнее: сидеть тут запечтанным, с уже решенной участью, или по-заячьи жить на так называемой воле. И гадать: сегодня придут за тобой или завтра?

Я вдруг увидел то, чего не замечал, встречая Георгия изо дня в день: и резкие морщины, и глубоко ввалившиеся глаза, и неразглаживающуюся складку меж бровей. Бесконечно усталый, даже затравленный взгляд. Знать, тяжко на душе у моего Георгия. Но что за выдержка! Ничем не выдаст своего смятения, всегда ровен, участлив, легок! И щедр на добро, будто баловень судьбы, готовый выплеснуть на других излишек своих удач.

Трезво и безнадежно смотрел Георгий на свой земной путь. Но не дотянуться с Соловков, не прикрыть собой немощных родителей, милой жены, маленькой Марины. И нет им защиты, и нет опоры в изменчивом, враждебном мире — только Бог!

Чтобы мне же облегчить бремя везения, и разыскал меня Георгий. Я крепко и благодарно жму ему руку. Договариваемся о поручениях, какие я мог взять на себя, уславливаемся, как писать о недозволенном.

И замелькали кружные дни сборов и прощаний. Да еще выяснилось, что и не надо дожидаться открытия навигации. В зимние месяцы срочные грузы и почту с материка доставляли на двух поморских лодках. Я сходил к начальнику почтовиков — потомственному беломорскому рыбаку, коренастому и немногословному, и попросился в его маленький отряд. Он не слишком дружелюбно оглядел меня, процедил, что в пути может достаться круто, и согласился включить в свою команду на очередной рейс. В адмчасти мне пришлось дать расписку, что я добровольно согласился на участие в морском походе, об опасностях которого предупрежден. Вот она, заботушка начальства о наших драгоценных жизнях, вверенных его попечениям!

Томительно тянулись дни. Я роздал вещи — в лодку не разрешалось брать багаж. По нескольку раз окончательно прощался со всеми, набрал поручений, позашивал в одежду записки и адреса и... стал как бы отрезанным ломтем. А отплытие все откладывалось. Главный почтовик наш переселился куда-то за Савватьево и часами караулил с маяка на Секирной горе льды в проливе.

И наконец настал день, долгожданный и захвативший

врасплох. Ко мне из Управления прибежал запыхавшийся курьер-урка: выходить в море!

Лодки были подтащены к самым торосам на берегу. Мы — десять человек команды, по пять на каждую лодку — поджидали своего предводителя, разложив костерок.

Проводить меня пришел из кремля вятский епископ Виктор. Мы прохаживались с ним невдалеке от привала. Дорога тянулась вдоль моря. Было тихо, пустынно. За пеленой ровных, тонких облаков угадывалось яркое северное солнце. Преосвященный рассказывал, как некогда ездил сюда с родителями на богомолье из своей лесной деревеньки. В недлинном подряснике, стянутом широким монашеским поясом, и подобранными под теплую скуфью волосами, отец Виктор походил на великорусских крестьян со старинных иллюстраций. Простонародное, с крупными чертами лицо, кудловатая борода, окающий говор — пожалуй, и не догадаешься о его высоком сане. От народа же была и речь преосвященного — прямая, далекая свойственной духовенству мягкости выражений. Умнейший этот человек даже чуть подчеркивал свою слитность с крестьянством.

— Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал все, в храме бок о бок с нами стоял. И должен все это сердцем запомнить. Понять, почему сюда власти попов да монахов согнали. Отчего это мир на них ополчился? Да нелюба ему правда Господня стала, вот дело в чем! Светлый лик Христовой церкви — помеха, с нею темные да злые дела неспособно делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывают, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полунощный край небушка, не забывай, что тут хоть туго да жутко, в духу легко... Ведь верно?

Преосвященный старался укрепить во мне мужество перед новыми возможными испытаниями. Я же вовсе отбросил думы о них: мечтал о встречах, удаче... Лелеял неопределенные заманчивые планы. Себя я чувствовал не только физически сильным, но и окрыленным. Словно то обновляющее, очищающее душу воздействие соловецкой святыни, неопределенно коснувшееся меня в самом начале, теперь овладело мною крепко. Именно тогда я полнее всего ощутил и уразумел значение веры. За нее и пострадать можно!

...Наш кормчий пришел далеко за полдень и заторопил с отплытием. Мы сняли полушубки и бушлаты, взялись за концы крепких перекладин, вдетых по две в скобы на бортах лодки. Навалились на них всем телом и поволокли по льду

стоящие на килях посудины. Предводитель наш, не оглядываясь, быстро шел впереди, выбирая путь по нагроможденным льдинам. Подниматься по ним было тяжело, но и спускаться не легче: лодки приходилось изо всех сил удерживать. Зато по ровному они скользили хорошо, и только масляно шипел под окованным килем неглубоко прорезаемый лед...

С места мы пошли так ходко, что я все не успевал как следует оглянуться и еще раз помахать рукой стоявшему на берегу вятскому епископу. Он не уходил. Поначалу была видна поднимающаяся в благословении рука, потом приземистая фигура преосвященного Виктора стала сливаться с окружением, теряться. И вскоре весь низкий берег протянулся темнеющей полосой...

...До кемьского берега мы добрались меньше чем за двое суток. До ночи второго дня никак не удавалось отойти от Соловков. Сильные течения и ветер закрыли чистую воду большими ледяными полями, и сколько мы ни шли по ним, их движение в обратную сторону сводило все на нет. Мы по-прежнему маячили в виду острова, нас даже сносило ближе к берегу. Убедившись в тщете усилий, начальник велел готовиться к ночевке. На лодки, подпертые распорками, натянули брезенты, под ними зажгли примусы, засветили свечи. После ужина, выставив дежурных, полегли. На груде поморских шуб и тулупов было тепло и мягко, но, несмотря на усталость, мне не спалось. Уже глубокой ночью я выбрался из-под брезента на лед.

Ветер стих. Небо очистилось, и над головой повисли яркие, крупные звезды. Кажется, никогда я не видел их такими большими и висящими так низко. Слух поразил непонятно откуда шедший внятный перезвон — то матовый, то стеклянно четкий. Не сразу я догадался, что это сталкиваются, звенят, обламываясь и насовываясь друг на друга, плавучие льдины. Там, под сияющим пологом неба, над пустынным простором моря, в глубоком безмолвии ночи, эти странно торжественные, мелодичные звуки отзывались в душе, как голоса неведомых вселенских пределов. Таинственный зов из непостигаемых глубин мироздания...

Потом я мертво спал, пока не был разбужен резкой командой. Полусонным бросился на свое место. Своевольные течения раскололи наше ледяное поле, вокруг затемнели трещины, и надо было спешно свертывать тенты, спускать лодки на воду и браться за весла. Так мы и провели остаток ночи; то втаскивая лодки на лед, то плывя по тесным и извилистым прогалам чистой воды.

Когда рассвело, мы увидели берег. Над ним, в каких-нибудь полутора десятках верст, громоздились стены и башни Соловецкого монастыря...

Весь длинный весенний день прошел почти без перемен. Было солнечно и даже жарко. Льды сияли нестерпимо, ослепляюще. Нам раздали темные очки. По пояс голые, мы волокли лодки по уже рыхлому льду. Старшой неумолимо шел и шел в известном ему одному направлении и не давал передохнуть.

Под вечер как-то незаметно стали учащаться разводья, и мы то рассаживались в спущенные на воду лодки, то снова вытаскивали их на лед. Измучились было совсем, как вдруг оказалось, что мы на кромке поля, за которой — открытая вода. Вода, слегка взрябленная попутным ветром. Мы подняли паруса, и грузные неповоротливые наши ладьи как по волшебству превратились в легкие подвижные суденышки.

В наступивших сумерках зачернела впереди линия материка. Счастливый поход! И помягчевший старшина наш рассказал, как бывал отнесен к горлу Белого моря, как приходилось морозиться и бедствовать. А тут — приятная морская прогулка.

Иначе и не могло быть, думалось мне. И вновь я видел устлавшие берег камни, подтаявшие льдины и фигуру неподвижно стоящего архиерея, творящего молитву о «странствующих, путешествующих, плененных и сущих в море далече». И слышал его грубоватый голос, опаленные жаром веры слова... Путь наш и должен был лечь благополучно...

Пристали мы к земле за полночь. Далеко впереди, за береговым припаем, тускло горели фонари зоны на Поповом острове. Мы зашагали к ним. Старшой сдал коменданту мои документы на освобождение, и я в тот же день сел в скорый мурманский поезд.

Глава четвертая

ГАРРОТА

Это — из истории инквизиции. Учение Христа запрещает пролитие крови, и священный трибунал приговаривал к смерти через удушение. Гарроту — чудовищные щипцы, какими сдавливали горло жертвы,— воскресили в франкистской Испании, как Гитлер плаху с топором в своем рейхе, а Сталин — виселицу в Советской державе.

...В громыхании колес, постукивании буферов, в толчках и раскачиваниях вагона, в лязге стрелок чудится что-то разгонистое, веселое: мчусь к воле, к милым свиданиям, к выбору пути... Славно! Мне не сидится в пустом купе, и я часто выхожу в коридор или путешествую в вагон-ресторан — лишь бы заполнить праздные часы.

Народу в вагоне немного. И притом все такого, что не тянет разговориться. Как ни склонен я сейчас ко всему и ко всем подходить с открытой душой, как ни распирает меня приподнятость,— я уловил настороженность пассажиров, искоса, украдкой разглядывающих меня. Между ними и мной — кисейный занавес подозрительности: я вижу в замкнутых, хмурых командированных в полувоенной одежде ряженых чекистов; те, несомненно, чуют в моей бородке, бекеше и охотничьих сапогах отступление от нормы, нечто не укладывающееся в стандарт советского служащего, едущего по казенной надобности. Да еще севшего в поезд в зоне лагерей. С таким — от греха подальше — лучше не водиться.

За одним столом со мной обедали два простоватых пассажира — вероятнее всего, профкомовцы с завода. Они молча осушили графин водки, затем, как по обязанности, опорожнили одну за другой дюжину бутылок пива. Про себя отмечаю,

что и порядочно осоловев, они все же не стали со мною заговаривать, хотя по всему было видно, что их разбирает любопытство: кто такой этот трезво пробавляющийся чаем сосед?.. В слепоте своей я ехал как на праздник, и неохота было, просто некогда задумываться...

...Стою, прильнув к окну. Бегут мимо опушки ельников, в разрывах открываются поймы речек, строения редких деревень — потемневшие от непогоды, с подслеповатыми окошками, такие притихшие, родные! Захочу — сойду на любой станции, отправлюсь мерить версты по таким вот еле наезженным дорогам; подойду к тем мужикам, что столпились возле запряженных в плуги лошадей... Или заговорю с остановившейся у колодца статной молодухой, всматривающейся из-под руки в цепочку бегущих мимо вагонов. Ведь и по вас, русские красавицы, я успел соскучиться!

— Гражданин, ваши документы!

Арест? Паника, и — фоном к ней — мысль о возвращении к только что покинутым людям, уже принадлежащим легенде, уже ставшим рыцарями Правды и Света, близкими по духу и без которых словно пустовато.

За моей спиной вынырнул военный в фуражке с алым околышем. Форменный сморчок: сутулый, с бегающими глазками и нездоровым желтым лицом. За ним в дверях купе — два рыжих вышколенных красноармейца с кобурами на поясах. Чекист внимательно и неторопливо изучал мое удостоверение. Я мучительно соображал — как уничтожить в одежде записки и адреса? Но — обошлось. Удостоверение снова у меня в руках.

Словно бы и пустяк — в зоне лагерей у пассажиров проверяют документы. А мне отрезвляющий душ: ходить мне отныне на сворке, по сравнению с лагерем несколько более длинной, но удерживаемой в тех же руках. Чекист уже из коридора бросает: «В Москве не задерживаться!»

Ну, это дудки! Я уж подумал, как трамваем перееду на Курский вокзал, возьму билет до Тулы, сяду в дачный поезд и с ближайшей станции вернусь, наверняка избавленный от возможной слежки.

В Лианозове, в то время (1929 год) еще малолюдном, окруженном лесом подмосковном поселке по захудалой Савеловской дороге, жили старые друзья семьи, из помещиков нашей Никольской волости, две сестры Татариновы. Они обменяли свою комнату в одном из арбатских переулков, присовокупив к ней выручку за семейную реликвию — еван-

гелиста Иоанна кисти Мурильо[1],— солидную сумму в золоте, на славную дачку с садом.

Для меня удивительно: они обе, как и их мужья, служат. Средняя, Наташа, даже преподает французский в Институте красной профессуры. А живущая отдельно их старшая сестра Татьяна Ивановна пристроилась гувернанткой в семье Жукова — будущего маршала. Они, как и родственники их, как и обширный клан Осоргиных, прилепились к сложившимся обстоятельствам, как-то приспособились, хоть и на задворках, втянулись в круговорот текущей по новому руслу жизни, где, казалось мне, не было для них места. И между нами появилась не то чтобы стена непонимания, но некая разделенность мирков, в которых мы обитаем. Я, со своими соловецкими исповедниками и мыслями об очищении России,— в лучшем случае, пустой мечтатель а то и способный навлечь неприятности «соучастник» всячески хоронимого прошлого. Для большинства из них — в нем помеха. Несброшенный груз. Для меня — опора.

...Уютные дедовские кресла, правда, давно нуждающиеся в обойщике. Со стен из старинных рамок глядят люди зачеркнутого «вчера». Милая младшая Татаринова, ставшая Верой Долининой-Иванской, разливает чай в гарднеровские чашки со стершейся позолотой. А в словах ее мужа, остроумного и такого «своего» по облику, манерам, даже интонациям, Володи мне слышится отходная всем иллюзиям и надеждам, накопленным мною в атмосфере поруганной, но еще живой православной обители...

— Мы все раз и навсегда так пришиблены, так напуганы, что способны только просиживать штаны за конторским столом, где нам предоставлено щелкать на счетах или разлиновывать таблицы. У меня заведующий базой — чванный тупица. А я перед ним тянусь: «Будет сделано, Иван Сидорович!» И не обижаюсь на него за тыканье... Значит, считает своим. Ведь я даже от фамилии отсек родовое Иванский. Числюсь попросту: «товарищ Долинин»,— усмехнулся Володя.— Себе перестал признаваться, что мать — Оболенская, княжеского племени. В са-а-мый дальний уголок памяти затолкал свои воспоминания... Знаем, хорошо знаем, что засосали нас подлые страхи, но даже покосить глазом в сторону, где еще, быть может, светит лучик, боимся, не то что к нему потянуться. Выбор один: или помирай, или подвывай... За решеткой ты, вероятно, не

[1] Картину эту привез из Франции Всеволожский, прапрадед сестер, еще в XVIII веке.

так чувствовал, как туго закручивают сейчас все гайки. Всех нас, с нашими помыслами, надеждами, желаниями и вкусами — со всем потрохом! — крепко прибрали к рукам.

— Ну, это здесь, в городах,— не хотел верить я.— Зато мужик окреп, набрал силы. Да и пограмотнее, наверное, стал. С мужиком придется считаться — у него в руках земля и хлеб, а с ними он...

— Вот уж это, прости, даже наивно. Землю как дали, так и отнимут. Да еще сделают это руками деревенских лодырей и горлопанов, кто так и остался нищим после передачи земли крестьянам. Насажают по деревням бурмистров — все будет в ажуре, как говорим мы, бухгалтеры... Нас с семнадцатого года друг на дружку натравливают — и не без толку: на соседа волком смотрим. А нэпманов по городам еще проще обобрать: и не пикнут. То давали им льготы, поощряли. Сегодня они уже — спекулянты, а завтра будут объявлены врагами народа... Все упущено, все разгромлено. Мы поджали хвост и ползаем. В пол, в стены готовы вдавиться, лишь бы не выделяться, лишь бы уцелеть!

Володя говорил, что люди нашего поколения и круга — все недоучки. Малообразованны, вдобавок разобщены, толком не знаем, за что мы, чего хотим... И это — перед целеустремленным напором, беспощадным катком, подминающим все...

— «Напор», «каток»! — горячился я.— И невооруженным глазом видно, что за душой у этих напирающих ни на грош государственной мудрости и умения хозяйничать: насилие, демагогия, жизнь за счет накопленного веками основного капитала России. Сила лишь в готовности бессовестно экспериментировать на живых людях, в беспринципности. Ограниченные доктринеры, лишенные нравственных критериев! Подумать только — лагеря разворачивают! Да рабский труд еще Рим погубил...

— Погубил — пусть. Да не в одно досятилетие. И наша система потянет, пусть не на века, а уж на человеческую жизнь, и не на одну, хватит с лихвой...

Выгнанные из имения, сестры Татариновы вместе с матерью осели в Торжке. И не было в том богомольном городке более ревностных молельщиц, чем эти девушки. Усердно вышивали они шелками по сохранившемуся великолепному «старорежимному» муару узоры и кресты для пасхального облачения архиерея. Участвовали в крестном ходе, разогнанном пулями...

Ни о чем подобном я не дерзаю заговаривать — чую заранее, как неуместно воскрешать эти прожитые страницы. Умная и чуткая Наталья находит случай вскользь, но очень четко заявить о лояльности, неотделимой от чести: раз нанялся работать, получаешь вознаграждение, изволь и без присяги служить честно. Что ж, вполне дворянское рассуждение!

Огорчило и свидание с прежним сослуживцем по греческому посольству. Некогда мой соотечественник — бывший одесский коммерсант господин Коанзаки,— волею судеб обращенный в записного дипломата, обставил визит мой так, что и минуты не отвелось для серьезного разговора. Мило щебетали очаровательные дочки Алекс и Жоржетта, занимала важными соображениями о генеалогии фанариотов (константинопольских греков, насчитывающих среди своих предков Юстиниановых сподвижников) сама Мадам... Я так и ушел, не дождавшись предложения воспользоваться услугами своего хозяина для отправки дипломатической почтой замышленных мной, впрочем, так никогда и не осуществленных, соловецких очерков. Обстановка изменилась: от оказания материальной помощи бывшему сотруднику посольства до поддержания фронды любого оттенка, пусть и в виде литературных упражнений, дистанция немалая. Оказывается, поджали хвост не только «бывшие». Стали оглядчиво поступать и дипломаты.

...В Ясной Поляне меня встретила моя сестра Наталья. Она с мужем, князем Кириллом Николаевичем Голицыным, очутилась там по тем же причинам, что стремили туда и меня. Кирилл, вовсе юнцом попавшийся провокатору, провел пять лет в Бутырской тюрьме. Лишенный права жить в столице, он приютился под крылышком Александры Львовны Толстой. Молодоженам нашлась и работа: Кирилл художественно оформлял стенды музея, сестра втягивалась в ремесло «шрифтовика». При повторном — десятилетнем — сроке мужа приобретенное умение помогало ей одной подымать троих сыновей

Голицыны подыскали мне жилье на деревне — половину просторной избы, отделенную коридором от хозяйской. Глава семьи Василий Власов, средних лет обтершийся мужик — был втянут Толстыми в орбиту проводимых ими просветительских начинаний.

Однажды Василию довелось играть во «Власти тьмы» трагического мужика С тех пор, когда случалось — вовсе не редко выпить, он разражался театральными рыданиями, неизменно находя, о чем сокрушаться. Попал на импровизированную сцену и его сын, четерехлетний толстенький Володя. По

случаю октябрьских праздников он должен был выйти на авансцену и произнести (устами младенца!) сакраментальное «Да здравствует товарищ Сталин!», подхватываемое выстроенным позади детским хором. Володя очень смело шагнул вперед, бойко выкрикнул «Да здравствует...», запнулся и, беспомощно оглянувшись на кулисы, потише добавил: «Пызабыл!»

Я попал в Ясную Поляну, когда еще не улеглись отголоски столетнего юбилея Толстого. Там все еще доволновывалось и унормливалось после торжеств, открытия школы, больницы и прочих правительственных мер «по увековечению». Мер, свидетельствующих почет, каким пользуется у ленинцев писатель, пристегнутый их учителем к революции. И приезд мой совпал с давно намеченным спектаклем, все оттесняемым более представительными начинаниями. Им было решено обновить сцену актового зала новой школы.

С корабля на бал... Александра Львовна, в качестве вдохновительницы постановки, тотчас определила, что мне следует поручить роль Платона Михайловича, и я, поневоле втянутый в захватившую обитателей усадьбу суету репетиций, примерки костюмов, должен был затвердить не лезшие в голову реплики — по счастью, короткие,— злополучного грибоедовского «жениного» мужа.

Только что отстроенной больницей ведал врач Александр Николаевич Арсеньев. Я стал часто бывать в его гостеприимном доме. Тон в нем задавала его жена Варвара Васильевна, урожденная Бибикова. Они оба были плоть от плоти преданных идеалам народничества кругов поместного дворянства. Тульские дворяне даже исключили из своей корпорации Александра Николаевича за несовместимые с принадлежностью к благородному сословию республиканские взгляды и безбожие.

У Арсеньевых множество подопечных — поддерживаемых постоянно или от случая к случаю. Тут снисходительность к заблуждениям, уважение к «младшему брату» (в этой семье честили крепостниками и ретроградами бар, обращавшихся на «ты» к прислуге), нетерпимость к праздности и чистоплюйству, прямота и искренность побуждений. И — вера, несмотря ни на что, в здоровые силы народа, в гласность, выборность и прочие фетиши русских радикалов.

Тогда такие русские люди причеховской формации — честнейшие, образованные — еще не вымерли. И как раз наступило время тяжкого прозрения, пробуждения от баюкающего сна. Эти милые, благородные и деликатные, искренние

радетели за народ, за достоинство и права человека начинали понимать, что, расшатав старые устои и пытаясь осуществить мерещившиеся им призраки равенства и свободы, они помогли затащить страну в великую пропасть. Наивные, прекраснодушные российские интеллигенты! Они полагали, что стоит покончить с царским престолом, как сразу устроится земной парадиз, воцарятся справедливость и правда...

Александр Николаевич, старый земский врач, с головой ушел в дела своей больницы. Он едва ли не демонстративно давал понять, что никакие иные вопросы обсуждать не намерен. Зная о его прошлых тесных связях с меньшевиками и эсерами, я умышленно рассказывал при нем о встреченных в тюрьме и на острове «политических», но натыкался на раздражение. И даже резкости. Я наступал на любимую мозоль, тем более болезненную, что как раз тогда вершился погром всяких обществ старых революционеров, расплодившихся было в пору бурного цветения иллюзий... Старый земец острее других сознавал порочность глубинных корней революционных учений, примененных к народной жизни.

Варвара Васильевна видела во мне — несколько непоследовательно — собрата тех «жертв самодержавия», которых привыкла опекать до революции: прежних высланных из столиц горячих адвокатов и журналистов-ниспровергателей. С ними носились в провинции местные либералы, бравировавшие своей краснотой перед губернатором. Но некогда знала Варвара Васильевна близко и таких людей, как Короленко, помогала ссыльным в далеких сибирских селах, и потому отношение ее к пострадавшим от власти зиждилось на сердечном сочувствии и понимании тяжести переживаний лишенного свободы человека.

— Вам, должно быть, не до нас с нашими спектаклями и возней,— сказала она мне как-то. И так очевидно было, что у этой женщины открыты глаза и сердце...

Жизнь быстро брала свое.

Я зачастил в Тулу. Уж не помню, через кого познакомился с Варварой Дмитриевной, бывшей наследницей Шемариных — крупнейших местных промышленников. Она смело, но не слишком удачно, пренебрегши старинным заветом избегать мезальянсов, вышла замуж за чистокровного пролетария — отпрыска потомственного рабочего Тульского оружейного завода из прославленной слободы Чулково.

Нарядная, эффектная купеческая дочь, взлелеянная сонмом мисс и мадемуазелей, имевшая в четырнадцать лет свой выезд и штат прислуги, очутилась в отгороженном закутке —

с клопами! — мещанского домика о трех окнах на положении невестки сварливой, запивающей, распущенной старухи и молчаливого свекра, человека незлого, справедливого, но грубого. Единственный сын этой четы — герой романа Николай, плотный и пригожий молодец лет около тридцати — уже не слесарил в цехе, по примеру отца, а служил в какой-то конторе и одевался соответственно своему рангу служащего. Женитьба на разоренной богачке радикально повлияла на паренька из Заречья, потянувшегося к атрибутам поверженного барства. Переняв сдержанность манер и холодную вежливость своей супруги, державшейся королевой, он усвоил чисто джентльменскую привычку цедить слова сквозь зубы, чуть чопорно кланяться, по моде одеваться. Знакомства Николай заводил преимущественно среди бывших. Стал держать кровную псовую собаку, введшую его в круг немногочисленных уцелевших тульских борзятников, кстати, очень дружески встретивших собрата новой формации.

Николай малодушно стеснялся своих необразованных родителей. В каталогах собачьих выставок, он, ища, как облагородить свою фамилию, прибавлял к ней букву «х», полагая, что «Савкинх», при умелой подсказке, может сойти за заграничную: барон Николай Савкинх!

Был этот Николай приятен в общении, обязателен, щедр — а сохранившиеся крохи миллионов позволяли жить по тем временам на широкую ногу. Он столь искренне стремился отшлифоваться и войти в общество, открытое для него революцией, что эта готовность к дружбе с людьми, в общем-то бедствующими и утесненными, чрезвычайно к нему располагала. И хотя выглядели смешными его претензии на аристократизм и предосудительным — отмежевание от родителей, в таком искреннем желании разделить судьбу обреченного сословия не только не было расчета и корысти, но проявлялся смелый и благородный характер. Николай не побоялся клички отщепенца и не прельстился открывающейся ему, «своему в доску», рабочему парню, да еще с семью классами реального училища, «зеленой улицы» к партийным синекурам, высоким постам и легкой карьере.

Варвара Дмитриевна служила переводчицей в техническом отделе Тульского оружейного завода. Она стала снабжать меня работой. Я переводил с немецкого и английского каталоги и описания деревообделочных машин, сверлильных и прочих станков, в которых мало что понимал сам. Однако переводы мои одобрялись, и этот благословенный источник доходов позволял очень удовлетворительно сводить концы.

В отношении этой властной, гордой женщины к Николаю не было и тени снисходительности к его промахам и светской неискушенности. Даже было похоже, что она, очнувшись от отчаяния после крушения семьи, бросившего молоденькую девушку к преданно ее заобожавшему сослуживцу приятной наружности — кстати, не торопящемуся показать своей избраннице родителей,— горько раскаивалась в своем шаге. В муже Варвара Дмитриевна видела лишь шокировавшие ее недостатки и малую культурность. Немалых его достоинств она попросту не замечала. Исчерпанность отношений супругов была очевидной.

С Варварой Дмитриевной я встречался в городе, в доме Петра Ивановича Козлова, человека незаурядного по цельности своей, упорству и мужеству.

Петр Иванович, бывший владелец лучшего кондитерского магазина в Туле, начал с мальчиков у прянишников, а перед революцией у него уже были рысаки на бегах в Москве. Незадолго до моего появления в Туле он вернулся домой после трехмесячного искуса в опытных лапах «золотоискателей», как тогда называли чекистов, специалистов по выколачиванию у граждан — подозреваемых владельцев наследственных и благоприобретенных кубышек — припрятанных на черный день драгоценностей и золотых монет. Петр Иванович выдержал многосуточные «стойки», голодание, жажду, распаленную селедкой, зуботычины и застращивание. Он так и не произнес то «Ведите — покажу!», которого добивались терзавшие старика чекисты.

— И откуда взяли? Какое золото у меня, когда свои деньги, какие были, я в дело вкладывал... Чудаки, право! Да что я, старуха деревенская, чтобы их в горшок прятать? Я, чай, коммерсант. Каждый рубль пускал по свету бегать, чтобы ко мне новые загонял...— словоохотливо объяснял он по возвращении из ЧК многочисленным друзьям и приятелям, уже по инерции открещиваясь от приписываемых ему сокровищ.

Поместительный дом его на Хлебной площади, со службами и флигелем, был широко открыт для гостей. Хозяин любил толкотню вокруг себя, оживление, ночи, проведенные за карточным столом. Тишина и одиночество были Петру Ивановичу несносны. Что-то должно было отвлекать его от случившегося: Петр Иванович убил сына.

Вместе с широтой натуры, требовавшей рискованных ставок на тотализаторе, расшвыривания денег у «Яра», щедрых чаевых, какими вчерашний кондитерский подмастерье остолблял свое право находиться в беговой беседке или рос-

кошных ресторанах наравне с титулованными игроками и наследственными богачами, вместе с замашками барства в Петре Ивановиче уживался и расчетливый, прижимистый хозяин, очень знающий цену заработанного целкового. И, конечно же, за свое добро, за кровное, он держался крепко. Особенно теперь, за те крохи, что не отняла у него революция: двор на Хлебной площади и налаженное кое-как во флигеле крохотное производство сластей. Им он и пробавлялся с семьей после объявления «новой» экономической политики, возвращавшей к самой что ни на есть испытанной человеческой практике.

Петр Иванович сурово и ревниво охранял свои владения — кустарную мастерскую с пудишками драгоценных в те времена сахара и муки. По ночам прислушивался, выглядывал из форточки на темный двор, выходил в сени с доброй своей двустволкой, заряженной волчьей картечью. Страстный охотник, был он и отличным стрелком.

И как-то ночью Петр Иванович явственно услышал шорох. Без скрипа приотворена дверь... Кто-то перелезал через высокий забор. Вот в тени кустов крадется тень. Петр Иванович вскинул ружье: «Стой! Стрелять буду!» Тень побежала. Еще предупреждение, потом выстрел в воздух. Второй — в цель. Человек ткнулся на булыжник мощеного двора. И не поднялся.

— Папа, ты меня убил,— услышал подбежавший Петр Иванович.

Подросток-сын пробирался тайком к себе после запрещенной отлучки. Наткнувшись на отца, испугался. И молча кинулся прочь...

В семье все боялись Петра Ивановича до столбняка, особенно задерганная, бестолковая и бессловесная жена его Анна Ивановна. Прежняя кассирша модного козловского заведения, она некогда привлекала покупателей улыбкой и пышнейшей прической.

Подраставший второй сын Николай и любимица Галочка — близорукая, светлобровая и очень белая кожей девушка, начинающая пианистка,— помогли пережить трагедию. Но на весь обиход семьи она наложила неизгладимый отпечаток. Обращенная в кухарку и судомойку Анна Ивановна, во всегдашнем неряшливом затрапезе, не выходила из кухни; дети, особенно сын, старались как можно меньше времени проводить дома. Петр Иванович окружил себя преферансистами, собратьями по охоте, привечал многочисленных гостей, деспотически взваливая на жену хлопоты по угощению, тихо, но беспощадно

зло выговаривал за невычищенное стекло в лампе или полотенце, поданное не выглаженным.

Я попривык бывать у Петра Ивановича, стал к нему заезжать, сначала — в дни обязательной регистрации в НКВД, а дальше — полюбил и задерживаться. Хозяин объявил одну комнату моей, был заботлив и сочувственно внимателен. Сблизила нас, помимо сходных настроений, и некоторая общность вкусов: любовь к охоте, лошадям и азартная готовность убить сколько угодно времени за пулькой. Даже дивлюсь теперь: как не жалел его тогда. Как растрачивал...

Думаю, что карточный запой, как можно бы назвать наши многочасовые бдения за ломберным столом, служил благодатной отдушиной. Игра требовала внимания — как ни скромны были ставки, исход ее был не безразличен при тощих моих достатках — и отвлекала от постоянных забот и страхов. Пусть и подсознательно, но жизнь вершилась в напряжении и тревогах. Настороживали всякая мелочь, всякий слух. Вот при регистрации в комендатуре задержали на целых два часа и удостоверение возвратили с каким-то двусмысленным замечанием; или главу знакомого семейства Ивашкиных, напоминающего степных помещиков Тургенева, неотесанного и презирающего книги, вызвали в НКВД и — хоть и брали там подписку о неразглашении, домочадцы проболтались — расспрашивали обо мне. Газеты писали о кулацких вылазках, приводили списки уличенных и раскаявшихся «врагов народа», приговоренных к высшей мере...

А за тяжелыми портьерами уютного кабинета Петра Ивановича, в тишине спящего дома шел свой особый отсчет часов, измеряемых сдачами карт, взлетами удачи, крушениями хитрейших комбинаций,— словом, игрой фортуны, не грозящей роковыми исходами. Попритершиеся друг к другу партнеры рутиной жестов и сакраментальных объявлений держали ум и фантазию в плену происходящего за столом. Один из постояннейших участников наших сражений, Дмитрий Дмитриевич Кулешов, играл прижимисто. Вынудить его зарваться и обремизиться составляло увлекательную цель, ведшую к драматическим поединкам. Рискованное назначение заставляло учащенно биться сердце: объявишь в надежде на счастливый расклад девять без козыря или мизер — и перестаешь дышать, пока партнеры не откроют карты. Ликуй или выставляй ремиз, который не дадут списать до конца пульки.

Этот Кулешов, прежний крупный помещик и давний знакомый Петра Ивановича, снимал у него комнату. Семья к нему попривыкла, но близости не было. До сих пор не знаю,

имели ли основание упорно ходившие слухи о его амплуа осведомителя. Жил он замкнуто, нигде не служил, но и не нуждался. А главное — жил непотревоженно. Лишь однажды, в начале двадцатых годов, был арестован ЧК и очень скоро выпущен. По тем временам и этого было достаточно, чтобы вызвать подозрение. Петр Иванович, может быть, и брал грех на душу, когда намекал, что передряга с «золотоискателями» не обошлась без участия его жильца. Но партнером Дмитрий Дмитриевич был корректным, в обхождении тактичен, воспитан, смешил нас анекдотами в передышку, какую нам давали чай и легкий ужин, неизменно сервируемые Анной Ивановной под строгим оком хозяина в точно установленные часы. Подавался и традиционный графинчик с разбавленным ректификатом, поставляемым нашим четвертым партнером, приходившимся свойственником Петру Ивановичу, подвижным, веселым и громогласным доктором Гончаровым. Врач с большой практикой, пользовавший охочих до лечения ожиревших супруг тульских архонтов, он жил на широкую ногу. Даже держал одиночный выезд. Преферансистом Николай Сергеевич был страстным, но играл неосмотрительно, так что Петр Иванович ворчал и досадовал на своего свойственника, частенько перебивавшего игру и наставлявшего чудовищные ремизы. Этому, правда, откровенно радовался Дмитрий Дмитриевич, очень ценивший реальный результат игры.

Мы расходились под утро, иногда белым днем, слегка сконфуженные своим малопочтенным времяпрепровождением.

— Говорил я, третьей пульки не начинать,— проводив гостей, по-всегдашнему чуть гнусаво и нараспев говорил Петр Иванович, сокрушенно качая головой.— Вперед надо уславливаться: до трех часов поиграли, ну — до четырех, и — шабаш! Расписывай пульку и по домам... А то какой я теперь работник?

Тут Петр Иванович наводил тень на плетень. Он именно всегда и по целым дням ничего не делал, да даже и не мог, по непоседливости своей и беспокойному духу, и тем более в одиночку, усидчиво чем-либо заняться, кроме отвлекавшей от размышлений карточной игры. С редкими варками постного сахара и изготовлением пастилы справлялся сын Николай. О возвещенных ограничениях речь и не заходила, когда, вытянув по карте, мы рассаживались по своим местам в предвкушении длинной череды бестревожных часов.

...В окрестностях Ясной Поляны и в опушках Засеки водилось в мелочах порядочно дичи. В сезон ко мне изредка при-

езжал Петр Иванович с неказистым, но старательным сеттером с отличным чутьем. Как и все зависевшие от этого человека, сучонка слушалась своего хозяина беспрекословно и была приучена к командам, подаваемым вполголоса или легким свистом. Надо сказать, что свою Динку Козлов баловал не в пример домочадцам.

Отправлялись мы в лес порознь: он — в полном охотничьем снаряжении по главной улице, я — со спрятанным в рюкзаке разобранным ружьем, одолженным у знакомого. И пробирался по проулкам и задами: пользование огнестрельным оружием поднадзорным запрещалось.

Едва деревня скрывалась за кустами и мы легкой стопой заходили в чуть тронутое осенью чернолесье, как вся эта докука забывалась. Я закидывал за спину сложенное ружье и тут же проникался настроением полноправного охотника. Впереди усердно ищет собака, вспархивают в кустах и надлетают стайки пичуг, уже начавших извечный свой путь в заморские края. Шумные дрозды лихо склевывают гроздья поспевшей рябины.

Рядом неторопливо и даже вяло волочит по траве ноги Петр Иванович — он всегда медлителен, говорит еле слышно, смеется коротким слабым смешком — и рассказывает мне всякие помещичьи были. Случалось ему в этих местах встречать Толстого. Граф будто бы очень внимательно осмотрел снаряжение его, ружье, гончих. И, уверял Петр Иванович, глаза Льва Николаевича разгорелись:

— Подмывало меня пригласить его: возьмите, Ваше Сиятельство, ружьецо мое да встаньте-ка вот сюда на лаз. Собачки мои паратые — мигом зайчишку на вас выставят. И знаю, обрадовался бы старичина, потому что не угас в нем охотничий дух, да оробел я что-то. Не посмел... А жаль... Теперь бы можно воспоминания писать: «Как я со Львом Толстым заполевал зайца»,— Петр Иванович чуть слышно рассмеялся.

Собака начинала приискивать, тянуть по горячему следу, и наши разговоры прекращались. Вальдшнепов в пролет попадалось много, и охота бывала удачной. Возвращались мы в сумерках, обычно молча. Поглядывая на сутулившегося Петра Ивановича, шагавшего с каким-то неподвижным, отрешенным лицом, я про себя думал: взял бы я в руки охотничье ружье, будь у меня с ним связано такое?

Непривычно веселел Петр Иванович, когда к нему из уезда заезжал старинный его знакомец Всеволод Саввич Мамонтов. Когда мне довелось коротко с ним познакомиться, то и я

полюбил общество этого легкого, милого и деликатного человека незаурядной судьбы. Отец его — известный железнодорожный деятель и меценат Савва Мамонтов — разорился, когда сын уже втянулся в беззаботную жизнь обеспеченного и независимого отпрыска батюшки-миллионера. Женился он на бесприданнице-аристократке, держал псовую охоту, исколесил Европу и знал всех знаменитых певиц и певцов мира... Был на «ты» с Серовым и Шаляпиным.

Не стало миллионов, но сохранились замашки. И Всеволод Саввич, как Стива Облонский, ходил в рестораны, где всего больше был должен, ждал удачи на бегах, головоломно изыскивал средства. При таком разгоне на жалованье инспектора страхового общества не удавалось, естественно, сводить концы. И все же Всеволод Саввич продолжал жить весело, не утратил хлебосольных замашек, щедрых своих привычек. Оставался по-прежнему любимцем любой компании. В женином неразделенном имении содержал — уже на паях с более везучими родственниками — стаю гончих с доезжачим, водил русских борзых, приносивших хозяину на садках если не деньги, то славу своей злобностью. Заслуженно прослыл великим знатоком гончих, орловских рысаков и... итальянской музыки. Возле этого начиненного любопытными рассказами собеседника нельзя было соскучиться.

После революции выручили как раз самые разорительные привычки. Прежние друзья коннозаводчики — сосед по имению Яков Иванович Бутович в первую очередь — сосватали заслуженного беговика в Наркомзем. И Всеволод Саввич сделался управляющим Тульской государственной конюшни. А репутация знатока охотничьих собак вознесла славного борзятника в ранг кинолога — вершителя судеб четвероногого племени на всероссийских выставках.

Было тогда Всеволоду Саввичу лет шестьдесят. Гащивая у него, я вдоволь наездился верхом. Он все оставался отличным наездником. В седле сидел плотно и мягко. Английская его гнедая кобыла Дези, сохранившаяся от прежней охоты, идеально шла покойным проездом, покачивая наездника как в люльке. Всеволод Саввич посасывал трубочку или, по так и оставшейся для меня загадкой привычке борзятников, держал в губах черенок сорванного с дерева листа. И несколько иронически поглядывал, как вытряхивает из меня душу на мелкой рыси, подбрасывая на аршин при каждом шаге, мой великанский рысак.

Своих подопечных — кровных орловских рысаков — он любил преданно, смотрел за ними рачительно. Конюшня и ее

руководитель слыли образцовыми. И, приезжая по делам в Тулу, Всеволод Саввич редко поддавался уговорам Петра Ивановича задержаться — оставленная на помощника конюшня издали выглядела беспризорной. Зато в короткий беговой сезон на тульском ипподроме он прочно переселялся с отобранными рысаками в город.

Уютный был человек Всеволод Саввич! Сидит покойно в кресле, попыхивая трубочкой, не то дремлет с книгой, и так и встрепенется, когда Анна Ивановна или Галочка, души в нем не чаявшие, затеребят, приглашая к обеду. Тут же начинает шутливо любезничать, смущая чрезмерной учтивостью манер.

Был он дороден, отменно лыс, наделен крупным вислым носом, говорил из-за отсутствия зубов неразборчивой скороговоркой. И тем не менее пользовался немалым успехом у женщин, даже и в таком пожилом возрасте. Всегдашняя, врожденная внимательность к людям — за что обожала его прислуга — наряду с редкой снисходительностью к их недостаткам и снискали Всеволоду Саввичу всеобщее расположение.

...По дороге на бега оба приятеля переставали жить настоящим. Горячие суждения погружали их в обстановку эпохальных состязаний на московском ипподроме в начале века. Тогда стояла на карте слава отечественных рысаков: привезенные из-за океана поджарые американские троттеры грозили оставить за флагом наших могучих орловцев. Патриоты видели в этом едва ли не посрамление России.

Лошадники старого поколения могли описать по секундам, как сложился исторический бег Крепыша, побившего заморский рекорд. Я шел чуть позади — мы направлялись на тульский ипподром,— не теряя ни слова из их жарких речей.

— Да что вы говорите, Петр Иванович! Кейтон первый раз наложил хлыст при выходе из последнего поворота...

— Ан нет! Тут он только вожжами заработал, а хлыст пустил в дело уже на финишной прямой, против рублевых трибун...

— Это вы что-то запамятовали... или просто проглядели. Я стоял в судейской рядом с покойным Новосильцовым и слышал, как он процедил: «Что, дурак, делает! Теперь не дотянет». Он в бинокль смотрел.

Разбирались тактика наездников, причины сбоев, высота хода, финишные секунды... У Петра Ивановича, вообще легко пускавшего слезу, увлажнялись глаза. Старики умилялись, переживая каждую воскрешенную подробность.

После таких вершин убогий павильончик и заросший бего-

вой круг тульского ипподрома должны были навести на размышления о бренности славы. Но и тут, вокруг десятка заездов, составленных из трех, четырех, а то и двух лошадей, кипели страсти. Охотники до конского бега — а ими были не одни бывшие землевладельцы и извозчики, но и пропасть азартного люда, еще не отдавшего, как случилось позднее, своих симпатий велосипеду,— заполняли хлипкую беговую беседку и судили-рядили громогласно.

Всеволод Саввич относился ревниво к достижениям своих гривастых красавцев. Приехавшего к нему московского наездника — прежнего своего кучера забубенного Мишу, ездока бесталанного, но лошадям преданного до беспамятства,— он на руках носил. Мастер должен был выжать из мамонтовских рысаков те драгоценные секунды, что приносят приз и, главное, позволяют расцвести тому охотницкому тщеславному чувству, что окрыляет владельца лошади, собаки, голубя, отличившихся на садках или состязаниях.

Отпраздновать долгожданный день шли к Петру Ивановичу. Бесконечно сидели за традиционной кулебякой, изрядно чокались и выпивали — под неиссякаемые толки о бегах, родословных рысаков и феноменальных случаях из практики конных охотников. Слава им, трижды слава, ура!

На таких пиршествах чувствовалась «бывалость» Всеволода Саввича, за свою дореволюционную жизнь обедавшего по ресторанам и за праздничными столами чаще, нежели за семейным. Он, кстати, давно жил на полухолостом положении, разъехавшись с женой. Крепчайшей его привязанностью была старшая дочь Екатерина, не слишком порадовавшая своим замужеством — она вышла за недоучившегося дворянского недоросля, шокировавшего тестя недостатком воспитанности, но зато подарившего ему двух внучек, ходивших, естественно, в любимицах.

Короче узнав Всеволода Саввича, я стал думать, что ровное, снисходительное отношение его к людям коренилось в глубоком скептицизме. Что, в самом деле, ополчаться против людских слабостей и недостатков, если они — принадлежность существ слабых и несовершенных, не заслуживающих, по незначительности своей, гнева и сильных чувств. Тайно и про себя сын крупнейшего знатока искусств, сам европейски образованный, с университетским дипломом математика, талантливый дилетант и тонкий ценитель музыки, Всеволод Саввич Мамонтов был, несомненно, снобом, презиравшим неучей, разгильдяев и невоспитанность.

Петра Ивановича знал весь город. Через него я познако-

мился с рядом лиц, принадлежавших преимущественно вчерашнему дню. Была у него почетной гостьей Варвара Дмитриевна Шемарина. Ореол миллионов ее отца не мог не импонировать Петру Ивановичу. Любопытно отметить, что к мужу ее он относился предубежденно, точно его задевал этот хват, подцепивший первую наследницу в городе, некогда проносившуюся по Миллионной мимо зеркальных окон козловского магазина, не удостаивая своим посещением, не только что знакомством, такую мелюзгу, как владелец нескольких прилавков с пастилой и пирожными!.. Но хозяином был Петр Иванович искушенным, безупречным, и несостоявшемуся барону Савкинху умел уделить не менее внимания, чем прочим гостям. Охотно толковал с ним о псовых и английских борзых, которых перевидал множество, так как знал решительно всех охотников губернии.

Несколько позднее, когда месяцы тульской моей жизни отошли в прошлое, следователь, понося и опорачивая моих знакомых, уверял, что Петр Иванович широко ссужал помещиков под твердое обеспечение и хорошие проценты. И кондитерская будто бы лишь прикрывала его ростовщические операции. Но кого не ошельмует и не оболжет ретивый чекист?!

Не одни услады городской жизни — с приятными знакомствами и радушным кровом Козловых — склоняли меня жить по нескольку дней подряд в Туле и оттягивать возвращение в Ясную Поляну. И даже не службы в еще не закрытом городском соборе, непременно посещаемые мною: сельские церкви в уезде были по большей части упразднены или закрыты за отсутствием священников.

В деревнях же творилось жутковатое. Особое положение толстовской вотчины превращало Ясную Поляну в островок с отличным режимом, где ломка и перекройка несколько смягчались и оттягивались благодаря хлопотам Александры Львовны, подчас заступавшейся за своих земляков не только перед губернскими властями, но и перед Калининым. Сведения из соседних деревень шли мрачные: затевались крупномасштабные перемены, сулившие крутые меры и расправу едва ли не с большинством сельского населения. Усердствующие волостные и уездные власти энергично и беспощадно зорили не только богатых, но и мало-мальски справных мужиков, одолевших вековые нехватки и скудность после раздела помещичьих земель,— тех, кто оперился, встал на ноги и наконец-то, ценой каторжных трудов, нагнал к себе на двор скотины и наполнил зерном пустовавшие сусеки.

Обобществление мужицких животин и пожитков просыпалось манной небесной в руки алчные, но праздные и неумелые — в руки народа в большинстве пришлого, прибившегося к деревне в великую разруху первых лет революции, и призванного отныне сделаться «выразителем» интересов беднейших слоев села, поощряемых на первых порах и ублажаемых. Эти вчерашние горожане и стали в нем верховодить, подчинив себе и запугав тех «средних» маломощных мужиков, кого не присоединили к раскулачиваемым лишь с тем, чтобы было на первых порах кому свычному с сельским хозяйством работать в формируемых артелях. Влились в них и подлинные бедняки, обиженные судьбой, извечные бобыли и неудачники, чтобы стать в колхозах той серой загнанной скотинкой, на которой спокон века выезжают ловкие да горластые.

Тогда еще только налаживали массовую вывозку ограбленных мужиков в пропасти пустынных раздолий Севера. До поры до времени выхватывали выборочно: обложат «индивидуальным» неуплатимым налогом, выждут маленько — и объявят саботажником. А там — лафа: конфискуй имущество и швыряй в тюрьму!.. Нависший над хлебопашцами произвол, неуверенность в завтрашнем дне и насилие порождали каждодневные драмы, надвинулись на деревню тяжкой, сулившей беды тучей, придавили жизнь. Так, может быть, доставалось пращурам нынешних крестьян лишь в разгул татарщины...

Опасливо пробирались по опустевшей деревенской улице жители, норовя свернуть в проулок или нырнуть в темный проем невзначай оставленных распахнутыми ворот. Сидели по домам, потаенно поглядывая в окошко: не покажется ли очередной чужак в потертой кожанке, с папкой под мышкой и оттопыривающей куртку кобурой на поясе — носитель новых распоряжений и предписаний? В их разнобое и бестолочи приходилось разбираться на месте свеженазначенным председателям. Часто на свою голову.

Хозяин мой Василий Власов становился день ото дня молчаливее и отчужденнее. Если прежде он охотно пускался в беседы, то теперь старался проскользнуть мимо, торопливо здороваясь на ходу и пуще всего опасаясь, как бы не увидели его беседующим с неблагонадежным постояльцем. Обрывки ошеломляющих деревенских новостей поступали ко мне от матери Василия, почтенной пожилой крестьянки с умом здравым и не умеющей хитрить.

— Да что же это, батюшка, деется-то, — заходила она пососедски на мою половину не только, чтобы поделиться на-

болевшим, но и из сочувствия к моей судьбе.— Видал, сейчас кони по улице протрусили? Это Кандаурова Михайлы,— понижала она голос.— Он нынче поутру из дома ушел... Как есть все бросил и двор оставил нараспашку: сошел с крыльца и был таков. А до того у лошадей в денниках арканы поотвязал, заворины отложил, потом всему скоту ворота распахнул да в огороды и запустил: ступайте, животинки Божьи, на все четыре стороны — я вам больше не хозяин и не кормилец... Вот и разбрелись по деревне. Коровы недоены, ревут; овцы какая куда забилась... Кто и пожалеет, подоил бы, обиходил скотинку, да боятся: по нонешним временам что хочешь на тебя наклепают. Хорошо хоть старуху его Господь летось прибрал — один Михайла как перст остался. Для сирот-внуков старался: сыновья его еще в войну сгинули. А внуков-то Михайла, как овдовел, свез в Воронеж к родне. Отсюда помогал. И кто их теперь поднимать станет?!

Марфа пригорюнилась. Потом, воспрянув, поведала — уже с юмором — о домашних передрягах. Велели Василию хомут с упряжью и тележным скатом сдать — да кому! Золоторотцу Сеньке Солдатову, бобылю вековечному, прости Господи! Его, лодыря горластого, над артельным конным двором поставили.

— Да он путем коня не обратает,— всплескивала она руками,— гужи не наладит. Коль всего не пропьет, так растеряет, не убережет... А вот корову сноха давеча снова на двор привела: велели пока у себя держать, кормить, а молока два удоя сдавать — третий себе оставлять. И что только будет, батюшка? Ты вот книжки читаешь, да не скажешь. Спасибо барыне — в Тулу съездила, за соседа нашего заступилась, показала, что всю жизнь на дворне прослужил, по семь рублей жалованья на месяц получал, и никакого золота у него нету. Поверили, отпустили. А только не жилец он: и так-то хворый, а там его били, стал нутром теперь маяться. С печи не слезает... И что только с нами будет?

По деревням мужики, таясь друг от друга, торопливо и бестолково резали свой скот. Без нужды и расчета, а так — все равно, мол, отберут или взыщут за него. Ели мясо до отвала, как еще никогда в крестьянском обиходе не доводилось. Впрок не солили, не надеясь жить дальше. Кто посмелее — из-под полы сбывал по знакомым, раздавал задаром. Иной, поддавшись поветрию, резал кормилицу семьи — единственную буренку, с превеликими жертвами выращенную породистую телку. Были как в угаре или ожидании Страшного суда.

В исходе года, в темные ноябрьские дни, в деревне стало

особенно глухо и тревожно. Почувствовав, что люди обосабливаются, стремятся жить замкнуто, я почти перестал навещать Арсеньевых, избегал ходить в музей на усадьбу. Ее понемногу обволакивали надвинувшиеся на страну потемки. Александре Львовне приходилось все труднее. В барском доме и флигелях, кроме толстовской родни, пока что как щитом огороженной великой тенью от преследований, жило несколько человек, полагавших для себя деревню более безопасным местом, нежели Москва. Были тут и мы с Кириллом Голицыным, еще какие-то почитавшиеся ненадежными лица. И о Ясной Поляне стали говорить как об «убежище» бывших, свивших себе гнездо под покровительством Александры Львовны. На это указывали ей и власти, принимая Толстую по делам яснополянского музея; ей давали почувствовать, насколько неуместны ее ходатайства и заступничества. И все чаще отказывали, и все открытее выражали свое недоверие. Бывшая графиня, да еще пытающаяся на каком-то своем крохотном островке сохранить отблески принципов, которые проповедовал ее отец, оградить детей яснополянской школы от безбожия, как-то бороться с насилием, сделавшимся государственным методом управления, эта графиня была для местных властей фигурой одиозной. И подмывало расправиться с ней, а не то что потакать просьбам: классовая вражина, по недосмотру ставшая директором музея!

Александра Львовна чувствовала, как уходит почва из-под ног. И у этой очень уверенной в себе женщины, державшейся с мужским апломбом, так бесстрашно отстаивающей не только целость отцовской усадьбы, но и дорогие Толстому нравственные ценности, опускались руки.

...На дороге, возле башенок знаменитого «прешпекта», я чуть ли не в последний раз встретил Александру Львовну. Она шла из школы, и я издали узнал ее плотную, приземистую, широкоплечую фигуру, схожую с мужской тем более, что была Александра Львовна в сборчатой бекеше, перетянутой кушаком, и чуть заломленной каракулевой шапке. Этот свой «кучерской», как подшучивала когда-то ее мать Софья Андреевна, наряд Александра Львовна носила подчеркнуто молодцевато, легко и привычно. Быть может, он, купно с энергичной походкой и засунутыми в карманы руками, и сообщал всему ее облику особую жизненность и силу. Тем знаменательнее было видеть ее идущей медленно, разговаривающей рассеянно и вяло. Ей уже не удавалось отстоять в школе прежних учителей, все строже ущемлялись и выхолащивались заведенные ею беседы об отце.

— Вы понимаете, как нужно исказить его образ, обкорнать высказывания, чтобы преподносить в качестве единомышленника, который, будь он жив, благословил бы то, что сейчас делают с крестьянами,— Александра Львовна говорила устало и безнадежно.

Ясную Поляну должны были удушить. Удушить, как и любой другой духовный очаг. Но не могла дочь Льва Николаевича допустить, чтобы это свершилось при ней. Ее руками, с ее согласия...

...Был канун Николина дня. Снег по-настоящему еще не лег, и оттепели согнали его с разъезженного проселка, на котором рядом с белеющими выбоинами и колеями резко чернели глызья. Я шел в церковь, верст за шесть от Ясной Поляны, где, по слухам, еще служил старенький священник... Тяжелые снеговые облака, сплошь обложившие небо, скрадывали скупое освещение быстро гаснущего дня. Поля вокруг тонули в сырой и холодной мгле. И всюду было пусто...

Я миновал деревню, когда уже смеркалось, но не увидел нигде светящегося окошка. И не встретил ни одного жителя. Никто тут не готовился праздновать зимнего Николу.

Сразу за избами дорога круто шла в гору. На фоне туч белел силуэт небольшой церкви с тускло поблескивающим куполком. Подобравшись к ней, я с облегчением увидел в узких зарешеченных проемах окон слабые отсветы зажженных свечей. Дверь в храм была приотворена, и снег на паперти слегка затоптан. Но кругом — ни души. Не было никого и в церкви с низкими, словно игрушечными сводами.

Потемневший иконостас в рост человека еле освещался тремя лампадками; слабо посверкивали металлические венчики вокруг ликов. На табурете, у образа Николая, выставленного на аналое под центральным паникадилом, лежали сложенные вышитые ручники и несколько пуков зелени; на полу стояли горшочки с комнатными цветами. Все это принесли, чтобы нарядить икону к празднику. Я стал ждать...

По времени давно пора совершать службу. И странно было не видеть в храме никого, даже тех ветхих, повязанных платками богомолок, что не колготятся там, лишь когда он на запоре.

Долго стоял я, не очень замечая, как бежит время, поневоле думая о вершащихся на моем веку переменах... «Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!..» К этому возгласию священника всего десяток лет назад присоединялись

сонмы молящихся, наполнявших в этот вечер бесчисленные церкви, славящие одного из самых чтимых в России святых. Извечного молитвенника и заступника за слабых и обездоленных...

Микола был своим, мужицким святым. И вот в сердце деревенских российских просторов, в церкви, стоящей в гуще мужицкого мира, не оказалось никого, чтобы отстоять вечерню в торжественный сочельник! Не могла ведь многовековая традиция не проникнуть в глубь сознания, не сделаться, наравне с языком, национальным достоянием! Вот оно, мерило силы, с какой выкорчевываются самые прочные корни исконно русской духовности. Достало нескольких лет, чтобы заказать народу дорожку в церковь.

...Часть лампад, почадив, погасла. Иные стали гореть еле заметной точечкой, но никто не приходил ни оправить их, ни погасить. Пустая церковка вовсе потонула в потемках. Тени поглотили слабое мерцание позолоты царских врат. Не отражавшие ни одного звука своды давили, как в склепе. Я вдруг почувствовал, что продрог в нетопленном помещении. И шагнул к выходу.

От мириадов свечей православной церкви осталось гореть всего несколько бессильных огоньков... Их должно загасить и самое малое дуновение воздуха. Нет рядом, чтобы загородить, и слабой руки немощной монашки...

Послышались шаги. Вошедший, углядев меня в потемках, замер у двери. То был одетый в добротный полушубок крестьянин. Я поспешил объяснить, кто я и как очутился в церкви. Мы разговорились.

Оказалось, что в то самое время, когда я подымался к церкви наизволок, из алтаря вытаскивали готовившего храм к службе священника. Приехавшие из города люди посадили его на подводу и увезли.

— Домой все-таки дали зайти, шубу накинуть да прихватить белья. Ему, видишь, предписание было, чтобы в праздник церкви не отпирал, а он ослушался. Караулили они его, знали: батюшка наш хоть старый, да твердый. Загремит теперь далече, если тут, на месте, не порешат.

В церкви давно нет ни дьякона, ни псаломщика; батюшка один управлялся. Церковный совет разбежался — настращали всех. Я осторожно спросил — как же он сам-то отважился сюда прийти?

Дождавшись темноты, мой ночной собеседник пробрался сюда, чтобы прибрать и схоронить что возможно из утвари церковной, брошенной на произвол.

— А если кто увидит? Ведь невесть в чем могут обвинить! Знал, мол, тут все, захотел поживиться...— предположил я.

— Какие нынче страхи! — неожиданно легко и даже с улыбкой ответил старик, еще бодрый и крепкий, с благообразным добрым лицом, обрамленным по-праздничному расчесанной бородой.—Чай, пообтерпелись уже, навидались всего. Ничего будто теперь и не страшно.— Помолчав, он продолжал уже строго, даже сурово: — Теперь, милок, на Бога только надежда, а от людей добра не жди. Лютеют, на глазах лютеют. У нас в волости двое доказали на соседей, где хлеб у них спрятан. Ну, доносчиков в отместку и застрелили. Так, почитай, полдеревни в тюрьму свезли: не одних тех, кто убивал, а и стариков, родню, соседей. Старшой, увозил который, пригрозил: только вы их и видели — всех перестреляем, чтоб неповадно было. Вперед побоитесь наших пальцем тронуть! Я вот и сам всякий день жду — когда за мной придут: старостой я был церковным, жил справно... А ты говоришь — не побоялся... Кому только можно, надо ноги уносить, искать место такое спасенное, где не озверели люди, не забыли Бога... если такое есть. Самое лихо еще впереди... Да изба у меня полна — дети, сестра убогая, мать еще жива: привязан. А все-таки, пока ночь, приберу тут маленько, мы еще с батюшкой уславливались...

И я стал помогать моему ночному знакомцу складывать в принесенные им скатерти и рядна кое-что из церковной утвари, облачений, книг и увязывать в узлы. Их мы, поднявшись по стремянке, сложили в тайник на чердаке — узкую щель в кирпичной кладке сводов, под свесом крыши.

Из церкви мы вышли вместе. Одну лампаду у образа святителя старик не загасил:

— Пусть у нашего Миколы все же праздник будет... Ах, и грешим же мы! Ну, прощай... Не то проводить? Еще собьешься... Ступай же с Богом, коли так... Нет уж, где там еще свидеться? Не те времена, мил человек!

Ночь беспредельна и непроглядна. Сколько я ни всматриваюсь, нигде не светит и самый малый огонек. Огонек, что и в самую глухую пору бодрит путника, говорит, что не в пустыне он, что бьются неподалеку живые человеческие сердца.

Идти трудно — на сапоги налипают тяжелые комья грязи. Я то и дело сбиваюсь с дороги из-за чернеющих повсюду в поле плешин, принимаемых мною за проселок. На душе — невыразимо тяжело. Точно я спешил на праздник, а попал к гробу с брошенным, неотпетым покойником... Видение

пустой сельской церкви будит память о давних лихолетьях. Я чувствовал себя русским тринадцатого века на пепелищах разоренных Батыем сел и городов. Должно быть, и тогда уцелевшие жители, с опаской возвращаясь из лесных укрытий, обретали среди развалин опустевшие храмы и часовни, в спешке не разграбленные татарами. И именно возле этих уцелевших церковок и погостов начинали заново строить Русь...

* * *

Поздний ночной звонок — было около трех часов — разбудил сразу. По коридору прошаркали туфли Петра Ивановича. Я насторожился. И как только услышал в сенях мужские голоса, понял — это за мной. Сразу пронизала мысль о брате: не прошло суток, как Всеволод приехал из Москвы меня проведать. Мой арест неминуемо отразится и на нем.

Он тоже проснулся. Наша дверь была на запоре. Мы успели тихо кое о чем условиться прежде, чем к нам постучали — убедившись, разумеется, что дверь не поддается. Я сонно отозвался:

— Сейчас, сейчас... оденусь.

Уничтожать и прятать, к счастью, нам было нечего. И я не особенно медлил — отодвинул задвижку. В слабо освещенном коридоре, за плотными фигурками трех чекистов в плащах и гражданских кепках, понуро стоял хозяин. Из дальней двери выглядывала Анна Ивановна, еще кто-то...

Последние недели в городе шли аресты. Я не сомневался, что очередь дойдет и до меня, поэтому не слишком испугался. Да и присутствие посторонних диктовало: не пасовать! И я твердо потребовал предъявить ордер, несколько даже высокомерно стал отвечать на вопросы и предоставил «гостям» самим открывать ящики комода. Все делалось, впрочем, быстро и поверхностно.

Просмотрев документы брата — он тогда работал в Торгпредстве в Тегеране,— чекисты шепотом посоветовались между собой, потом заявили, что и ему придется пройти с нами для «выяснения».

Так началось, в марте тридцать первого года, тульское мое сидение, затянувшееся до глубокой осени.

* * *

В те предшествовавшие пышному расцвету чекистской олигархии времена тульское НКВД довольствовалось случайным помещением — архиерейским подворьем. Двухэтаж-

ный дом с владычными покоями и приземистый толстостенный флигель стояли в обширном парке, обнесенном каменной оградой. Именно она да глубокие сводчатые подвалы под обоими зданиями определили выбор: обеспечивалась прикрытость всего, что творилось за глухими стенами и крепкими воротами.

Мимо моей просторной камеры с двумя — тогда еще не загороженными — окнами на уровне земли водили на допросы, конвоировали арестованных. Это и позволило мне уже на следующий день узнать, что оставшийся в дежурной брат, откуда меня, обысканного и «отпрепарированного», отвели в одиночку, также арестован. Мне удалось привлечь внимание Всеволода к моему окну и не совсем пристойной, но выразительной жестикуляцией дать ему понять, что уборная будет служить нам почтовым ящиком. И уже вскоре у нас наладилась переписка. Мы коротко сообщали друг другу про допросы, выдвинутые обвинения, интересовавшие следователя обстоятельства.

До сих пор помню морду служившего двум богам уборщика — бритую, костистую, с тонкими губами алчного и фальшивого человека. Он, разнося обеды и кипяток, предлагал сидевшим связать их с волей или с соседом по камере — и тут же исправно продавал начальству тех, кто был достаточно наивен, чтобы воспользоваться его услугами. Этот предприимчивый малый приносил охотникам водку, думаю, что и бабу взялся бы доставить — только бы заплатили!

Брат и я вполне и сразу оценили этого тюремного Фигаро и забавлялись передачей друг другу посланий, дурачивших следователей. Вдобавок — строчили по-французски: пусть попыхтят над переводом! Дельные записки, свернутые в тончайшую трубочку из папиросной бумаги — о, коробки «Казбека»! — мы прятали в щель между тесинами крыши сортирной будки: стоя над очком, можно было до нее дотянуться — мы оба большого роста.

Понятно, что обмен корреспонденцией мог происходить лишь при закрытой двери, но конвой и не настаивал, чтобы ее распахивали. Это, как и не забранные намордниками окна, как суетливая беготня многоликого уборщика, по двадцать раз на дню отпирающего камеру для очередного поручения — он, бестия, не ленился,— все это отражало неотлаженность индустрии репрессий, кустарность приемов, отдававших провинцией, патриархальными временами: недостатки, характерные для тех лет, подготавливавших разворот карательной деятельности, достойной своих вдохновителей.

Общая устарелость установок сказывалась и на ведении следствия: тогда еще считалось, что обвинительное заключение надо как-то обосновать, подобрать улики, оформить хотя бы видимость преступления. И это, естественно, тормозило работу, снижало производительность органов, еще не освоивших поточный метод.

Мне было предъявлено обвинение в шпионаже: я будто бы приехал в Тулу, чтобы выведать секреты Оружейного завода и передать их иностранной разведке. Состряпать дело было нехитро: раз я отказываюсь повиниться сам, надо вызвать моих знакомых и получить от них нужные показания. Но ни Петр Иванович, ни Варвара Дмитриевна с мужем и его отцом не подтвердили подсказываемые им свидетельства. Особенно огорчил следователя старик Савкин: в замысленной инсценировке ему — беспорочному пролетарию — отводилась роль главного разоблачителя. Не его ли я, втершись в доверие, просил достать пропуск в цех и познакомить с конструкторами? Старик Савкин ответил резко и нецензурно. Предложенные ему готовые показания обложил сплеча — да так, что следователь тут же порвал свою стряпню. Пришлось в протокол допроса внести твердые слова разошедшегося пролетария, что «Волков не только не расспрашивал о заводе, но даже остановил однажды начавшийся при нем разговор о производственных делах». В начале тридцатых годов стопроцентному рабочему еще можно было считать, что ему позволительно говорить и держаться смело и честно, не поплатившись за это.

Помогло и умное, достойное свидетельство Варвары Дмитриевны, точно и дельно очертившей мою работу для завода. Она показала, что я на территории завода никогда не бывал и свои гонорары, как и работу — переводы иностранной технической литературы,— получал через нее.

Ее мужу, кстати, следователь «открыл глаза» на неверность жены, якобы изменявшей ему со мной. Но и тут служитель советской Фемиды напал на честного человека: Николай Савкин отказался клепать на меня, даже если бы был его соперником. А изобретательного допрашивателя посулил привлечь к ответственности за клевету.

Вот ведь насколько стесняли чекистов путы законности, процедурные формальности и прочие отжившие ограничения!

Начав с довольно лихих наскоков — не тяни, сознавайся сразу! — мой следователь Степунин очень скоро оставил меня в покое, перестал вызывать. И потекли недели мирного житья, четко размеренного выводами на оправку, подъемами, обеда-

ми, двукратными (о, провинция!) прогулками в уголке архиерейского сада. С братом Степунин и вовсе переливал из пустого в порожнее, тянул время, не предъявлял четкого обвинения: ждал, как мы заключили, указаний из Москвы. Наш небольшой флигель, превращенный в «подследственный корпус», наполовину пустовал. Это мы определили по полному отсутствию движения в коридоре и распахнутым дверям в камеры. Всего их было шесть или восемь; наши с Всеволодом находились по обе стороны входной двери. Обстановка, в общем, спокойная и даже усыпляющая. Склоняющая забывать или недооценивать опасность положения.

В некий день все вдруг резко изменилось. Против моих окон один за другим останавливались грузовики с набитыми людьми кузовами и суетилась орава вооруженных охранников. Потом немой коридор наполнили топот, беготня, лязг засовов, щедрый мат. Ко мне не поместили никого, но к брату втолкнули четырех деревенских стариков — растерзанных и напуганных. Они были нагружены мешками с шубами и валенками, хотя на дворе стоял жаркий июль.

И началось... Мимо окон день и ночь таскали привезенных мужиков и баб в большой дом. Там не смолкали крики, ругань, острые вопли, звериный вой. Конвоиры сбились с ног. Следователи — они тоже прошмыгивали мимо меня — ходили с воспаленными глазами, взъерошенные и с отбитыми кулаками. Кипела круглосуточная работа.

Ночью я почти не спал, часами просиживал на своем широком подоконнике у отворенной форточки. Ярко освещенные окна следовательских кабинетов были настежь распахнуты. Квадраты света ложились на булыжники двора, видного мне сбоку. В этих отсветах иногда двигались тени. Токи воздуха нет-нет доносили до меня целые фразы. Да и говорившие не сдерживались — орали, пересыпая отборной бранью настойчивые требования и угрозы. То и дело слышались шум возни, тяжелые шаги, звуки падения, ударов. Взвился плачущий дребезжащий голос: «Да что вы хуже урядников деретесь!.. Зубы старику выбили!»

Вереницей шалых теней мелькали в моем окне проводимые чуть не бегом растрепанные мужики, подталкиваемые конвоирами. Молодого парня с разбитым лицом тащили, закрутив руки так, что он шел согнувшись, с низко болтающейся головой. Ополоумевшие тюремщики выхватывали из камер полуодетых людей и с места били кулаком по шее, понося последними словами.

Я сидел, сжавшись, оторопев, не видя конца кошмару. Мне

во всем ужасе представлялись переживания этих крестьян, оторванных от мирных своих дел, внезапно, нежданно-негаданно переловленных, вповалку насованных в грузовики и брошенных в застенок. За что? Как? Почему «рабоче-крестьянская» власть обращается с мужиками, как с разбойниками? Ведь это — не классовые враги, не прежние «угнетатели и кровопийцы», а те самые «труженики», ради освобождения которых зажгли «мировой пожар»? Пахари, над чьей долей причитали все поборники равенства и братства?..

Вот провели бабу в обвисшей старой юбке и линялой кофте, простоволосую, неуклюжей уткой раскачивающуюся на больных ногах... Мужичонку в широких портах и опорках, что-то слезливо доказывающего конвоиру... А эти-то как же? Оберегающие рабоче-крестьянское государство красноармейцы, вчерашние деревенские парни? Как это они хватают и терзают своих земляков, заламывают им натруженные руки, матерят отцов своих и братьев?.. Ночь, ночь над Россией.

Исподволь за окном начинал брезжить свет, и из потемок возникал сад, неживой, притихший. Наступало утро. И там, в палатах архиерея, словно утихал исступленный, свирепый шум, глуше становились крики. Палачи притомились. Их уже не бодрят доставленные вестовыми укрепляющие напитки и лакомые закуски.

Так выколачивали признание в участии в террористической кулацкой банде из шести десятков крестьян деревни, где был убит сельсоветчик. По словам сидевших с братом стариков, произошло рядовое уголовное преступление. Убитого — безвредного, никому не успевшего насолить заместителя председателя сельсовета — сын раскулаченного односельчанина застал в сарае со своей женой и в ту же ночь, подкараулив у избы, застрелил. Уже на месте, в деревне, виновник, поначалу было запиравшийся, во всем сознался. Однако такой исход не устраивал НКВД. Ухватились за «соцпроисхождение» убийцы: сельский активист, павший жертвой кулацкого выродка! Тут пахло политическим преступлением... Из тех, какими чекисты набивали цену своему ведомству: «Тульские бдительные органы обезвредили банду кулацких заговорщиков, вставших на путь террора на селе!» Это ли не козырная карта для местных начальников, алчущих отличий, ромбов в петлицы? Под этим флагом и усердствовали новые хозяева архиерейского подворья.

Получалось, однако, бестолково, разнобойные признания, выбитые из отдельных мужиков, не складывались в единое, стройное сочинение о заговоре, зачинщиках, тайных сбори-

щах, распределении ролей... Их было слишком много — мычащих нечленораздельно, загнанно глядящих исподлобья, лохматых, грязных — и картина путалась. Присланный из Москвы уполномоченный — там, видно, заинтересовались перспективным делом — торопил. Но спешка только увеличивала нескладицу. Приезжий хотел было поучить своих провинциальных коллег, как поступать, устроил несколько показательных очных ставок, где, являя пример, бил ногами, норовя угодить носком сапога в пах (мужики говорили: «по яйцам метит»). Однако ожидаемого сдвига не произошло. Во-первых, у тульской братии и у самой были в ходу такие приемчики, какие дай Бог, как говорится, знать столичным белоручкам, а кроме того, окончательно запуганные и растерявшиеся подследственные уже ни от чего не отнекивались, зарядили отвечать на один лад: «Виноват, гражданин начальник, виноват... Давай бумагу-то, подпишу...» Дав разгон, москвич отбыл, приказав со всем покончить в кратчайший срок.

И тогда пришли к мудрому решению: чем биться с непонятливым народом, обойтись без него. Привезенных мужиков гуртом отправили в губерскую тюрьму, следователей побойчее и наторевших по письменной части засадили за составление протоколов и обвинительного заключения. Они должны были по собственному разумению очерчивать участие каждого обвиняемого в заговоре — согласно заранее подготовленному списку. И флигель вновь опустел.

Сделалось тихо, но прежнее покойное настроение не возвращалось. Не требовалось быть провидцем, чтобы угадать: прошедшая перед глазами расправа — только прелюдия и не останется без последствий. Отныне вряд ли будут церемониться и со мной.

Обо всем, что случилось, мне было известно в подробностях как по запискам брата, так и из отрывочных рассказов крестьян. Они ненадолго попадали в мою камеру при перетасовках, какие производили следователи, рассаживая однодельцев перед очными ставками.

— Знаете, не виновного они ищут,— сказал мне ночью один из них. Он лежал пластом на койке (ему «все печенки отбили»), неподвижно уставившись в потолок.— Не виновного они ищут — его давно знают, а хотят настращать народ, чтобы мужика покорным сделать, чтобы пикнуть никто не смел. Тогда и им жизнь пойдет легкая: что захотят, то и станут делать.—

И добавил, помолчав: — Не того мы ожидали, как Керенского спихивали, за большевиков голосовали. Я ведь матрос — на Балтийском флоте служил. Только в двадцать втором, после ранения, списали, и я в свою деревню вернулся. Нет, что вы, никакой я не кулак, хотя и жил справно. Кое-чему, знаете, на службе научился, книжки по сельскому хозяйству читал, и дело в деревне у меня хорошо пошло. Да вот этот Артемий, который убил, моей жене братом доводится...

Покалеченные, сломленные, обманутые люди, поставленные властью вне закона... Я вспомнил свои разговоры с Володей Долининым-Иванским. Прав он был — никакая не сила крестьянство, раздробленное, темное, слепо поверившее в Ленина с его заморским штабом и «шастым списком» и потому не подготовленное к удару в спину. От своих...

Выбивая Врангеля из Крыма, повисали на проволочных заграждениях Сиваша, а вот своим дали себя опутать, да так, что нынче можно их и вовсе лишить земли, посадить на оброк или барщину, лупить и шельмовать, ездить на них, как не ездили и на их прадедах.

И перед этой чудовищной несправедливостью начинает казаться мелкой — не стоящей — собственная ущемленность: на что жаловаться мне, если лежит передо мной избитый крестьянин, балтийский «братишка», стрелявший по Зимнему дворцу в октябре семнадцатого, проливший кровь за «совецку» власть?!

Предчувствия мои скоро оправдались.

К окнам моим прибили снаружи дощатые щиты, я стал жить в полупотемках. Исчез Фигаро. Его место заступил широкоплечий полукарлик с изрытым оспой мясистым лицом, никогда не глядевший в глаза и молчаливый. Я должен был сам догадываться, для чего страж сей, отперев дверь, стоит в проеме. Помедлив, он выговаривал что-то вроде «оп» (оправка) или «пер» (передача). Чувствовалось, что этот человек раз и навсегда озлобился на весь свет.

Предупреждал и брат: его стал допрашивать — напористо и предвзято — старший следователь Мирошников. «Их лучшая ищейка»,— подчеркивал Всеволод. Тон записки был тревожный, призывал быть начеку. Было очевидно, что брат чего-то недоговаривает, опасаясь, как бы не перехватили записку.

И только я успел ее уничтожить, как камеру мою тщательно обыскали. Изъяли бумагу, карандаш, металлическую ложку, даже спички. Словом, все, что накопилось понемногу в нарушение режима «строгой изоляции». А среди ночи я был разбужен и отведен в большой дом.

Степунин, до того державшийся в общем корректно, даже вежливо, круто изменил повадку. Надо сказать, в облике его почти не проскальзывало то отталкивающее, циничное, хамски грубое, что кладет такую четкую печать на людей его профессии — даже когда эта дрянная сущность лишенных совести и чести людей прячется за внешним благообразием, совмещена с умом, окрашена способностями, образованием и т. д. Был Степунин худощавым блондином несколько старше меня, с мелкими чертами безбрового лица и белыми руками с плоскими пальцами и обкусанными ногтями. Пенсне без оправы придавало ему интеллигентный вид, да и обмолвился он как-то, что «знает с мое», так как окончил гимназию.

Для начала он, отпустив кивком конвоира, углубился в чтение газеты, предоставив мне с полчаса праздно сидеть на стуле. Вдруг поднял голову.

— А, это вы! Ну что ж, будем разговаривать по-настоящему.

Отшвырнув газету, резко выдвинул верхний левый ящик стола, достал пистолет. Положил перед собой, повертел. Вынул обойму, вставил обратно, заслал патрон в ствол, поиграл предохранителем и снова положил на стол, уже справа от себя. Несколько раз перекладывал, демонстрируя, что подбирает место, откуда способнее всего было бы схватить его. И снова на меня уставился. Потом вдруг разразился:

— Еще долго будешь, сволочь белогвардейская, морочить голову? Отпирается, говнюк, когда свои давно кругом обос...ли! Открыли, что ты за гад продажный... На... на... гляди...

И он стал быстро перелистывать страницы знакомой мне папки с моей фамилией, каллиграфически выведенной на обложке. Прежде тощая, теперь папка наполнилась подшитыми бумагами, исписанными разными почерками; он подсовывал ее мне, тыкал пальцем в подписи, в какие-то строки — впрочем, так, чтобы я ничего не успел прочитать. Мелькнули знакомые фамилии: Козлов, Голицын, Арсеньев, Савкин...

И пошло. Угрозы, ругань, крики... Требование признать себя шпионом. Форменный штурм, так что я и слова вставить не мог.

— Так ты, выходит, честный советский гражданин? Стоишь за власть? Да того, что тут есть,— он с размаху хлопнул ладонью по папке,— хватит, чтобы тебя... расшлепать!

«Шлепнуть», «дать вышака», «отправить на луну» — последнюю метафору Степунин особенно любил,— «пустить в расход» или «на распыл» — варьировались на все лады, под-

крепленные чтением статьи 58 УК, пункт шестой, как раз предусматривающий «вышака».

Нечего говорить, что подавленный всем виденным и пережитым за последний месяц, выбитый из равновесия одиночным сидением в глухой камере, снедаемый тревогой за брата и за себя, я был, пока Степунин читал газету, далеко не спокоен. Даже с трудом подавлял поднимавшуюся откуда-то изнутри противную дрожь. «Скажу, что со сна»,— мелькнуло в голове, когда показалось, что может заметить.

Но едва он стал орать и материться, прицеливаться из пистолета в лампочку, яриться, как во мне — не милость ли Божия? — резко сменилось настроение. Я успокоился и как-то со стороны оценил, что ломает он в общем комедию, призванную прикрыть полное отсутствие улик. Да и перебарщивал он, недооценивал некоторую мою бывалость: первое следствие и лагерь снабдили как-никак известным опытом. Ссылка же на Всеволода, якобы топившего меня своими показаниями, была глупым промахом Степунина, очевидно, порядочного дуба во всем, что касалось истинно человеческих отношений и чувств!

Больше всего я боялся, что будет бить: чем я лучше тех десятков мужиков, которых тут до меня избивали? Возьмутся вдвоем-втроем дюжие отъевшиеся парни с пудовыми кулаками и излупят до полусмерти. Не отобьешься и не загородишься. И особенно свертывалась кровь при мысли, что будут бить по лицу — казалось, это непереносимее всего. Но Степунин был один: признак успокаивающий. Поединков в этом учреждении не устраивали...

Начинало светать, когда в кабинет вошел Мирошников — высокий, крепкий, с медно-красным лицом и жестко торчащим ежиком волос. Было в нем что-то неистребимо солдафонское, привитое казармой. Он нагнулся к Степунину и долго тихо с ним переговаривался, то и дело пристально на меня взглядывая. К этому времени я не только справился с волнением, но решил от обороны перейти к активным вылазкам.

— Ваш коллега,— дерзко обратился я к Мирошникову,— требует от меня сознаться в шпионаже, говорит, что у него в руках все доказательства. Так давайте, выкладывайте, пункт за пунктом: там-то я встречался с тем-то, получил или выкрал то-то, передал тому-то... А я буду всякий факт подтверждать или приводить доказательства в опровержение. Вот и сдвинется воз с места. А так голословно можно в чем угодно обвинить. Вот... сажайте Степунина — он взяточник.

А вы,— обратился я к Степунину,— его хватайте: он педераст...

— Умничаете? — только и бросил в мою сторону старший следователь и снова зашептал что-то Степунину.

В камеру меня завели уже белым днем. С трофеем: пока Степунин тряс передо мной папкой и забавлялся с пистолетом, я «увел» его карандаш. И тотчас сел писать записку брату: угол камеры с койкой не просматривался из волчка. Инстинкт самосохранения подсказывал, что от грозного шестого пункта нужно отбиваться всеми силами. И я решил испробовать единственный вид протеста, которым располагал: голодовку. Надо было как-то подготовить к этому брата.

События следующей ночи утвердили меня в моем решении.

...Дав как следует разоспаться, резко разбудили. Пока я одевался, все торопили и едва ли не бегом поволокли в большой дом. Вели вместо обычного одного — два конвоира, и не к подъезду, как всегда, а к боковому входу с полутемной лестницей вниз, в подвалы.

Там повторилось вчерашнее. Только вместо Степунина за меня взялись два впервые увиденных парня, лет по двадцати пяти, еще вовсе неотесанные и неумелые, но работавшие старательно, от души. Вероятно — стажеры. Один из них разыгрывал в дымину пьяного. Он неправдоподобно раскачивался, и рука с пистолетом, каким он тыкал в меня, ходила ходуном. Второй, за столиком, уговаривал товарища повременить, а меня, пока не поздно, признаться. Арсенал обоих молодцов оказался очень скоро исчерпанным. Они выдохлись, повторяя: «В последний раз предлагаю...», «Застрелю как собаку!», «Сознавайся, считаю до трех: раз...» Меня ни на одну минуту не покидала уверенность, что вся сцена дутая и ничем мне их пистолет не грозит, даже когда оглушил выстрел: чубатый хлюст с пистолетом разрядил его в низкий свод над моей головой. И этим заключил представление. Устало рухнув на табуретку, он рукавом гимнастерки утер взмокший лоб. Вызванный конвоир повел меня в камеру.

Большие, чистые звезды, усеявшие небо, поразили меня. Выбираясь из подвала, мы словно поднимались к ним. Над крышей архиерейского дома темнели купы старых лип. Они осеняли его, еще когда тут неслышно шныряли служки. В такой ранний предрассветный час владыка вставал на молитву перед образами, блестевшими в огоньках лампад. Молитву о тишине, мире, братстве и любви...

Я замедлил шаги, а перед дверью и вовсе остановился. Конвоир не торопил. Молчал. Так мы простояли с минуту.

— До чего легкий воздух,— сказал я и, чтобы не до-

жидаться понукания, шагнул к двери. Я был благодарен этому, вероятно, хорошему деревенскому пареньку, давшему на мгновение человеческим чувствам осилить вбитое муштрой, оголтелой пропагандой и запугиванием.

В тот же день я потребовал лист бумаги и карандаш и настрочил заявление на имя начальника тульского НКВД о начатой мною голодовке. Я требовал предъявить мне материалы, уличающие меня в шпионаже, или отказаться от обвинения по ст. 58 УК пункт 6. И не принял подаваемую мне в окошко пищу.

Продержался я тринадцать дней. И, как ни удивительно может показаться,— без особых терзаний. После первых нескольких суток, наиболее томительных по неопределенному ощущению какой-то неловкости, стремлению что-то предпринять, куда-то пойти, по нервному ожиданию вызова для объяснений, потекли часы ровного бездумного лежания на койке. И бестревожного: жребий был брошен — оставалось набраться терпенья. Коридорного, в положенные часы неизменно появляющегося с мисками супа и каши, я жестом отсылал обратно. Но на оправку ходить не упускал — для передачи успокоительных слов брату... Он же обертывал в бумажки крохотные кусочки сахара, чтобы я мог его посасывать незаметно для тюремщика и дольше продержаться.

Восприятие было притуплено общей вялостью, даже не манила особенно еда. Мысли разбредались, цепляясь за случайные вехи. Иногда назойливо всплывало вычитанное из книг. Помню, какой чепухой представились голодные мучения, будто бы испытываемые заваленными в штреке шахтерами, как их расписал Золя в «Жерминале»! Нарастала слабость, а с нею — и твердая готовность не уступать. Стоял перед глазами пример соловецких мусаватистов. «Не вызывайте, черт с вами,— мысленно обращался я к своему следователю.— Не дождетесь, пусть пройдет еще десять дней, да сколько угодно...»

И в исходе тринадцатого дня я своего добился. Степунин, едва меня ввели и я сел наискосок от него через стол, остро блеснув стеклышками пенсне в мою сторону, небрежно перебросил мне потрепанную книжицу — Уголовный кодекс РСФСР.

— Не нравится шестой пункт? Возьмите любой другой — на выбор. Нам все равно — их там достаточно. Освобождать вас мы не собираемся.

И тогда же я расписался в ознакомлении с бумажкой,

по которой привлекался по десятому — старый знакомый! — и одиннадцатому пунктам той же незаменимой пятьдесят восьмой статьи. Поединок за жизнь был выигран.

Дальше все пошло убыстренным темпом. Спустя несколько дней мне дали свидание с Всеволодом — в присутствии Степунина. Тот произнес короткий назидательный спич: «ГПУ, мол, как всегда разобралось — проверенного брата, ни в чем не замешанного, освобождает; меня, уличенного в контрреволюционной деятельности, вынуждено содержать под стражей и судить». Под «судом» Степунин подразумевал заочные решения Особого совещания или пресловутой Тройки.

Брат огрызнулся довольно резко, указав, что все-таки провел тут три месяца, да еще дали насмотреться на избитых стариков. Всеволод присел на стул рядом со мной. Нам дали поговорить с час. Степунин делал вид, что занят бумагами, и не мешал. Потом вызвал моего конвоира. Мы обнялись с братом — крепко и с отчаянностью. Словно понимали, что это одна из чрезвычайных милостей судьбы. Мы виделись с ним в предпоследний раз...

* * *

Продержали меня в архиерейском подворье еще десять дней, причем кормили отменно — я получал обеды и ужины из комсоставской столовой: тогда, по отсталости своей, еще сентиментальничали! И сочтя, что я достаточно окреп после голодовки, отправили в тюрьму. Никаких допросов больше не было — следствие закончилось.

Тульская губернская тюрьма высилась на выезде из города рядом с кладбищем и огромным корпусом водочного завода. Это дало повод — так гласит легенда — Толстому, ездившему мимо по пути в Ясную Поляну, произнести несколько обличительных слов в адрес царских порядков: народ спаивают, прячут за решетку, и единственное избавление — в сырой земле. Это было сказано, когда тюрьма на три четверти пустовала, крестьяне берегли копейку и шкалики водки позволяли себе лишь в самые большие праздники, а на кладбище обходились без братских могил и глубоких ям, куда сбрасывали трупы расстрелянных.

А что бы нашел сказать Лев Николаевич, проведи его современный Вергилий по тем же местам спустя неполную четверть века после его смерти? Если бы, взяв старого графа под руку, он предложил ему переступить высокий порог калитки в тюремных воротах и под лязг отпираемых и запираемых

бесчисленных запоров повел по гулким коридорам и лестницам, распахивая перед ним одну за другой двери камер, набитых под завязку? Вглядитесь пристальнее, граф! Среди этих сотен и сотен грязных, истерзанных и забитых существ — ручаюсь! — многочисленные ваши знакомые, мужички вашего Крапивенского и соседних уездов, их дети, сколько раз окружавшие вас, чтобы поговорить, а то и поглазеть попросту на диковинного барина-мужика, изъездившего и исходившего все их пути-дорожки... Они не только наверняка пожалуются вам, что вот, мол, дожили до такого срама, сделались острожниками, но робко попросят объяснения: «За что это нас так, ваше сиятельство? Ведь и вы нам говорили, что труд наш святой и мир кормит... Вот мы и старались, пахали землю...»

А далее ваш проводник повел бы вас, задохнувшегося от духоты, смрада, устрашенного видением бесчисленных потухших, яростных, отчаянных, безумных, скорбных глаз,— на задний двор и через неприметный проем с железной дверью вывел вас на «волю» — безлюдный, заросший бурьяном пустырь и показал бы на свеженарытую землю. И если бы вы, граф, сами не догадались, подсказал бы вам шепотом, что тут зарывают тех, кого в одиночку, а иногда и пачками, связанными приводят сюда ночами и стреляют в затылок... И если бы можно было только узнать имена, вы бы и тут встретили своих земляков... Должно быть, вы, Лев Николаевич, огорчились бы, услышав назидательный рассказ вашего Вергилия о многократном увеличении перегонки уже не только картофеля и хлеба, но и «архангельского сучка» на водку! Помните вашего кустаря-винокура? Но это, пожалуй, вы почли бы все-таки мелочью по сравнению с потными стенами переполненного советского острога с импровизированным кладбищем...

Я не могу вспомнить ни одного лица, ни одного имени из тех, с кем просидел почти два месяца в крохотной одиночке Тульской тюрьмы, вместившей около двадцати человек! Не оставалось и вершка незанятого пола; нельзя было глотнуть воздуха, хотя рама в окне, на высоте человеческого роста, была выставлена. В узком помещении — не более двух с небольшим метров шириной мы сидели сплошным строем, плечо к плечу, прислонившись спиной к стене, с вытянутыми, переплетенными ногами. Если визави на миг подбирал затекшие ноги, можно было расслабить свои, чуть переменить положение. Из камеры было вынесено все, кроме параши, стоявшей у двери. Край ее был на уровне лица того, кто сидел подле, а

подходившие оправляться искали между стиснутыми ляжками промежутка, куда поставить ногу. На тех, кто не мог потерпеть с нуждой между утренней и вечерней оправками, обрушивались упреки, оскорбительная брань.

Не хватало тюремщиков. С раздачей обедов опаздывали — их не успевали варить; прогулки укоротили до нескольких минут, частенько вовсе отменяли. Тогда в камере поднимался вой, барабанили в дверь, требовали начальника. Случались истерики. Разумеется, ничего не добивались...

Мы все сидели в одних перемазанных кальсонах, потные и ошалевшие от духоты и безысходности. Про себя каждый лютел под тяжестью сморенного усталостью, навалившегося соседа, но терпел, зная, что настанет и его черед погрузиться в каменное, изнурительное небытие. На мгновения, само собой: будили нестерпимо нывшие суставы, отекшие из-за неподвижности члены, чья-то больно наступившая стопа. Мы ненавидели друг друга. И, связанные круговой порукой, не смели в чем-либо ущемить соседа: по молчаливому общему уговору и строго соблюдая очередь, подбирались по одному к окну и там жадно курили. У самых бойких и говорливых не хватало заряда на связный разговор. Изредка перекидывались репликами; чей-нибудь вопрос чаще всего повисал в воздухе без ответа... Молчали, скорченные, опустошенные и настороженные: сутками напряженно прислушивались к звукам в коридоре. Ждали, всем существом ждали — каждый своего. Порой самый жестокий конец рисовался желанным исходом. О самоубийстве не думали из-за невозможности найти способ, как покончить с собой. Ах, Боже мой! — растянуться бы на чем угодно, хоть на миг, сладко ощутить возможность шевельнуться, повернуться на бок, расправиться... Потянуться так, чтобы косточки хрустнули!

В общих камерах всегда найдутся люди — по большей части уголовники, рецидивисты, знакомые с местными порядками. От них мы знали, что в нашем коридоре — камеры смертников. Кто-то даже утверждал, что он целиком отведен под них. Могло быть и так — своей участи никто не знал... И сознание, что рядом томятся обреченные, окрашивало особой жутью любой доносящийся из коридора шум.

Вскоре пришлось пережить подлинно страшную ночь.

После нескольких часов гробовой тишины коридор внезапно загудел от топота. Было за полночь — в тюрьме развивается обостренное и верное чувство времени. Затем донеслись

стуки отпираемых в дальнем конце дверей, короткие слова команды: «Выходи по одному!»

Описывать дальнейшее пусть и возможно, но вряд ли следует: все это слишком страшно, слишком жестоко, подводит к полной утрате веры в добро. Со смертной казнью за бесчеловечные преступления разум может примириться: убийцу, грабителя или растлителя, вероятно, справедливо отправить на плаху... Но как уложить в сознание хладнокровные массовые казни для «устрашения»? Из страха перед политическими противниками?

Уводили долго. Каменные стены и своды беспощадно усиливали всякий звук: переступание сапог, шум борьбы, протесты, крики, отчаянные, затыкаемые тряпьем вопли, остервенелую ругань палачей... Было и несколько взвинченных отчаянно-звонких возгласов: «Прощайте, братцы, ни за что...» Договорить не давали. Донесся и грохот падения; кого-то, уже не по-человечески повизгивавшего, бегом проволокли мимо по полу...

Прильнувшие к окну слышали слабые, как хлопки, выстрелы.

На следующий день по тюрьме прошел слух о восемнадцати расстрелянных. То были как раз односельчане Артемия, которых при мне привезли на подворье. Около половины всей партии отпустили домой — это я потом узнал от тех, кого приговорили к лагерным срокам. Вернувшиеся в деревню должны были свидетельствовать, какие завелись порядки. И, не пикнув, покорно влечь в надеваемый хомут. Придушенный русский мужик впрягался в колхозное неизбывное ярмо.

...Я упустил упомянуть, что был как-то вызван к начальнику тюрьмы, крупному пожилому человеку с холеными большими усами старого служаки. Он тянул лямку в тюремном ведомстве еще с царских времен, был тульским старожилом, знал хорошо Козлова и Мамонтова. Тот, оказывается, повидался с ним, просил что-нибудь для меня сделать.

— Я рад бы уважить его просьбу,— говорил, разводя руками, начальник,— да не в моей власти: предписано держать вас именно в этом корпусе, он считается штрафным. Нас ведь тоже проверяют. По секрету скажу: ВЦИК не утвердил приговора по вашему делу, а там скверным пахло... Вам дадут срок. Боюсь, что тремя годами не отделаетесь. Если бы впервые, а то вы уже побывали в лагере. Так что наберитесь еще немного терпения — бумаги на вас пришли, я справлялся. На днях вам, по-видимому, дадут расписаться в обвиниловке. Худшее для вас позади... Эх, голубчик, и в лагерях люди

живут, поверьте! Только бы из нашего сундука живым выбраться; прощайте, и — молчок! Иначе меня, да и себя подведете.

Этот дружеский разговор подбодрил. Переживая задним числом едва не постигшую меня участь, я и вправду стал думать о лагере, как о вытянутом счастливом билете. И потом — там Георгий, отец Михаил, преосвященный Виктор. Я был уверен, что снова окажусь на Соловках. Да и что ни говори, человек — создание, способное притерпеться к любым условиям: он приспосабливается, смиряется и... выживает! Там, где погибло бы любое четвероногое или крылатое существо, даже насекомое! Гордиться ли этим?

Словом, я втянулся в свое ужатое сидение, попривык к грязи, духоте; вызывался вне очереди дневалить, чтобы оставаться одному в камере во время прогулок. Подметешь пол, протрешь сырой тряпкой — и несколько минут постоишь у окна, спокойно подышишь, оглядывая помещение, вдруг сделавшееся не таким тесным... Но уже затоптались перед дверью, в замке гремит ключ...

В исходе сентября меня вызвали с вещами — а у меня даже не было зубной щетки! И в канцелярии дали расписаться на обороте бумажки с приговором: пять лет исправительно-трудовых лагерей. И сразу сдали вместе с личным делом начальнику этапа. Уже через него я получил передачу — одежду и продукты, принесенные, как я догадывался, Козловыми. Свидания не разрешили: «Даем только родственникам». И в тот же вечер я уже трясся в зарешеченном купе «столыпинского» вагона. Ехали на Москву.

Глава пятая

В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ

Некошеный болотистый луг спускается по косогору к реке, не очень широкой, но полноводной, окаймленной кустами: это Свирь. Повыше, в жидкой опушке мелкого леса, из осенней листвы выглядывают товарные вагоны. Там не то разъезд, не то тупик ветки, где нас недавно выгрузили. На непримятую траву. Вокруг — ни малейшего признака станционных построек, платформы: пустынный участок лесного безлюдного края, со словно случайно здесь оказавшимися заросшими травой рельсами.

Распоряжавшиеся выгрузкой охранники отвели нас на сотню метров от опушки на чистый луг и, тесно сгрудив, приказали садиться на вещи. В некотором отдалении поставили часовых с винтовками. Доставивший нас паровоз ушел, и все замерло. Оказалось, надолго.

Было безлюдно, тихо; ветер шуршал пожухлой травой, река блестела против солнца. И среди всего ненаселенного простора — серая, тусклая толпа понурых, смолкших человечков, обтерпевшихся и почти равнодушно ожидающих, как распорядятся ими. Никто не знал, чего и кого мы дожидаемся долгими часами, под открытым небом, по милости Божией, ясным в виду необозримо раскинувшихся лесных далей. Каждого занимало, где примоститься со своим сидором, чтобы было посуше: чавкающая, податливая почва не держала, и под ногами выступала вода. Что-то всухомятку жевали; с разрешения и под надзором попки отходили на десять шагов в сторону и присаживались в траву; лениво гадали, где мы и куда погонят. Смутно знали, что в этих местах разворачивается. Медвежка: новые лагеря для постройки канала. Но если так, почему не видно бараков? Колючей проволоки? Следов езды?

И лишь под вечер, когда село солнце и от реки пополз хо-

лодный туман, откуда-то появилось несколько военных. Начались переклички, сортировка, развод в разные группы. Меня выкликнули последним, когда я уже волновался — что за такую исключительную участь мне готовят? Присоединили меня к партии человек в сорок; все до одного — воры. Я, считавший себя все же политическим, оказался один среди отборной шпаны — карманников и прочей уголовной шушеры, подростков и вовсе юнцов, без «паханов», матерых преступников-профессионалов, диктаторствующих над коллегами по ремеслу.

Мою партию повели к железной дороге и погрузили в классический телячий вагон, красный, двухосный, с крепко заколоченными люками. Пересчитали, убрали доску, по которой мы, балансируя, с разбегу забирались внутрь, и с треском задвинули дверь. Сделалось темно.

Понемногу оглядевшись в проникающем через щели свете, начали кое-что вокруг себя различать. Порасселись, а потом и улеглись на полу, прижатые друг к другу, однако не так плотно, как в тульской тюрьме. Оценив положение, я заключил, что мне лично ничего не грозит, но с драгоценными своими запасами придется распрощаться.

Подозвав пацана повзрослее, я отдал ему для раздачи без малого все содержимое своего мешка: хлеб, сахар, сухари. Все, что удалось в то голодное регламентированное время — я представлял себе, ценою каких жертв и усилий! — собрать моей родне и что всегда так дорого заключенному не только как огромное подспорье и средство выжить, но как свидетельство заботы и любви, олицетворение непорванной нити с отторженным от него миром. Об этих передачах, предосудительных, компрометирующих — что, кроме подозрений и придирок, мог навлечь на себя помогающий осужденному врагу народа? — собранных живущими по-нищенски близкими и друзьями, об их подвижничестве, мужестве должна быть написана героическая поэма...

Но дрянной народец вокруг меня был все же голодным, и нельзя было с ним не поделиться, как бы мало сочувствия ни вызывала у меня эта братия. Увы, не христианские чувства говорили во мне, а понимание, что лучше самому отдать добровольно, нежели быть ограбленным. Я постарался и сам поужинать как можно плотнее — в запас. Оставшиеся крохи — пригоршня-другая сухарей, несколько кусков сахара, еще что-то — увязал в опустевший мешок с кое-каким барахлом, положил его себе под голову и растянулся на полу. Наступила темнота, и надо было спать.

Вагон долго стоял. Из-за тонкой обшивки доносились шорохи — шелест деревьев под невзначай набежавшим ветерком, возня ежей или мышей в опавших листьях, неведомые шуршания и потрескивания. Стоял ли возле нас караул? Было похоже, что мы в своем запертом ящике погружены во вселенскую темноту, окутавшую мир, и нет нигде ни единой живой души...

Я стал задремывать. И, уже засыпая, почувствовал, как осторожно выдергивают у меня из-под головы мешок. Я сразу двинул кулаком куда-то в потемки, угодил во что-то мягкое. Попытки через некоторое время возобновились. Я посылал удары в никуда — иногда кого-то задевал, чаще — в пустоту. В промежутках боролся с одолевавшим сном.

Я проснулся от толчков идущего вагона, белым днем. Голова моя лежала на полу, рядом валялся опустошенный до дна мешок. Я снова закрыл глаза и долго лежал так из-за брезгливого чувства — неодолимого отвращения к своим спутникам. Случившееся, правда, только подтверждало мой давнишний вывод насчет вздорности литературных суждений о романтике и благородстве, присущих будто бы уголовному миру, и все-таки... И все-таки было мерзко думать, что существа, способные обобрать до нитки спящего товарища, только что поделившегося с ними последним, почитаются людьми. И в те сутки, что тряский наш вагон катился к цели — уже знакомой мне станции Кемь,— я не мог себя заставить разговаривать со своими соэтапниками, отвечать на их вопросы. Злые тогда владели мною мысли... От нашей выгрузки в Кеми сохранилось очень резкое ощущение своей вброшенности в ворочающееся, беспорядочно понукаемое, куда-то направляемое многолюдие, тесноты, необходимости что-то выполнять под непрерывные окрики и брань. Высаживали из вагонов не только нас, но одновременно из других эшелонов, так что все вокруг кишело людьми с мешками, сумками, деревянными чемоданами, толпившимися в оцеплении солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Нас выстраивали впритык друг к другу, тесными рядами по десять человек. Когда составилась колонна, погнали куда-то по пустынной дороге...

Начальники шли сторонкой, в ремнях и при пистолете, подтянутые и заносчивые. Они то и дело покрикивали: «Шире шаг!», «Не растягивайся!» Это приводило к тому, что усердствовавшие в хвосте колонны конвоиры насовывали задние ряды на идущих впереди, люди оступались, роняли вещи, падали... И от растянувшейся по грязному осеннему проселку на добрый километр колонны шел беспорядочный глухой шум, в

мутном прибое которого вдруг четко выделялся окрик, отдельный вопль или вычурное длинное ругательство в Бога, в мать, в жизнь...

После длившегося бесконечно ожидания у обвитых колючей проволокой ворот зоны — тут этапы принимала целая ватага лагерного начальства, писари из УРЧ сверяли списки с записями в формулярах, опрашивали, выясняли,— я наконец оказался в бараке, широком, низком и длинном, с двумя продольными проходами между тремя порядками капитально сооруженных двухъярусных нар... И тут снова — общее воспоминание о толчее, брани, грязи, стоянии в очередях у столовой и уборной, перекличках, вызовах, драках, буйстве, слившееся за много лет с длинной чредой однородных передряг. Все эти пересылки и этапы более или менее на один лад. Заключенные тут как пересчитываемые в гурте головы скота: их надо подкормить, не дать вовсе запаршиветь в дороге, чтобы было что сдать в конце приемщику.

Как и нары для заключенных, вся пересылка была построена прочно, с расчетом на долговременный разворот деятельности. Просторные, добротно срубленные бараки тянулись вдоль прямых улиц с дощатыми настилами, называемыми, как у пионеров-ленинцев, линейками. В центре поселка, обтянутого колючей проволокой в несколько рядов, с вышками и прожекторами, находилась уборная на четырнадцать очков, с дежурившими круглые сутки уборщиками с метлами и ведрами извести. Зэки выстраивались на линейках не один раз в день — для проверок, при выводе на работу. Из них тут же составлялись партии для дальнейшего следования.

Линейки служили и для муштры. Темпы приемки-сдачи — жизнь не замирала ни на секунду круглые сутки, этапы принимались и отправлялись во всякое время — не давали охранникам развернуться по-настоящему, но они все-таки выкраивали время для издевательских учений, а то и для расправ.

Как-то под утро я был разбужен шумом. Со двора доносился топот множества ног по гулким доскам, крики, изощренная, разнузданная, кощунственная брань. Я выглянул из тамбура. В неясном предутреннем освещении по линейкам грузно бежали, в одиночку и группами, серые тени, грохоча башмаками и запаленно дыша. Вдоль мостков, неподалеку друг от друга, стояли охранники с «дрынами» — увесистыми березовыми дубинками, какими они с размаху лупили отстающих, а то и просто удобно повернувшихся зэков.

Этап гоняли вкруговую, по двум параллельным линейкам, одни и те же фигуры пробегали мимо вновь и вновь. Иной падал, отползал на четвереньках, кое-как поднимался и устремлялся бежать дальше. На того, кто медлил встать, набрасывались вахтеры. И мелькали дрыны.

— Вишь, издеваются. Трое по дороге сбежали, у самой зоны, вот они и отыгрываются,— пояснил стоявший возле меня у двери одноногий мужик из-под Калуги.— Это не впервой. Навидался... Когда целую ночь вот так гуляют. Забивают и насмерть, коли по-настоящему разойдутся. Мне-то как быть? Поднялся идти в хлеборезку, да боязно сунуться — как раз прихватят...

Охранники развлекались и вне лагеря. Нас большими партиями выводили за зону, чтобы позабавиться зрелищем, как ошалевшая от страха, окриков и избиений толпа мечется и старается вокруг явно нелепого дела. Нас заставляли вылавливать в мелком прибрежном заливчике нанесенные течением бревна и вытаскивать их наверх по крутому склону на катище; не только что лебедок, у нас даже веревок не было, чтобы зачаливать их. Мы артелями человек по десять-двенадцать вручную катили каждое бревно перед собой, оскользаясь, едва удерживаясь на скате. Не справившись, бревно упускали, и оно, то расшвыривая, а то и калеча нас, плюхалось обратно в воду.

Неудивительно, что никто из тех, с кем пришлось тогда сталкиваться в Кемьперпункте — спать ли на одних нарах, вместе участвовать в бессмысленных авралах, в редкие тихие часы перед сном обмениваться обрывками осторожных речей,— никто из тысяч лиц, перевиденных за месяц с лишним, что я там пробыл, не запомнился: чересчур мимолетными были общения, незначительными материи, о которых можно было рискнуть заговорить при таком поверхностном знакомстве. Пожалуй, только одного упомянутого дневального Илью Прохорова я могу назвать, и то потому, что пришлось в ночной, успокоенный час поговорить с ним задушевно.

Наряженный как-то дневалить в помощь Прохорову, я понес вместе с ним хлебный ящик к каптерке, оказавшейся на запоре. И вот мы, сидя в сторонке на штабеле накатанных бревен, внезапно разоткровенничались. Он горевал о беспомощной семье, с берущими за душу подробностями вспоминал отнятую пашню, заботы о лошади, тепло омшаника с отелившейся коровой. Не мог он с ними расстаться, вступить в колхоз, из-за чего и был «раскулачен» и заключен на пять лет

в лагерь, хотя отроду не держал работников и числился середняком. Рассказ его, заурядный и скорбный, открывал в оболганном враге — будто бы бессердечном мироеде и корыстном приобретателе — исконную и высокую привязанность к земле и крестьянскому труду, справедливость в суждениях и поступках, широту и терпимость. Это объясняло мне, почему отец мой так безусловно верил в крестьянскую правду, в мужицкий мир. И вот человек из этого мира отлучен от поля, брошен в лагерный барак, дневалить — после того, как потерял ногу на лесоповале. И даже здесь, голодный и без поддержки, больной, он добросовестно делает свое дело — вручает всем пайку в неприкосновенности, с пришпиленными деревянными палочками десятиграммовыми довесками...

Именно в те годы, когда началось истребление здорового ядра нашего крестьянства, завершившееся полным крушением русской деревни, она понесла непоправимый урон, оказавшийся для нее роковым. Российское земледелие подсечено под корень. Может быть, навсегда.

На Соловках оказалось еще более много чем на кемьской пересылке. Пароход «Глеб Бокий» курсировал между Кемью и островом безостановочно. Соловецкое начальство теряло голову: куда распределить и как разместить пополнения? Битком набитое зэками судно пришвартовывалось к пристани, еще не освобожденной от предыдущей партии. Подхваченный людским потоком, я после темного, душного трюма оказался сначала в густой толпе ожидавши на берегу. После бесконечного стояния был включен в очередную толпу, едва не на рысях отправленную (гнали в шею!) в кремль, в тринадцатую роту.

Тщетно всматривался я в лица, прислуши лся к разговорам, опасливо приступал с расспросами к зэкам. Ни одного знакомого лица, ни одной созвучной интонации, ни одного «как же, знаю!» в ответ на называемые мною имена. Кое-кто от меня шарахается, подозрительно озираясь. Все вокруг чужие и чуждые.

Мы, вновь привезенные, отличаемся от местных зэков. Все соловчане обряжены в одинаковые стег и ватники, на голове — суконные бесформенные треухи. Разница лишь в степени заношенности. И все острижены под машинку, безбородые, с отросшей на подбородке щетиной. Но более этих внешних признаков впечатление однородной безликости создает общее всем лицам выражение угрюмой сосредоточен-

ности, неподвижность черт, словно каждый погружен в какие-то тягучие, серые, однообразные раздумья...

Изредка за внешним грязновато-грубым обличием смутно угадываются следы интеллигентности и воспитания, какая-то еле уловимая сдержанность манер. Но в глазах — такое желание остаться спрятанным, что останавливаешься на полуслове. И жгут мучительно-тревожные вопросы: где Осоргин? Отец Михаил? Почему с фельдшерами не приходит Фельдман? Почему никто не спешит повидаться со старым соловчанином, вернувшимся с новым сроком? — а задать их боишься.

Шли чадные дни. Я ютился на краю грязных трехъярусных нар, убого торчащих под величественными соборными сводами, шалел от бестолковой гонки на устраиваемых то и дело авралах, притерпливался к безнаказанной наглости уголовников, старался как-то не потерять себя. Утвердиться на линии поведения, какая бы, насколько можно, ограждала от засасывающего и растлевающего воздействия условий, толкавших на отказ от привычных понятий, норм. Лагерная обстановка диктовала: чтобы уцелеть и выжить, сделайся людоедом, умей столкнуть слабого, подкупить сильного, подладиться к блатному миру. Но как быть, если все существо твое противится? Восстает против матерщины, цинизма отношений, подлости и насилия?..

То, что меня обобрали на этапе, теперь послужило ко благу. Блатари рыскали и шарили по нарам, отнимая на глазах у дневального и дежурных всё, что только удавалось обнаружить в мешках и баулах у «контры». Защиты не было: добыча барахло и съестное — шла в некий общий котел, участниками которого были начальственная мелюзга, дневальные, за ними — заслуженные уголовники. Шакальей стае, совершавшей набеги, доставались крохи. Нередко было увидеть добротную шубу или славно сшитые сапоги, отнятые у соседа по нарам, на дежурном по лагпункту и, конечно же, на каптере, владевшем самой ценной обменной единицей — пайкой.

Поднимали нас до рассвета. Тут же, как в тюрьме, кормили поднесенной в ушатах баландой, еще в темноте выстраивали на площади перед соборами, по счету передавали нарядчикам и под конвоем гнали куда-нибудь за монастырскую ограду. Иногда я попадал на кирпичный завод, где целый день таскал с напарником носилки с глиной или формованными кирпичами; чаще оказывался на обширном дровяном дворе, где должен был вдвоем с товарищем наготовить из долготья сколько-то швырковых дров — напилить, наколоть и сложить

в штабель; иногда на пристани таскали грузы. И все — под неусыпным надзором: отлучки или общение с местными зэками исключались. Их я видел только издали.

Однажды лесной склад обходила комиссия. Распоряжался высокий человек в очках, одетый по-арестантски в бушлат, но чистый и аккуратный. Я сразу угадал по облику не только интеллигента, но и «бывшего». Случалось, мельком видел лица, выправка и манера держаться которых выдавала прежних военных. Но то были единицы — общую массу составляли крестьяне, большей частью пожилые. И всюду — густо всякого ворья; немало было народу трудно определимой категории — что-то обезличенное, стертое лагерем.

Приближалась зима. Мы возвращались с работы промокшими и озябшими. Спать приходилось в непросохшей одежде; разношенная казенная обувь — знаменитые соловецкие «коты», скроенные из старых брезентовых рукавов и шин,— не спасала от грязи и талого снега, а месить их доставалось целый день. И в роте, где нас было несколько тысяч, становилось все больше лихорадящих, бредящих, горячечных.

Очень скоро узналось, что заболевают не воспалением легких и простудой, а валит людей с ног исконный спутник нищеты, скученности и грязи — сыпной тиф. Завезенный с материка, он быстро распространился: все мы подолгу не бывали в бане, забыли про чистое белье и, конечно, обовшивели.

Между тем в эти последние дни перед закрытием навигации с материка засылали новые и новые партии заключенных. Остров обратился в серый смрадный, кишащий бедлам.

Нечего говорить, что к борьбе с эпидемией Соловки никак не были подготовлены. Сыпняк косил зэков невозбранно. Растерянное начальство прибегало к непродуманным, торопливым мерам, подсказанным более опытом тюремщиков, нежели знаниями. Нас запирали в помещении, никуда не выпускали — но на нарах продолжали бредить и умирать. Изоляция не удавалась: приходилось выпускать в общие уборные, столовую, за хлебом... И объявленный накануне строгий карантин на следующий день отменялся: нас сортировали заново, перетасовывали, куда-то кого-то отправляли. Потом у входа снова устанавливался пост, не выпускавший одних, разрешавший (по блату!) отлучки другим, и смертность все росла и росла. Кстати сказать, в этот период мы вовсе не видели начальства. Напуганное заразой, оно пряталось от зэков и вырабатывало непоследовательные меры для собственной безопасности.

В один из предзимних дней я вместе с большой партией

был наряжен на рытье могил. Несколько дней подряд мы копали у южной стены монастыря огромные ямы и еще не закончили работы, когда туда стали сбрасывать трупы, привезенные на дрогах во вместительных ларях-гробах. Один из возчиков, с которым я поделился щепотью махорки, указал мне на возвышавшуюся невдалеке, под самой оградой, порядочную земляную насыпь: под ней — останки заключенных, убитых здесь в октябре двадцать девятого года...

Так впервые я услышал подтверждение смутным слухам о массовых расстрелах на Соловках. О них просочились сведения за границу, догадывались по внезапно оборвавшейся переписке родные и близкие погибших. Но широко по стране не знали. А если бы и знали, эта расправа, при всей ее бесчеловечности, не могла в те годы произвести особого впечатления: казни шли повсеместно, газетные сообщения «приговор приведен в исполнение» успели примелькаться...

Это известие меня потрясло. Было страшно узнать, что нет более Георгия, наших общих друзей всех, кого я надеялся здесь встретить. А как я торопился сюда, как обрадовался, когда меня выкликнули в Кеми на соловецкий этап...

От меня в трех шагах рыхло лежали поросшие травой комья земли — на этом месте палачи-добровольцы сталкивали застреленных в наспех вырытую траншею, неистовствовали, добивали раненых. Надо мною наглухо сомкнулась глухая беспросветная соловецкая ночь. Lasciate omnia speranza[1].

Лишь спустя много лет я узнал достоверные подробности гибели Осоргина, Сиверса, других знакомых, сотен соловецких узников. Тогда же мне только открылось, почему я не вижу никого из прежних товарищей по заключению. Все они, как писал Тургенев, «умерли, умерли». Нет. Не умерли — а убиты, казнены. Истреблены.

...Настал день, когда меня с утреннего развода не погнали на «общие», а отослали обратно в роту дожидаться «особого распоряжения». Это означало какую-то перемену и, разумеется, встревожило. Хотя, казалось бы, чего опасаться на том дне, куда швырнула меня судьба? Могло ли что быть безысходнее и мрачнее этой чреды дней взаперти? В гулком провале полутемного каменного колодца, с кишащей толпой голодных, грязных, пришибленных людей, поневоле враждебных друг другу? Каждый в каждом видел источник заразы и смерти, от которого хотелось быть за тридевять земель, а обстановка заставляла спать вповалку. Здоровые подкараули-

[1] Оставь всякую надежду *(ит.)*.

вали бредящих и умирающих, чтобы воспользоваться пайкой, ухватить обувь, теплые штаны, засаленную подушку.

На этот раз санобработку делали отнюдь не формально. Мне, как выяснилось, предстояло бывать в местах обитания начальства и вступать с ним в контакт. Поэтому мыли, стригли и прожаривали мои пожитки на совесть. Остриженный кругом под ноль, я был впущен в баню с порядочной банкой дезинфицирующего снадобья, с мылом и разрешением не торопиться. А баня-то еще монашеская! Просторная, с медными щедрыми кранами, полатями и особенно легким духом под низкими каменными сводами...

Затем я обрядился в новенькое белье с тесемками, брюки и гимнастерку, телогрейку — все хоть не первого срока, но выстиранное, прокаленное в сушилках. Из своего мне оставили только обувь. В таком облагороженном виде я был сдан на руки дневальному общежития лагерных «придурков»[1], к коим мне посчастливилось быть причисленным. В этом примыкавшем к прежнему Рухлядному корпусе с кельями были помещены работники Управления, уже, правда, не столь просторно, как в прошлое мое сидение: место монашеских деревянных диванов заступили узенькие топчаны на козлах, оставлявшие несколько проходов, едва достаточных, чтобы кое-как пробираться боком. Мой топчан, по счету одиннадцатый, был приткнут под вешалкой, у двери, без доступа сбоку. Зато были тощий тюфяк с перетертой соломой и суконное серое одеяло, созданное как бы специально для арестантов.

Удача! Меня произвели в счетоводы лесного отдела. Решение укрепить мною бухгалтерский аппарат лагеря вызывалось отнюдь не преувеличенной оценкой моей квалификации в этой области, а видами одного из начальников на использование меня в качестве репетитора немецкого языка для его двух чад-школьников. Всеохватывающие сведения из личного дела открыли ему мою квалификацию переводчика.

Забегая немного вперед, скажу, что педагогическая моя карьера на этот раз оборвалась, так и не успев расцвести, из-за невзлюбившей меня с первого взгляда супруги начальника. Этой необразованной заносчивой женщине лукавая судьба назначила ходить в советских барынях, нисколько не подготовив ее на эту роль. Новоявленная дама не упускала дать мне понять, что я за низкое, отверженное существо, заслуживающее лишь резкого, презрительного обращения. Она не позво-

[1] Так лагерные работяги называли конторских служащих. *(Примеч. авт.)*.

ляла детям садиться со мной рядом, а мне — покидать своего места на краю кухонного стола. К нему я должен был шагать по нарочно для этого расстеленной тряпке — прямо от двери холодных сеней, где я оставлял шапку и телогрейку. И уже в третий свой приход я, вдруг вспылив из-за грубого ее окрика — чего бы, кажется? называй как вздумаешь, только не отнимай добавочное блюдо! — резко предложил обращаться ко мне на «вы» и не вмешиваться в мои замечания ее отпрыскам.

Изгнать меня ей захотелось с треском. По рассказу знакомого нарядчика, она фурией влетела в УРЧ, бурно требуя сослать меня на штрафной лагпункт за «грубость и угрозы». Но тут в мою пользу сработал род круговой поруки — подспудно действующий закон лагерного блата, порой пересиливающий и самые категорические распоряжения начальства. У меня уже завелись знакомства, кое-какие связи, пришлось и вовсе по-дружески с кем-то перемолвиться. Так что нашлись доброхоты, попросту убравшие меня с глаз начальства. Я был направлен рабочим в лесничество, километрах в двух от кремля, под начало Басманова — того самого высокого, обратившего на себя мое внимание человека, распоряжавшегося приемкой дров на складе.

Главный лесничий Басманов был профессором Петровско-Разумовской академии, а по происхождению — из старинного рода, числившего среди своих предков опричника Ивана Грозного. После очень тяжелого следствия его привезли на Соловки — примерно за год до меня — с десятилетним сроком. Выглядел он человеком погасшим, но добрый близорукий взгляд сквозь очки говорил о неутраченной благожелательности к людям. Он устроил меня так, чтобы «невинность соблюсти», то есть, как предписывалось, держать на физических работах, и «капитал приобрести» — подобрать занятие, избавляющее от ига бригадира и конвоя. И, зачисленый в истопники и уборщики при лесничестве, я был посажен за вычерчивание таксационных таблиц. А когда кто-то все-таки стукнул, что у лесничего дневалит зэк первой, «лошадиной», категории, которому только вкалывать на самых тяжелых работах, заранее предупрежденный Басманов успел меня перевести чернорабочим на соседнюю звероферму. Там я хоть и не «кантовался» за конторским столом, но выполнял работу не тяжелую — кормил кроликов. А главное, жил не в общем бараке, а на утепленном чердаке одного из домиков фермы, где было тихо, просторно и чисто. Жил я с двумя «куркулями», крестьянами из-под Гуляй-Поля, махновцами, в свое время амнистированными

и заключенными в лагерь в коллективизацию. То были крепкие и смелые люди. Разоренные, считавшие дело крестьян проигранным, они не сдались и не пали духом. Добросовестно ходили они за советскими «овечками», как величали порученных их попечениям ондатр, тогда впервые завезенных с Мичигана, ухитрялись стряпать сытные обеды, за которыми элегически вспоминали борщи, заправленные пожелтевшим салом, растертым с чесноком. Жили махновцы спокойно, молчаливо, ко мне отнеслись дружественно. Бестревожные месяцы на звероферме вспоминаются как благополучное, дарованное свыше спокойное время.

Тут следует пояснить, что за истекшие с первого моего освобождения из лагеря (в 1929 г.) два с лишним года произошли крутые перемены: уголовники и бытовики были объявлены социально близкими, пятьдесят восьмая — социально опасной, лишена доверия, обвинена во всех грехах периода произвола и обречена находиться только на физических работах. Такая схема в чистом виде была, естественно, неприложима: воры и преступники не отказывались называться социально близкими, но работать решительно не хотели. Да и не умели. И того более: не хотели отказываться от своего ремесла. Каптерки, кассы, склады, мастерские надо было ограждать от них, как от чумы. И приходилось волей-неволей вновь усаживать контриков в канцелярии и столовые, на склады, назначать главбухами и заведующими вопреки категорической инструкции. Блатарей пробовали ставить дневальными, зачисляли во внутреннюю охрану, но участившиеся грабежи вынудили и от этого способа поощрения и использования близких элементов отказаться: в первую очередь обворовывались квартиры, магазины и склады вольнонаемных. В этой обстановке начальство чутко реагировало на доносы: любому урке было достаточно пожаловаться на «врага», «издевающегося» над соцблизким трудягой, на доктора, отказавшего в освобождении,— и делу давали ход. И нередко с трагическим финалом. Этим начальство, вероятно, предупреждало возможные последствия обвинений в потворствовании контре и притеснении родных бытовичков. Вдобавок оно отечески мирволило шалостям своих подопечных — пусть себе ребятушки погуляют, развлекутся: тут выхватят посылку у нераскаявшегося «бывшего», там изобьют каптера, выдавшего прогульщику штрафную пайку, взломают вещсклад с отобранной у зэков одеждой...

Звероферма находилась на лесистом островке, затерявшемся среди бесчисленных бухточек и мысков, изрезавших

извилистый берег глубокой Муксалмской губы. Не было тут ни колючей проволоки, ни охранников — мирная тихая заимка с людьми, дробящими и нарезающими корм всяким зверушкам, убирающими вольеры, таскающими дрова к печам. Сельские будни, уводящие за тысячу верст от ненавистничества и напряжения лагерной жизни... Нас от нее отгораживал пролив, через который переправлялись на лодке: мы, немногочисленные рабочие-звероводы, наряжались гребцами и грузчиками. Наши подопечные пожирали порядочно кормов, так что доставалось грузить и плавить мешки с крупами, овощи и даже всякие деликатесы вроде меда, кураги, орехов, свежего мяса и рыбы, предназначенных соболям. Да простят мне задним числом драгоценные питомцы чекистской зверофермы! Мы не удерживались от соблазна и нескудно разнообразили и совершенствовали свой арестантский стол за их счет, полагая, что лишь восстанавливаем попранную справедливость: снабженцы охотно включали в рацион соболей кур и сухофрукты, отпускали отличную говядину для черно-бурых лис и песцов, тогда как наш сухой паек составляли, помимо основы основ — хлебной пайки в полтора фунта (норма работяги в тот период),— перловая крупа, соленая вонючая рыба, квашеная многолетняя капуста и сколько-то граммов прогорклого растительного масла да несколько щепотей сахару.

Я распоряжался свежими корнеплодами и кочнами капусты, махновцы имели доступ к мясу, соболятники выделяли нам урюк, рис, мед взамен на наши весомые приношения. Была на нашем островке баня, так что мы были ограждены от трех основных бед лагерника, если не считать начальства: скученности, грязи и недоедания. С мыслью о зыбкости арестантского благополучия, донельзя хрупкого, способного в любую минуту оборваться, с этой мыслью мы — как притерпливается человек к любой невзгоде — сжились. Умели отрешиться от сознания всечасно висящей над нами возможности быть схваченным, брошенным по чьему-нибудь навету в шизо — штрафной изолятор,— истерзанному на допросах, обвиненному в преступных замыслах, заслуживающих «вышки»...

В отдельном коттедже жил наш единственный начальник — заведующий фермой Лев Григорьевич Каплан. Заключенный, он носил полувоенную форму и был, судя по всему, на особом положении — вероятно, благодаря заслугам перед партией или занимаемому на воле высокому посту. Был он корректным, очень замкнутым, в меру требовательным, распоряжения его — дельными, исполнимыми и каса-

лись только работы. В нашу жизнь Каплан вовсе не вмешивался, хотя был проницательным и знал обо всем, что делалось на ферме. Нечего говорить, что мы зубами держались за свою работу и ухаживали за зверьками не за страх, а за совесть. И наезжавшим частенько комиссиям — ветеринарным и начальству — не к чему было придраться.

Приходилось, само собой, ловчить и комбинировать. Особенно мне с квелыми моими кроликами-шиншиллами, плохо переносящими сырой и холодный соловецкий климат. В иные месяцы свирепствовал кокцидиоз — кроличий инфекционный насморк,— и маленькие крольчата гибли целыми пометами. Я научился благоразумно подправлять отчетность — в графе «котные матки» проставлял менее половины ожидавших потомства крольчих. Таким образом, падеж удавалось скрыть.

Впрочем, начальство все заботы свои и попечения обращало на соболей — заболевание этого зверька было ЧП, о котором докладывали начальнику лагеря и чуть ли не в Главное управление в Москве. Интересовалось начальство и песцами с лисами.

Для чего была предпринята ГУЛАГом попытка разводить редких пушных зверей? Не с тем ли, чтобы крупные боссы могли бесхлопотно обряжать в ценные меха своих супруг и любовниц?.. Во всяком случае, кроличье племя оставалось вне сферы внимания начальства — в крольчатник оно при посещении фермы никогда почти не заглядывало.

По вечерам мои сожители обычно уходили к земляку в соседний домик, вели там беседы на родной «мове», иногда вполголоса пели свои хохлацкие песни — особенно «Реве тай стогне Днипр широкий», трогавшую их до слез. А я зажигал большую керосиновую лампу и занимался забытой «письменностью»: переводил на французский Тютчева, составлял на память антологию любимых стихов. Словом, коротал время: книг не было.

И вот однажды ко мне зашел Каплан. Это было так неожиданно, что я, пока скрипели ступеньки чердачной лестницы под его шагами, не позаботился убрать сковороду с уличающими остатками не положенного зэкам блюда. Однако начальник и не подумал им интересоваться. Вежливо поздоровавшись, он присел к столу и с ходу объяснил, что, как ни обособленно мы живем, следует остерегаться доносов, поэтому он не может, как бы ни хотел, со мной общаться, перевести в кладовщики или завхозы, но предлагает осторожно к нему заходить, порыться в его книгах... Мельком упомянул о своем филологическом

образовании, желании потолковать о предметах отвлеченных — и ушел, дружески пожав руку. Но лишь когда Лев Григорьевич, зайдя на крольчатник, повторил приглашение, я рискнул к нему зайти.

Темным вечером я тенью шмыгнул в дверь директорской квартиры. На полу настелены половики, стоит кое-какая мебель. Письменный стол освещала яркая керосиновая лампа. Эта обстановка, да и сам хозяин, умным, строговатым взглядом и несколько чопорной вежливостью напоминавший русских провинциальных врачей, были такими внелагерными, что я себя почувствовал, словно зашел навестить знакомого. Перестал стесняться своей замызганной сряды и стряхнул скованность лагерного работяги перед начальством.

Как ни любезен был мой амфитрион, я сразу почувствовал, что откровенным быть не следует. Не из-за осторожности — порядочность Каплана не внушала сомнения,— но по ощущению принадлежности разным мирам. Мирам с несхожими и даже противоположными взглядами и оценками.

Предоставив мне осмотреть полки с книгами, Каплан вышел на кухню, где закипал на керосинке чайник. И беглый взгляд на корешки убеждал в приверженности обладателя собранных книг марксистской литературе. А она уже в те годы, без последующего исчерпывающего опыта, представлялась мне зловещим талмудом, на горе человечества соблазнившим умы второй половины XIX века.

Но, помимо Маркса и Плеханова, нашлась целая подборка английских классиков в оксфордском академическом издании!.. Байрон и Теккерей в оригиналах во владении соловецкого заключенного — в этом было что-то несообразное. Даже нелепое, как если бы в мешочнике, лихо продирающемся в осаждающей вагон толпе, узнать... Чехова.

— Все на самом законном уровне... На всех книгах, как на наших письмах, штамп «проверено цензурой»,— усмехнулся вернувшийся Каплан.— Они полежали-полежали в ИСЧ и возвратились ко мне — скорее всего непросмотренными: полагаю, там никто языка Шекспира не знает. Но формальность соблюдена... Давайте чай пить. Я расскажу, почему очутились здесь эти книги, да, пожалуй, и сам я, чтобы вы перестали смотреть удивленно.

Говорил о себе Каплан скуповато, как бы взвешивая каждое сообщаемое сведение. Он возвратился в Россию вместе с потоком эмигрантов, хлынувших на родину после свержения «душившего» ее самодержавия. Рос и учился в Англии, где

осели его родители, покинувшие Киев еще в первые годы века, когда по Малороссии прокатилась волна погромов. Каплан-отец, специалист-меховщик, остался в Лондоне и сделался чем-то вроде контрагента нашего «Аркоса»[1]. Сын, бредивший революциями, ринулся в Россию — помогать строить новую жизнь. Не найдя применения своим знаниям в филологии, перепробовал несколько профессий, пока в ведомстве, где переводил техническую литературу, не столкнулся случайно с новыми тогда проблемами пушного звероводства. Вспомнились поездки с отцом на зверофермы в Канаду, дело увлекло, и вскоре прежний английский филолог сделался пионером и специалистом разведения пушных зверей. Однако связь с семьей за рубежом, знакомства среди революционеров разных толков, быть может, и одиозность фамилии — пусть было исчерпывающе доказано отсутствие какого-либо родства с покушавшейся на Ленина злодейкой,— всего этого оказалось достаточно, чтобы ввергнуть в лагерь вчерашнего революционера-волонтера... Правда, на первых порах — вероятно, из-за надобности в его отце — предоставив ему несколько смягченный режим. Власть изолировала его как бы из предосторожности, на всякий случай, не в наказание за вину. Позже до меня дошел слух, что Каплан был арестован в лагере и увезен со спецконвоем в Москву...

В ранней юности мне довелось слегка прикоснуться к подпольному миру прежних революционеров и политических эмигрантов. В нашем доме периодически появлялся молодой человек — тип вечного студента,— заросший и неряшливо одетый. Фамилия его Кузнечик (наверное, партийная кличка) нас, детей, забавляла. Мой отец опекал, прятал и куда-то увозил этого карбонария.

Не раз видел я в отцовском кабинете и высокого, грузного гостя, особенно запомнившегося из-за нерусского акцента. Седые усы и эспаньолка подчеркивали его сходство с Некрасовым. То был некто Дворкович, революционер восьмидесятых годов, эмигрировавший еще в прошлом веке. Он отошел от подготовки мирового пожара и наезжал в Россию по банковским делам. Но по старой памяти еще выполнял кое-какие поручения прежних своих единомышленников.

За обедом Дворкович бывал церемонен, с нерусской учтивостью обращался к моей матери и не упускал с иронией передать нелестные для россиян сообщения и сплетни английских газет о наших правителях и порядках. И угадывались застаре-

[1] «Аркос» — англо-русская торговая фирма.

лая неприязнь и презрение рассказчика — прежнего эсера или бундовца — к своей бывшей родине.

Если перепрятываемый моим отцом Кузнечик был фигурой конспиративной, скрывавшейся от полиции, то Дворкович держался солидно и самоуверенно. В нем чувствовалась отчужденность человека, перебравшегося в покойный, безопасный дом и не заинтересованного в прежнем ненадежном и постылом жилье. Мои родители видели в этом естественное следствие претерпленных гонений; я — осуждение чужаком дорогих мне национальных представлений.

Вот и во Льве Григорьевиче чувствовалась мне закоснелая неприязнь — но не только в отношении прежней России, а и к народу, оказавшемуся неспособным безболезненно приспособиться к снизошедшей на него марксистской благодати. Поэтому мы, не сговариваясь, ограничили свои беседы литературой. И судили о достоинствах переводов англичан на русский язык — предмет многолетних занятий Каплана. Тут появлялась его великолепная эрудиция. Немало рассказывал он интересного и о Западе, от которого я был отключен наглухо.

Мы почти не говорили о текущих лагерных делах. В редкие наши вечерние встречи — развитое чувство самосохранения подсказывало не злоупотреблять ими — обоим хотелось от лагеря отрешиться. Разве что мой босс, все чаще посылавший меня с поручениями в Управление, предостерегал от тех или иных встреч, называл лиц, которым не следовало показываться на глаза. Этот человек, видимо, знал многое о многих.

...С выписанным мне Капланом пропуском я шел в кремль — по замерзшему заливу, дальше лесной тропкой, выводившей к огородам. Тянулись они вдоль берега Святого озера, и за белой их гладью подымались суровые силуэты башен монастыря. Грозные и насупленные, они высились над озером в сером, тусклом небе, словно с тем, чтобы каменной своей неподвижностью напомнить людям, ничтожествам, копошащимся у их подножия, о нависшем над ними роке. Не человеческим скорбям, отчаянию и страхам, разлитым вокруг, было возмутить это вековое равнодушие! Мнилось: не сизые клубы холодных морских туманов застят четкие очертания башен и колокольни, а испарения скопища пришибленных людишек, зловонное облако ругани и богохульств. Кровавая изморозь, оседающая на холодных валунах... Каторга стерла призрак святой обители.

Поездки на фермы, к рыбакам, в хозяйственные отделы Управления, на склады и базы расширили мои знакомства.

И я все чаще стал узнавать в темных щетинистых лицах, под коростой арестантской уродливой одежды людей, мне созвучных. Первое впечатление сплошной серости оказалось ошибочным. Я научился различать под ней культуру, воспитание, нравственную высоту. Встречались люди истинно замечательные.

Преследуемые достоинства и мысль ушли в подполье. Прятались, чтобы не навлечь гонений и не возбудить озлобленной зависти — этого надежнейшего рычага и пособника социальных потрясений.

Хлопотать о мимикрии и растворяться в безликости было тем более необходимо, что состав соловецких заключенных существенно изменился. Становилось все меньше чистокровных «контриков» — народу, принадлежащего непосредственно дореволюционной России. Соловки уже вбирали потоки лиц, связавших свою судьбу с советским строем, составлявших промежуточное поколение: бывший офицер оказывался на поверку прапорщиком, присягавшим Временному правительству; сосланный специалист — сыном, а то и внуком помещика, отпрыском прежних «особ первых четырех классов». То был народ, уже воспринявший отчасти новые психологию, принципы, критерии морали. Вошедшие к тому времени в моду процессы вредителей поставляли в лагерь первые партии советской интеллигенции, техников и инженеров уже послереволюционной формации. Этому контингенту были непонятны настроения тех, кто почитал Октябрьскую революцию крушением России, а выкорчевывание религии — сталкиванием народа в пропасть одичания и бездуховности. Верующих и противников большевиков они относили к ретроградам, приверженцам изжитых идеологий. И если между «нераскаявшимися» и «просветившимися» еще не было враждебности, как приключилось позднее, когда лагерь наводнили разжалованные коммунисты, то определились непонимание и отчужденность. В интеллигентном подполье обозначились размежевание, недоверчивость.

Мне, как я уже писал, тогда посчастливилось узнать близко нескольких выдающихся священников, вынужденных держаться особенно прихоронно и обставлять свое общение с верующими истинно конспиративным ритуалом. Встречаться и тем более устраивать богослужения удавалось крайне редко...

Почему я не запомнил имя этого человека?.. Он где-то дневалил — не то в кипятилке, не то в бане. Был он тщедушным, очень смуглым; моржовые усы закрывали рот и даже

крохотный подбородок. На изможденном, маленьком лице, обтянутом прозрачной кожей, точно он всегда зяб, усы эти казались огромными. Незаметная, стертая внешность облегчала, отнюдь не уменьшая опасности, выполнение им обязанностей связного между православными. Одним он передавал Евангелие, другим — устраивал встречу с отцом Иоанном; тех оповещал о предстоящей службе.

Был он когда-то чиновником губернского казначейства. Под конец германской войны его призвали с ратниками второго разряда. Революция застала его писарем в каком-то тыловом штабе. Этот тихий, стеснительный человек настойчиво и бесстрашно прильнул к делу помощи гонимым церковнослужителям. И несколько лет подряд в его крохотном домике на окраине уездного городка — помнится, в Тверской губернии,— находили приют и помощь преследуемые священники. Через него проходили и собранные для них средства и вещи. Надо полагать, что он был находчив и осторожен, героически смел, раз за десять с лишним лет его так и не разоблачили. Даже на следствии ничего из его подпольной деятельности не всплыло: пять лет лагеря он получил по случайному и незначащему поводу — кому-то на глаза попался в губернском архиве список чиновников, где числился «губернский секретарь такой-то»...

У этого человека были врожденные качества конспиратора, и провокаторов он угадывал верхним чутьем. Мне неизвестна дальнейшая судьба этого подвижника — может быть, мученика? — веры. Но вот прошло почти полвека, а все живо в памяти худое лицо, светлые, чуть навыкате глаза, добрая улыбка, еле приметная под усами, бушлат с поднятым воротником. И жест — ободряющий, доверительный,— каким он охватывал руку выше запястья, торопливо прощаясь: он всегда спешил...

Должно быть, на вторую весну моего повторного заключения на Соловках праздник Пасхи совпадал с Первым мая, и мы были освобождены от работ. Это одно создавало особое, приподнятое настроение. И вот возле Управления я встретился с отцом Иоанном. Не задумываясь, мы с ним похристосовались... Порадовались, погоревали, да и разошлись с ощущением ниспосланности встречи — для ободрения. И забыли о ней.

Но вот звероферму осчастливило начальство. Оно обходило вольеры, разглядывало зверушек, слушало объяснения Каплана. Нас не замечало, разве бегло резало подозрительными взглядами. При выходе из моего крольчатника низенький

безбровый военный, выказывавший всяким движением особенную неприязнь, остановился против меня и в упор уставился светлыми рачьими глазами:

— Небось молельню тут устроил? Хорош гусь,— обратился он к сопровождавшим его чинам.— Перед окнами Управления с попом христосоваться вздумал на Пасху, а?! Интеллигент х...!

Взгляд Каплана ободрил меня: ответь, мол!

— Земляка на Первое мая встретил, гражданин начальник. Поздоровался с ним, правда, поздравил, а другого ничего не было. Пошутил кто-то, вам про Пасху доложил,— отпарировал я, хоть и запальчиво, но с замершим от предчувствия беды сердцем.

Опешенно оглядев меня снизу вверх, начальник постоял как бы в нерешительности. Непонятно усмехнулся, покачал головой, крепко матюгнулся и, круто повернувшись, пошел прочь.

Я отправился на свой чердак. Мои махновцы пригорюнились: верное шизо, в лучшем случае — отправка на тяжелые работы... Чего другого можно было ожидать? А я-то перед самым закрытием навигации получил раз за разом несколько посылок: валенки, теплые вещи, еду — и мог рассчитывать на благополучную зимовку... И вот — внезапное крушение!

В тот вечер, однако, за мной не пришли. Очень поздно вызвал к себе Каплан и сообщил — о, чудо! — что пронесло.

— Его позабавила ваша увертка. Матерился, правда, но без злобы. Даже как-то одобрительно. «Ишь ты, там-тара-рам, вывернулся! За Первое мая схоронился! Ну и прохвост, мать-перемать! А как он у тебя работает?» Я ответил. «Ладно,— сказал,— оставлю его, пусть работает. Только х... стоеросовый! Чтоб помнил — от нас нигде не укроешься, всегда найдем!» Передал, извините, дословно — для колорита.

В моем деле и характеристиках ничего не могло выделить меня из сонма подобных мне, и я, разумеется, был встревожен, что начальник меня запомнил, знает в лицо... Очевидно, специально интересуется, следит. Воображение лагерника легко воспламеняется, заставляет томиться предчувствием беды. Лев Григорьевич пытался рассеять мои подозрения: мол, всех, кто тут работает, держат на особом учете. Как-никак — безнадзорные, на отшибе, могут невесть какой фортель выкинуть! Да и лупоглазый начальник этот мог и в самом деле знать меня в лицо: он тут бывал, и я не раз переправлял его через залив на гребной лодке. Признаюсь тут, что при неплохой зрительной памяти я почти не отличал лагерных начальников друг от

друга: все они под жесткой своей фуражкой были для меня на одно лицо — узколобое, тупо-твердое, солдафонское...

Но — «довлеет каждому дню злоба его». Дни «срока» изживаются в будничных занятиях, складывающихся в привычную схему или, если угодно, ярмо. И мы волокли его, отупевшие, погасшие, хмуро и обреченно. Пусть нам, ухаживавшим за живыми существами, досталась на долю наиболее одухотворенная и необременительная работа, но и на ней лежало мертвящее тавро лагеря. Подневольный труд гасит огонек одушевления, язвит самолюбие, подымает со дна души протест — бесплодный и иссушающий.

Все реже принимался я по утрам скоблить и мыть донья кроличьих клеток, раскладывать по кормушкам пуки сена, мелко крошить корнеплоды, а отправлялся к вохровцу, выдававшему весла и отмыкавшему цепь, какой лодка была прикована к неохватному бревну. И начиналась иллюзия вольной жизни.

Для доставки рыбы от муксалмских рыбаков мне давали в лесничестве подводу. На остров, где в прежних скитских постройках разместилась лагерная молочная ферма, а в сезон жила артель рыбаков, я ехал берегом залива и по дамбе. Своего конька не утруждал. На шесть или семь верст пути я ухитрялся затрачивать утреннюю упряжку. Погромыхивали пустые короба в телеге; я посиживал, по-крестьянски свесив ноги над передним колесом. Пустынная лесная дорога располагала к ленивой созерцательности. Да и куда было торопиться?.. Каменистый берег залива покрывал нетронутый сосновый бор. Сквозь деревья опушки — всплески солнечного света на пенистых волнах. И протяжные голоса надлетающих птиц, и свежесть морского ветра, и в яркой хвое — рыжие быстрые белки. И древний, смолистый дух бора в заветриях.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять...

Равнодушная ли? Ее, Природу-Утешительницу, я глубже всего постиг сквозь частокол зон да щели щита, загораживающего обрешеченное окно. Когда был погребен заживо.

Передав рыбакам накладные, я ставил лошадь к сену и отправлялся проведать Воейкова. Общих знакомых, связей и воспоминаний с Дмитрием Александровичем у нас оказалось столько, что мы охотно встречались. И сошлись очень дружески. Был он старше меня и уже в пятнадцатом году воевал

офицером, как и Георгий Осоргин, но подлинной военной косточкой стать не успел. И остался — по привычкам своим, повадкам и облику — самым что ни на есть типичным помещиком средней руки и общественным деятелем губернского масштаба. Служил в земстве, участвовал в выборах, вводил достижения агрономической науки в своем родовом имении. Жил доходами с него, но ограничиться ими не умел. Легкое, вернее, легкомысленное отношение к жизни, приверженность к ее усладам, роднившим Дмитрия Александровича со Стивой Облонским, не исправил и лагерь. Гладкое, чистое лицо с крупным горбатым носом и полными, словно припухшими губами, мягко вьющиеся белокурые волосы, мясистые большие уши, высокая, чуть оплывшая фигура — все в нем выдавало прежнего беззаботного барина. С каким вкусом и увлечением хлопотал он над сковородкой с нежной морской рыбой, как вдохновенно вспоминал, причмокивая, аромат и остроту приправы, секрет которой ему удалось вытянуть у старого повара тульского Благородного собрания... Но более гастрономических радостей — и это сквозило в нем всего очевиднее — ценил он прекрасный и слабый пол, как писали в старину романисты.

— Как я люблю, как я люблю свою Дашеньку! — вырывалось у него искренней скороговоркой, когда ему случалось говорить о жене. При этом он закатывал от умиления глаза и присюсюкивал, что не мешало ему тут же вспомнить приключение, несовместимое с супружеской верностью.

Да и на Соловках Дмитрий Александрович ухитрялся заводить шашни. Однажды я его застал за игривым разговором с двумя бытовичками — накрашенными и подрумяненными — у крыльца конторы совхоза. Они хихикали и жеманились, а мой Воейков весь ходил ходуном, красовался, сладчайше щурился, шутливо расставлял руки, как бы собираясь заключить в объятия своих собеседниц.

И эта лежащая наружу, очевидная суть Дмитрия Александровича — отличного компанейского малого, бесконечно далекого каких-либо притязаний на политические идеалы и общественные симпатии, покладистого, плюющего в конце концов на всякие строи и революции, лишь бы жилось сносно в смысле утешных блюд и «ласковых дев» — снискала ему расположение начальства, нуждавшегося, кроме того, в его опыте сельского хозяина. И Воейкова назначили заведовать Муксалмской фермой. Он поставил дело так, что соловецкие «вольняшки» не могли нарадоваться на фляги со свежими сливками, сочные филе и окорока, какие вряд ли им доводилось

когда отведывать, пока не сошла на них благодать даровых лагерных харчей.

Жил Дмитрий Александрович в просторной комнате — бывшей монашеской келье, построенной не во времена подвижничества, уже далекие, а в наш век ублажения плоти. Была она светлой, о большом окне, с высоким потолком и надежным обогревом. И хозяин обставил ее как можно уютнее, разгородил старинными ширмами, сохранившимися от монастырских гостиниц. По штату завфермой полагался дневальный. Нечего говорить, что Дмитрий Александрович сумел подобрать себе расторопного и услужливого малого. И черточка: старомодная щепетильность не позволяла Воейкову пользоваться «казенными» благами. Довольствовался он и угощал лишь тем, что выдавалось ему по норме, да рыбой во всех видах: ею рыбаки щедро оделяли всех жителей Муксалмы.

Мы болтали подолгу. Иногда нас прерывал приходивший за распоряжениями дневальный или работник фермы. Дмитрий Александрович кратко и строго давал указания, чтобы тотчас вернуться к разговору. По большей части — «о цветах удовольствия». И до чего же упоенно передавал он подробности какого-нибудь юбилейного обеда, пикников с лихими тройками и дамами, изнеможенно раскинувшимися на траве...

В то утро Дмитрий Александрович собирался угостить меня сельдью особо нежного посола. И только любовно приступил к ее разделке на специальной доске, как в комнату без стука вошел скотник. Обернулся было резковато к нему хозяин, да так и застыл с ножом в одной руке и рыбкой — в другой. Вошедший и впрямь был страшен. Его била дрожь, на землистом лице остановились расширенные глаза и дергались неспособные произнести слово губы... От лица Дмитрия Александровича отхлынула краска, и оно сделалось таким же неживым, как и у скотника.

— Подохли... свиньи...— наконец выдавил тот.

Молча впился в него немигающими глазами Воейков, помертвевший, сразу утративший повелительную свою осанку и самоуверенность. Передо мной стояли два человека, у ног которых разверзлась бездна. И пахнуло всем ужасом ожидавшей их участи...

Когда выяснилось, что после утренней раздачи корма пало шесть взрослых маток и почти два десятка молодых свинок, Дмитрий Александрович едва не рухнул на кровать, стоявшую рядом. Обхватил ее спинку рукой, да так и замер с низко опущенной головой.

Что было делать?

Я стоял над ним и не находил слов для ободрения. Ведь немыслимо было сказать: «Разберутся, установят причину...» Дмитрий Александрович не хуже моего знал, что никто разбираться или искать виновного не станет. Поспешат расправиться с ним, чтобы самих не обвинили в утрате бдительности, в доверии к «замаскировавшемуся вредителю» — классовому врагу. Да и не плохо лишний раз нагнать страху скорой расправой... Помочь было некому. Вот только если Лев Григорьевич: к начальству вхож, Воейкова хорошо знает и — я не сомневался — не побоится.

Дмитрий Александрович никак не отозвался на мой план действовать через Каплана.

— Вы вот что...— медленно и с трудом проговорил он, не поднимая головы,— уезжайте-ка скорее... пока не приехали. Целее будете. Да вот еще... если вернетесь когда в Москву, отыщите мою семью... Расскажите им...

Внезапные судорожные рыдания, тотчас с силой подавленные, не дали ему договорить.

Уже в сумерках, когда я, поставив лошадь в конюшню лесничества, грузил короба с рыбой в лодку, мимо пристани проехали два запряженные парами тарантаса с военными... Господи! Помяни убиенных...

Дмитрия Александровича расстреляли на следующий день. Никакого следствия вести не стали, хотя Каплан, друживший с ветеринарами, быстро организовал вскрытие погибших животных и акт об отравлении мужественно представил начальнику лагеря. Причем указал виновника — вора-рецидивиста, сводившего счеты со свинарем, своим бывшим дружком. Вся история сразу стала секретом полишинеля. Но нужен был козел отпущения, подходящая жертва, дабы контрики помнили, что не заржавел чекистский топор! Всегда занесен над ними... И от свидетельства Каплана попросту отмахнулись. Да занесли в его послужной список это заступничество — при случае ему припомнятся хлопоты за «контру»!

...Много лет спустя мне удалось исполнить поручение несчастного Воейкова. Но его Дашеньки уже не было в живых, а родственники, которых я разыскал, отнеслись на удивление равнодушно к моему рассказу. Поблагодарили, присовокупив, что они об этом давно знают: были слухи, да и отсутствие писем говорило за себя. Не нужна была этим людям память о компрометирующем, плохо кончившем родственнике! Мне же и теперь — а тогда тем более — представляется чудовищно жестокой и преступной бессудная расправа над веселым, безобидным и вполне невиновным человеком.

На перепутье между зверофермой и кремлем стоял древний скит с деревянной часовней, обращенной в контору лесничества. Там я часто встречал Аполлона Леонидовича Буевского — кадрового военного топографа. Он профессионально и красиво вычерчивал планы лесных кварталов, занимаясь этим, как, вероятно, и всем, что поручалось выполнять, методически и добросовестно.

Холодком веяло от всегда сдержанного и педантично-официального, безукоризненно воспитанного Аполлона Леонидовича. Был он высок, худ и подтянут; правильные черты лица, отлично подстриженная бородка, темная, с небольшой проседью. Носил Аполлон Леонидович, как и все лагерники, бушлат, однако перешитый, ладно пригнанный к его сухой фигуре и только подчеркивающий дореволюционную армейскую выправку. В беличьей огромной шапке, с планшетом через плечо, в больших теплых перчатках светлой замши и офицерских сапогах он более походил на генштабиста, чем на нашего брата лагерника.

Сблизили нас собачьи дела. Вспомнив, что в родословной одного моего пойнтера значился кобель некоего Буевского, я спросил о нем Аполлона Леонидовича. Оказалось, что как раз он и был этим заводчиком. Это сразу растопило лед; кровные пойнтеры были истинным увлечением моего нового знакомца, обладавшего поразительной осведомленностью по этой части. И замелькали имена охотников, судей, даты памятных выставок. Мы вскоре нашли и общих знакомых. А дилетантский характер моих познаний в области кровного собаководства дал возможность Буевскому взять на себя роль просветителя: между нами установились отношения ученика с наставником. Их, правда, отчасти предопределяла и значительная разница в возрасте. Буевский ценил субординацию, и мое почтительное выслушивание его суждений и приговоров на собачьи и охотничьи темы было ему по душе. Возражения его раздражали, однако всегдашняя выдержка не изменяла и тут: он лишь отчетливее произносил слова да на щеках выступала легкая краска.

Так судьба столкнула меня — впервые столь близко — со стопроцентным «красным офицером», то есть выучеником царских училищ и полковых традиций, перешедшим безоговорочно к большевикам и служившим им преданно и в полном соответствии с усвоенным кодексом чести. Не берусь определить, было ли для этих представителей прежней замкнутой касты кадровых офицеров, выходцев из дворянских семей, на самом деле, в глубине души, безразлично — служить ли

императорской России или разношерстным и разноплеменным правителям «Совдепии», как окрестили большевистскую Россию их однокашники и однополчане за рубежом, но лояльны они были безупречно. До кончиков ногтей. Воистину — более католики, нежели сам папа!

Мне казалось немыслимым заговорить с Аполлоном Леонидовичем не только о тайных церковных службах, но и о жестокостях режима, разорении деревни, даже передать анекдот о Троцком или едкое высказывание о кремлевских правителях, приписываемое в те времена Радеку... Никакой критики порядков, никакого недовольства! Трехлетний лагерный срок — это недоразумение, ошибка мелких чинов в органах, за которую власть не несет никакой ответственности.

Сам Аполлон Леонидович о своем деле никогда ничего не рассказывал, как не распространялся и о своей карьере в советское время. Но лесничий Басманов и Каплан знали, что он занимал высокий пост в военной академии, был близок с Буденным, генералом Каменевым и погорел из-за знакомства с каким-то приверженцем Троцкого. В лагерь Буевский был доставлен со спецконвоем, сразу избавлен от общих работ и определен — по его выбору — в лесничество. Басманову было предписано «создать условия», а самому именитому зэку предложено начальником лагеря обращаться в случае нужды лично к нему, чем, кстати, Аполлон Леонидович ни разу не воспользовался. Жаловаться или о чем-то просить было несовместимо с его чувством собственного достоинства.

Общение наше с Буевским сосредоточилось вокруг кинологических тем, милых сердцу охотника рассказов о подвигах наших любимцев — вислоухих красно-пегих пойнтеров, причем я малодушно подтверждал превосходство линий, идущих от собак... Буевского!

Забегая немного вперед, скажу, что Буевский благополучно отбыл срок, поселился под Москвой и до очень преклонного возраста возглавлял какой-то отдел в закрытом (правительственном!) охотничьем хозяйстве в Завидове. И слыл непререкаемым авторитетом среди кинологов и охотоведов.

И самые неопределенные, платонические разговоры лагерников о побегах считались преступными и карались наравне с их подготовкой. Но весна была весной, и никакие наказания не могли пресечь смутных мечтаний о «воле», поощряемых видом возникающих из-под осевшего снега темных камней и бугорков земли, все шире освобождающихся ото льдов пространств воды, резкими криками первых морских птиц.

Влажный, потеплевший воздух нес дыхание пробуждающейся там, на материке, жизни...

Рассудок говорил, что и за проливом, на всем просторе страны, жизнь так же угнетена, что нет больше ни единой вольной души. Человек, кто бы мог по-своему строить свою судьбу... И все же неопределенно тянуло вдаль. Будоражащий весенний воздух возрождал веру в одолимость придавивших злых сил, и глотнувшему его нестерпимо хотелось разогнуться, расправить плечи.

Среди соловчан долго ходили слухи о группе морских офицеров, бежавших с острова на катере и будто бы счастливо достигших берегов Норвегии. Работа в гавани дала им возможность тайно подготовить суденышко. И в один из непроницаемых осенних туманов, часто закрывающих Соловки, они вышли из бухты Благополучия в открытое море.

Я помню этот окутанный бесцветной пеленой день, когда в пяти шагах не видишь человека, поднятую по всему острову тревогу, вой сирен сторожевых судов, невидимо крейсировавших у берегов в поисках беглецов. Мы опасливо косились на бестолково патрулировавших кремль настеганных вохровцев, а в душе ликовали и молились за успех смельчаков.

Говорили, что сначала они ушли неподалеку — высадились на крохотном, поросшем лесом островке близ Соловецкого архипелага и, загрузив катер камнями, утопили его на мелководье. Потом подняли свою посудину, сняли двигатель и уже на парусе, в подходящую лихую погоду, уплыли к горлу Белого моря и дальше — на свободу.

Мы не могли знать, насколько соответствовали истине эти опасливо передаваемые подробности, так же как и легенды о надписях кровью на бревнах, грузившихся заключенными на иностранные корабли в Кеми, о беглецах, спрятавшихся в трюмах, но и они поддерживали в нас какие-то смутные надежды. Я же всегда про себя думал, что побег в пределы Советской страны — не для меня. И не только из-за того, что бежали за редкими исключениями уголовники, в биографии которых побег был всего-навсего пустяшным приключением, грозившим, на худой конец, фиктивной прибавкой к сроку, а для пятьдесят восьмой он влек за собой расстрел («вооруженный побег с целью поднять восстание»),— но потому, что отдавал себе отчет, насколько не приспособлен — по внешности своей и свойствам характера — к подпольной жизни. Не мог я представить себя живущим под чужим именем, добывающим фальшивый паспорт, надевающим личину.

Другое дело — побег за границу! Он виделся мне желан-

ным исходом. И чем больше ковалось искусственных обручей, назначенных спаять патриотические чувства с преданностью интересам партии, чем грубее вдалбливались лозунги о нераздельности «партии и народа», о тождественности коммунистических идеалов с национальными чаяниями россиян, тем резче и отчетливее ощущалась мною пропасть между ними. И крепло чувство освобождения любого русского от какой-либо солидарности с судьбами и благополучием режима.

В те годы уже сделалась очевидной полная подмена пресловутой разрекламированной «власти Советов» (да и существовала ли она когда, эта власть, кроме как в демагогических лозунгах?) властью — вернее, самовластием — партийных боссов и райкомов. Настолько, что чем успешнее укрепляла свои позиции власть, тем горше и безнадежнее становилось положение народа, одураченного и закрепощенного, тем глубже хоронились надежды на возрождение и расцвет России.

Бывая у муксалмских рыбаков, я все приглядывался к порядку охраны лодок, прикидывал, как можно бы ими воспользоваться. Затевал разговор с поморами, стараясь вызнать побольше о плавании в открытом море, о свойствах их карбасов, как бы интересуясь степенью опасности промысла, потребными мужеством и умением. И невзначай узнанное пересказывал своим махновцам — перевозя с ними на лодке фураж, пиля дрова под открытым небом, когда была уверенность, что нет чужих ушей.

Зерно сеялось в благоприятную почву. По некоторым намекам и замечаниям я понял, что и в моих товарищах зреет решимость «спытать счастья». Терять им в самом деле было нечего — впереди оставались восемь лет «особо строгого режима». Да и мне предстояло «сгнить в лагерях», по запомнившемуся выражению московского следователя... И ни разу не назвав друг другу конечную цель, не договорившись прямо ни о чем, мы все трое вскоре ощутили себя связанными общим планом. Я окончательно в него уверовал, когда узнал, что один из махновцев прослужил несколько лет на флоте.

Итак, надо дождаться — дело было в начале лета — осенних темных ночей с устойчивым южным ветром и «тикать» под парусом на простой рыбачьей лодке. Мы уже знали, что эти посудины устойчивы, что в волну парус имеет преимущества перед винтом, что в море обнаружить такую лодку не легче, чем иголку в стогу сена... Наметили будущий тайник, где складывать запасы. В лесничестве были буссоли, и добыть одну

из них казалось мне делом нетрудным. Друзья мои приметили на складе рулоны тонкого брезента, вполне, как мы решили, пригодного для паруса. И к середине лета мы уже не были хозяевами своих поступков, а очутились во власти затеянного. Подхваченные не зависящей более от нас силой или инерцией, мы станем делать все, как наметили, и, коль понадобится, пойдем напролом.

Как раз тогда неподалеку от зверофермы начали добывать морскую капусту, которую наравне с соей, кроликами и прочей ерундой возвели в ключевой продукт, призванный поднять благосостояние советских граждан на невиданную высоту,— и лодки оставлялись на берегу под охраной паренька с винтовкой. Это обстоятельство значительно облегчало выполнение нашего замысла: ведь не столь рискованным и трудным казался нам захват рыбачьей лодки в Муксалме, как восьмикилометровый путь туда, особенно участок по проглядываемой отовсюду длинной дамбе. Теперь же лодка была от нас в двадцати минутах хода, вдобавок по лесу. Иначе говоря, мы могли сразу после вечерней поверки оказаться на берегу губы. Таков был ненадежный трамплин для более или менее несбыточных планов, занимавших воображение, дававших пищу для мечтаний. Облегчавших существование...

В минувшую страшную тифозную зиму перемерло столько народу, что и несколько измучивших нас генеральных поверок перед открытием навигации не могли привести в порядок списки заключенных. Нас вновь и вновь выводили в поле, выстраивали, перекликали, сверяли с данными формуляров, сбивались, начинали сызнова, пересчитывали по другому методу... Да так точно и не установили, сколько же народу и кто именно помер. Особенно путались с толпами не знавших русского языка выживших южан — тюрками, узбеками, калмыками, бесконечными «оглы» и «али». Неразберихой ловко пользовались бывалые преступники. Начальству ничего не оставалось, как туже подвинтить гайки: устрожить режим выглядело лучшим способом покончить с путаницей. Точно именно зэки были повинны в косившем их средневековом море.

В лагере даже разумные и нужные меры обращаются в лишние тяготы для заключенного: то дрогнешь в бесконечной очереди в баню и надеваешь стираное, но невысушенное белье; то получаешь «кандей» (карцер) за отросшие волосы, а стригаля, наглого урку с грязными, потными руками, в засаленном халате и с тупой машинкой-мучительницей, не

дождешься... Но воздвигались еще и еще новые утеснения, вводились дополнительные наказания и все более поощрялись «социально близкие». Иные ретивые начальники откровенно натравливали их на «контру».

Началась разгрузка Соловков: зэков вывозили большими партиями на материк, оставляя преимущественно большесрочников и «особо опасных» врагов народа. Новых этапов почти не поступало. Тысячи и тысячи заключенных на острове нечем было занять, тогда как в середине тридцатых годов ГУЛАГ уже бойко, на широкую ногу, торговал ими. Термин «запродать» специалиста ли, партию работяг — сделался обиходным. Растузившийся подрядчик подбирал — «Будьте покойны, товар будет первый сорт!» — здоровяков с лошадиной категорией для развертывания работ на Вайгаче, в тундре, брал на себя крупные поставки леса, обеспечивал стройки страны — включая и столичные — рабочей силой. Запроданных зэков перекрестили в героев-комсомольцев, бросившихся по зову партии возводить «стройки коммунизма»!

Думаю, что никто из перемалываемых тогда в жерновах ГУЛАГа не вспомнит без омерзения книги, брошюры и статьи, славившие «перековку трудом». И тот же Пришвин, опубликовавший «Государеву дорогу», одной этой лакейской стряпней перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста, славившего жизнь!

Я был на Соловках, когда туда привозили Горького. Раздувшимся от спеси (еще бы! под него одного подали корабль, водили под руки, окружили почетной свитой), прошелся он по дорожке возле Управления. Глядел только в сторону, на какую ему указывали, беседовал с чекистами, обряженными в новехонькие арестантские одежки, заходил в казармы вохровцев, откуда только-только успели вынести стойки с винтовками и удалить красноармейцев... И восхвалил!

В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма,— в версте оттуда, по прямой, озверевшие надсмотрщики били наотмашь палками впряженных по восьми и десяти в груженные долготьем сани истерзанных, изможденных штрафников — польских военных. На них по чернотропу вывозили дрова. Содержали поляков особенно бесчеловечно.

Много позднее я смотрел фильм о Соловках, листал иллюстрированный альбом поездки по Беломорканалу, целого букета славнейших советских писателей — были там,

помнится, заклейменный Буниным Алешка Толстой, Панферов, Зощенко, прожженный Никулин, болтливый эрудит всеядный Шкловский, еще кто-то... Разумеется, я возмущался, клял «продажных сук» (да простят мне это «блатное» словечко, особенно возмутительное именно потому, что нет как раз более верных и преданных существ, чем наши четвероногие песики обоих полов!), пока трезво не взглянул на это, как на одну из граней — пусть более резкую и красноречивую — всеобщей, последовательно проводимой системы глобальной лживой информации, обмана общественного мнения. Беззастенчивой выдачи белого за черное. В восхвалении лагерной мясорубки и каждении ее заправилам не было ничего исключительного, выходящего из ряда. Не приходилось ли мне в землянке лесного лагпункта читать в газете, случайно попавшей в черные от въевшейся смолы руки, отповедь «зарубежным клеветникам», выдумавшим какой-то «принудительный труд» в Советском Союзе? Узнавая про выступления советских эмиссаров типа Ильи Эренбурга, с пафосом обелявших на международных форумах наших закусивших удила насильников, я испытывал бессильный гнев, ужас, подобный тому, какой охватывает в тяжелом сне, когда не можешь крикнуть, вмешаться, позвать, а только немо шевелишь губами!

Эти строки я пишу спустя более сорока лет после описываемых событий, когда весь мир прочел — если и не сумел оценить — «Архипелаг ГУЛАГ», когда за рубежом составились целые библиотеки о сталинских временах и советских порядках, и потому не тщусь рассказать что-нибудь новое, о чем бы уже не знали. Но едва ли можно переборщить, множа примеры лжи и лицемерия, возведенные в официальную доктрину, затрагивающих решительно все области информации — будь то успеваемость школьников, отчет о выставке, сведения об авиационных катастрофах, репортаж о путине, работе БАМа и тем более о деликатных материях международной политики, отзывах зарубежной печати и т. п.

Оболгано и фальсифицировано прошлое, искажено настоящее, брехня по всякому поводу сопровождает «простого советского человека» от детского сада до крематория. И если в тридцатые годы репродукторы повторяли бессчетно «жить стало лучше, жить стало веселее» в опустошенных голодом деревнях, то схема эта сохранялась в несколько подновленном виде.

Ах, как мы негодуем и гремим по поводу западных судей, мирволящих «военным преступникам», клеймим позором всякие хунты, обличаем, словно у нас не доживают век в почете и

довольстве ветераны преступлений против человечества, словно не к нам, может быть в первую очередь, относится поговорка «чья бы корова мычала», не мы мутим и мутим, видя в соперничествах и конфликтах возможность ослабить соперников, столкнув их друг с другом...

Инерция, разбег лживой информации столь сильны, срослись с нашей системой, что сосуществуют с приемниками, передающими сведения «Немецкой волны», «Голоса Америки», Би-би-си, приглушенно — станции «Свобода»,— сведения, которые позволяют нам сравнивать и судить, узнавать то, что от нас скрывается, в том числе и о делах в нашей стране. Казалось бы, пора переменить пластинку, ну хотя бы вскользь обмолвиться об известных даже советским школьникам систематических закупках зерна в США и Канаде, о торговле оружием, о воздушных катастрофах и жертвах стихийных бедствий, процедить сквозь зубы частичку правды, коли она стала достоянием гласности...

Однако нет. С тупым упорством и застарелой, одеревеневшей косностью у нас продолжали выдавать желаемое за действительность, выхолащивать всякое сообщение, лицемерить, лгать и лгать, беззастенчиво, по всякому поводу... В этом — не только маразм системы, последствия выветрившихся, износившихся от употребления всуе ложных доктрин, импотентность остаревших лидеров, пуще всего — как те пролежавшие века в курганах горшки, что рассыпаются на черепки, будучи выставленными на воздух,— боящихся перемен, малейшего свежего дуновения. Досуха иссякший дар созидания! В этом — и оправдавший себя, унаследованный принцип не ставить ни в грош народ и его интересы, привычка к безгласности наглухо взнузданных масс: промолчат, проглотят, не пикнут! И потому незачем к ним и новым временам приспосабливаться, идти на риск перемен, переоценок...

Где найти философов, знатоков человеческой психологии, способных объяснить, как это миллионы людей и зная, что они живут беднее, бесправнее, ущемленнее своих современников в большинстве других стран, продолжают относиться подозрительно и недоверчиво к порядкам у зарубежных народов? Тупо не подвергая сомнению свою явно обанкротившуюся систему, будто бы завещанную аж самим Лениным, которого они по инерции, одними губами продолжают величать великим вождем?.. Свое поклонение распространили и на «вождей», отделенных от них плотной стеной раскормленных, угодливых и бездарных чиновников, янычарами, оградами персональных резиденций.

Впрочем, в моем вопросе — неприкрытая риторика. Потому что нет надобности ни в философических медитациях, ни в глубокомысленных выводах психологов, чтобы заключить: зиждется этот общенародный отказ от свободы суждений, оценок и права на личное мнение и пристрастия — на том страхе, том смертельном страхе, какой внушили населению большевики с первых шагов своего правления. Теперь, когда можно с полным основанием говорить о несостоятельности прогнозов и ожиданий «учения», не оправдавшихся ни в одном пункте,— если иметь в виду совершенное и прогрессивное устройство общества и развитие личности,— приходится признать, что в одном Ленин не ошибся: террор, система устрашения посредством массовых репрессий и казни невиновных, упразднения самого понятия правосудия принесли ожидаемые плоды. Напугали, как он и надеялся, на десятилетия, вселили в души непреходящий ужас перед властью.

Именно «рыцари-чекисты», эти всесильные выискиватели «крамолы», определили на все последующее время порядок, при котором ни у кого никогда не может быть сознания личной безопасности. Каждый чувствует себя подозреваемым, легкой жертвой навета, боится прослыть рассуждающим, самостоятельным, выдаваться чем-либо из безликой, снивелированной массы.

Уже давно не вламываются по ночам в квартиры, будя спящих, обвешанные оружием ночные гости с бумажкой-ордером, рабочие коллективы и возмущенные писатели не подписывают более писем-обращений, требующих от партийного руководства смертной казни разоблаченных «врагов народа». Не слышно и о массовых расстрелах. Но темный страх остался. Таится подспудно в душах, живя отголосками того кровавого прошлого. После истребления прежней интеллигенции, крестьянства, лучших людей всех сословий образовался вакуум. Не стало людей, честно и независимо думающих. Верховодят малообразованные приспособленцы и карьеристы, изгнаны правда и совесть...

Исцелить нас могло бы только восстановление гласности, правосудия, ветерок свободы, который бы наконец повеял над немой страной.

От своих дедов и бабок, чье детство пришлось на середину прошлого века, я слышал, что няньки пугали их Пугачевым — спустя восемьдесят лет после его казни! Не будут ли так же страшны для будущих поколений имена «Пугачевых» XX века, появление которых — на ужас и горе России — предвидели мыслители XIX? Или истинные лица их так и останутся

скрыты мишурой легенд, а кровавыми тиранами войдут в историю их выученики и последователи?.. Именно они научили неразборчивости в средствах, ведущих к достижению цели, развязали руки насилию и жестокости, проповедовали вражду между людьми, разделенными классовыми барьерами, клеймили христианские добродетели. Словно мир и счастье общества можно устроить без истинной любви к людям. Без сочувствия, доверия, милосердия!..

Но — учит ли чему исторический опыт? Видимо, вождитираны не помогают людям прозреть. Все еще не предана анафеме людоедская формула о «крепости дела, под которым струится кровь»... Потоки крови.

* * *

Лето подходило к концу, а мы все еще не приступили к приготовлениям вплотную. Всего только насушили сухарей. Они пригодятся при любых обстоятельствах. Не миновала нас и тревога: участились вызовы на этап. На материк вывозили всего больше здорового люда, а мы все трое числились по первой категории. И если пока что мы удерживались на острове, то гуляйпольцы — благодаря бандитской статье, я — хлопотами Каплана. Ему удавалось, используя свои связи, исключать меня из списков отбираемых на лесоповал. Но сколько это могло продолжаться?

Мои друзья, отлавливавшие и расселявшие ондатр по всему острову, имели постоянный пропуск и видались изредка со своими земляками и однодельцами, от которых узнавали новости. Умножившиеся строгости и ограничения вынудили Льва Григорьевича не посылать меня больше с поручениями в кремль,чтобы не попадаться на глаза начальству.

Лишь изредка отправлялся я на свой страх и риск с махновцами помогать им расставлять ловушки. Полог леса надежно прятал от ока начальства. Было прикровенно, глухо. Мы забирались на горушку и подолгу разглядывали оттуда береговую линию, видневшиеся за проливом островки, сливавшуюся с небом морскую даль... Как могла бы уплыть туда резвая наша лодка! Как летел бы наш бесстрашный парус по неоглядному простору, приближая к берегу, где безопасно, где не мерещится готовый пальнуть в тебя вохровец. Где свобода...

Мы разнесли по озерам капканы и вышли к опушке, за которой тянулась пустынная савватьевская дорога. И — затаились. Стали прислушиваться. Откуда-то доносился смутный

глухой шум, словно со стороны кремля. Он становился все внятнее, приближался.

И вот из-за поворота дороги сверкнули штыки и показалась голова колонны. Отчетливее доносился хруст гравия под сапогами, усилился гул приближающейся толпы... В полусотне метров от нас потянулись плотные ряды одетых в штатское людей. Напряженные лица. Чемоданы и узлы оттягивают руки, сутулят плечи.

По обе стороны колонны шли сплошной цепью стрелки. Шли с винтовками на изготовку. Командиры шагали с наганами в руке. И не было обычных криков, матюгов, команд. Зловещее молчание. Народу гнали много — вероятно, поболее двухсот. Судя по одежде, то были не лагерники, а доставленные из тюрем.

В последнее время ходили упорные слухи о крупных партиях арестантов, сразу с пристани препровождаемых на Секирную гору. Про то, кто такие эти обреченные, толковали разное. Иные считали их прежними лагерными тузами, ставшими козлами отпущения после того, как весь мир узнал про расправы в Соловецком лагере; другие уверяли, что открыт был заговор в недрах самого «ведомства»... Но кто бы они ни были, вели их на смерть. О том, что Секирная гора превращена в лобное место, соловчанам было известно доподлинно.

...Этап прошел. Мы углубились в лес. И все стояли перед глазами эти люди, из последних сил тащившие тяжелые вещи, в которых уже не будет нужды...

И когда много лет спустя мне пришлось прочитать, как фашисты, выгрузив из вагонов партию подвозимых к лагерю уничтожения евреев, гнали их, волокущих мешки и сумки, подстегивая окриками «шнеллер, шнеллер!», и те, надсаживаясь, бежали к зевам смертных печей, я вспомнил тихую лесную дорогу на Соловках, по которой палачи вели свои жертвы... Никакому насильнику невозможно открыть новое поприще! Как страшно: все повторяется...

Ночи сделались длиннее. И мы, подгоняемые нетерпением, пошли посмотреть, как охраняются лодки сборщиков водорослей. Каплана и сторожа предупредили, что вернемся после поверки: идем к дальним озерам на подсчет ондатр. Поход наш, мы знали, был сопряжен с известным риском. Но нам сейчас он был даже нужен: праздное ожидание, когда вот-вот потянут на этап и все рухнет, становилось тягостным. Хоте-

лось убедиться, что мы не только мечтаем, но и что-то предприняли.

Вернулись мы подавленными. На берегу догнивало несколько куч водорослей. Промысел был прекращен или перенесен в другое место. Лодок не было и в помине. Это означало полный провал наших планов.

Шли мы молча. Никто не хотел первым открыто признать крушение. Впрочем, мы к этому времени настолько сжились, что без слов понимали друг друга. Лишь когда лодка, на которой мы возвращались, ткнулась в берег, было сказано:

— Может, эта сойдет?

Нет, на такой не уйдешь — ее и в заливе волна захлестнет. И все-таки... Выбитой из-под надежды опоре надо было за что-то зацепиться.

Молча, пришибленные, занимались мы в тот вечер своим обычным делом. Снесли сторожу весла и ключ, я доложился Каплану, мы топили плиту, варили ужин, разбирали постели... А потом разговорились, находя в дружеском общении противовес упадку духа. И понемногу ожили, ободренные сердечной беседой.

Говорили мы о самом дорогом, заветном. Сподвижники батьки Махно дали прорваться своей тоске по дому, по оставленным семьям, по своим «хлопчикам». Женки их давно оставили разоренный дом и перебрались в город, в соседнюю область, и по-крестьянски настойчиво и терпеливо приспосабливались к новой жизни. Мне приходилось разбирать их редкие, немногословные письма с поклонами и скупыми сообщениями о смертях, «бульбе», собранной с огорода, выхлопотанном каким-то дядькой Василём на сахарном заводе кабанчике... «Чоловики» мои слушали, сжав губы, сосредоточенные, кивали, молча переглядывались.

Их детям не давали учиться — и весть, что младшенькие стали наконец ходить в школу, была большой радостью. Эти плохо знавшие грамоте исконные пахари очень понимали пользу просвещения. Они считали, что лишь из-за своей темноты дали себя обмануть «комиссарам». А когда поразобрались и примкнули к Махно, было уже поздно бороться с большевиками...

Проститься нам не пришлось. За мной пришли два конвоира — из тех заключенных-подонков, что обслуживали следственные учетно-распределительные, специально-чекистские отделы лагерного управления. Махновцы были на озерах...

Собирался я под аккомпанемент хлестких понуканий и издевательских шуток по поводу простынь на постели, зубной щетки... Вдвойне разложенным — уголовным прошлым и наушничанием — лагерным прислужникам случай проявить свою власть, получить право кем-то распорядиться был возможностью поквитаться за свою униженность. И оба присланных люмпена наслаждались, командуя мне: «Одеяло не брать!», расшвыривая мои вещи, не разрешая выйти в уборную... Когда предупрежденный кем-то Каплан поднялся на чердак, оба конвоира — тщедушные, с испитыми, порочными лицами, наглыми юркими глазами,— учиняли мне форменный шмон, явно превышая при этом свои полномочия.

Предписание доставить меня на пересылку делало их неуязвимыми для возражений и протестов Каплана, пытавшегося заявить о своих правах начальника зверолагпункта. Сунув ему свою бумажку, достойные уполномоченные Управления дерзко предложили ему оставить помещение. Он не ушел, но больше вмешиваться уже не пытался. Напоследок, когда меня уводили, он встрепенулся, по-английски крикнул, что постарается выяснить, вернуть... Однако мы оба понимали, что сработал механизм беспощадной лагерной дробилки на уровне, где блат бессилен. И кое-как — из-за наскоков стражей — прощаясь, про себя сознавали: навсегда!

Почти не бывает, чтобы на лагерных перепутьях повторно скрещивались зэковские пути — вероятность встреч ничтожна. За более чем четвертьвековые мои скитания по ссылкам и лагерям мне лишь однажды пришлось встретиться с человеком, который посчитал, что мы с ним знакомы по Воркуте. Но, как выяснилось, он принял меня — по сходству нашему — за моего близнеца Всеволода, с которым прожил в одной землянке на Кедровом Шоре более года... Но об этом — в своем месте.

В тот же вечер я оказался среди этапируемых, то есть отключенным от лагеря зэком, загнанным в отдельное помещение. Нас водили на санобработку, прожарку, поручали заботам каптеров. Те, блюдя свои интересы, стаскивали с отбывающих мало-мальски целые телогрейки и бушлаты, обувь, чтобы обрядить в совершенное тряпье. По количеству выдаваемого на руки хлеба мы догадывались, что предстоит пробыть в пути, по крайней мере, три дня, а бывалые зэки определенно называли Медвежью Гору.

Но тут произошло чудо — в последний раз сработал рычаг хлопот о моей судьбе. Меня неожиданно, в сутолоке сборов и перекличек перед перегоном этапа на пристань, вызвали

с вещами и препроводили в УРЧ. Там я расписался, что ознакомился с постановлением Верховного Совета (или ВЦИК), по которому остаток срока — около половины — заменяется мне ссылкой в Архангельск. Власти и авторитета Калинина еще достало на то, чтобы добиться такого послабления. Но вовсе отменить неправедный приговор, оградить от загребущих клещей всесильной опричнины он уже не мог. «Всероссийский староста» обратился в марионетку и, должно быть, сам поглядывал, как бы и его не прихватили!

И я покинул Соловки на судне, увозящем мой этап, но уже с литером в кармане и без конвоя.

Я стоял на палубе. В выданной мне сопроводиловке значилось, что я обязан с ней явиться в обозначенный срок в комендатуру НКВД. Имел при себе немного денег; одет был хоть и в старое, но свое — не лагерное. И прикидывал, что, пожалуй, не пропаду! Но не было ничего схожего с тем подъемом, какой я испытывал при первом отплытии с острова... Быть может, из-за внезапности перемены: я был ошеломлен и не вполне пришел в себя. Да и слишком круто оборвались связи, сделавшиеся моей жизнью, чтобы я мог сосредоточиться на ожидавшем меня неведомом... О северной ссылке ходили мрачные толки. Все это мешало отогнать мысли о предстоящих новых — должно быть, нелегких — испытаниях и жгучие сожаления о рухнувших надеждах на подлинное избавление.

Судно отплывало в холодный пасмурный день, после внезапного снегопада, и забурлившая у причала вода выглядела особенно темной, особенно жуткой в побелевших берегах. На свинцовом небе выделялись четкие очертания крыш и шатров, придавивших черную непроницаемость стен и башен. В скупом октябрьском свете монастырь, голые скалы у выхода из бухты, уже лишенные деревянных крестов, да и сам берег, едва корабль вышел в открытое море, исчезли из глаз... Но не из памяти. Уже тогда я смутно предчувствовал, что Соловки станут зарубкой, вехой в истории России. Символом ее мученических путей.

...Много лет спустя, в начале шестидесятых годов, несколько знакомых ученых усиленно уговаривали меня примкнуть к их туристской поездке на Соловки. Я отказался. Из-за ощущения, что этот остров можно посещать, лишь совершая паломничество. Как посещают святыню или памятник скорбных событий, национальных тяжких дат. Как Освенцим или Бухенвальд.

Суетность туристской развлекательной поездки казалась

мне оскорбительной, даже для моих пустяковых испытаний... Или следовало поехать? И указывать своим спутникам: «Здесь агонизировали мусаватисты... А тут зарыты трупы с простреленными черепами... Недалеко отсюда в срубе без крыши сидели зимой босые люди. Босые и в одном белье. А в летние месяцы ставили на комары... А вот тут, под берегом, заключенные черпали воду из одной проруби и бегом неслись вылить ее в другую... Часами, под лихую команду: «Черпать досуха!» — и щедрые зуботычины»...

Глава шестая

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Их можно было увидеть в любое время суток. Они слонялись по улицам, тянулись куда-то неторопливой вереницей или кучками, брели поодиночке. Волочащиеся ноги, медленное вышагивание выдавали отсутствие цели, надобности куда-то поспеть и более других признаков говорили о пришлости этих людей, отделяли их от остальных прохожих — горожан, занятых своим делом и собой. Да и одежда, узелки их, берестяные кошели и полупустые домотканые мешки не позволяли усомниться в принадлежности этой многочисленной праздно гуляющей братии, заполнившей улицы Архангельска, деревне. Деревне, еще обряжающейся в овчины, шубные «спинжаки», сшитые домашними портными; заячьи треухи, армяки; обутой в тяжелые яловые сапоги, сооружаемые на долгие годы; толстенные, негнущиеся катанки — изделия шатающихся меж дворов вальщиков; в кожаные необъятные калоши не то в веревочные чуни с оборами и даже в лапти... Словом — деревне упраздняемой, отчасти принадлежащей прошлому, изгоняемой новыми порядками.

Были то потомственные русские мужики, преимущественно пожилые или среднего возраста, заросшие бородами, приземистые, широкоплечие, с тяжелыми, праздно висящими темными руками. Немало было и подлинных дедов — с лысым челом, клинышками редких бородок, худых, еле передвигающих непослушные ноги. На немощных плечах обвисли пудовые тулупы до пят; жилистые шеи обмотаны обращенными в шарфы бабьими платками.

Бабы встречались реже. Шли они почти всегда с уцепившимися за подол детьми, укутанными по-взрослому в шали, не то несли на руках малышей. Женщины эти брели тоже

вразвалочку, но робко, еще с большей, чем мужики, торопливостью уступали дорогу, жались в сторонку. И поражали своей отрешенностью, застывшим темным взглядом из-под низко повязанного платка.

Будь кому дело до этих пришельцев, досуг за ними понаблюдать, можно было бы заметить, что более всего их на улицах, выводящих к реке неподалеку от центра города. И если бы с проспекта Павлина Виноградова выйти, скажем, по Посольской, к Двине, то оказалось бы, что тут и протиснуться-то трудно. Всякий свободный промежуток заполнен толпой. Особенно густела она возле приземистого барака с вывеской Архангельской комендатуры ОГПУ. Люди ждали приема. Ждали сутками, неделями, месяцами. Так что и не всем доводилось дождаться.

Буксиры волокли по Двине караваны барж, паровозы — бесконечные составы товарных вагонов, условно называемых теплушками. Это по воде и по суше, из деревень всех российских губерний свозили крестьянские семьи. Выгружали их на пристанях, в железнодорожных тупиках, где только отыскивалось еще не занятое место. И оставляли под открытым небом. Размещать ссыльных было негде. Все мыслимые емкости в виде бараков, навесов, сараев были использованы под больных и умирающих...

Комендатура не справлялась с отправкой «с глаз долой» — в таежное безлюдье. Все деревни области были забиты до отказа — и тысячные этапы не рассасывались. Скапливающиеся орды мужиков обреченно толклись возле окошек комендатуры, ожидая вожделенных талонов, по которым можно было, выстояв бесконечные часы, получить «пайку» — с фунт непропеченного хлеба, сколько-то соленой рыбы и крупы.

Так что то были толпы не только грязных, завшивевших и изнуренных, но и голодных, люто голодных людей. И тем не менее они не громили комендатуру, не топили в Двине глумливых сытых писарей и учетчиков, не буйствовали и не грабили. Понуро сидели на бревнах и камнях, усеявших берег, не шевелясь, часами, уставившись куда-то в землю, не способные сопротивляться, противопоставить злой судьбе что-либо, кроме покорного своего долготерпения...

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Но ведь поднимался он некогда вслед за Разиными и Пугачевыми? Или то разжигал сердце разбойничий посвист — призыв, суливший грабеж?.. Или никакие цари и господа не умели так поразить страхом, как ленинские наглядные расправы?

Но я, когда протискивался сквозь эту молчаливость и покорность, более страшные, чем крики и ругань, не задавался подобными вопросами. И лишь всем существом сознавал свою долю вины, словно и на мне лежала ответственность за безысходность и мытарства этих опустошенных, утративших надежду толп.

Хотя бы из-за того, что у меня-то был кров, что я не был голоден и в комендатуре подходил к особому окошку, где дважды в месяц отмечались ссыльные, оставленные в городе и отпущенные жить на частные квартиры. Я проталкивался, прижимаясь к армякам и полушубкам с невольной опаской: как бы мне, попарившемуся в городской бане и сменившему белье, не подцепить заразную вошь! Нашлись в Архангельске знакомые, хлопотавшие о моем устройстве на работу, брат прислал все необходимое... У меня, наконец, есть кому писать и от кого ждать отклика. Этим же мужикам не от кого и неоткуда ждать помощи и сочувствия. Их выкорчевывали из родных гнезд, предварительно ограбив. Теплую одежду и обувь оставляли редко. Они лишены дома, родной стороны, корней — и это навсегда.

У забора сидит на земле мужик в крытой поддевке, очень затасканной и рваной. Руками, опертыми о колени, он охватил низко свешенную голову, словно хочет отгородиться от всего света, ничего не видеть и не слышать. Рядом с ним женщина в развязавшейся шали. Она склонилась над уложенной на рядне, укрытой лоскутным одеялом девочкой с бескровным лицом, синей полоской рта и плотно закрытыми веками в темных, глубоких глазницах. Мать что-то шепчет...

Чуть подальше кучка мужиков столпилась над неподвижным человеком в зипуне и растоптанных лаптях. Он растянулся на голой земле — во весь свой немалый рост. У меня на глазах он вдруг весь напрягся, точно хотел потянуться затекшими членами, да так и замер. И сразу окаменело лицо.

Ветхий мужик в полушубке с рваной полой торопливо стянул с плешивой головы треух, перекрестился. Вокруг — ни одного восклицания, ни единого вздоха. Живые стояли молчаливые, как бы безучастные... Их ведь и загнали сюда, на Север, умирать. Жди каждый свой черед.

В поздние сумерки, когда уже вовсе стемнеет и малень-

кая лампочка над крыльцом комендатуры слабо освещает плешинку опустевшего берега, скопища бездомных куда-то рассасываются. Остаются неподнявшиеся. Это мертвые или вконец ослабевшие, отбившиеся от своих или сосланные в одиночку. Земляки, пусть и бессильные помочь, не покидают своих до последнего часа...

За ночь не всегда успевают убрать трупы, и поутру, в ранний час, натыкаешься у тротуаров или на трамвайных рельсах на распростертых мертвых мужиков...

Наводнившие Архангельск толпы бездомных, голодных и больных крестьян, загнанных сюда не мором и не вражеским нашествием, не стихийным бедствием, а своей «кровной» рабоче-крестьянской властью — вот тот основной фон, на котором отложились мои воспоминания о жизни в этом городе.

...Бывший муж моей тетки Алексей Федорович Данилов встретил меня, хотя и видел впервые, по-родственному. Накормить он не мог, так как обедал в столовой учреждения, где работал, а домашние трапезы сводились к стаканам невесть чем настоянного кипятка с символической порцией хлеба, сохраненной от пайка, и того более микроскопической щепоткой сахара, но чашку с какой-то суррогатной заваркой передо мной поставил. И отправился в соседние дома подыскивать мне приют.

Пусть родство это и было из разряда «седьмой воды на киселе», точек соприкосновения с дядей Алешей у меня оказалось достаточно. Был он кадровым морским офицером, участником русско-японской войны и знал отлично мою морскую родню. Он докопался до одного петербургского дома, где встречался с моей матерью, и тотчас стал обращаться ко мне на «ты». Я же должен был называть его дядей Алешей. Так, с первых шагов в чужом городе нашлась у меня родственная душа.

Спустя несколько часов говорливая Анна Ивановна, коренная архангелогородка, маленькая, жилистая и сморщенная, очень подвижная, душераздирательно окая, устраивала для меня уголок в своем домике.

— Х*о*рош*о* у нас в Архангельске, х*о*рош*о*,— приговаривала она, взбивая подушку на будущем моем ложе,— м*о*р*о*з зд*о*р*о*в*ó*, зд*о*р*о*в*ó*... Вот уж*о* рыбкой нашей уг*о*щу — трешшочки не поешь, не п*о*р*а*б*о*таешь!

Дом ее был набит квартирантами «под завязку» — всякий закуток заселен. Как оказалось — ягодками одного

поля со мной. Впрочем, не совсем: никто из соквартирантов в лагерях не был. Все были выселенцы из Москвы.

Немолодая эстрадная певица Екатерина Петровна, выступавшая в сарафанном жанре с частушками, об одну из которых разбилась ее артистическая карьера: она сочинила что-то про модную тогда электрификацию и колхозников, оборудованных для удобства штепселями. Что и было сочтено дерзким выпадом против величайших начинаний партии.

Художник-реставратор Новиков, сутулый, весь круглый, с близоруким взглядом из-за толстых стекол очков: эксперт правительственной комиссии по инвентаризации отнятых у церкви ценностей, он чересчур настойчиво сопротивлялся переплавке древней золотой и серебряной утвари на металл. За что и был отправлен на три года на Север: поостыть и одуматься.

С ним был и белокаменщик из села Мячкова под Москвой, искусный мастер, но неисправимый старообрядец, надоевший властям жалобами на разгон церковной десятки и незаконное закрытие храма.

Новиков с раскольником занимали отдельную комнату, платили за нее исправно, жили обеспеченно, и Анна Ивановна пеклась об их интересах вполне лицеприятно, не стесняясь при надобности ущемлять певицу и меня, впущенного в гостиную без права пользоваться своим диваном днем...

Несколько восторженная, несмотря на зрелый возраст, певица, едва меня увидев и бегло расспросив, ринулась оповещать знакомых о засиявшей в архангельском небе новой звезде. Аттестовала она меня, как я потом узнал, «тонко воспитанным молодым человеком с фигурой гладиатора и глазами раненой газели...». Что и говорить, такая рекомендация не могла не возыметь действия, и я чуть ли не на следующий день получил приглашение к некой даме, у которой собираются «друзья».

Жили мы тесно — домик был маленький, с тонкими тесовыми перегородками, оклеенными обоями, но, проникнутые обиходной подозрительностью, сходились туго. Приглядывались и осторожничали. Реставраторы сторонились всех отчасти из-за несравнимости своего сытого существования с нашим житьем «на фу-фу»: избегали столоваться в общей кухне, чтобы не соблазнять нас видом масла, сахара и других недоступных гастрономических редкостей.

Обиход наш складывался по-разному. Екатерина Петровна, как и полагается служительнице Талии, выходила из своего закутка поздно и затем исчезала на целый день,

возвращаясь в часы, когда мы все уже спали. Она чем-то занималась в местном театре, кажется, гримировала и помогала костюмерам, но в основном навещала многочисленных знакомых. Ее любили за легкость характера, остроумие и веселость, отчасти наигранную, за всегдашнюю готовность оказать услугу.

Она и за мое устройство взялась рьяно, тормошила, заставляла ходить по разным адресам.

— Отказали? Не вешайте носа!.. Рановато. Потопчитека ножки. Вот я еще одной приятельнице о вас говорила. Она обещала у одного знакомого в Северолесе спросить: он там воз-главляет! А сухари еще есть? Продержитесь?

Сухари еще были. Те самые — соловецкие. Чтобы получить продовольственную карточку, надо было поступить на работу. При ограничениях для ссыльных и отсутствии ходовой специальности это было для меня непросто. Порт, «Экспортлес» были исключены: контакты с иностранцами! Закрыто было и преподавание языков: ссыльному не место там, где воспитывается юное поколение. Идти чернорабочим на лесопильные заводы или сплав в преддверии зимы не хотелось, да и там хватало ссыльной скотинки. И я рыскал по городу, всячески растягивая свои запасы. Круг знакомых между тем расширялся очень быстро. Сосланного люда было в городе, несомненно, больше, чем коренных жителей. Приезжие встречались на каждом шагу. И в первую очередь — многочисленные москвичи.

...Салоны, где гости непринужденно любезничают с очаровательными хозяйками, слушают остряков, сами рассказывают злободневные анекдоты и доверительно беседуют с воспитаннейшими агентами режима — принадлежность не только наполеоновской Франции и дореволюционных столиц: они существовали и в наше время. И не в одной Москве, но и во второстепенных городах.

В патронируемые высоким ведомством дома — с респектабельной хозяйкой, гостеприимно распахивающей двери обставленной уцелевшими креслами и шифоньерами гостиной, с внушающим доверие «душком старорежимности» — привлекают людей, которых надо заставить распахнуться, обмолвиться неосторожным словом. Когда-нибудь узнается закулисная история всяких «Никитинских субботников» и артистических капустников на Молчановке в Москве. Станут, быть может, известны истинные их устроители и имена жертв этих чекистских западней.

Не был исключением и Архангельск. Нину Казими-

ровну Я. можно было с полным правом назвать светской львицей, пусть и с провинциальным налетом. Выдержав паузу, она подавала руку представленному ей гостю; слегка прищурившись, внимательно разглядывала, пока тот, несколько смущенный холодной церемонностью, усаживался в кресло, указанное ему легким жестом... Потом все менялось: хозяйка оживлялась, шармировала теплыми интонациями и вниманием, искусно дозированным, каковое каждый полагал предназначенным именно ему.

Несколько располневшая паненка со все еще жгучими глазами приглашала гостя к себе на канапе для беседы tête á tête, предполагающей интимность и искреннее расположение. Причем делалось это вполне естественно, нисколько не двоедушно: то была давно усвоенная, привычная манера вести себя с мужчинами, как бы сулящая им не лишенные заманчивости перспективы. Тем более прельстительные для бравых капитанов, привыкших развлекаться в чужеземных портах, или для бежавших казенного лицемерного пуританизма «ответработников», мечтавших отведать буржуазной испорченности, ведомой понаслышке...

В салон мадам Я. меня ввела моя разбитная соквартирница-актриса. Осмотр и оценка должны были состояться в самом узком кругу.

В просторной высокой комнате с тяжелыми портьерами на окнах и дверях, с низкой мебелью и светом, приглушенным шелком абажуров, кроме хозяйки, оказалась ее неразлучная подруга — скучающая, полная, лениво и не без грации двигающаяся Полина (во святом крещении Прасковья) Семеновна. Екатерина Петровна называла ее только Королевной. Эта местная пава была и в самом деле недосягаемо вознесена над нами, так как была замужем за Шарком — представителем крупной голландской фирмы, вывозившей круглый лес из Архангельска едва ли не со времен Грозного.

Сам агент акул империализма у мадам Я. не показывался никогда. Жене, по занятости своей, уделял мало времени, проводя большую часть его в порту. Приятелями господина Шарка были капитаны решительно всех приходивших в Архангельск лесовозов. И его частенько доставлял домой кто-нибудь из более крепких собутыльников. Однако господин Шарк никогда не забывал, выражаясь профессионально, «снимать» с корабля всякие заморские привлекательности — от французских духов и крепдешина до португальских апельсинов, рассыпчатого желтого голландского картофеля и, само собой, любезных морякам напитков.

Только человеку, изведавшему чекистский произвол тех лет, поселивший в людях граничащую с психозом мнительность,— только ему доступно понять, почему я сидел в мягчайшем кресле прелестной Нины как на угольях. Я глядел на заставленный забытыми яствами стол, словно на соблазн, уготованный на мою погибель, а ласковые разговоры хозяйки и томные реплики Полины звучали у меня в ушах погребальным звоном. Связь с иностранцами, вербовка в Интеллидженс сервис или сигуранцу, тенета шпионских сетей и — подвалы Чека... Такая картина мерещилась в баюкающем уюте гостиной, тонущей в мягком шелковом полумраке.

Естественно, что я не сделался завсегдатаем салона мадам Я. Отговаривался от передаваемых соседкой приглашений, искал переменить квартиру, чтобы порвать цепочку, сомкнувшую меня с «агентами империализма». Разумеется, так было на первых порах, пока время не сгладило лагерных впечатлений и я не втянулся в повседневные заботы, не дававшие простора воображению.

...— Не проходи мимо, стой! Взгляни и узнавай!

С ломового полка́, стоявшего у дощатого тротуара, на меня смотрел грузный богатырь в мешковатой одежде дрягиля. Знакомый прищур глаз, гладко выбритый массивный подбородок... Усилие памяти...

— Неужели Асатиани?— вспомнить сразу имя и отчество я не мог.

— Он самый! Давай обнимемся.

Так повстречались мы на улице Архангельска — два компаньона по Соловкам 1928 года: Петр Дмитриевич Асатиани-Эристов — грузинский князь и офицер Нижегородского драгунского полка, солист соловецкого театра, промышляющий извозом по месту ссылки, и я, свежеиспеченный начальник планового отдела могущественного треста «Северолес»!

С Соловков Асатиани был вывезен еще в двадцать девятом году, за месяц до расстрелов. В Архангельске недолго пел на театре — у него был славный баритон,— пока ГПУ не предписало изгнать его из труппы. Он приобрел коня, полок с упряжью и приобщился к корпорации ломовых извозчиков.

— Теперь меня оставили в покое. «Сама» комендатура нанимает меня для своих перевозок... И оплачивает! Хожу к ним в кассу за получкой наравне с их братией. Есть комнатка, хозяйка не обижает, сыт. Конюшня во дворе. Чего желать? О чем тужить?..

Невеселые глаза опровергают легкость тона. И сдвинутые брови, и утомленное лицо, и не пропускающие улыбки губы... Постарел, осунулся... Куда сгинул прежний статный молодец?

Не он ли этакой вальяжной походкой прохаживался по соловецким каменным тротуарам, как по своему Головинскому проспекту? Свободная кавказская рубашка стянута наборным поясом, папаха золотистого меха надвинута низко на брови... Певец, распевающий куплеты тореадора у своего распахнутого окна. Через двор от дома с этим окном, под свесом крыши старой монастырской больницы, приотворялась рама в окошке крохотной кельи. Там жила старшая сестра лагерного лазарета, петербургская дама Г.

Тореадор, там ждет тебя любовь...

— А ты как, давно ли тут?

На учет архангельской комендатуры я поступил две недели назад. Но именно в день встречи с Асатиани меня приняли на службу, и не как-нибудь, а на солидную должность. Я полагал, что для нее необходимы соответствующие знания, стаж, пожалуй, красная книжечка... Ничего этого у меня решительно не было. Но воротиле треста, к которому обратилась приятельница актрисы, было важнее всего выполнить ее просьбу. Его не интересовало, кто и как будет стряпать плановые отчеты и схемы. Как всякий руководитель и практический работник, он знал им цену. И едва ли в них заглядывал.

В отделе кадров мне задали какие-то общие вопросы (о, осенявшая мой визит всемогущая «вышестоящая» длань!), после чего повели в огромную комнату, уставленную заваленными бумагами столами. Десяток их составлял островок планового отдела. Сидящим за ним сотрудникам я был вполне серьезно представлен в качестве их шефа. Предложив поднявшейся навстречу даме — старшему экономисту — «ввести меня в курс дела», кадровик удалился. Я приготовился к провалу.

То была очень милая, воспитанная женщина. Ее ни на минуту не ввел в заблуждение умный вид, с каким я проглядывал таблицы, простыни с цифрами, диаграммы, от которых рябило в глазах. Но она не побежала делиться своими впечатлениями в высокие кабинеты. «Скоро освоитесь, и все пойдет отлично»,— вполголоса ободрила она меня.

Дальше все и в самом деле пошло без сучка, без задоринки: я слепо следовал указаниям своей бесценной помощницы. А при неизбежных контактах с начальством и главбухами научился ловко отделываться общими словами.

Вечерами мы с моей спасительницей оставались в опустевшем помещении, и она, просматривая скопившиеся за день бумаги, диктовала мне резолюции. Вскоре я убедился, как ничтожна надобность в столбцах цифр, какими мы унизывали бесконечные «формы №...»! Их никто не читал, только проверяли, отправлены ли они по надлежащему адресу и в срок. Осмелев, я и сам стал составлять какие-то сводки, по наитию выводить «процент выполнения» — все это в уверенности, что в почтенном моем тресте дутых сведений, по-лагерному «туфты», ничуть не меньше, чем в реляциях соловецких нарядчиков...

Однако я забежал вперед. Сейчас же только и мог сказать Асатиани, что получил хлебную карточку и пропуск в столовую ИТР, нашлась крыша над головой и мне устроили два частных урока английского языка. Словом — становлюсь на ноги... Петр Дмитриевич (правильно ли я запомнил?) не стал мне рассказывать о соловецкой трагедии, отклики которой докатились до него на Кемьперпункт, а дал адрес очевидицы — Натальи Михайловны Путиловой. От нее я мог узнать подробности гибели Георгия Осоргина, Сиверса, наших общих друзей. Мы обменялись с Асатиани адресами, и он отъехал.

Вдруг стук колес заглушил сильный голос — на всю улицу разнеслась ария Тонио из пролога «Паяцев». На итальянском языке...

Я хочу вам рассказать
О неподдельных страданьях...

Уже не в куплетах тореадора изливал душу Асатиани — воин, певец, грузинский князь, обращенный в подневольного ломового...

Далеко не сразу решился я идти к Наталье Михайловне: мне все казалось, что ей будет тяжело видеть меня. Но вот возникли обстоятельства, как бы предопределившие нашу встречу.

Упомянутые уроки английского языка я давал двум преподавателям АЛТИ — местного лесотехнического института,— готовившимся защищать диссертацию. Один из них, некто Карлов, очень скоро проникся ко мне доверием и рассказал о своем отце, эмигрировавшем колчаковском офицере, хотя тщательно скрывал это обстоятельство в анкетах. Был Карлов математиком по специальности и фантазером по призванию. Наши занятия то и дело перемежались востор-

женными рассказами о подвигах российского воинства. Этот питомец советского вуза благодаря феноменальной памяти и редкой увлеченности знал назубок все полки русской армии, формы, традиции, имена шефов, боевые отличия, бредил парадами и смотрами. Его двое детей, карапузы по семи-восьми лет, становились во фронт, маршировали, лихо отдавали честь упоенно командующему отцу. При всем том Карлов был честолюбив и сохранил предрассудки своей касты. Если уж нельзя иметь вышколенного денщика и ходить в сиянии офицерского звания — красное командирство его не привлекало,— надо добиваться положения, которое позволило бы не утруждать белы рученьки и иметь кем распоряжаться — на худой конец, студентами. В институте его ценили за знания.

Другой мой ученик был иного склада. Вчерашний подпасок, он цепко впивался в науку. Энергия и сила, вложенные в его крупные крестьянские руки, преобразовывались в работу мозга, всего интеллекта. Усваивая тяжкое для него английское произношение, он одновременно перенимал мою манеру выражаться, запоминал суждения на посторонние темы, впитывал, вбирал все, что представлялось ему принадлежащим культуре, которой — это чувствовалось безошибочно — он должен овладеть.

Академик Иван Степанович Мелехов здравствует по сей день, слывет в своей стране и за рубежом крупнейшим знатоком лесоводческой науки. На подъем к вершинам знаний ушли его недюжинные духовные силы. Созерцая оттуда пройденный путь и прожитое время, Иван Степанович прозрел и в науке жизни и, не вступая в конфликт со своим веком, умел всегда идти путем честного ученого и достойного человека.

Я действительно хорошо знал иностранные языки, и в институте это вскоре стало известно. Директор его филиала — Научно-исследовательского института электрификации лесной промышленности (НИИЭЛП) — предложил мне технические переводы с английского и немецкого. Всеволод прислал мне потребные технические словари, и я не без увлечения принялся перепирать на родной язык канадские, немецкие и американские каталоги и журнальные статьи.

Сергей Аркадьевич Сыромятников, директор НИИЭЛПа, был ученым деятелем распространенного в нашей стране типа: ловкий, гибкий, не брезгливый по части средств, способствующих карьере. От его манеры держаться за версту несло чересчур добрым малым, начиненным анекдотами и весельчаком, готовым на запанибратский разговор по душам. Но пройденная школа лагерей и следствий, с провокациями и доносчи-

ками, позволила мне учуять фальшь в громогласных возгласах Сергея Аркадьевича, откровенно передо мной распахивающегося:

— Поработаем! Вот теперь и поработаем! — любовно усадив меня в кресло у своего директорского стола, потирал он мясистые, короткопалые руки.— В Москву не захотели возвращаться... Да такого полиглота мы завалим работой, только не отказывайтесь. Кто как, конечно,— быстрый взгляд на дверь, многозначительно пониженный голос,— а я-то знаю, как и какие люди сюда попадают. Будем помогать, Олег Васильевич, и с ведомством нашим все уладим, не беспокойтесь. Двери моего кабинета для вас всегда открыты. Я уже предупредил секретаршу.

Толстый и круглый, с лысоватым черепом ученого мужа и простоватым курносым лицом, посмеивающийся и подвижный, он хоть перед кем мог сойти за простецкого, бесхитростного парня — очень искреннего и душевного.

Я ушел от него со свертком лесных журналов, размеченных директорским карандашом — «резюме» или «in extenso» — и с обещанием выхлопотать мне дополнительный паек научного сотрудника. Радушный хозяин проводил меня до дверей.

«Этому пальца в рот не клади»,— говорил я себе, хотя меня и распирала радость по поводу мерещившихся золотых перспектив. Этак можно будет расстаться с постылыми сводками в Северолесе. Устроиться под крылышком АЛТИ, самого почтенного учреждения Архангельска, было мечтой любого интеллигентного ссыльного.

Не прошло, должно быть, и двух недель, а Сергей Аркадьевич уже принимал меня накоротке у себя дома — «за чашкой чая, в халате» — угощал ватрушками, беседовал на семейные темы, мимоходом расспрашивал о моих обстоятельствах, оставшейся в Москве родне. Предложил при частых поездках в столицу выполнить мои поручения, передать письмишко, посылку...

Тогда же Мелехов устроил мне перевод целого фолианта — сборника докладов конгресса по борьбе с лесными пожарами в Милане. Мне понадобилась машинистка, которая бы срочно и грамотно взялась перепечатывать работу. И вот тогда я пошел к Путиловой.

Она взглянула на меня испуганно. Скороговоркой предложив раздеться и минуту обождать в передней, тут же скрылась. Тишина обширного двухэтажного дома, чистая скрипучая лестница, крашеные полы с несбитыми дорожками гово-

рили об устоявшемся и неутесненном обиходе. Наталью Михайловну пригласила к себе жить жена прославленного полярного капитана, потомственного помора Воронина. Дамы познакомились в церкви, вскоре по приезде Путиловой в Архангельск. Кстати — с пятилетним сроком ссылки после отбытых пяти лет лагерей.

Справившись с собой, Наталья Михайловна пригласила меня войти — светская дама, принимающая старого знакомого, которого давно не видела... И, усадив за крохотный столик, стала расспрашивать о моей Одиссее.

Неоштукатуренные деревянные стены придавали комнате вид деревенской светелки. Стулья, железная кровать, рукомойник за простенькой ширмой. Нигде ни пылинки; на постели — ни одной складки. Веяло холодом и необжитостью: словно номер дешевой уездной гостиницы, приготовленный для постояльца. Вот только книги да кое-какие принадлежности туалета на столике с зеркалом выдавали наличие жильца. Жильца, не озабоченного уютом и следящего лишь за чистотой. Должно быть, по врожденной привычке.

Я рассказывал несколько рассеянно, а сам все вглядывался в сидящую напротив Наталью Михайловну. Все та же удивительная нежная кожа лица — такую неувядаемо свежую и розовую кожу я видел только у смолянок, женщин, из поколения в поколение проводивших детство и юность в стенах Смольного монастыря. Темноглазое лицо ее выглядело строгим из-за густых, сросшихся на переносице бровей; в тяжелых черных волосах — прядь седых.

В чем корни мужества, с каким такие женщины переносят, не жалуясь и не распускаясь, тягчайшие утраты и крушения? Наталья Михайловна, вынесшая невыносимое, не позволила себе ни слова жалобы на свою судьбу.

Уже третий год тянула она лямку секретаря-машинистки у какого-то начальника в речном пароходстве. По ее горько-снисходительному тону чувствовалось, как тошно ей одной среди чуждых людей, быть может, и неплохо к ней относящихся, но бесконечно далеких по понятиям своим и культуре. Шеф ее, будучи в философически-игривом настроении, любил поговорить о женщинах, по его определению, «существах низших, недоразвившихся». Предлагая Наталье Михайловне решать что-либо по ее усмотрению, он говорил, что дает ей «*белую* карт-бланш».

Все для нее, несмотря на возраст — ей было немногим за тридцать,— оставалось в прошлом. Если что и возникало в душе, перегорало без отклика. В приработке Наталья Михай-

ловна, как любой совслужащий на подчиненных должностях, всегда нуждалась и перепечатывать мои переводы взялась охотно. Позднее, когда мы стали видаться постоянно и попривыкли друг к другу, она призналась, что оценила мою сдержанность при первой встрече: касаться скорбных соловецких дней с человеком, налетевшим с ветра, ей было бы тяжело. Ведь мы, хоть и имели общих знакомых по старому Петербургу, на Соловках виделись редко. Слежка за обитательницами женбарака вынуждала их избегать и случайного общения с мужчинами. Свидания же с Сиверсом облегчались тем, что Наталья Михайловна работала машинисткой в Управлении — в одном с ним здании. Георгий Осоргин предназначал мне быть свидетелем лагерного тайного венчания Натальи Михайловны с Сиверсом. Случайные обстоятельства не дали мне в нем участвовать.

...Редко, в минуты особой душевной настроенности, делилась Наталья Михайловна пережитым. Отрывисто, непоследовательно вспоминала разрозненные случаи, смолкала на полуслове с невидящим, обращенным внутрь взглядом, перед которым, очевидно, вставало столь страшное и безнадежное, что она так и не возвращалась к недосказанному. Сам я никогда ее ни о чем не расспрашивал.

...Разные отклонения от привычной рутины указывали заключенным — в лагере что-то готовится. У начальника шли непрерывные сверхсекретные совещания, во время которых зэков в здание Управления не пускали; командиры подтягивали и гоняли своих обленившихся вохровцев; отменялись свидания с родственниками. Тех из них, кто уже был допущен на остров, спешно, до истечения разрешенного срока, вывозили на материк. Особенно строго следили, чтобы после вечерней поверки на улице никого не оставалось. Немые монастырские стогны патрулировали вооруженные охранники. Дневаливших на радиостанции уборщиков и курьеров заменили вольнонаемными... Тягостно и неотвратимо надвигались на зэков неведомые перемены. Это осязалось всеми, хотя и нельзя было догадаться, что за угрозы они таят.

Заключенные остерегались общаться друг с другом, избегали попадаться на глаза начальству. Оно стало не в меру придирчивым — видимо, нервничало. Зэки чувствовали себя как в западне.

К Георгию как раз приехала жена, с которой он не прожил и двух лет, но знал — всю жизнь. Он твердо решил, что женится только на Лине Голицыной, когда та еще бегала в корот-

ком платье и носила косички. Был он лет на десять старше ее, и если в любви один всегда, по французской поговорке, подставляет щеку, а другой ее целует, то в этом случае, уж конечно, Георгий льнул к своей Лине. Она же позволяла себя любить.

...Что-то заставляло начальство торопиться. Потом будет создан миф о восстании, подготовляемом зэками.

В лагере начались аресты, когда еще не все жены были отправлены с острова. Оставалась на Соловках и Лина. Как и что дальше произошло, вряд ли когда узнается доподлинно. Одно известно твердо: арестованного Георгия освободили. И он пришел к заждавшейся, встревоженной Лине, успокоил ее, заверив, что был задержан срочной работой и все благополучно. Но ей надо отсюда уехать: отныне свидания будут давать только на материке. И проводил Лину на корабль, и говорил о следующей встрече, и махал вслед рукой... Быть может, оглядываясь, не схватят ли его тут же, когда еще можно увидеть с палубы...

Говорили, что Осоргин ручался честью следователю: при прощании и словом не обмолвился об аресте. Доказывал, что вывезенные с острова без прощания жены поднимут тревогу, распространят слухи. Поверил ли тот Георгию или резонно решил, что ничем не рискует — добыча не уйдет! — но Осоргина выпустили из изолятора, где он сидел с товарищами, почти поголовно бывшими военными, не обольщавшимися относительно ожидавшей их участи. Успокаивая жену, Георгий знал: жить ему осталось несколько часов — до темноты. Может, возвращаясь с пристани, встретил он команду с заступами, посланную рыть могилы под монастырской стеной.

...Женщин с обеда заперли в бараке, неподалеку от южной стены, где рыли ямы. Наталья Михайловна знала с утра, что Сиверс схвачен и отведен в изолятор. Слонявшаяся по бараку бытовичка направо и налево сообщала: «Ночью будут контру шлепать!»

Время тянулось бесконечно. Наталья Михайловна стояла как прикованная у окна, обращенного к монастырю, не смея себе признаться, чего ждет. Броситься бы на постель, закрыться с головой, уйти, спрятаться от стянувшего душу ужаса. Не слышать, не видеть, перестать сознавать, жить... И не двигалась с места. Уйти с Голгофы, оставить его одного, не принять на себя часть его мук было немыслимо.

Из-за рощи облетевших березок низ монастырской стены не проглядывался — виден был только верх ее и острый конус башни. Гас короткий предзимний день.

В наступившей темноте было тихо и пусто. Потом замелькали фонари. Стали доноситься команды, окрики. И вот мир заполнили сухие, не оставляющие надежды щелчки выстрелов... Залпы. Одинокие хлопки. Беспорядочные очереди. И — дикие крики, вопли, перемешанные с руганью распаленных кровью убийц. А ей все чудились стоны, последние, обращенные к ней слова.

И не было этому конца...

Как ни много нагнали штатных и добровольных палачей, они не справлялись. В потемках промахивались. И добивали раненых. Да еще задержка: у убитых по лагерной традиции молотком выбивали зубы с золотыми коронками.

На казнь приводили партиями. Всего, как утверждали лагерники, шестьсот человек. Имена их ты, Господи, веси!..

В эту ночь Наталья Михайловна и поседела. Последующая жизнь — как бесконечный, придавивший кошмар, от которого нет избавления. Несущиеся из темноты хриплые вопли, протяжные крики, выстрелы...

Первый муж Натальи Михайловны, Путилов, был расстрелян в Петрограде по делу лицеистов; его друг и одноделец Сиверс, уцелевший тогда, был приговорен к десяти годам лагеря и нашел смерть здесь, в двухстах метрах от нее.

Чуть ли не на глазах: мешали ночь и деревья. И все равно, она словно видела, как ведут его со связанными руками, ставят на краю ямы, наводят дуло...

— Я бы не выдержала. Сошла бы с ума, покончила с собой, если бы не отец Василий... Потом и его расстреляли. Он ничего не боялся, служил по всем панихиды... А молитвы его? И мне внушил: в них — опора.

Заключенный батюшка нашел слова, поселившиеся в душе Натальи Михайловны если не мир, то примиренность. Дал ей силу жить.

Эту комнатку и ее хозяйку, добрейшую Александру Ивановну, я вспоминаю с грустной признательностью. То был воистину мирный приют среди опасного, ощетинившегося света.

Домик в глубине тупичка — с болотистой, заросшей травой проезжей частью,— крашеный, с маленькими, заставленными цветами оконцами, был погружен в тишину и пустынность. Когда-то потревожат их шаги редкого прохожего по узким мосткам... На запущенной усадебке — кочки ее так и не поддались попыткам развести огород — росли невысокие березки. Целая рощица, прибавлявшая уюта этому безмятежному уголку.

В самом близком соседстве от нас жил дядя Алеша. Он часто заходил ко мне. Посидев в мягком кресле у окошка с березами, отойдя в умиротворяющей покойности низенькой, обставленной старомодными мебелями комнатки, он говорил, что мне повезло с квартирой, как никому. А тут еще Александра Ивановна звала взять на кухне вскипевший самовар, вносила перемытую посуду...

Не было предела заботливости этой очень немолодой хлопотливой женщины. Жила она с мужем, несколько тронутым умом инвалидом, и братом Семеном, угрюмым и молчаливым холостяком, чей бухгалтерский заработок был основным источником доходов семьи. Жили впроголодь. Паек свой постоянно забирали вперед и последнюю треть месяца вообще обходились без хлеба. С несчастным мужем ее случались припадки. Тогда он бушевал, грязно бранился, выкрикивая беззубым ртом похабные нелепости. И — Боже мой!— как терялась и пугалась бедная Александра Ивановна, как мучительно конфузилась, опасаясь, что я услышу возводимые им на нее бредовые гнусности.

Но дверь из теплых сеней в мою комнату — тяжелая, обитая с двух сторон — отгораживала надежно от постороннего шума. И я мог, не слишком кривя душой, уверять ее, что решительно ничего не слышу.

О домашних трудных отношениях — о затаенной неприязни больного к своему шурину и деспотическом нраве состарившегося за конторским столом холостяка, как и о вопиющей бедности обихода,— знали только стены укромного дома. Никакой сор из избы не выносился. Семен Иванович отправлялся на работу в тщательно отглаженной сорочке, носил отличную меховую шубу; да и Александра Ивановна в темной юбке дореволюционного покроя, отделанной гарусом пелеринке и кружевном черном платке выглядела на улице на старинный лад нарядной. Длинный же подол не позволял видеть разношенную чиненую обувь. Вот только муж ее показывался в пальто с невыводимыми пятнами и облезлым воротником. Но он выходил из дому лишь в лавку на углу, за хлебом.

Александра Ивановна, и дома ходившая опрятно одетой, принаряжалась довольно часто. Она почти не пропускала церковных служб, навещала многочисленных знакомых, кому-то, еще немощнее себя, помогала. Иногда после длительных колебаний, переговоров с братом и даже консультаций со мной отправлялась в Торгсин с какой-нибудь позолоченной солонкой, уцелевшей серебряной ложкой, тоненьким

колечком. Словом, с чем-нибудь из того рода «драгоценностей», какие в старое время скапливались и в самых скромных семьях горожан — ремесленников, мелких служащих и чиновников. На вырученные деньги покупались по заранее обговоренному плану продукты, какие подешевле и посущественнее: мука да подсолнечное масло. И гостинец — двести граммов сахару или сливочного масла, предназначенных исключительно Семену Ивановичу. Александра Ивановна, быть может, и брала грех на душу, давала тайком мужу чем полакомиться, но сама и пробовать не смела.

Характер у братца был тяжелый. И она всегда как бы несколько веселела, проводив его на службу. Нервничала, когда близился час его возвращения.

В некое время в городе открылась вольная продажа хлеба и других продуктов по высоким ценам. Значение денег поднялось. Верховодивший в доме, хотя и принадлежавшем зятю, Семен Иванович велел сестре объявить мне о повышении платы за комнату. Как нехотя, с какими проволочками приступала Александра Ивановна к смущавшему ее поручению! Она теряла нить разговора, ходила расстроенной, а под вечер окончательно падала духом — так и не набравшись его, чтобы передать мне требование брата. А он нудил, настаивал.

Догадавшись, вернее, узнав от дяди, что съемщики квартир по всему городу стали платить больше, я сам предложил повысить плату. Деликатная хозяйка моя даже прослезилась. Гордиев узел был разрублен, к обоюдному удовольствию. Зарабатывал я уже достаточно, и мне нетрудно было платить больше за квартиру, которой очень дорожил. В ней я мог без помех принимать гостей, удобно работать; Александра Ивановна избавляла меня от докучных хлопот по хозяйству.

В преддверье зимы в отделе кадров меня предупредили о мобилизации служащих на сплав леса. И, предвосхищая мое «добровольное» согласие, включили в список отправляемых. Уже тогда я был предупрежден, что под меня подкапываются: кому-то в тресте я мозолил глаза. Отказаться ехать на сплав — значит дать против себя весомый козырь. Хоть я и числился начальником отдела, то есть лицом, не подпадающим под такие всенародные мероприятия, но вряд ли было мне, ссыльному, благоразумно указывать на должностные прерогативы... Если, разумеется, ею дорожить. А в то время я еще не чувствовал себя достаточно крепко в институте, чтобы уволиться самому из Северолеса, и — согласился. Что ж, докажу, что нигде не сдрейфлю!

Меня не могли удивить и тем более напугать отведенные под бригады сплавщиков бараки, тесные нары, миски с баландой, кишащий вокруг разношерстный люд. Все это было пройдено, испытано, притом в более лихих условиях. Выработан был и род поведения, умение выключаться, позволяющее впечатлениям от обстановки и среды скользить по поверхности. Штемпель бывалости делал меня в глазах новичков лицом авторитетным, а умение обращаться с «баланами» (бревнами) покорило малоопытного бригадира. Он тут же произвел меня в свои помощники и перевел на житье в закуток с топчанами, отгороженный в общем бараке. А через день или два начальник сплава сделал меня бригадиром артели едва ли не в сотню человек... порядочной сволочи: выделяя народ на подобные авралы, учреждения стараются избавиться от самых дрянных работников.

Ни до, ни после не приходилось мне делать столь головокружительной карьеры. Как-то само собой получилось, что мои архаровцы стали меня слушаться, прониклись подобием артельного духа. И на удивление всем — и, несомненно, себе — работали слаженно. Среди усеявших болотистый берег Двины тысяч нагнанных горожан, копошившихся, подобно тараканам на холоде, среди наваленных штабелей и разбросанных бревен, покрывших и прибрежные воды, мы легко сделались героями дня — фигурировали в хвастливых сводках, нас ставили в пример. Сия реклама не влекла за собой ощутимых благ, разве что двести граммов премиального хлеба. Но я лично удостоился настойчивых предложений начальника сплавной конторы, сманивавшего меня к себе фантастическими условиями, вплоть до включения в список на индивидуальный домик! Работой я не тяготился. И чем она становилась тяжелее, условия суровее, тем более крепло во мне самолюбивое стремление не сплоховать.

...Распахнешь дверь натопленного барака, а за ней — студеный ветер, мокрый снег, нерассветающее небо, обледенелое древко багра, застывший такелаж... Брезентовые рукавицы сразу намокают, пальцы стынут. Ничто! Берись, не показывай виду. Пусть никто не увидит меня слабым. Я по-прежнему силен и вынослив. В общем — «мы еще поборемся, постоим за себя»! Именно желание это продемонстрировать (неизвестно — перед кем? Перед собой, должно быть!) и поддерживало во мне напористость и бодрый стих, увлекавшие и моих сподвижников. Настолько, будь сказано мимоходом — случай просто невероятный! — что в бригаде вывелась матерщина. Поначалу требование мое — при мне не сквернословить! —

встречалось недоуменно, как чудачество. Пожимали плечами: «Матюгнуться не смей! Подумаешь, чай не девки!» Однако остерегались, а там и привыкли. Я и сейчас не отвечу, в силу каких причин мне удалось, не располагая решительно никакими средствами принуждения, выиграть на сплаве поединок с матом...

Вдумываясь теперь, спустя чреду лет, в эти героические странички, я считаю, что яркость их — в прямой связи со случайным и временным характером приключившейся передряги. Что бы ни доводилось претерпеть у несущей шугу реки, я знал: кратки сроки и через две-три недели снова окажусь в своей комнате с благодатным теплом, идущим от нагретых кафелей печки... Да и молод я был тогда, молод!

Как бы ни было, возвращаясь домой, я переправлялся через застывшую Двину с верой в свои силы. Верой, приглушавшей сознание безнадежности своего будущего... Утвердился я и в своей решимости следовать правилу, усвоенному с детства: выполняй свой долг — и пусть будет, что будет. Моя мать всегда говорила: «fais ce que dois, advienne que pourra!» — это на русский лад звучит, как «выполняй свой долг, а там — что Бог даст!». Именно так: во всем следовать тому, что подсказывает совесть, пусть судьбой и не дано сделаться борцом и бросить клич...

...Вихря светских удовольствий, естественно, не было, но о зиме, проведенной без особых тревог и в сносных условиях, не исключавших вполне мирские развлечения, можно говорить с полным основанием.

В исходе 1934 года я был изгнан из Северолеса будто бы по прямому распоряжению комендатуры. Не помогли и лавры, заработанные на сплаве. В окошечке на набережной я попробовал добиться «справедливости»: «Почему сняли с работы? Ведь я честно трудился... Вы сами говорите — исправление через труд, предлагаете устраиваться на любую работу...» и т. д. Меня и слушать не стали — может, не желая втягиваться в разыгрываемую мной комедию или будучи и в самом деле непричастными к моему увольнению.

Гадать и доискиваться до причин было, впрочем, бесполезно. Я простился с милой своей помощницей и целиком переключился на АЛТИ, где для меня неожиданно открылся новый источник вполне реальных благ — в просторечии — кормушка.

Я втянулся в изготовление наглядных пособий для кафедр. Сначала это были аккуратно напиленные мною, отшлифованные и покрытые лаком образцы пиломатериалов — то, что я с

помощью пилы и рубанка мог сделать дома. Потом заказы усложнились — я стал делать модели всевозможных плотничьих и столярных сопряжений и узлов: углы в лапу, двойные шипы, ласточкин хвост и прочую премудрость. И наконец, уже в выделенном институтом помещении, стал мастерить деррики и лесоспуски, макеты лесосек с движущимися игрушечными механизмами. Похвастаю — с дальними видами — своим высшим достижением: моделью лесовоза, выполненной по чертежам и обводам, строго в масштабе, со всем палубным оборудованием. Появились у меня и помощники — столяр, токарь по металлу, электромеханик. Я, на сдельных началах, стал заведующим и мастером-художником макетной мастерской института, не значившейся ни в каких сметах и штатных расписаниях.

Это мое превращение было вызвано отчасти тем, что Сыромятников переключил меня на переводы книг для каких-то московских издательств. Гонорар за них предстояло получить после публикации, все, по его словам, откладываемой. Я работал в кредит и искал занятий с регулярными получками. Макеты были хороши тем, что расценок на них не существовало, и полюбовные соглашения с кафедрами позволяли оплачивать их не скупо, по усмотрению заказчиков, мне в общем благоволивших.

...Мы шли со станции по сверкающему льду реки. Дымы города поднимались к небу белыми столбами, мороз на открытом просторе был особенно хватким и звонким, а я все поглядывал на внушительную фигуру брата в романовском длинном полушубке. И волнение встречи уступало место привычному, знакомому с детства ощущению полноты и надежности существования в его присутствии. Младенческие годы, отрочество, юность, неразлучно проведенные под одной крышей, в общей комнате, спаяли братьев-близнецов нерасторжимо и заменили посторонние дружеские связи. Мы совместно огорчались и радовались, постигали мир и к нему приноравливались. И вот впервые видимся после трехлетней разлуки.

— Тебе не надоело со мной возиться?— Я распаковывал многочисленные пакеты и свертки, «гостинцы», наполнявшие чемодан Всеволода.

— Надоело? Передачи, посылки, приемные на Лубянке и Воздвиженке — да все это входит в рабочий день москвичей! Жена моя опекает двух ссыльных братьев, сестрица — мужа в лагере... И так большинство наших родственников и знакомых... Уцелевшие — павшим. Если это болезнь — то повальная. И боюсь — заразная... «Сегодня ты, а завтра — я...» Как

это в «Пиковой даме»? Так давай же ловить миг удачи — пить чай. Как, из самовара? Вот это праздник!

Горькая правда! В редкой московской семье не знают ночных звонков, арестов, последующих обиваний порогов у цедящих сквозь зубы ложь следователей. В учреждениях взрослые люди зубрят марксизм-сталинизм. Пропустить занятие значит навлечь на себя подозрение в неблагонадежности, фрондерстве. Всеволода уже дважды «чистили», но все пока кончалось благополучно благодаря вмешательству Калинина — первый раз, и второй — влиятельного заступника, некоего инженера Серебрякова. Был он из тех давних политэмигрантов, что после долгих лет жизни за границей стремительной стаей слетались в неведомую им Россию, чтобы устроить народные судьбы. Потолкавшись по Европам и почерпнув из мутного источника рационалистических учений, они были самонадеянно уверены, что вполне для такого дела пригодны. Не смущали их ни огромность страны, ни полное незнание народной жизни — верный признак невежества и легкомыслия, свойственных утратившим чувство родины и понимание ее прошлого экспериментаторам. Серебряков был — по отзыву брата — дельным инженером с повадками и представлениями западного предпринимателя. Он руководил восстановлением бакинских промыслов и даже состоял в ЦК. Тридцать седьмого года он, кажется, не пережил.

Изгнанного из Внешторга Всеволода Серебряков перевел в свою систему, включавшую и Цветметзолото. И по его совету исчезнуть с московского горизонта брат уехал на золотые прииски в минусинскую тайгу.

Там жилось привольно. Главное — без московских ночных тревог, усердствующих парторгов, откровенно выполняющих обязанности доносчиков и ока партии. И были нетронутые леса, охота, малолюдье... Но приезжать в Москву и жить в ней подолгу в качестве командированного представителя приисков приходилось часто, тем более что Серебряков приглашал брата, которого очень ценил, участвовать в переговорах с иностранными концессионерами.

Однако Всеволод не обольщался насчет своего будущего. Он перевел квартиру на жену; она по его настоянию выучила стенографию и поступила на службу в тихую кооперативную организацию. Брат даже что-то откладывал на черный день. Но этим заботам и предчувствиям не давал власти над собой и по-всегдашнему увлекался живописью, музыкой, гнал прочь уныние. И советовал, насколько возможно, «take life easy» — не омрачать жизнь раздумьями, относиться к ней

легко. Но мне, лишенному свойственного Всеволоду артистизма, способности, пусть дилетантски, но с увлечением заниматься искусством или весело проводить время в милом женском обществе, оставалось только со стороны восхищаться его выдержкой и умением трезво воспринимать жизнь и, выгребая против течения — недружественного, опасного,— сохранять беззаботную и независимую улыбку.

Встретившая нас на улице Екатерина Петровна профессионально изобразила всю гамму чувств — от изумления нашим сходством, восхищения ростом («Русские богатыри! Нет северные Аяксы!») до шумного восторга от общего «обаятельного облика». Она заставила нас поклясться, что в тот же вечер мы осчастливим салон «скучающей» Нины своим появлением.

И было вполне в духе Всеволода отправиться туда, хотя я не слишком лестно отозвался об этом уголке парадиза и его хозяйке, расписанных актрисой.

— Наоборот, не избегать, а ходить надо в такие дома, и почаще, являя подкупающе распахнутый и искренний вид. Раз ты предупрежден, опасности нет. А лишний раз показать себя не согнувшим выю полезно во всех отношениях, хотя бы потому, что тренирует способности, оттачивает находчивость. Это в некотором роде поединок с соглядатаями, и не в хамских условиях!

Из тех же соображений Всеволод познакомился с Сыромятниковым и пригласил его заходить к нему в Москве, а мне рекомендовал не отказываться от услуг прожженного стукача для «приватной» корреспонденции.

— Все повторяется... на разных уровнях. В Туле наши записки таскал к следователю грязный тюремный уборщик — теперь с ними побежит партийный пройдоха, лезущий в ученую элиту. Побежит по специальному пропуску, блудливо, в особый кабинет... Как замаслились, заблестели его щеки, когда он узнал о моих знакомствах с американскими бизнесменами, а?.. Еще бы! Какая цепочка счастливых возможностей для карьеры потенциального разведчика и будущего участника международных научных конгрессов — возникла в его круглой голове! Он не умен, но хитер, с ним держи ухо востро. И, кстати, смотри, чтобы он тебя не объегорил с переводами. У меня впечатление, что он не только законченный провокатор, но и мелкий жулик...

Все эти предвидения брата сполна подтвердились.

Мы слишком хорошо знали и чувствовали друг друга, чтобы от меня могла ускользнуть напряженность Всеволода, его озабоченность. Но он был бесподобно весел и остроумен в салоне отставной шляхтянки, буквально таявшей от его умения строить куры. Оказавшийся там бравый моряк почел его самым артельным собутыльником на свете... Покидал Всеволод повисших на нем Нину и Королевну с нежным и многозначительным «В следующий раз»!

Случалось Всеволоду заговаривать о моем приезде к нему на прииск, он набрасывал какие-то планы на будущее и смолкал на полуслове, круто менял разговор... Да и можно ли было поддерживать в себе такие далеко идущие надежды?

...Как ни бессильны были помочь наводнившей улицы нужде такие обнищавшие горожане, как мои хозяева, они не могли от нее отгородиться. Сострадательная Анна Ивановна что ни день приводила к себе обогреться влачившихся по обледенелым мосткам бездомных, особенно пронзивших ее сердце.

В кухню заходили, стуча одеревенелой обувью, и рассаживались по лавкам и на полу ссутуленные, заиндевевшие мужики, укутанные в тряпье, с обмороженными лицами и окоченевшими пальцами; бабы с детьми, смахивавшими на маленьких покойников: потухшие, неподвижные глаза, обтянутые прозрачной кожей худенькие лица... Иногда их набиралось шесть-восемь человек, и они загромождали тесную кухню. Темная, бесформенная куча, навалившаяся на чистенький домик с еще не угасшим, греющим очагом. Глыбы горя и обреченности...

Они оттаивали понемногу. Но и согреваясь, оставались точно придавленными жерновом. Разве кто вдруг отчаянно, непоправимо закашляет. В кухне распространялся сильный запах заношенной, грязной одежды, висело тягостное молчание. Александра Ивановна всех поила кипятком. Часто не выдерживала — совала ребенку ломтик сберегаемого на ужин хлеба. И с тревогой поглядывала на стрелки ходиков.

Но и Семен Иванович оказывался в таких обстоятельствах милостивцем. Он проходил через кухню, еще более хмурый и молчаливый, чем обычно, а рукой делал неопределенный жест — сидите, мол — и затворял за собой дверь в горницу.

Было мучительно смотреть, как грузно поднимаются с места, нахлобучивают шапки и уходят друг за другом в морозную тьму эти отверженные. И оставить их тут нельзя, и страшно думать о предстоящих скитаниях.

— Спаси тебя Бог! — хрипло выговаривал на прощание

кто-нибудь из гостей, кланяясь Александре Ивановне и крестясь на угол с образами.

И немудрено, что мы с братом сидели за чашкой остывающего чая молча, не в силах приняться за еду — всякий кусок корил совесть,— подавленные и оглушенные беззвучным ходом отлаженной государственной машины, планомерно и бездушно обрекшей на смерть и уничтожение неисчислимые тысячи наших земляков... И еще мы думали, что не должен быть забыт подвиг милосердия таких безвестных и немощных маленьких людей, как Александра Ивановна, пытавшихся помочь и спасти, когда и самим было впору искать путей спасения!.. И если единицам из этих толп обреченных крестьян или их детям удалось выжить, то спасителями их были как раз рядовые горожане, еще помнившие о христианских добродетелях... И трезво заключали, что если уж так расправляются с мужиками, то нам-то чего ждать?

В один из дней я повел брата к художнику, с которым познакомился в очереди у окошка комендатуры. Привлекли мое внимание его скромность, очевидная доброжелательность, серьезность вдумчивого взгляда. Был он мал и по-птичьи легок, с типичными чертами южанина и темными, чуть навыкате глазами. Поношенное пальто сидело на нем мешковато.

Жил художник в кое-как отапливаемой мансарде двухэтажного дома, перебивался случайными заказами — то портрет напишет, то театральные декорации подмалюет. Души в эти работы он не вкладывал. Преподавать рисование ему было запрещено. По счастью, поступали посылки из Армении — у семьи сохранился виноградник,— так что жил он, на ссыльные мерки, сносно.

Мой знакомец бывал рад гостям, вторгавшимся в его одиночество. По глухому, пыльному чердаку вокруг его светелки бегали одни крысы, и мы могли разговаривать без опаски. И однажды, заперев дверь на крючок, он отыскал в дальнем углу заставленный всяким хламом холст и выставил его к свету против окошка... Вот эту картину я и хотел показать Всеволоду.

Имя художника — очень распространенное, армянское — я забыл начисто. А вот полотно его и сейчас стоит перед глазами.

...В ровном безжизненном свете простерся пустой, слегка всхолмленный луг. По нему ползут, крадутся, возникают из-за каждой неровности земли неуклюжие мохнатые существа с остроконечной головой, сросшейся с туловищем. Они похожи на толстых бесхвостых крыс, поднявшихся на задние лапы.

Ни рта, ни ушей. Глаза, вернее, глазницы — маленькие, круглые, ярко-желтые. Эти порождения тяжелого кошмара словно выбираются из подземных нор. В левой части картины, на заднем плане,— пробившийся сверху сильный свет. Он падает на венчающую крутую скалу мраморную террасу с балюстрадой и колоннами. Там пируют прекрасные, светлые люди в античных одеждах. Однако художником изображен момент смятения, начавшейся паники: на скалу неотвратимо взбираются, пролезают между балясинами, высовываются из-за колонн те же темные, мохнатые чудища. Несколько их уже бросилось на пирующих, хватают, душат, терзают. От них бегут, прячутся. Молодая обнаженная женщина бросилась со скалы в пропасть... Спасения нет.

По всему видно, что мастер долго сидел над композицией, уравновесил детали, тщательно ее обдумал. Жутью веет от темных безмолвных тварей, хотя у них нет ни клыков, ни когтей — обычных атрибутов жестокости и кровожадности. Художник изобразил немые, глухие существа, неспособные слышать стоны, видеть красоту... Аллегория не нуждалась в пояснениях. Кто не увидел бы в ней гибель светлых начал жизни? Наступление владычества темных сил? И до непосвященного дошло бы мрачное исступление полотна, а Всеволод разбирался в живописи.

— Да это ссыльный Босх... У того — средневековый мистический ужас перед греховной сутью человека; тут — ощущение наступившего разгула зла. Оно выбралось на простор, торжествует... Вот доберутся до последних очагов света, разума, красоты — и запируют... в потемках. А там и друг друга станут пожирать. Этот холст — зеркало эпохи. Помнишь, у Гоголя? «Скучно на этом свете, господа»... Что сказал бы он теперь, в нашей-то ночи?.. «Страшно на этом свете»...

Нам было еще не по возрасту поддаваться мрачным предчувствиям, и все-таки день, когда я провожал Всеволода, был тяжелым: не в последний ли раз видимся? Я уже на стезе, сулящей беды; иссякла и инерция, дававшая брату отсрочки. И мы молчали, перекидываясь незначащими словами: «Не забудь бритву...», «Письма в книге...», «Передай привет...»

Крепко, крепко обнялись на прощание... Храни тебя ангел Господень!

...Он присылал за мной кого-нибудь из своего окружения, обычно милую пожилую массажистку, целиком ушедшую в заботы о церковнослужителях. Я шел в городскую клинику, и

санитар из приемной провожал меня к нему в хирургическое отделение.

Он выглядывал из-за двери операционной — с опущенной на бороду маской, в халате и белой шапочке — и просил обождать. А потом двери распахивались перед профессором, и он появлялся — высокий, величественный, в рясе до пят и монашеской темной скуфье. На тяжелой цепи висела старинная панагия. Я спешил подойти под благословение, и преосвященный Лука широко и неторопливо меня крестил. Потом мы троекратно лобызались. Он поворачивался к лаборантам и сестрам, толпившимся в дверях, и отпускал их легким кивком и общим крестным знамением.

Известнейший хирург профессор Войно-Ясенецкий, он же епископ Самаркандский Лука, приучил работавших с ним к молитвам, без которых не приступал к операциям, и к священникам, которых по просьбе больных приводил в палаты для исповеди или причастия. Так что православные обычаи и обрядность в стенах этой советской больницы принимались как должное. Искусство, прославившее хирурга, служило надежным заслоном: всесильное ведомство следило, чтобы преосвященного не утесняли. Пусть себе тешится крестами да поклонами, бормочет молитвы, лишь бы, когда припечет, был под рукой — хирург-волшебник.

В городе не осталось ни одной церкви. Был взорван собор. На богослужения приходилось идти далеко за город, в кладбищенскую церковку, вот преосвященный и брал меня иногда с собой. Служить ему было запрещено, и на службах он присутствовал наравне с прочими мирянами. Даже никогда не заходил в алтарь, а стоял в глубине церкви, налево от входа с паперти.

— Мне-то ничего не сделают, даже не скажут, если я и постою у престола или служить вздумаю,— говорил владыка.— А вот настоятелю, церковному совету достанется: расправятся, чтобы другим неповадно было. Меня терпят, но смотрят зорко — не возьмет ли кто с меня пример? И горе обличенному! А мне каково? Знать, что служишь привадой охотнику? Я окружен агентами. Вот и рад, когда ко мне приходят, и страшусь. Не за себя, конечно...

Тогда еще свежи были мои впечатления от двухкратного пребывания на Соловках. О встреченных там епископах и священниках владыка Лука расспрашивал с пристрастием.

— Говорите, «Столп и утверждение истин»? Уж не отец ли это Павел?..— Владыка спрашивал о Павле Флоренском, начавшем в те годы свой крестный путь.

— Если это он, то вам повезло. Общение с ним — веха всей жизни. Поверьте, биографию, всякое слово отца Павла будут воспроизводить по крупинкам... И у потомков он займет место наравне с наиболее чтимыми наставниками в вере. Не забудутся и его математические труды. Это человек, отмеченный Божьим перстом.

...В сквере у подножия соловецких соборов собирались в свободный час и погожее время обитатели соседних рот, более всего сторожевой, где было одно заключенное духовенство. Сиживал там и я с отцом Михаилом Митроцким. И вот к нему-то однажды подошел человек в летней светлой рясе и монашеском поясе, с небольшой темной бородкой и в очках.

У подошедшего была в руках книга «Столп и утверждение истины». О ней и зашел у них разговор с отцом Михаилом. Вернее, продолжился. Насколько я уловил, они обсуждали доступность изложения для рядового читателя. В священнике Митроцком говорил политический деятель, озабоченный земным устройством церкви, ее положением в государстве: книга должна наставлять верующих, ободрять и во времена гонений вооружать для противостояния.

Был ли виденный мною иеромонах отцом Павлом Флоренским, ненадолго к нам на остров при лагерных бестолковых перебросках заброшенным — до сих пор не знаю! Но портретное сходство несомненно.

Кладбищенская церковь на окраине Архангельска всегда полна. Молящиеся — в большинстве те же измученные, придавленные безысходностью, разоренные крестьяне, что и на городских улицах. Самые отчаявшиеся лепятся к паперти, хотя на кого было рассчитывать? Попросту паперть храма остается по традиции местом, где подается помощь. Вот и простаивают тут, даже не взглядывая на проходящих. Но у владыки всегда припасен кулек с едой. Раздать ее он поручает монашке, прислуживающей в храме.

И как ни убога была эта старенькая церквушка с облезлыми главками и закопченными сводами, она, как Онуфриевская церковь на Соловках, оставалась символом, маяком, возвышающимся над жалкой, бесправной жизнью. Светит, несмотря ни на что... И я вот, иду открыто по улице бок о бок с князем церкви. Пусть всверливаются в нас острые прищуры глаз, строчатся доносы — и в этом лилипутском вызове кодексу советского правильного человека есть несомненная крупица утверждения, способная стать кому-то примером, кому-то ободрением...

— Вы, оказывается, клерикал, клерикал...— тоненько да-

вится смехом Степан Аркадьевич, пряча бегающие глазки и шутливым тоном прикрывая настороженное ожидание ответа. Мы на днях разминулись с ним на улице: я возвращался с Войно-Ясенецким с погоста — Сыромятников шел по противоположному тротуару с завхозом института, ссыльным пожилым евреем из Гомеля. Я заметил жест, каким тот указал на нас своему принципалу.

Минута колебания, и:

— Познакомитесь, как я, с язвой желудка, так будете льнуть к медикусам поискуснее,— парирую я, не отводя от него пристального взгляда. Не дам ему залезть в душу, коснуться заветного.

Я отдаю ему очередное письмо к брату и желаю благополучной дороги — с некоторых пор сей муж загодя уведомляет меня о своих командировках в Москву.

В самом покойном кресле, возле натопленной голландки, у накрытого чайного стола сидит почтенный по летам и почетный по званию гость мой, контр-адмирал Карцев — некогда боевой моряк, потом многолетний директор Морского корпуса. В другом кресле, подальше от ласкового кафеля,— дядя Алеша, благодаря которому такие «гостьбы», как говорят архангелогородцы, устраиваются нами по воскресеньям. Мы подолгу сидим у самовара, расходимся под вечер, думаем, что вот — завелась у нас зыбкая традиция.

Началось с того, что дядя сводил меня к старому моряку, жившему у соломбальского пильщика в отгороженном переборкой закутке. Потом встречаться стали у меня.

В отношениях Данилова с Карцевым проступало различие в чинах и вообще-то подтянутый, дядя Алеша в обращении к адмиралу слегка подчеркивал свою внимательность,— но более всего проглядывала в них тесная связь товарищей по оружию. Все офицеры императорского российского флота, знавшие друг друга если не лично, то по именам, были — традициями и воспоминанием — спаяны в единое братство.

...В Петербурге по воскресеньям у нас собиралась молодежь — разные двоюродные и троюродные, их друзья и однокашники из кадетских и Морского корпусов, из юнкерских училищ. Гардемарины рассказывали были и небылицы про Лонгобарда — своего начальника Карцева, обладателя знаменитой длинной бороды клином, называемой в просторечии козлиной...

Само собой, адмирал знал всех прошлых и нынешних

Лазаревых, и меня не сразу, но признал. Пришлось для этого воскрешать уже неправдоподобную мою петербургскую жизнь.

...На званых обедах у отца нашего с Всеволодом школьного друга Олега, сенатора Алексея Николаевича Харузина, неизменно присутствовал адмирал Григорович, морской министр, и его зять контр-адмирал Карцев. В конце стола скромно сидели и мы с Всеволодом, еще в матросках и коротких штанишках. При наступавших паузах в общих разговорах взрослые снисходили до нас.

В самом деле, что же это их не отдали в Морской корпус? Как-никак правнуки Михаила Петровича Лазарева... это, знаете, даже в некотором роде обязывает, —очень значительно изрекал Григорович, поглядывая на нас откуда-то сверху —он был громадного роста — из гущины сверкающих эполет.

— Они с моим сыном в Тенишевском училище,— несколько нараспев и томно заступалась за нас с другого конца стола хозяйка Наталья Васильевна, урожденная фон дер Ховен и потому державшаяся в высшей степени аристократично. Там прекрасные педагоги...

— Да, но служба на флоте... И они так друг на друга похожи... Было бы, знаете ли, очень эффектно — в морских мундирах, оба вместе на смотрах или караулах во дворце...

Донятые затянувшимся вниманием, мы смущенно лепечем, что оба носим очки и не годимся в морскую службу.

— А они, вероятно, дальтоники,— догадывается Лонгобард. Это когда цвета путают... Я вот сейчас проверю: скажи-ка ты,— указывает он на Всеволода,— какого зто цвета? — и подносит белую пухлую руку к орденской ленте.

Да нет, адмирал, они близоруки, вдаль плохо видят...

Еле живыми, взмокшими от смущения оставляли нас эти непривычные втягивания в разговоры взрослых за столом: тогдашнее воспитание предписывало сидеть чинно и немо.

...Говоря о своих питомцах, старый адмирал не удерживается от слез. Мы по крохам перебираем с ним корпусные истории, вспоминаем имена. Однако это вскоре становится тягостным: большинство бывших гардемаринов сгинули невесть где в смуте, длинны списки расстрелянных... Тут в разговор вступает дядя Алеша и переходит на неиссякаемую тему: моряки погружаются в разбор операций русско-японской войны.

Примерно в те годы вышла книга Новикова-Прибоя «Цусима». Каждый абзац ее старые моряки, досконально

знавшие все подробности настоящей, не книжной Цусимы, обсуждали подолгу. Рассказывалось в книге об их сослуживцах, друзьях, с которыми стояли на палубах одних и тех же кораблей. И они придирчиво сверяли свои оценки с характеристиками бывшего баталера. И отдавали ему должное. Описывал он верно и честно, но видел все, как заключили оба бывших штаб-офицера, с «нижней палубы». В их устах это означало «узко», с предвзятых позиций.

Они знали все, о чем так беспощадно поведал Новиков: просчеты и ошибки русского морского командования, трусливость и нераспорядительность отдельных лиц, нарушения присяги... Когда-то это внушило и им, потомственным слугам престола, сомнение в способности царского правительства управлять Россией. И им мерещились какие-то конституционные перемены, несшие избавление от всесилия бездарных великих князей... Да мало ли что пришло в голову и открылось глазам кадровых военных, потрясенных бесславным поражением русского оружия!

Уют и покой тихой комнаты, воспоминания, переносившие в перечеркнутое вчера, оживляли моих гостей. И минута, когда надо было подниматься и уходить, всегда отмечалась резким спадом настроения. Мы возвращались в свои ссыльные будни. Становились тем, чем были в действительности: вполне бесправными, не знающими, что с нами произойдет в следующие мгновения, приученными, но не привыкшими к мысли о возможности пасть жертвой внезапной расправы. Диктатура и террор караулили нас неусыпно, и мы об этом никогда не забывали. Вот разве так, погрузившись в умершее...

Я выходил проводить Карцева до остановки трамвая, и мы прощались молчаливо и печально. Придется ли собраться снова?

* * *

...Тянулись дни и недели, складывались в месяцы и годы. И вот уже позади значительная часть моего пятилетнего срока. Завершится текущий 1935 год, и можно будет считать на месяцы. И, устыжая себя за загадывание вперед — будто нам дано своим будущим распоряжаться! — я все же строил планы. Еще не близок сорокалетний рубеж, пройденное вселяет уверенность, что «есть еще порох в пороховницах» и можно уповать на свои силы. Да и отнюдь не пропащими были «годы странствий»: сколько легло на ду-

шу впечатлений, помогающих разбираться в жизни и видеть ее истинные блага. Сколько было встречено людей и каких! Я смутно рисовался себе вооруженным пером, бичующим ложь и зло, самоуверенно полагая, что опыт поможет мне разоблачить их.

В Архангельске я до известной степени обжился. Попривыкли и ко мне. Появилось много знакомых. Помимо упомянутых москвичей, вынужденно ставших архангелогородцами, нашлись и местные жители, не чуравшиеся ссыльных.

С профессором АЛТИ Вениамином Ивановичем Лебедевым мы ездили на охоту В его продуманно приспособленной для кочевок лодке мы по нескольку дней проводили среди бесчисленных островков и проток устья Двины. Я не имел с ним дела в институте, он там даже как будто избегал встреч со мной — тем удивительнее было внимание его ко мне вне его стен. Вениамин Иванович не только доставал мне ружье с припасом, но и не допускал «вхождения в долю» по расходам, был предупредителен, заботлив и мягок. Под конец нашего знакомства он признался, что я напоминаю ему сына, погибшего на юге в гражданскую войну И сам он «Только, ради Бога, зто между нами!» бывший преподаватель Первого кадетского корпуса в Петербурге, где, кстати, был директором муж моей тетки генерал Рубановский... Были тут глубоко затаенная трагедия и нужда вечно носить маску.

Даже удивительно, как подробно запомнилось зто мимолетное знакомство. Лебедев... Как живой стоит: узкоплечий, с коротко подстриженными рыжеватыми жесткими усиками на сухом, морщинистом лице. А за ним — другие. Еще... еще... Словно выходят на смотр из усыпальниц памяти. Но не сплошной вереницей, а прерывистым пунктиром. Разрозненные штрихи, случайные, не всегда значительные и неизвестно почему запечатлевшиеся... И все же зти клочки и обрывки заполняют ячеи того большого и смутного целого, каким лежит в нашей памяти прошлое, в общем-то мертвое...

Уже далеко за полночь меня будит осторожный настойчивый стук в окошко. Ошибиться нельзя так случать способен только воспитанный человек. И я, недоумевая, но безо всякого страха выхожу в сени отпереть дверь. Оказывается / Андрей Гадон, случайный и неблизкий знакомый, бывший петербуржец, заканчивающий здесь трехлетнюю ссылку. Он возбужден более обычного нервно жестикулирует, путано объясняет, извиняется за ночное вторжение:

— Мне было необходимо вас увидеть... Откладывать больше нельзя. Пусть дерзко, вы говорите, сумасбродно. Но только так есть шансы. Надо ловить случай... ночь... ни зги... отвязать лодку. Ведь только доплыть до судна...

Давно вынашиваемым планом бегства за границу Гадон делился со мной и прежде, и я знал, что рано или поздно он попытается его осуществить. Он не мог не бежать от себя, от своего прошлого.

Революция, сокрушившая его военную гвардейскую семью, застала Андрея кадетиком, кажется, пажеского корпуса. Ни знаний, ни твердых устоев... Вкривь и вкось усвоенный «кодекс чести»: нельзя показаться на улице без перчаток, нести покупку, унизительно работать; доблестно кутить, прожигать жизнь... И юноша, едва возобновились рестораны и ночные клубы, сделался крупье. Шальные деньги, чадная обстановка — все, что нужно, чтобы не замечать окружающее. Но и цена за это платится немалая: пришлось дать подписку — сделаться сексотом.

Поначалу это не очень тревожило совесть: подумаешь — сообщить о крупной игре зарвавшегося жида-нэпмана, воротилы треста, о зачастившем в клуб кассире Госбанка! Туда им и дорога... Когда же потребовали сведений более деликатного свойства, Андрей заартачился. И оказался в ссылке. И тут пришло прозрение. Стала мерзкой прежняя жизнь, замучила совесть.

— Это ребячество, Андрей. Пусть вы даже пришвартуетесь к иностранцу, привлечете внимание вахтенного. Вас поднимут на палубу, порасспросят и... сдадут первому подвернувшемуся пограничнику. Были случаи. Бежать надо хитрее, поверьте. Покайтесь в своей слабости, пообещайте исправиться и устройтесь куда-нибудь во Внешторг, а лучше всего — матросом на судно... А сейчас ступайте домой отдохнуть, успокоиться. Я вас провожу...

Он шел рядом со мной — невысокий, все еще плотный; полувоенная фуражка надвинута на лоб, воротник дешевенького плаща поднят. Было что-то хлыщеватое в походке, в глубоко засунутых в карманы руках, напоминающее о сомнительном лоске клубной профессии. И со своими аккуратными усиками, тонкими чертами отечного породистого лица, манерой надменно щуриться, опустившийся и, несомненно, больной, он выглядел призраком старого петербургского мира.

И все-таки Гадон вскоре исчез — как в воду канул. Я и по сей день в неведении о его судьбе.

...Вглядываюсь в заострившиеся черты моего удивительного Васи. Он лежит без сознания на убогой больничной койке, застеленной нищенским бельем, с набитой комковатым сеном подушкой. И уже не встает: затихли судороги, расслабились мышцы. Так бывает, когда менингит сделал свое дело — разрушил в организме нервную его основу. И дышит теперь Вася ровно — перед концом.

За те месяцы, что Вася простолярничал в макетной мастерской, я к нему привязался. Мне нестерпимо жаль этого паренька, так и не выбравшегося с обочин жизни. Детство в северной деревушке, вконец разоренной гражданской войной и коллективизацией, сгинувший в раскулачивание отец, раннее сиротство и жалкая жизнь с теткой — приютившей мальчика нищей монашкой. Потом Васе повезло: его взял к себе столяр, добрый набожный старик. И научил не только ремеслу, но и грамоте — по Библии.

Мальчик вырос тихим, ласковым; может быть, даже слишком склонным отзываться на чужую беду. «Не от мира сего»,— говорили в старину про таких кротких, бескорыстных отроков.

Моя безлюдная мастерская после работы на заводе показалась ему райским уголком: Вася страдал от ругани и ссор. Был он нескладно широк и короток, прихрамывал на одну ногу, но у верстака преображался — работал споровисто и красиво.

— Вы мне много платите,— говорил Вася (макеты и в самом деле расценивались высоко).— Дядя Троша сомневается: уж ты, говорит, Васенька, невзначай не баловать ли стал? Не стоишь ты, малец, таких денег. Тревожится он, чтобы я воровать не научился...

Я знал, что едва не весь заработок Вася отдавал своему ослепшему наставнику.

Был этот Вася чист как младенец, кроток и светел. Из тех, к кому никакая ржа не пристает. В прежние идиллические времена, когда такие подростки не столь резко выделялись, когда еще не так жестоко и бездушно вершилась жизнь, старые люди, приглядевшись и покачав головой, непременно бы вывели: «Не жилец на этом свете...»

...Ненадолго, но по нескольку раз в год в Архангельск приезжала к сосланным сыновьям шумная московская барыня Марья Александровна Глебова, по первому мужу Кристи, урожденная Миха́лкова — родная тетка по отцу Сергея Владимировича Миха́лкова (Миха́лков — так произносилась до

революции фамилия помещика, коннозаводчика и камергера — отца стяжавшего широкую известность писателя и баснописца, достигшего высоких степеней в Союзе писателей)...

Уверяли, что Марица была обаятельна. Один из ее романов закончился нашумевшей дуэлью со смертельным исходом. Во всяком случае, известность в московском high life — большом свете — ей принесли подобные незаурядные приключения. Теперь это была очень немолодая дама, располневшая, но не утратившая живости, даже порывистости, очень душевная. Она вносила с собой деятельное и веселое начало, струю оптимизма.

Старший сын Марицы Сергей Кристи, чрезвычайно предприимчивый молодой человек, умеющий поговорить и приятный в обращении, небезуспешно подвизался на самых разнообразных поприщах — от цирка до научных институтов, — не мея при этом и законченного среднего образования. В ссылке он пристроился к театру — был режиссером труппы ТЮЗа — и жил на семейную ногу с девицей, причастной к Мельпомене. Марица уверяла, что грудное ее дитё — не отпрыск именитых бессарабских бояр Кристи, а принадлежит прошлому этой особы, рыцарски опекаемой ее сыном. Роль отца Сергей выполнял — до поры до времени — безукоризненно. Бывая в его комнате с двуспальным ложем и люлькой, я только дивился умелому его уходу за младенцем. В Москву Сергей возвратился уже безо всякого хвоста и благополучно сочетался браком с дочерью известного ветеринарного профессора Витта, знатока лошадей. И, как стало мне известно много позднее, опочил от трудов на пенсии по высшему разряду, расставшись с каким-то институтом или лабораторией, откуда его с почетом проводили на заслуженный покой после многолетней, на диво разнообразной и, кажется, вполне бесплодной деятельности. Добавим тут же — и вполне безвредной, что в наше время само по себе уже немаловажная заслуга.

Однако любимцем Марицы был ее другой сын, Федор Глебов, посвятивший себя живописи. Пристрастная мать демонстрировала его этюды как творения, по крайней мере, серовской кисти и горячо превозносила их достоинства. Мастером этот Глебов как будто не стал, но в средненьких московских журналах сотрудничал добросовестно и, как говорят, прослыл славным малым, незаменимым компаньоном на охоте и рыбалках.

Обоих братьев, да и мать я отношу к разряду людей, что бесследно для себя, безо всякой обиды и зарубки на

сердце проходят сквозь трагические времена, не задумываясь, считая их попросту счастливо изжитыми недоразумениями — благо самим пришлось легко отделаться. Они не способны взглянуть широко, тем более задуматься над тайными пружинами потревоживших их событий. Что им память о толпах голодных обобранных мужиков, полнивших заснеженные улицы Архангельска? Для них эксперимент со ссылкой окончился безболезненно — так что... слава Порядкам и Власти!

Зато была Ксения... Отца ее, известного московского протоиерея Николая Пискановского, преследовали с восемнадцатого года. Он сидел в тюрьмах, приговаривался к расстрелу за «противодействие изъятию церковных ценностей». Ксения не знала покойного, безопасного времени: родилась она незадолго до крестового похода власти против церкви. Обыски, выселения... Девочку вышвырнули из школы. Семья жила в вечном страхе и постоянной нужде.

Рано лишившаяся матери, обожавшая отца, Ксения от него не отступилась. Она носила в тюрьму передачи, навещала его в ссылке, нянчила младшего брата. Непостижимо, как не утратила она способности радоваться жизни? Верить в добро и утешать других? Ни ожесточения, ни замыкания в себе...

В Архангельске Ксения жила с тяжело больным отцом, отбывавшим бесконечную ссылку. Свойство одним своим видом окрылять, вселять уверенность в хорошем исходе приобрело Ксении множество друзей. И она неутомимо кого-то навещала, опекала...

Жалкая одежда — всегда черная — казалась на ней чуть ли не нарядной; а из-под по-монашески повязанного темного платка и светилось, и улыбалось чистое, юное и доброе лицо. Далеко, далеко не красавица — а вот ведь забывалось об этом. И выдающиеся вперед зубы, прикрытые крупными губами, и не очень-то правильный носик — все выглядело у Ксении милым и исключительным. Видимо, такова сила присущего ее лицу выражения. Выражения высшей человечности...

Такие девушки, верующие, самоотверженные, бросали вызов самой сути порядков, опровергали идеологию власти. И при всей своей смиренности и слабости, они составляли невидимый становой хребет сопротивления отлучению народа от нравственных устоев. Их пособничество «врагам народа» не только помогало кому-то выжить, спастись, но и оказывало свое тайное действие примера и укора малодушным. Им боялись подражать, но пример их запоминался.

И весь этот подземный ток сочувствия исподволь размывал

воздвигнутую систему насилия, помогал разобраться в удушливом тумане напущенной лжи. Поповна Ксения и Лиза Самарина, тысячи и тысячи других верующих русских женщин были светом и истиной в непроглядной ночи ленинско-сталинских гонений. И если России суждено когда-нибудь возродиться — в основании ее будет и подвиг этих православных подвижниц.

* * *

К 1935 году дела мои пошли столь успешно, что я мог устроить приезд ко мне матери из Ленинграда. Ей было тогда шестьдесят шесть лет, силы иссякли, и, встречая ее на перроне, я про себя ужаснулся, узнав в крохотной старушке, высохшей и полуслепой, мать, которую помнил деятельной и полного сложения. И заговорила она слабо и растерянно, отчасти потому, что, разглядывая меня, едва узнавала сохранившегося в памяти прежнего, долагерного сына.

Поначалу — с отвычки — напрягло, но тут же показалось единственно возможным и естественн обращение ко мне матери по-французски. Иначе, как я себя помню, мы с ней не разговаривали. Даже с отцом говорить по-русски мы стали, лишь повзрослев. И от звуков иноязычной речи в этой чуждой обстановке на меня пахнуло прошлым, отчим домом. Старой Россией... И вот сквозь внешнюю отчужденность и незнакомость начали яростно и с готовностью пробиваться наружу дремлющие в нас до поры голоса кровных уз. Интонация, слово, жест пробуждали прежние непосредственные связи, словно и не было длинных лет разлуки...

После толкотни на пристанях и палубе допотопного пакетбота, курсировавшего между берегами Двины, мы потихоньку пошли по щелястым деревянным мосткам, пустынным и гулким. Я нес потертый материнский саквояж, памятный по давнишним поездкам за границу. Она, такая невесомая, семенила рядом, опираясь на мою руку. Хотелось поднять ее на руки и нести, и было радостно сознавать хоть эту возможность быть ей опорой.

Мать прожила у меня с неделю. Я скоро понял, что она лишь смутно представляет себе лагеря, и было бы жестоко раскрывать ей глаза. Виделось ей нечто вроде вычитанного у Короленко или в мемуарах Веры Фигнер: решетки, казематы, мрачные тюремщики, непреклонные политические в благородном ореоле...

Людям — особенно женщинам — ее поколения и круга

никогда не приходилось так вникать в жизнь, как нам, ощущать ее изнанку, сталкиваться с уродливыми порядками. Их существование протекало в рамках, оберегавших от крайностей. Рамках прочных, определяемых традицией. Мать и революцию-то в ее подлинном обличии познала лишь в единичных случаях — два-три раза в жизни — во время обысков, смахивавших на вторжения вооруженных бандитов. Только тогда она могла почувствовать прямую угрозу насилия. В остальное время какие-то обстоятельства смягчали удары, всегда находилось что-то, становившееся между нею и враждебным окружением. В тревожные первые годы, когда семья еще жила в имении, от соприкосновения с внешним миром мать была отгорожена нами, старшими сыновьями; в критические минуты выручали, как я уже упоминал, сочувствие и заступа соседних крестьян. В Петрограде мать замкнулась в крохотном кругу близких и уцелевших старых друзей.

И всегда немногословная, мать сделалась вовсе молчаливой. Лишь изредка, по нечаянному ходу мысли, всплывали воспоминания, и я слушал ее рассказы о «старине глубокой» — неправдоподобно далекой жизни в Петербурге второй половины XIX века, о дедах, о парижских встречах, известных и даже прославленных людей прошлого, которых ей доводилось знать. И чем полярнее, несопоставимее с нашими очевидностями были понятия, нормы отношений, их обрамление, суждения прежних людей, оживавших в рассказах матери, тем грустнее и безнадежнее определялись выводы: в какие бездны катится Россия? До какого одичания дойдет народ, отваживаемый от простейших нравственных истин?

Мать близко знала Кони. Анатолий Федорович на правах соседа — они жили рядом на Моховой — до последних своих дней приходил к ней «на огонек». Сановник, стяжавший известность защитой революционеров; человек, никогда не погрешивший против совести; государственный деятель, оказавшийся в плену предрассудков своего века и не разглядевший пророка в своем старшем современнике Достоевском... Со слов матери я знал, что свержение Временного правительства и особенно разгром Учредительного собрания потрясли Кони. Потрясли настолько, что дальше он жил уже раздвоенным, наполовину отрекшимся от себя. В этом я видел неизбежную судьбу таких вот честно заблуждающихся людей XIX века, завороженных багровыми отсветами слова РЕВОЛЮЦИЯ...

Проводил я мать и хорошо помню, что, расставаясь, уверенно, как само собой разумеющееся, обещал летом, по пути отсюда, заехать к ней в Питер — показаться уцелевшим

родственникам, кузинам и тетушкам, считавшим, что в семье появился свой декабрист. Но это было мое последнее свидание с матерью...

Проводил я и закончившего трехлетнюю ссылку дядю Алешу. Он отправился в Закавказье — помнится, в Батум,— где осел какой-то давний его приятель-моряк. Тут мы прощались, наверняка зная, что навсегда, хотя дядя и повторял безо всякой убежденности: «Вот закончишь ссылку и приедешь ко мне отогреваться после Заполярья. Там не океан, конечно, но все-таки море...» Он бодрился и не разрешал себе сутулиться, но выглядел плохо. Худой, бесконечно усталый, неухоженный нищий старик... Все на нем было не просто старое, а ветхое, повытертое, с не выводимым никакими снадобьями тавром заношенности. В общем, отражение повергнутого и зачеркнутого вчера. Уже бесплотный силуэт отошедшего, в чем-то даже укоряющий современность с ее деревянным ликованием и вымученными «ура!». И она торопится убрать с дороги докучные призраки...

...Всеволод был женат на премиленькой внучке богачей Морозовых. Помню, он говорил: «Жена должна составлять красивое пятно, оживляющее интерьер», и в соответствии с этим выбирал себе спутницу жизни, а потом заботился о нарядах для своей Катюш Так вот, брат этого «красивого пятна», Игорь Кречетов, забулдыга Игорек, и соблазнил меня показаться на корте.

Этот добродушный компанейский малый, бредивший бегами и теннисом, сыпавший, мило шепелявя, анекдотами \ он и переселился из Москвы в Архангельск из-за одного такого анекдота, —даже тут ухитрился втереться на правах столичного спортсмена к боссам «Динамо». Он убедил их в неотложной необходимости построить площадки для игр, хлопотал, инструктировал и в некий день явился пригласить меня «покикаться» для тренировки! Ракетки, мячи, даже туфли — все есть: не зря же «Динамо» — детище Великого Ведомства... Так что — пошли? Я отказался. Охота лишний раз напоминать о себе чекистам? Да еще и как бы дразнить их: вы вот сослали нас, а мы преприятно в белых штанах за мячом скачем, жирок спускаем. Было бы из-за чего играть с огнем!

Но от того, чтобы сходить поглазеть, не удержался. Раз и другой. И стали точить сожаления, грызть зависть: Игорь вон как в форму входит, любо глядеть... И оказывается, не все теннисисты из ведомства: есть двое из мединститута, какой-то филолог, еще из Морфлота! Что же себя ограничивать?

Первое время я оправдывался тем, что играю лишь с Игорем, когда на кортах ни души, что это для моциона. Но трудно быть осмотрительным, если втянулся в дело, которое по душе. И я не заметил, как стал азартно сражаться с доцентом, участвовать в «дублях», забывать, что за братия в безукоризненно белых брюках, молчаливая и подтянутая, деловито играет на соседней площадке! Нет-нет и засечешь пронзительный взгляд оттуда — и метнутся прочь следящие за тобой глаза. И вдруг увидишь окаменелую настороженность лиц, выдающую себя скрытность, а в глубине зрачков уловишь — пусть человек разгорячен игрой и запаленно дышит — острый огонек хищника в засаде. И на мгновение замрет душа...

Но убаюкали длинные, бестревожные месяцы, составившие мою архангельскую жизнь. Избаловала ее относительная легкость, приятно занимавший необременительный роман, какие-то отвечающие вкусам занятия. Приподними меня тогда благая рука над моей жизнью, дай мне заглянуть вперед и глубже осмыслить прошлое — ужаснуло бы меня мое легкомыслие. Моя забывчивость. Но опять-таки: изменилось бы что в моей судьбе, живи я тенью, слитой до неразличимости с серыми буднями? Не выставляйся в джентльменской игре? Не покажи я зубки жулику Сыромятникову, не сделайся постоянным посетителем церкви, собеседником владыки? Открестись от общения с Путиловой, Ксенией, Гадоном и прочими подозрительными лицами? Не сделай я, наконец, посильного, чтобы прийти на помощь особо бедствовавшим мужикам? Нелегко ответить на этот вопрос... Не окажется ли правым тот, кто верит в предначертанность судеб: именно мне было написано на роду в отличие от других родных и близких пройти через некий круг испытаний? Завершить его и продолжать жить, когда почти не осталось никого из «своих», сверстников? И никакие мои предосторожности и ухищрения, попытки маскироваться не избавили бы меня ни от одного из приключений...

По прошествии многих лет, оглядываясь на свое отдаленное уже целой эпохой прошлое, я думаю, что мимикрия, слов нет, — надежное защитное средство. Но вот не бывает так, чтобы приспособленчество не влияло на самую суть человека: покровительственная окраска растлевает сознание. Так что — Бог с ней совсем, с маскировкой!

Глава седьмая

ЕЩЕ ШЕСТЬДЕСЯТ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Можно начать почти как у Тургенева в романе «Дым»: «Это было 8-го июня 1936 года... Стояло солнечное утро, и Архангельск выглядел, против обыкновения, повеселевшим и даже приветливым. С трамвая на конечной остановке сошел высокий мужчина средних лет, одетый в рабочую куртку, и торопливо зашагал по улице Павлина Виноградова к двухэтажному дому со стенами, еще не успевшими потемнеть...» и т. д.

А дальше произошла немая сцена уже по Гоголю.

«Высокий мужчина средних лет» в моем лице исправно трудился со своими мастерами над очередным макетом. В помещении пахло свежей стружкой и красками, шмелем гудел в углу токарный станок, окна нестерпимо сияли, несмотря на пришпиленные к рамам выгоревшие газеты,— я все собирался заменить их пристойными занавесками. Как вдруг...

Они вошли незаметно. Внезапно среди нас замаячили три фигуры в легких серых плащах и темных кепках. Все в мастерской мгновенно отвлеклись, загадывая — что за работу предложат объявившиеся заказчики? Я же, едва взглянув на вошедших, тут же безошибочным чутьем, вернее, предчувствием определил, что это за птицы... Разогнулся — я как раз лепил рельеф склона из папье-маше для макета лесоспуска — и с какой-то внезапно охватившей вялостью подумал, что вот докрасить не удалось и что теперь не придется получить деньги, и нет ли у меня на квартире чего-нибудь, что не должно попасться на глаза при обыске.

Тут я поневоле колеблюсь. Что за сказка про белого бычка? Снова оперативники, ордер, «вам придется отправиться с нами...». Ведь я уже не первый раз принимаюсь об этом рассказывать! И — предупреждаю — не в последний! Но обой-

тись без этого повторения, без такого рефрена, напоминающего, как колокол на церковном погосте, о великих тревогах и печалях тех дней, нельзя. Хотя бы потому, что я рассказываю о жизни подлинной, не выдуманной, тщусь на судьбе одного интеллигента, застигнутого революцией в юношеском возрасте, дать по возможности правдивую картину тех мытарств, что выпали на долю русских образованных сословий, с октября семнадцатого года. Их избежали только те, кто умел перемахнуть пропасть и приспособиться к новым порядкам. Но тут возникает сомнение: можно ли относить к истинно просвещенным, интеллигентным людям тех, кто захотел закрыть глаза на свойства и суть новой власти, проявившиеся с первых часов ее существования; свойства, несовместимые с понятиями, привитыми культурными традициями? Образ интеллигента неотделим от совестливости, чистоты и бескорыстия побуждений, уважения к людям и их мнениям, отвращения к насилию. Словом, от тех духовных ценностей, что были растоптаны большевиками, едва они захватили власть. В большевистских анналах разгон «учредилки» отнесен к доблестнейшим подвигам, и это говорит за себя. Можно, разумеется, допустить, что отдельные, вполне интеллигентные и даже нравственно безупречные люди, вроде старого социал-демократа Смидовича, вознесенного на первых порах в верховные органы власти, что эти люди обманулись, чистосердечно заблуждаясь по поводу ценности благ, какие революция способна дать народу.

Немногочисленная прослойка «интеллигентных большевиков» была — кто знает?— быть может, и впрямь далека от маратовских замыслов (знаменитые trois cent mille têtes — триста тысяч голов!) партийных вождей. Но на долю этих революционеров-радикалов, тех, кто не догадался вовремя отправиться ad patres (к праотцам),— досталась своя чаша испытаний. Революция пожирает своих детей. Чаша особенно горькая досталась тем, кто запоздало каялся: «Мы этого не хотели...», но руку приложил — и крепко!— к закладыванию, уже с октября семнадцатого года, фундамента сталинского тридцатилетнего кошмара с его непоправимыми последствиями.

...Меня повезли на «козлике» с поднятым верхом и открытом с боков. На главной улице машине пришлось постоять прижатой к тротуару. Мимо — так близко!— шли люди в темной и однообразной одежде, метившей толпу тех лет.

— Далеко ли вы, Олег Васильевич, собрались?

У дверцы — я сижу возле шофера, агенты за спиной —

остановился мой знакомый, Константин Константинович Арцеулов, летчик, начинавший длинную свою карьеру в авиации еще с Уточкиным и Нестеровым. Воспитанный, с хорошими манерами, Арцеулов был человеком одаренным: он занимался живописью — мы и познакомились с ним в студии художника,— что-то сочинял, а позже и публиковался, помнится, в детском издательстве. Очутился он в Архангельске, как я догадывался, не по своей воле, а в «почетной ссылке» была для некоторых категорий лиц и такая. И когда уже в шестидесятые годы пришлось читать о «дедушке» русской авиации — кажется, именно так его величали,— я вспомнил стройную, подтянутую фигуру и выправку царского офицера, залитую солнцем архангельскую улицу и своих насторожившихся охранников.

— Чего не знаю, того не знаю, Константин Константинович,— пожал я плечами.— Вот они вам, быть может, разъяснят...

Он мгновенно догадался. Помолчав и секунду поколебавшись, он крепко, сочувственно пожал мне руку. Хотел было что-то сказать, да только вздохнул. Затор рассосался, и машина тронулась...

И еще одного знакомого довелось мне увидеть — но уже безо всяких рукопожатий в тот последний мой день «на воле» в Архангельске.

...Нудно тянулся обыск. Чекисты перелистывали книги, каждый исписанный листок откладывали в сторону, чтобы предъявить «изъятое при обыске»: авось да дока-следователь откопает, из чего состряпать дельце! Оживлялись, наткнувшись на брошюру или журнал на иностранном языке — это уж верная улика, готовое доказательство шпионажа!

Они шарили методически, но безо всякого рвения, как выполняют формальность, когда заранее знают, что никакого лакомого сюрприза в виде солидной пачки купюр госбанка или, того лучше, валюты, не то вещицы из червонного золота да еще с камушком в несколько каратов — не предвидится. И давно бы они прекратили копаться в моих пожитках, не опасайся каждый, что товарищ настучит.

Неожиданно — шаги в сенях.

— Вот и я, Олег Васильевич!

В дверях — теннисист в ослепительно-белом костюме, с ракеткой в руке, сияющий, прямо-таки излучающий оживление. Все немо на него уставились. Я было встал и шагнул навстречу гостю, но меня шустро опередил чекист.

В чем дело, мой спортсмен сообразил сразу. И стал на

глазах тускнеть, линять. Вытягивалось лицо, повисали руки; перепуганно забегали глаза и со страхом остановились на подскочившем к нему агенте. Самоуверенно-напористая, весело-предприимчивая блистательная фигура на глазах превращалась в робкую, приниженную тень.

...Мне попадались писанные в революцию директивы властям «на местах». Они требовали беспощадности, наставляли пугать так, чтобы и «через пятьдесят лет помнили» — дрожали. Вот бы порадовался «вождь мирового пролетариата», поглядев на этого «простого советского человека», обмершего от одного косвенного соприкосновения с тройкой человечков, олицетворяющих как раз эту устрашающую ипостась власти!

— Ваши документы!

— У меня... товарищ... я... извините, дома...

Мигнув своему подручному — «не дремать!» — старший оперативник вышел с гостем в сени и притворил за собой дверь. Двое оставшихся плотнее придвинулись ко мне.

Был, вероятно, понятой, составлялся протокол, опечатывалась комната — я ничего этого не запомнил. А вот забежавшего за мной теннисиста, растерявшегося и позеленевшего, не забыть, кажется, вовек! И как же клял он про себя ту злополучную минуту, когда попросился играть со мной, завел знакомство со ссыльным! И как, вероятно, бил себя в грудь на допросе, открещиваясь на все лады от замаскировавшегося врага, как от избытка лояльности угодничал перед следователем — от страха, лишь бы его не пристегнули к моему делу.

Оно же, как я скоро убедился, развертывалось на широкую ногу. Следствие повели обстоятельно и неторопливо, со вкусом, чтобы объявить мне мат по всем правилам. Я приготовился к обороне. И было предчувствие, что приходить в отчаяние нечего. Выстою.

* * *

В эту камеру я возвращался, как к себе домой. Вдоль стен, выкрашенных до уровня глаз в серое, по узкому, врезавшемуся в память коридору с двумя поворотами. Первая дверь за углом — моя. Камера в безраздельном моем владении. Я — в одиночном заключении. Предоставлен себе и своим мыслям.

Лампочка горит круглые сутки. Окно, хоть и прорезано не под потолком (здание строилось не под тюрьму, а для исполкома и приспосабливалось Всемогущим Ведомством для своих

нужд), а как в жилом помещении, невысоко, ограждено частой решеткой и снаружи забрано сплошным щитом. Ночь ли, день — все едино. Но по разного рода шумам в коридоре я умею приблизительно определить время. Наловчился: одиночке идет десятый месяц.

Меня периодически лишают книг, передач, переписки. Все эти блага расчетливо дозируются следователем — в зависимости от оценки моего поведения на допросах. Лишение прогулок предполагается само собой: я нахожусь во внутренней тюрьме НКВД, выстроенной на главной улице. Никаких прогулочных двориков нет и в помине. Темная, зловещая громада в центре города, на которую прохожие посматривают, как в старину горцы в Дарьяльском ущелье на скалу «Пронеси, Господи!»...

К следователю меня повели в день ареста. Он держался спокойно, даже доброжелательно, словно сочувствуя моей судьбе. Была заполнена длиннейшая анкета с данными, давно и досконально известными органам где и когда родился, кто родители, какие родственники, что делал до революции, в гражданскую войну и прочее и прочее. Ознакомил с «обвиниловкой» — бланком, где значилось, что такой-то обвиняется по статье 58, пункт 6 УК РСФСР, сиречь в шпионаже. Я отказался расписаться. Он не очень настаивал.

— Подумайте. Время у вас есть. Помните: мы зря не арестовываем. Улики против вас серьезнейшие. Так что даю добрый совет: чистосердечно признайтесь. Расскажите о своей преступной деятельности, вам же легче будет. Я велю вам дать в камеру бумагу и карандаш — сами все изложите. Когда кончите, скажете дежурному. Моя фамилия Денисенко.

С этим напутствием отправил в камеру и оставил в покое. Надолго. Чекисты твердо уповают на деморализующее воздейсвтие неизвестности на психику подследственного: весьма полезно дать человеку потомиться и представить себе невесть какие страхи.

И вот я сижу в своей закупоренной коробке два метра на три. Под высоким потолком — лампочка; стены беленые, железная койка, табурет со столиком и параша. Дни считаю по оправкам и обедам; тягостные часы перемежаются с легкомысленно-безмятежным настроением («Ну, дадут срок, эка штука!»). Но более всего я вхожу во вкус «отключений» — мечтаний и воспоминаний...

Словом, я не терзался и не дрожал, как должен бы был по расчетам следователя, полагавшего, что спустя недельку-другую перед ним предстанет утративший равновесие, изве-

денный одиночеством и предчувствиями псих, готовый признать все, что ему подскажут.

Первый настоящий допрос состоялся примерно через полмесяца. А так как я не только не принес ожидаемого от меня готового сочинения — об этом, впрочем, следователь знал от тюремных надзирателей,— но и называю обвинение бредовым, да еще отвечаю «вызывающим тоном», Денисенко переменил тактику. Он стал допрашивать меня днем и ночью, часами держать в кабинете, внушительно говорить об имеющихся в распоряжении следствия уликах (тут они до смешного копировали друг друга —тульский дока Степунин и архангельский хохол Денисенко!), заставляя жить в неослабевающем напряжении.

Только улегся после вечернего допроса. Расходившиеся нервы гонят сон. Но вот начинаю успокаиваться, усталость берет свое... И тут снова в волчок: «Такой-то, одеться без вещей!» И меня снова ведут по полутемным коридорам, и я снова оказываюсь под режущим светом в кабинете Денисенко. Иногда его, утомившегося, подменяет напарник. Протоколы тогда строча́тся попеременно.

О чем были эти дести исписанной бумаги? Следствие клонило к тому, что я собирал в Архангельске по заданию иностранной разведки, с которой был связан через брата («Он давно арестован, во всем признался»), данные о навигации на Двине, глубине фарватера («Доказательство вот здесь!— рука ложится на папку с бумагами.— Но мы хотим, чтобы вы сами рассказали»); тайно встречался со здешними резидентами («Сами назовите. Имена их все тут»,— папка раскрывается, Денисенко делает вид, что ищет список. Потом, словно забыв, откладывает папку в сторону)... Ну, кроме всего прочего, им доподлинно известно, что я монархист, нераскаявшийся белогвардеец, бывший юнкер, так что:

— Вы только сами себе вредите, не сознаваясь. По-хорошему советую: выложите все, как на исповеди у своих попов. Тогда и мы что-нибудь для вас сделаем... Наша власть умеет оценить чистосердечное раскаяние. Признавший вину враг уже не враг для нас, вы это знаете.

Но вот этого я как раз и не знал!

Я понимал, что мой Денисенко чего-то недоговаривает, придерживает про запас какой-то козырь. Смутно предполагал, что этим козырем станет наша с Всеволодом переписка через Сыромятникова, из которой им хочется извлечь улику. Без откровенной подделки из этой переписки ничего не выжмешь, так что опасаться нечего. Но почему мне приплетают

речной фарватер и интерес к заходящим в Двину судам? Откуда сие берется?.. Но и это вскоре объяснилось.

Некоторые обстоятельства помогали мне держаться спокойно, даже самоуверенно. Приобретенный опыт, разумеется, в первую очередь.

Вот поднимают меня ночью и ведут на допрос, но не по обычному маршруту. Мы спускаемся по длинным лестницам, задерживаемся в подвалах, блуждаем в полумраке... Настораживаюсь. Сердце сжимает холодок предчувствия. Но тут же всплывает емкая формула уголовников: «На арапа берете!» И она успокаивает: все это уже было, испытано, повторение пройденного, так что — на здоровье! К Денисенко прихожу уже в несколько насмешливом настроении. Бывало, конечно, что за игру и прием я принимал то, что было «всерьез» и опасно, но эта моя настроенность помогала справляться с малодушием, не распускать нервы.

Затем, я имел дело отнюдь не с орлом: был Денисенко хитроват, но примитивен, и я всегда верно угадывал ход его мыслей. Неограниченные досуги — двадцать четыре часа в сутки на размышление и подготовку — позволяли всесторонне обдумывать ответы и тактику поведения. На допросы я приходил с уверенностью, что буду отчасти сам их направлять.

В добрую сторону влияло и то, что тогда переход на «процессуальные нормы» тридцать седьмого года еще только подготавливался в центре, а в далекой провинции, какой был Архангельск, все еще придерживались видимости законного ведения следствия. Во всяком случае, я не изведал рукоприкладства, физического мучительства и пыток, сделавшихся непременной принадлежностью допросов. Не припомню даже, чтобы Денисенко меня материл: так уж повезло мне с моим следователем!

Но были и отчаяние, и мучительные неопределенные страхи. Доведенный почти до невменяемости вымоганием признания, угрозами и уговорами, я переставал себе верить. Уликами стали казаться и шапочное знакомство с Шарком, мужем Королевны, и прогулки по набережным с глазением на иностранные суда... А не шпион ли я и вправду?..

Это был уже бред, idée fixe, от которой нелегко отделаться. Чур меня, чур! Я схожу с ума... А избавиться от этого следственного психоза, подавить его — при отсутствии посторонних отвлечений — было почти непосильно. Тем более что я утратил как раз тогда способность молиться...

И все-таки, по неизреченной милости Творца, угнетен-

ному моему сознанию давались передышки. И воображение уносило меня прочь от клетки с парашей, манекенов-дежурных и следовательских кавалерийских наскоков...

Спустя примерно четыре месяца после ареста меня оставили в покое. Бежали дни, а Денисенко словно забыл обо мне. Перестал думать о нем и я. В своей одиночке я жил в кругу ограниченных тюремных ритуалов — оправка, поверка, пайка, обход фельдшера, оправка, обед, ужин, вечерняя поверка,— изредка нарушаемом событиями-праздниками: получением передачи (трогающая до слез забота близких), тюремным библиотекарем, поездкой в баню городской тюрьмы... Случались и чрезвычайные происшествия. В дверях появлялся областной прокурор.

— Ваша фамилия? Жалобы есть?

И если бы спрошенный по наивности поторопился рассказать, что его задерживают незаконно, не предъявляют доказательств вины, подвергают смахивающим на пытку многочасовым допросам, вымогая признание,— то заглянувшая в тюремную скверну персона в выутюженном кителе и начищенных до солнечного блеска сапогах брезгливо поджала бы губы:

— Вас спрашивают, нет ли насекомых? Горячую ли носят пищу и регулярно меняют белье?.. А вы вон куда заехали! Имейте в виду: следователи у нас проверенные, грамотные, свое дело знают отлично!

У меня долго лежала «Илиада», и я выучил наизусть несколько песен. Я гремел гекзаметрами, так что стерильная тишина камеры оглашалась лязгом медных мечей песни о великой битве... Я наполнял стены робкими жалобами Андромахи, прощавшейся с Гектором, или горестными мольбами Нестора, проникшего в шатер Ахиллеса... Дежурному наскучивали мои декламации, и он предлагал мне «заткнуться». Я иногда спорил, поддразнивал, но услыхав «в карцер захотел?!» — благоразумно отступал.

Должно быть, привычная скука уже не скука, а состояние, с которым свыкаешься, как с любым другим. Я мог без конца простаивать у окна, наблюдая за паучком, потом оборвать одну из нитей паутины, чтобы заставить его приняться за починку; с интересом следил за редкими мухами не то просто сидел неподвижно на табурете, отключившись от всего, без единой мысли...

Была уже зима, когда мою летаргию прервал внезапный вызов на допрос. Я никак не мог справиться с охватившей нервной дрожью: мерещилось что-то роковое. Это мое последнее свидание с Денисенко и впрямь завершилось бурным ак-

кордом. Впрочем, то, что «последнее», выяснилось позднее. Тогда же я посчитал его прологом к дальнейшему разворачиванию поединка между мной и органами. Тут, кстати, обнаружились и нити, из которых была соткана жиденькая ткань обвинения.

...Денисенко начал несколько торжественно. Вот, мол, вы все отрицаете, так сегодня мы дадим вам лично выслушать свидетеля. Убедитесь, что дальше лгать глупо. Денисенко говорил еще что-то, я не откликнулся никак. Он предупредил, чтобы со свидетелем я разговаривал только через него, и позвонил: «Введите товарища...»

Кого введут — я знал! С первого слова об очной ставке. И не ошибся: конвоир ввел Сыромятникова.

Тот вошел торопливо и сел — напротив и чуть поодаль от меня — на указанный ему стул у стола Денисенко. Чиркнув по мне взглядом, он уставился на следователя. Было видно, что толстяк смущен.

...Предупредив об ответственности за ложное показание, Денисенко предложил «товарищу Сыромятникову» изложить все ему известное о «преступной деятельности Волкова». Следователь обращался к «товарищу» сурово, даже, как мне показалось, недружелюбно.

Куда делся бойкий на язык, находчивый хозяин директорского кабинета? Путано и невразумительно излагал Сыромятников историю нашего знакомства, приплетал множество не идущих к делу подробностей. Уже тверже он рассказал, как доставал для меня с одной кафедры книгу по судостроению, с чертежами.

...— Волков расспрашивал о морских судах, об осадке лесовозов. Потом интересовался, как укладывают в трюме доски...— уныло бубнил Сыромятников.— Потом просил провести в порт... познакомить с капитанами...— последнее он выдавил еле внятно и смолк.

Нам, слушавшим, да и ему самому, по мере развертывания показаний становилось все очевиднее, насколько пусто и незначительно все им высказанное. «Где же криминал?» — мог бы спросить себя даже чекистский предвзятый следователь.

Мою попытку возразить Денисенко оборвал:

— Вы потом будете давать свои объяснения!— и обратился к опустившему плешивую голову Сыромятникову:— У вас есть что еще показать, гражданин свидетель?

И тут Сергей Аркадьевич встрепенулся. Оценив свой провал, он заговорил горячо и твердо. Как, заподозрив нас с Все-

володом во враждебной деятельности, намеренно взялся доставлять мои письма брату; в Москве на многое раскрыл ему глаза телефонный разговор Всеволода: беседа-то шла по-английски! А Торгсин, где Всеволод расплачивался долларами?.. Напоследок Сыромятников не поскупился и сообщил, что мой брат-де намекал, что может свести его кое с кем, кто готов заплатить за услуги.

— Это вы изложите в другом месте. Сообщите, что вы знаете дополнительно о подследственном.

О «подследственном» Сергей Аркадьевич сообщал уже свободнее, увереннее, расселся вольнее и даже нет-нет да бросал взгляд в мою сторону. Меня же вдруг осенило, что сказать и что сделать.

Я выждал, пока «свидетель обвинения» кончит. Он приводил какие-то мои высказывания за преферансом, антисоветские остроты, разоблачал «связи с церковниками»,— словом, говорил о чем-то вовсе не причастном к «шпионажу», а квалифицируемом как «контрреволюционная пропаганда». Денисенко снова его остановил и обратился ко мне.

— Я заявляю свидетелю отвод,— уверенно начал я.— Этот «честнейший», как он себя назвал, коммунист издал в Москве три книги, переведенные мною по его заказу, а гонорар целиком присвоил себе. Мне же сказал, что издательства с ним еще не рассчитались. Отсюда мне невозможно было это проверить, и только недавно удалось установить, что книги уже давно поступили в продажу. Понимая, что ссыльному ничего не добиться, я ждал конца срока, то есть апреля этого года, чтобы предъявить вору иск. Ваш «свидетель» знал об этом, вот и пришел сюда, чтобы не расплачиваться по счетам... А я вот хочу все же счесться...

Я резко вскочил — никто и шевельнуться не успел,— и с размаху, не жалея кулака, точно и сильно ударил Сыромятникова пониже скулы.

—...За брата, дерьмо собачье!

Ах, что это был за удар! И что за дикую, хищную радость испытал я!

Очнувшийся конвоир грубо толкнул меня в угол кабинета. Денисенко стал приподнимать навалившегося на стол Сыромятникова. По рукам стукача, обхватившего лицо, бежала кровь.

— Убить надо б... такую!— вопил я, уже больше делая вид, что рвусь к своей жертве. Я удачно разбил ему лицо: кровь лилась из носа и изо рта.

Мы остались вдвоем. Следователь не слишком горячо

корил меня, сулил карцер, но о результатах очной ставки молчал. Отдышавшись, я попросил записать мое объяснение. С великой неохотой — «Ни к чему, мол, это!» — Денисенко внес в протокол, что чертежи судов и прочие сведения о них мне нужны были для модели лесовоза с действующими механизмами, изготовляемой для кафедры АЛТИ,— все это можно проверить по документам мастерской.

Впервые я подписывал протокол с великим удовлетворением и также впервые, уходя, попрощался с Денисенко — безответно, конечно. Одержана победа. Теперь, чтобы состряпать обвинение, им придется искать другую зацепку: сыромятниковская карта оказалась битой, да еще вдвойне. Провокатор ушел с выбитыми зубами... Драться, разумеется, дурно, правды кулаками не докажешь. И все же... Такое вспомнить хорошо и сейчас!

С Сыромятниковым мне еще довелось встречаться. Но об этом позже.

* * *

Меня снова оставили в покое, и я решил, что мое дело принимает благоприятный оборот: со шпионажем не выгорело, подбирают другие отмычки, но пока безуспешно. О том, чтобы отпустили, я, само собой, не думал — в этом заведении не принято признавать ошибок, но на добавление срока ссылки рассчитывал и примерял, как буду дальше жить в Архангельске.

Между тем проходили месяцы, кончалась зима. В баню возили уже по огромным лужам, натаявшим из сугробов; в небе клубились яркие, легкие облака. Не послать ли жалобу прокурору? Заявить протест? В законе предусмотрено ограничение срока ведения следствия... Даже попросил как-то дать мне бумаги. Но писать не стал: бесполезно!

В иную бессонную ночь хотелось волком завыть от тоски, безнадежности... Да что же это, люди добрые, делается?! Ни в чем не уличен, а десятый месяц в одиночке! Отвык говорить, взаперти, без дневного света... Десятиминутная прогулка во дворе далекой Бутырки едва ли не грезится. Не уличен, но и не оправдан. Сколько же это может длиться?

Я уже с трудом придумываю себе занятия. Чтение осточертело. Книги приносят, от одного вида и заглавия которых тошнит: благоденствующий народ, успехи партии, слава великому вождю!.. Страшат безделье, накатывающаяся праздность ума. Этак окончательно сдашь вожжи... Восста-

навливаю в памяти полузабытые стихи, иногда подыскиваю им французский перевод — упражняю память... А зачем?..

...Приговор мне объявили в начале апреля, хотя решение Особого совещания было вынесено еще в январе, в первом месяце зловещего тридцать седьмого года. Участь моя разрешилась всего за считанные дни до того, как была запущена на полный ход мясорубка, какой еще не знала история нового времени. Прежний потолок — «катушка», десять лет заключения — сделался расхожим сроком. Меня же приговорили к пяти годам лагеря — чистым, без дополнения в виде ссылки и других ограничений.

Приговор объявили неожиданно, в один из тех неотличимо бесцветных дней, каким я и счет потерял. Не было ни предчувствия, ни особого настроения — ни единой черточки, какая бы его выделила. Вдруг, в волчок: «Собраться без вещей!» Я не сразу понял, что это относится ко мне, хотя в камере не было никого, кроме меня. Потом засуетился, хотя все сборы сводились к тому, чтобы подойти к двери и ждать, когда отопрут.

Повели меня в незнакомую прежде часть здания, судя по высоте просторных коридоров и полированным дверям — начальническую. В огромном кабинете с портретами за необозримым столом прямо и каменно-строго сидел плотно сбитый военный с ромбами в петлицах должно быть, сам Аустрин, начальник Архангельского управления НКВД и единодержавный хозяин области. Подле него стояло несколько человек — подтянутых, с неподкупно бесстрастными лицами. Все молча, высокомерно на меня уставилі

— Дайте ему ознакомиться и расписаться!

Стоявший в стороне младший чин достал из папки листок бумаги. У длинного стола, упиравшегося в массивный золоченый прибор, громоздящийся перед Аустриным, он отдал его мне.

— Распишитесь!

То была «выписка из протокола»,— узенькая бумажка, где слева значилось «Слушали» и было напечанано на машинке: «такой-то, имярек, 1900 г. р., сын помещика, судимый», а справа, под словом «Постановили», читалось: «Заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет, как социально опасный элемент». Внизу неразборчивые подписи.

Пока я читал да подписывал, Аустрин поднялся со своего кресла, подошел ко мне и стал разглядывать в упор. Фигура атлетическая, несколько ожиревшая, но ростом чуть ниже меня. Так что сверху вниз смотрел на него я. Массивная,

коротко остриженная голова, короткая шея, заключенная в тугой воротник, белые ресницы и брови; взгляд неподвижный, тяжелый.

— Вы понимаете, что мы даем вам возможность исправиться? Не наказываем, как того заслуживают ваши преступления. Вы можете примерным поведением и честным трудом оправдать оказанное снисхождение. Товарищ Сталин учит нас через полезный труд перевоспитывать... Но мы беспощадны к тем, кто наше доверие обманывает. Не хочет служить партии во главе с товарищем Сталиным и народу там, где ему... назначено...

Аустрин говорил с сильным акцентом, медленно, деревянно. Помолчал, продолжая пристально и с некоторым интересом меня разглядывать. Глаза водянистые, немигающие...

— У вас есть заявление? Хотите сказать что-нибудь?

Хочу, товарищ начальник,— я умышленно не сказал «гражданин», как обязывало мое положение осужденного.— По правилам русского языка надо писать не «судимый», а употребить причастие прошедшего времени «судившийся». Тут упущение, если это слово вообще уместно...

— Да?.. Ну что же... Уведите.

Не знаю, как расценили мою выходку хозяева кабинета — я был для них всего пойманной мухой, дребезжащей не попавшим в клей крылом. Возможно, не уловили насмешки. Собой я был недоволен: не к месту было мое умничание, и я бранил себя за всегдашнюю ненаходчивость. Не умею я, как фехтовальщики, сделать точный мгновенный выпад. Разящие реплики приходили в голову с опозданием. Правда и то, что мне нечего было сказать по существу: не объяснять же им, как гнусна эта пародия на правосудие! Как много отвратительнее она той же комедии выборов, раз в этой игре на кону — человеческая судьба... Этак схлопочешь, не отходя от кассы, новое следствие и новый срок!

Итак, гора родила мышь. Бросили в тюрьму шпиона, а в чем обвинить — не нашли: во всем Уголовном кодексе не подобралось подходящей статьи. В ход пущена формулировка — «социально опасный элемент», сокращенно «соэ». По классовому признаку, без нарушения закона!

Таких неопределенно-обвинительных словосочетаний, маскирующих бессудные расправы, в то время появилось множество: они заменили закон и правосудие. Распространилось «свэ» — социально вредный элемент — для воров и шпаны; «крд» и «кра» — контрреволюционная деятельность и агитация, «пш» — подозрение в шпионаже. Арсенал емких фор-

мулировок рос. В скором времени хлынет поток осужденных с трудно расшифровываемыми четырьмя буквами «чсвн» — член семьи врага народа — на срок от десяти лет до «вышки», расстрела, в зависимости от степени родства. Попутно черточка: Сталин лично справлялся по телефону, приведен ли в исполнение приговор над двумя родственниками Тухачевского. Не упустили ли их расстрелять...

Подобные дворцовые тайны мы стали узнавать в лагерях, когда они стали пополняться массой разжалованных заправил партии, поскользнувшихся на гладких паркетах, угождая диктатору.

* * *

В городскую тюрьму меня переправили в день вызова к начальству. Тут муравейник, смесь «племен, наречий, состояний...»! После отшельнического десятимесячного уединения я оказался в шумном многолюдии, в вертепе, куда волей ведомства было натолкано, втиснуто до отказа с сотню разношерстных людей. Были они настолько отличны друг от друга, что общность судьбы почти не ощущалась. Все в этой беспокойной камере с обшарпанными стенами, убогими топчанами, тяжелым столом с неотскоблимой щелястой столешницей, со слоняющимися праздными вялыми людьми выглядело устоявшимся, живущим по своим обычаям. Мне отвели место в полторы доски на нарах; не расспрашивали, давали осмотреться. Разве кто мимоходом спросит — откуда, да не встречался ли с таким-то... Камера была транзитной, пересыльной, и все тут были осужденными — со сроками.

Первое впечатление, что не встречу здесь родственную душу, оправдывалось. Состав тюремного люда отражал изменения, происшедшие за двадцать лет после революции. Были истреблены и повымерли подлинные «бывшие», представители верхних сословий царской России; их отпрыскам уже удавалось раствориться во вновь формирующемся обществе, где задавали тон и верховодили люди нового толка. Разгромленное духовенство было так малочисленно, что уже редко доводилось встретить на лагерных перепутьях заключенного священника-тихоновца. Живоцерковники успешно учились жить в ладу с властью. Не стало в 1937 году потоков раскулаченных — они к тому времени поиссякли, да и текли более всего в обход тюрем: эшелоны с мужиками, формировавшиеся по областным городам, выгружали непосредственно в местах ссылки.

...Заключение, особенно длительное, стирает внешние различия между людьми, налагает на всех одинаковую печать, гасит ум, интеллект, способности, и потому я, сколько ни приглядывался и ни прислушивался, не улавливал черт или интонаций, какие бы обличали своего, понятного человека. В камере, помимо воров и другого отребья, державшихся, впрочем, спокойно, перевес сил не на их стороне — было несколько проштрафившихся служащих: растратчиков-кассиров, махинаторов-завмагов, зарвавшихся взяточников, неунывающих и даже самоуверенных. Конфискации имущества не затрагивали припасенных этими предусмотрительными людишками кубышек, да и в лагере их ждали те же небесприбыльные коли с умом-то — должности, и любая проходная амнистия или подкрепленные весомой взяткой ходатайства сулили сокращение срока и возвращение к бескорыстному служению вождю, партии, народу...

Неощутимо влился в это сборище и я. Наравне со всеми гремел ботинками без шнурков на гулких лестницах, ходил на оправки и прогулки, напряженно вслушивался в выкликаемые на этап фамилии, сделался для новичков обтершимся заключенным...

Тут не задерживались. Попав сюда, можно было ждать через десяток дней отправки. Кое-кто застревал, большей частью специалисты: на них поступали требования из ГУЛАГа. Об этой механике мне рассказал торчавший на пересылке третий месяц инженер-технолог Иван Сергеевич Крашенинников — один из двух или трех интеллигентных лиц, встреченных мною в архангельской тюрьме. Как старожил с непререкаемым авторитетом, он пристроил меня на отдельном топчане возле себя. В помещении был закоулок, род ниши — уверяли, что мы находимся в бывшей тюремной часовне,— где жительствовали староста (Крашенинников), два его помощника, еще кто-то. Словом, камерное начальство, освобожденное от нарядов — чистки сортиров и помойных ям, уборки коридоров, разноски ушатов с кипятком: арестанты пересыльного отделения обслуживали всю тюрьму. Отмечу, что выполнять эти наряды стремились уголовники для встречи с дружками из других корпусов тюрьмы. Всегда, само собой, находились добровольцы идти на кухню — кормили впроголодь.

ГУЛАГ — крупнейший, всесоюзного масштаба подрядчик по обеспечению рабсилой,— толковал мне Иван Сергеевич, считавший, кстати, что на пересылке наблюдение ослаблено и можно почесать языки,— туда отовсюду поступают

требования. Из того же Архангельска рапортуют: есть инженер-технолог, сорока трех лет, статья 58, пункт 10, срок три года, стаж, узкая специальность, краткая характеристика. В ГУЛАГе сверяют с картотекой: откуда поступили соответствующие заявки? Спрос обеспечен. Все стройки, все горные разработки, весь лесоповал Союза! Поставляют партиями и в одиночку, своим родным гулаговским предприятиям и на сторону. Хе-хе! В Англии сто лет назад отменили работорговлю...— это-то он сказал на ухо.

— Сел я за великого пролетарского писателя,— рассказывал Иван Сергеевич.— Вернее, как сформулировано в обвинении, за его дискредитацию. Это я так неудачно свои именины отпраздновал. Были гости, все свои, между прочим: друзья по работе, старые приятели. Зашел заговор о Горьком... Нечистый и дернул меня сказать — не нравится мне, мол, его язык: вычурный, много иностранных слов... Да еще приплел Чехова, назвавшего «Песню о Буревестнике» набором трескучих фраз. А в газетах только что протрубили, на все лады размазали слова Корифея,— голос инженера сошел на еле внятный шепот, глаза шарят вокруг,— «Девушка и смерть»-де — переплюнула «Фауста» Гёте!.. Кто-то за моим столом смекнул — шмыг куда надо и настучал. Меня через день загребли.

Я обрушился на доносчиков.

— Слов нет, гадко. Ни в какие ворота не лезет: угощаться у друга, пить за его здоровье, а потом настучать,— согласился мой собеседник.— Но возьмите в соображение: каждый из гостей, пропустивший мои слова мимо ушей, знал, что ставит себя под удар. Что кто-нибудь донесет — это азбучно. И ты ответишь: при тебе говорили, а ты смолчал... Значит, заодно... и пошло! Так что вернее опередить. Именинник, ничего не скажешь, малый душевный, но сам виноват: собрал застолье и такое ляпнул!

Этот инженер был веселый и остроумный человек. «Испекли» его быстро — следствие не продлилось и месяца. Положение знающего специалиста позволяло не слишком беспокоиться за будущее — инженеры и врачи очень редко попадали на общие работы, да и срок у него был детский. И инженер мой не унывал, уверял, что «дешево отделался»: могло быть лишее.

Он был мне приятен обходительностью манер, знаниями и начитанностью; влекли к нему ощутимая доброта, снисходительное отношение к людям. И одновременно немного раздражала какая-то слепая жизнерадостность — наперекор очевид-

ному. Точно он не хотел — или не умел?— видеть, как безмерны вокруг притеснения и страдания, и, человек образованный, не вдумывался в причины, породившие наши чудовищные порядки.

Он как-то упомянул о голосовании на общем собрании — надо было требовать смертной казни очередных врагов народа, и попробуй не поднять руку «за»!

И я говорил себе, что судьба избавила меня от таких искусов, и еще неизвестно, хватило бы у меня мужества не поднять руки. И все-таки... Был же у меня пример Всеволода, отказавшегося участвовать в таком голосовании и потом еле выкарабкавшегося благодаря чьему-то покровительству... Сложно, Боже, как сложно становилось найти человека, с которым бы можно высказаться нараспашку, поговорить начистоту!

... Наташа, это вы? Боже мой...

— Как вы изменились...

Полчаса назад меня выкликнули на свидание. Я шел, недоумевая: кто бы это мог отважиться?.. Меня ввели в большую сводчатую комнату, где поодаль друг от друга были рассажены на табуретах несколько женщин. За ними лениво приглядывал сонный надзиратель. В дальнем углу, против окна, я не сразу разглядел Наталью Михайловну Путилову, сидевшую спиной к свету.

— Разговаривать только сидя, ничего не передавать,— буркнул страж и отошел, предупредив, что мне разрешено двадцатиминутное свидание.

— Как неблагоразумно, Наташа, ведь вы рискуете!.. Как вам удалось?— поцеловав своей гостье руку, я сел на табурет, поставленный против нее в двух шагах.

— Я назвалась племянницей вашей матери. Впрочем, после приговора стало проще. А вот с передачами было трудно: то вообще отказывали, то требовали подтверждения родственных связей. Все улаживать помогал шурин вашего брата — Игорь Кречетов.

Торопясь, отрывисто, оглядываясь на медленно расхаживающего по комнате стража, Наташа рассказала мне, что Всеволод был еще зимой арестован и находится в Воркутинских лагерях с пятилетним сроком. Его жена Катюша приезжала к брату в Архангельск. Ей предложили взять мои вещи — при ней сняли печать с комнаты.

— Я принесла, вот тут сапоги, белье, кое-что из одежды... Вас очень поразило известие о брате... Ах, друг мой, ему еще

повезло... Вы не знаете, что сейчас творится. В Москве сплошные аресты, берут и здесь... не только ссыльных, но и большое начальство. Говорят, в Москву увозят. Расстрелян сам Аустрин...

...С некоторых пор Путилова часто бывала у меня, иногда заходил к ней я. Сначала это были деловые свидания — Наташа перепечатывала мои переводы. Потом видеться вошло в привычку, я забегал на чашку чая. Когда мы были вместе, с нами было и наше милое петербургское прошлое.

Бывала Наташа неровной, то оживлена до экзальтации, то сумрачна и даже агрессивна. Однажды я чуть иронически воспринял ее упреки за неразборчивый почерк: «Вы относитесь пренебрежительно к работе машинистки!..» — и в слезы. Я переполошился. Бросился ее успокаивать, целовал руки, гладил по голове, просил прощения. И открылось мне, что не в моих насмешливых словах причина: была она еще молода, с нерастраченной потребностью любви и опоры, с горьким сознанием уходящих одиноких лет. Я же, и коротко с ней общаясь, полюбив ее общество, не забывал про две трагические тени — расстрелянный Сиверс, расстрелянный Путилов. И, разумеется, подавил бы в себе всякое чувство, если бы и увлекся. А вот здесь, в подлой тюремной обстановке, рухнули преграды. Несвязно, жарко, перебивая друг друга, мы торопились сказать все, что могло быть сказано раньше. И горько становилось на сердце, почуявшем то хорошее и светлое, что могло быть между нами.

Последние минуты свидания мы были как в тумане. Маленькие горячие ладошки Наташи в моих руках. Смотрели друг другу в глаза — и так объяснялись... Но — «Свидание окончено!». Прощались стоя. На какие-то секунды Наташа прижалась ко мне — не оторвать. Мы поцеловались, как перед смертью,— отчаянно и безнадежно. Еще, еще... Последний раз... И меня увели.

Кружилась голова. Тоска о невозвратном комом подкатывала к горлу. И все виделось мокрое от слез лицо с горячечными, пронзительно прекрасными глазами. В них — укор, и отчаянное сочувствие, и страх...

...Я вписываю ее имя в свой длинный синодик: Наташа Путилова погибла в том же 1937 году. Из Архангельска ее отправили по этапу в трюме судна, переполненном заключенными. Их везли морем в заполярные лагеря. В спертом зловонии Наташа задохнулась. Тело ее выбросили за борт...

Знаю я и другую смерть от удушья в схожих обстоятельствах.

При подходе немцев к Малоярославцу оттуда спешно эвакуировали наловленных высланных, во множестве осевших в этом городке — за пределами «сто десятого километра» от столицы. Был среди них Владимир Константинович Рачинский — маленький, щуплый и близорукий интеллигент чеховского склада, в прошлом богатый помещик и убежденный земец. Его впихнули в товарный вагон, где стояли впритык один к другому. Сдавленный со всех сторон, Рачинский задохнулся — когда и как, никто не заметил. По малому его росту, лицо Владимира Константиновича утыкалось в спину или грудь соседа. Быть может, он и пытался высвободиться, шевельнуть рукой, неслышно из-за стука колес вежливо просил: «Пожалуйста, чуть-чуть на секунду отодвиньтесь...» Когда выгружали из вагона, Рачинский, уже застывший, повалился как сноп на провонявший мочой пол... Умер стоя.

Нет, не утешает сознание, что с 1937 года одни палачи стали уничтожать других. Пусть тот же Аустрин и тысячи других чекистов погибли в ими же учрежденных застенках. Эта кровь не может искупить те миллионы и десятки миллионов жизней вполне невиновных людей, каких руками аустриных истребила трижды проклятая сила, прикрывшаяся знаменем «диктатуры пролетариата». И когда сейчас, в конце семидесятых годов, с высоких трибун и в партийной печати заговорили о нравственности и морали, чуть ли не о любви и человеческом сочувствии — милосердии!— я вспоминаю, переживаю заново... И режет слух лицемерный лепет. То — очередной прием, призванный ввести в заблуждение, прикрыть овечьей шкурой неслабеющую готовность подавлять, уничтожать, убивать, если только возникнет и тень угрозы этой диктатуре — уже не пролетариата, так теперь стесняются говорить, а подменившей это понятие власти кремлевской олигархии. Как говорить о добре и справедливости, не отрекшись от того кровавого марева, оставаясь наследниками дзержинских?.. Продолжая упорно называть клеветой всякое упоминание о злодеяниях минувших десятилетий? Отказываясь судить своих «преступников против человечности»?.. Как поверить разбойнику, на время припрятавшему нож, пусть он и расписывается в том, что преисполнен братолюбивыми чувствами?

...Исподволь старожилом камеры сделался и я: шло время, а меня все не выкликали на этап. Конечно же, ГУЛАГ

не взвешивал, как выгоднее меня запродать. Образованность без технических знаний не стоила и гроша, по представлениям этого ведомства, и я мог рассчитывать только на участь, уготованную мне моей первой — «лошадиной» —категорией здоровья: на почетное участие в лесоповале, как острили бывалые лагерники.

В нашу пересылку не попадали непосредственно с воли, а лишь после следствия, но слухи, подтверждавшие узнанное от Натальи Михайловны, проникали через уборщиков. Все прочие корпуса тюрьмы были, по их словам, забиты «чисто одетыми» людьми — в наркомовских куртках, длинных командирских шинелях с сорванными знаками различия. В коридоре «смертников» видели областного прокурора... Я вспомнил его брезгливо сощуренные глазки, манеры олимпийца, роняющего несколько слов перед небритым арестантом в обтертых, мятых штанах...

Эти сведения тревожили — хотелось очутиться подальше от вершившихся под боком расправ; мнилось, что волна их может захватить и тебя, с уже решенной участью. И всякий день я ждал, не появится ли на пороге камеры дежурный со списками...

Мой черед настал лишь в конце июля — я был включен в состав огромного, сколачиваемого на тюремном дворе этапа: было выкликнуто более четырехсот фамилий. Для меня так и осталось невыясненным, почему в этот архангельский арест меня продержали так долго под следствием, не соблюдая даже таких формальностей, как объявление о его продлении и окончании? Не расписывался я и в том, что ознакомлен с материалами и обвинительным заключением... Не знаю, почему оставили почти четыре месяца на пересылке... Но значение таких необъяснимых промедлений открылось мне впоследствии, когда пришлось убедиться в Высшем Смысле происходящего с нами: спасшие мне жизнь проволочки не могла не определить Благая Сила, ПРОВИДЕНИЕ. Именно ТАМ было сочтено нужным сохранить мои дни... И вот я живу, чтобы свидетельствовать!

* * *

Это я вижу впервые. В куче отбросов, сваленных за тесовым навесом уборной, копошатся, зверовато-настороженно оглядываясь, трое в лохмотьях. Они словно готовы всякую минуту юркнуть в нору. Роются они в невообразимых остатках, выбрасываемых сюда с кухни. Что-то острыми,

безумными движениями выхватывают, прячут в карман или засовывают в рот. Сторожкие вороны, что, непрестанно вертя головой, кормятся на свалках...

Даже самые опустившиеся, обтерханные обитатели пересылки ими брезгают, им нет места на нарах: они — отверженные, принадлежат всеми презираемой касте. Мне они внове, я смотрю на них с ужасом. Жалость вытесняется отвращением: человеку ни на какой ступени отчаяния недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь. И тут же думаешь, что затяжное, беспросветное голодание способно разрушить в людях преграды и барьерчики, сдерживающие животное начало.

На босых ногах — разваливающиеся опорки; худоба — уже не человеческая — проглядывает во все прорехи истрепанных штанов, засаленной, задубевшей телогрейки; черные, цепкие руки... Но страшнее всего лица — испитые, с бескровными губами, измазанные, с бегающим неуловимым взглядом. Лица упрямые, мертвые, жесткие. Их не только наказывают, сажают в карцер, но и поносят, срамят, бьют свои же заключенные. Однажды утром часовой с вышки застрелил такого «шакала», и труп его в сползших штанах и задравшейся телогрейке — белья на нем не было — полдня пролежал на отбросах, уткнувшись в них лицом. Крупные зеленые мухи ползали по обтянувшей кости коже, желтой, в расчесах... И уже в тот же день, в сумерках, там снова шмыгали тени...

Условия были и в самом деле тяжелые. На пересылку в Котласе поступало куда больше народу, чем она была в состоянии отправить. Катеров с баржами не хватало, а железная дорога исправно подбрасывала новые и новые партии. Формировали пешие конвои, но не хватало охранников — и люди жили, карауля, когда освободится на нарах место, чтобы хоть ненадолго уснуть, не то ходили взад-вперед по бараку или на огороженном колючей проволокой дворе, мокрые, продрогшие под зарядившим дождем. При раздаче пищи — миска баланды на обед, по утрам кипяток и пайка — творилось невообразимое. Хоть и были мы все разбиты на какие-то сотни, с бригадирами и каптерами, но наступал час — и вся пересылка стекалась к раздаточной. Навести порядок не могли никакие окрики и матюги. Охрана ни во что не вмешивалась: следила, чтобы не подходили ближе положенного к зоне, да дважды в день выстраивала всех на поверку. Была и какая-то иерархия из зэков, но я в ней не разобрался.

Меня привезли в Котлас в солнечный погожий день, что отчасти скрасило первое впечатление, да и ничем после Кемь-

перпункта не мог поразить меня вид вышек, огороженного проволокой пустыря, темных строений посередине. Но вот теснота и бестолочь насторожили: пробыть здесь я мог неопределенно долго – недобрая слава о котласской пересылке утвердилась прочно,— и надо было изыскивать, как не дать себя подмять здешним условиям.

Еще в теплушке мы, несколько человек, друг к другу присмотревшихся, условились на всякий случай держаться вместе и не давать себя в обиду.

Подбирались по внешним приметам: кто покрепче да поэнергичнее, не трусит, ушает доверие. Ищущих, «как на чужом горбу в рай , и всякую уголовную дрянь браковали. И сбилось нас коло пятнадцати человек. Меня поставили старшим (как- третий срок, знаю все ходы-выходы, да и кулаки на длинных рычагах дай Боже!). И мы артельно вперлись в барак, выбрали себе более или менее свободный участок, самочинно раздвинули его границы (деликатно, разумеется, действовали в пределах своих самозваных прав) и учредили караульную службу: пятеро отдыхают, пятерка сторожит, остальные гуляют, добывают сведения, получают что можно из довольствия. Все мы были с увесистыми «сидорами». Мне, уже к поезду, напоследок, Ксения Пискановская и Игорек, чудом дознавшиеся о дне отправки, принесли изрядный мешок с сухарями, сахаром, салом, теплой одеждой и обувью. Словом, я был огражден от голода, прочно обут, тепло одет, и мне было «за что бороться». Как, впрочем, и остальным членам нашей дружины по самообороне.

Приближалась осень с ненастьями и холодами. Я помнил сыпняк на Соловках и искал, как вырваться отсюда, пока не начнутся эпидемии с доходиловкой в карантинах. Начальник пересылки, к которому я пробрался, не стал со мной разговаривать: для порядка облаял, а потом стал истерически кричать, что он один, а нас как саранчи, и все с него спрашивают... Был он взъерошен и задерган, так что по-человечески заслуживал сочувствия: готовый козел отпущения. При очередной грызне в верхах будут искать виновных в «упущениях», повлекших за собой то ли мор, то ли протесты, еще что-нибудь, чтобы одних холуев заменить другими, своими ставленниками.

Помог мне фельдшер пересылки, поволжский немец, к которому я часто заходил в его амбулаторию — отгороженную в бараке тесную конуру с топчаном, табуретом и столиком, накрытым грязной салфеткой. Он раздавал порошки соды, совал пациентам под мышку шершавый от грязи градусник

и в общем резонно объявлял всех здоровыми, раз не было ни лекарств, ни возможности положить в крохотную больничку, набитую до конька.

Медикус мой был рад звукам родной речи, рассказывал про своих Frau und Kindern, как было чисто и превосходно в больнице колонии, потом, уже пожимая плечами и недоумевая — unbergreiflich![1] — делился подробностями своего «дела», заключившегося десятилетним лагерным сроком. Все это было ему в диво, не укладывалось в его голове, настроенной на немецких представлениях о законе и порядке, и он выразительно разводил руками: «Das kann ich aber nicht verstehen!»[2].

Этот застрявший в Котласе Питер свел меня с нарядчиком; тот, в свою очередь, переговорил с кем-то в конторе, и состоялось соглашение, в силу которого меня и тех из моих товарищей, кто захочет, внесут в списки ближайшего этапа на Усть-Вымь, откуда переправляли в Княж-погост и на Чибью, что потребует расхода по стольку-то рублей с носа. Четко и недвусмысленно. Цена была вполне умеренная и мне доступная. Но из нашей артели только двое последовали моему примеру. Мне уже приходилось писать о предубеждении заключенных к переменам: обжился, приспособился — и ладно! Нечего искать лучшей доли — еще хуже сделаешь!.. Одни объяснили отказ ожиданием обещанного пересмотра дела, другие — предстоящим свиданием с женой... Словом, нам пришлось распрощаться.

И в некий день — по счастью, теплый и ясный — меня выкликнули «с вещами» и погнали к проходной. Возле нее, по ту сторону зоны, дожидался конвой: с десяток солдат с примкнутыми к винтовкам штыками, подсумками и юный командирчик в ремнях и при пистолете в кобуре.

Нас было человек двести, и сдача-приемка тянулась долго. Я по инициативе моего доброго немца был неожиданно произведен в медицинские работники. Не слушая возражений, он громко, мешая русские слова с немецкими, провозгласил меня фельдшером с незаконченным медицинским образованием, навесил на меня сумку с красным крестом и вполголоса проинструктировал, как мазать вазелином потертые ноги и давать порошки при кашле и температуре.

Хлопотливый мой доброжелатель, прощаясь, уверял, что я скоро оценю льготы, возникающие из моей должности. И в

---

[1] Непостижимо *(нем.)*.
[2] Этого я в толк не возьму *(нем.)*.

самом деле: мне была указана подвода, на которой разрешалось ехать, конвоиры словно не замечали, что я иду, выбирая дорогу и нарушая строй, хотя других толкали и материли нещадно, особенно на первых верстах. И даже свой брат арестант покашивался в мою сторону, как если бы попал в некоторую зависимость от меня: отсветы магического ореола врачевателя, способного облегчать недуги и даже отвести смерть, легли на меня.

Впрочем, самозванству моему не было уготовано никаких серьезных испытаний. Начальству решительно все равно, сопровождает ли этап настоящий фельдшер или кузнец в этом звании. Лишь бы была соблюдена формальность: партия отправлена с медицинским работником. Соэтапники, может, угадывали во мне воспользовавшегося неожиданной лагерной удачей счастливца и, зная заведомо, что лекарств в моей сумке нет и никакие «освобождения» в пути недействительны заставят дошагать до места как миленького, на худой конец, товарищи полумертвым дотащат, ко мне не обращались. Да и не было за двухнедельную дорогу важных случаев клочки ваты и обрывки бинта для сбитых ног я раздавал нескупо. А кто и занемог — крепился, стремясь не отстать от «своих», добраться до места. Установив, что у меня нет ни валерьянки, ни анисовых капель или других настоек, какие можно бы реквизировать в пользу охраны, начальник конвоя смотрел на меня как сквозь стекло. И лишь однажды я попал в переделку.

Фельдшеру этапа на дневках отводилось отдельное помещение. И вот ко мне в избу зашла деревенская старуха и, жалуясь на колотье в боку и помрачение в очах, потребовала осмотра и лечения. Надежды на установление диагноза путем опроса как-то сразу рухнули. Пациентка настаивала на прослушивании, бралась за крючки кофты, тыкала пальцем куда-то пониже печенки, предлагая мне там что-то прощупать... Я врал, холодея от мысли, что посетительница моя впрямь разоблачится. И не было даже трубки (стетоскопа), чтобы произвести видимость осмотра. Уж не знаю, как мне удалось выпроводить охочую до лечения старушку она стала податливее после того, как я, держа ее за кисть куда запропастился этот чертов пульс? — наговорил с три короба о хорошем его наполнении, четком ритме, не по возрасту сохранившемся сердце и отвалил ей пригоршню порошков Natrum bicarbonicum[1]. Вот когда пригодилось знание Мольера!

[1] Сода *(лат.)*.

...Сначала, с непривычки, приходилось тяжело: первые переходы были по двадцать пять и тридцать верст, когда после тюрем нас от свежего воздуха качало. Но чекисты свято верят в пользу крутых стартов: сразу «взять в кулаки», ошеломить теснотой, грязью, угрозами. Словом, выбить из человека представление о каких-то его мифических правах. Сморенный и одуревший от жуткой карусели зэк делается шелковым. Потом мы втянулись, отшагивали легче, да и проходить стали за день по пятнадцати верст. И оставалось возблагодарить попечительное начальство.

Вообще же конвой нам достался относительно смирный, из новобранцев, еще не постигших науки настоящего обращения с нашим братом. На второй или третий день перестали награждать зуботычинами, требовать, чтобы шли рядами, не заставляли трусить, добиваясь рекордной быстроты перехода. Удостоверившись через наушников, что никто не замышляет побега, нет опасных смутьянов, допустили послабления: удлиняли дневки, разрешали уходить вперед, в деревнях приостанавливаться, чтобы выторговать или выпросить у опасливо следящих за арестантами жителей картофеля или молока.

Походило ли наше следование по старинному северному тракту, некогда видевшему кандальников, на те, прежние, корившие бесчеловечное царское правительство с полотен художников и страниц писателей-народников? Не было звона цепей и полосатых арестантских курток — видом своим мы мало отличались от глазевших на нас обитателей пустынных городков и немых деревенских жителей. И оттого, вероятно, не умилялся никто над «несчастенькими», подавая милостыню и крестясь, как то делали старинные русские люди, а смотрели насупленно и непроницаемо, без сочувствия, но и без враждебности.

Враждебность пришла позднее, когда лагерными метастазами пророс весь Север. Власти, чтобы поощрить население охотиться на беглецов, распространяли слухи о якобы совершаемых ими грабежах и убийствах, а то и инсценировали их. Ловля беглых сделалась для колхозников видом отхожего промысла — премии за «голову» были установлены выше, чем за волков.

От того, чтобы ехать в телеге, я отказался сразу: достаточно было истинно в ней нуждающихся — немощных и старых. Я же переживал настроение вырвавшегося на волю затворника и потому шел не только легко — ходоком я всегда был хорошим,— но и весело. Окрыляли и выветривали из памяти затхлые тюремные картинки: наполненный лесными запахами воздух, солнечный свет, шелест деревьев, живая

земля под ногами, первые мазки осени. И это целительное и заживляющее воздействие природы, осознанное мною впоследствии как божественное начало жизни, я еще неопределенно, без осмысления, стал постигать именно тогда: вдруг ловил себя на том, что не вижу идущего в трех шагах вооруженного охранника, забыл про ожидающие меня лагпункты, а поглощен красотой окрапленных багровыми брызгами зарослей черемухи над гладью укромного озерка, покрытого желтыми язычками опавших листьев...

Своего отца-командира мы видели только по утрам, при отправке. Он обычно уезжал вперед на своем воеводском коне или, наоборот, застревал в приглянувшейся ему деревне и потом, обгоняя нас, рысил мимо растянувшейся на версту партии и начальственно на нас покрикивал, недосягаемый для летевших ему вдогонку острот по поводу посадки — он сидел в седле воистину как собака на заборе — и бабьих утех. Осведомленные блатари произвели его в лютые бабники, причем уверяли, что благосклонность сельских обольстительниц он приобретает за счет нашего кровного дорожного довольствия. Солдаты, завидев его, начинали усердствовать, но едва он скрывался за деревьями, рвение их ослабевало и они оставляли нас в покое.

Мы прошли Сольвычегодск, потом миновали Яренск, напоминавшие о старых-старых страницах истории России, заполненных легендами о творимых некогда бесчинствах и насилиях. В вотчинах Строгановых царили каторжные порядки. На соляных промыслах гибли обманутые мужики. В век фаворитов всесильные временщики ссылали на Вычегду и Яренгу своих соперников. Где-то тут могилы незадачливых брауншвейгских и шлезвиг-голштинских пришельцев, на свою беду, породнившихся с наследниками русского престола. «Слово и дело», тайная канцелярия, бироновщина, Шешковский... Россия под знаком произвола! Экая невинная кустарщина, скажем мы, умудренные славным опытом своего столетия...

Годы моей юности и учения были заполнены чтением исторических повестей: темной жутью веяло от описаний дворцовых соперничеств и интриг, кончавшихся заточением в казематы крепостей и монастырские башни, от рассказов о допросах со щипцами и дыбой, плахой и колесованием. В начале двадцатого века все это не могло не представляться просвещенному юноше давнишним, навсегда изжитым варварством. Как в его время, так и на памяти отцов в России уже нельзя было никого судить без улик и осудить

без доказанной вины. Иначе суд оправдывал! Последовательно и успешно вытравлялись последние пережитки старых нравов, и самые заматерелые угрюм-бурчеевы уже не решались воспользоваться своим шатким правом решать дела в «административном порядке»

Вплоть до семнадцатого года были все основания считать российских подданных огражденными от произвола власти земскими учреждениями, гласностью и независимым судом. Нельзя было безнаказанно посягнуть на их жизнь, достоинство и положение. И несомненно, справедливо исходить именно из этой достигнутой — точнее, отвоеванной — степени свободы, безопасности общественной и частной жизни при оценке всего последующего периода развития порядков под большевиками. Пишу об этом потому, что ныне на Западе уж очень громко заявляют о себе «знатоки» русской истории, основывающие свои выводы на облыжном утверждении о будто существовавшем у нас до революции произволе и беззаконии, возведенном в государственную политику.

Дело не только в том, что жестокие расправы с целыми народами, сословиями и группами жителей превзошли по размаху кровавые тризны Ивана Грозного, казни стрельцов или подавления восстаний, превзошли все, что когда-либо вытерпели русские от своих правителей, но и в утвердившемся в стране бесправии, в ставшем для советских граждан нормой и законом непризнании их прав, достоинства и независимости...

Вряд ли вид старых, добротных деревянных домов Яренска, говоривший о прочных устоях и обособленности неприветливого для пришельцев уклада жизни, вызвал во мне именно такой ход мыслей. Но какие-то исторические реминисценции и сопоставления напрашивались, несомненно, и тогда. Годы заключения, отстранив от активной жизни, невольно приучили предаваться всяким размышлениям.

Общие приметы лагпункта в Усть-Выми смешались с обликом других зон и городков, составлявших систему Ухтинских лагерей. Частокол с приземистыми вышками, дрянной постройки низенькие бараки, грязь, клопы и особая скудость условий. В баньке не хватало на всех воды, имелось всего три шайки; голые нары из жердняка без клока сена или соломы... Черпак баланды выливай хоть в шапку, если нет своей посуды... Но это уже ячейка лагерного хозяйства, которому лишь бы поскорее перемолоть полки арестантов — работы развернуты широким фронтом, и потому давай, давай побольше народу, да поскорее! Едва привели и пересчитали,

уже начинают выкликать на внутренний этап: ГУЛАГ взял подряд на строительство железной дороги и поклялся любимому вождю сдать ее досрочно. А потому — дух из зэков вон!— пусть вкалывают...

Меня, уже лишенного сумки с красным крестом, а с нею и вкушенных благодаря ей привилегий (эх, ночевки в тихой и чистой избе с мирным тиканием ходиков и оттаявшими после первого знакомства хозяевами!), вместе с моими соэтапниками погнали, даже не дав домыться в бане, на пристань, где втиснули в и без того перенаселенную баржу, вдобавок груженную железом, которое мы же и перетаскали на своих плечах. Плавание по Выми не оставило особых впечатлений. Уже через день ли, два выгрузили нас в Княж-погосте — лагпункте, ставшем штабом строительства железной дороги.

Но я и тут не задержался. По каким-то соображениям меня увезли дальше, в составе небольшой группы заключенных. Выяснилось, что всех нас роднит общий признак — первая категория, из чего можно было заключить, что нас вряд ли ожидают конторские столы или даже мирная пилка дров на хоздворе.

Все же меня успели несколько раз сгонять на строящуюся трассу, и я даже удостоился лицезреть высочайшее начальство Ухтинского лагеря. Был тут и знаменитый Мороз, заявлявший, что ему не нужны ни машины, ни лошади: дайте побольше з/к з/к — и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс. Деятель этот был готов мостить болота заключенными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток — у костра погреются!— без котлов для варки пищи — обойдутся без горячего! Но так как никто с него не спрашивал за «потери в живой силе», то и пользовался он до поры до времени славой энергичного, инициативного деятеля, заслуживающего чинов и наград.

Я видел Мороза возле локомотива — первенца будущего движения, только что НА РУКАХ выгруженного с понтона. Мороз витийствовал перед свитой — необходимо, мол, срочно, развести пары, чтобы тотчас — до прокладки рельсов!— огласить окрестности паровозным гудком.

— Вы понимаете, какое это имеет значение? Какой эффект! Как это поднимет дух строителей! Они будут рвать все нормы! Откажутся отдыхать... гордиться станут: первыми разбудили тайгу... от векового сна. Можно будет рапортовать в Москву, доложить товарищу Сталину: сон се-

верной глухомани нарушен... раздался исторический сталинский гудок...

Окружавшие оратора чины внимали. Тут же было отдано распоряжение: натаскать воды в котел и разжечь топку!

* * *

Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду, рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются добела, и близко развешанное тряпье того и гляди сгорит, а если развесить подальше — рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих? Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре, на верхнем ярусе нар, настланных из неокоренных жердей. Тут бывает как возле паровозной топки. От расшурованных в объемистом чреве бочки смолянистых кряжей железо накаляется, как в горне, и обжигающий жар проникает в далекие и темные закоулки землянки: впору лежать, как на полке в бане, нагишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага.

Но я старожил. Давно кочую по лесным лагпунктам и потому знаю, что усердно топят только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают и разбираются. Потом все полягут спать, никому неохота встать и подложить в гаснущую топку дров, да их частенько и не хватает на всю ночь. А с дневального чего спросишь? Больной, обколоченный старик... Пошлет тебя подальше, натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье, из какого сооружено его ложе, и снова захрапит. Едва огонь ослабеет, как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку: она слеплена из жердей, крыша из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли. Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке: тепло держится тут дольше. Да и сподручнее следить отсюда за своим добром: прозеваешь — и спрашивать будет не с кого. И ступай, пожалуй, на целый день в лес в котах из автомобильных покрышек на босу ногу! У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы

старой шинели, доставшейся от задавленного деревом при валке товарища, и я поневоле над ними трясусь.

В моем представлении поморозиться — последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами. Даже видит в этом великую удачу. «Уроки», правда, сумасшедшие, за невыполнение грозят тяжкие кары, но превратиться в этой обстановке в инвалида — уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем... Вопреки здравому смыслу и опыту я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной. Ни за что не хочу протянуть ноги за колючей проволокой. Умереть хочется так, чтобы в последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо, а не стояли бы у смертного одра шакалы, караулящие, когда можно будет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть теплыми портянками; чтобы нагой труп не сбросили в безымянную яму... Вернее всего, к тому неизвестному дню не останется дружественных лиц, а «бесчувственному телу равно повсюду истлевать», так что резоны, какими я себя убеждаю not to flinch — не дрогнуть, стоять твердо,— вовсе неосновательны. Но пока что я вот так — сопротивляюсь...

Из-за низкой крыши ложе себе я стелю, ползая на четвереньках. Изголовье приходится улаживать, отступя возможно дальше от свеса крыши: мохнатые и колючие еловые ветви в этом месте закуржавели, как в лесу. Никакое тепло сюда не доходит.

Подушкой служат ботинки и холщовая сумка с моим имуществом — там миска с ложкой, рваная сорочка, лысая зубная щетка, раздавленная мыльница с обмылком, обломок гребня, чехол из-под бритвы, еще какой-то вздор. Сам не знаю, почему я всего этого не выбрасываю, а таскаю за собой, слежу, чтобы не украли, волнуюсь при шмонах — не отобрали бы. Но есть в сумке и нечто для меня ценное — очки. Я близорук и без них не обхожусь.

Нары я застилаю своими ватными брюками, накрываюсь гимнастеркой и бушлатом. Все это очень заношенное, задубевшее от пота и грязи, всегда чуть влажное. Спасение в том, что спать приходится вповалку. Днем мы между собой если не враги, то ощетинившиеся конкуренты: жизненных благ отпущено на всех так мало, что за них поневоле бьются. Чтобы мало-мальски полегчало, надо добиться расположения начальства, а единственный путь к нему — наушничать и доносить на соседа. И сторожит всех дьявольская ло-

вушка — соблазн пролезть в надсмотрщики... Но по ночам холод заставляет искать соседа, прижиматься к нему ближе, а когда уж очень невтерпеж накрываться с головой вдвоем одним бушлатом, чтобы надышать потеплее. Тяжел и удушлив дух под таким накрытием. Засыпаешь одурманенным.

С какой брезгливостью вспоминалось зловонное тряпье, каким я накрывал тогда лицо — кажется, ни за что в мире не прикоснулся бы теперь к этой засаленной рвани! Впрочем, зарекаться ни от чего нельзя: это я хорошо усвоил.

Желанный сон-забытье не всегда приходит сразу: как ни дороги короткие часы отдыха, как ни велика усталость — а может, именно из-за нее,— посещает бессонница. Это очень тягостные часы. Пока тепло — свербит давно немытое тело. Жерди словно обретают твердые шипы. Но печка скоро остывает, и отовсюду проникают ручейки холода. Мороз находит изъяны в коконе, каким я ухитрился от него отгородиться. Одежонки куцые: начнешь подтыкать полу под один бок, откроешь другой, так что лучше не шевелиться и терпеть, пока хватает мочи. Лежу и тщетно призываю сон.

Мысли в голове засели тягучие, унылые. Я думаю, что опустился, отупел, и не на что надеяться впереди. Второй год не выхожу из зырянских лесов, меня перебрасывают с одного лагпункта на другой, но в том же роковом звании лесоруба. ГУЛАГ торгует з/к з/к направо и налево, поставляет их заводам и рыбным промыслам, во всякие конструкторские бюро, в ветлечебницы, даже в театры и рестораны. Есть ловкачи и блатмейстеры, прислуживающие в столовых, торгующие в магазинах, командируемые по городам, счастливчики, попадающие в дворники, кучера, холуи к начальству... Они все живут в тепле, ходят в баню, сыты, спят под одеялом. Но у них — специальность, а у меня «лошадиная» категория: при заключении контрактов с клиентами особо оговаривается, сколько будет поставлено человек (душ, голов) первой категории. Остальные — как принудительный ассортимент при покупке дефицитного товара. Лингвисты, преподаватели иностранных языков, нужны не более упраздненных денег... Темна ночь, и нет просвета.

Но вот становится нестерпимой вонь под телогрейкой, сбилась обернутая вокруг ног гимнастерка, и мне приходится открыть лицо и приподняться. Надо упеленываться заново. В землянке почти полная темнота. Храп доносится приглушенно из-за укутавших головы тряпок. В дальнем конце, против топчана дневального, коптит трехлинейная лампа без стекла. Стойки нар и бесформенные тени загора-

живают огонек. Смутно различаю возле себя темные бугры — фигуры спящих впритык друг к другу, накрытых чем попало.

Ярче огненного язычка лампы — щели в дощатой перегородке, отделяющей небольшую каморку. Там утеплены стены, потолок обит шелевкой, стоят топчаны, есть одеяла, железная, обложенная кирпичом печка и лампа на столе. В этом уюте живут своей особой, недоступной жизнью бригадир-нарядчик, воспитатель КВЧ (культурно-воспитательная часть) и каптер. Эти люди не только сыты, одеты в добротные полушубки и ходят в валенках, от которых любой мороз отскакивает, но и всесильны: судьба всех обитателей землянки в их руках. И потому стоит кому-нибудь из-за перегородки кликнуть: «Эй, кипятку!», как первый услышавший со всех ног бросится с чайником на кухню, поставит его на печурку, подбросит дровишек...

Из этого маленького эдема доносятся возгласы, громкий смех, веселая ругань: хозяева чулана забавляются с воровкой Лёлькой Конь. Она числится уборщицей на вахте, щедра на любовь и корыстна. Каптер отдает ей бумазею, отпускаемую на портянки,— она красит материю и шьет себе платья. У Лёльки слегка сиплый голос, воспаленные, чуть навыкате козьи глаза и обольстительная развинченная походка. Надо остерегаться ей не угодить — она мелочна и злопамятна.

...Я все не сплю. Теперь одолевают насущные заботы. Разваливается ботинок, нет махорки для инструментальщика, и он непременно подсунет пилу с неразведенными, тупыми зубьями. Прошел слух, что переводят куда-то десятника, душевного человека, безотказно ставящего в наряды «вып» — норма выполнена — и приписывавшего соответственно заготовленные кубометры. «Кто их под снегом проверит?— резонно говорил он.— А когда дойдет до дела, нас тут и следа не будет!» Таких людей раз-два и обчелся... Окажется вместо него кто-нибудь выслуживающийся, подхалим, что тогда делать?

Кто-то трепался, будто в УРЧ поступил срочный запрос из Кеми на зэка, владеющего английским языком. Вздор, конечно, типичная лагерная параша, но все-таки будоражит. Правда и то, что здесь не выстоишь, коли не станешь цепляться за россказни об амнистиях, переменах, совестливых прокурорах, которые вот-вот приедут для нелицеприятного пересмотра всех дел, коли не будешь утлую ладью свою направлять курсом от одной надежды к другой, так, чтобы

всегда маячил впереди светлый огонек. Эти надежды никогда не оправдываются, но вечно живы.

...Сухие дрова в костре горят дружно. Пламя с воем завивается кверху и обдает нестерпимым жаром. Мне, сидящему возле огня, впору отодвинуться — колени в рваных брюках припекло, носки ботинок накалились, и лицо приходится отворачивать и загораживать рукавицей, но боюсь потерять место: к костру жмется человек двадцать. Только шагни в сторону, и живое кольцо сомкнется за тобой и отгородит от тепла.

Все сидят или стоят молча, уставившись на огонь, все в одинаковых мешковатых бушлатах и серых суконных ушанках. У всех одно и то же угрюмое выражение, сковавшее потемневшее от стужи и копоти лицо. Табаку ни у кого нет, и цигарок не видно. Оцепенелую тишину зимнего леса нарушает лишь гудение пламени, да за спиной то и дело отрывисто и гулко щелкает мороз, словно кто с размаху бьет здоровой дубиной по стылым стволам. Звук раскатывается по всему лесу.

У костра изредка возникают разговоры — вполголоса, с запинками. Все, в том числе и я, остро прислушиваемся.

— Неужто не помнишь? Тот, у кого романовскую шубу увели. Сразу, как пригнали, в первую ночь. Он еще опознал ее на десятнике нижнего склада, ходил жаловаться,— поясняет ровный, степенный голос.

— Седенький такой, ходил прихрамывая?

— Ну! Так вот, надумал он большой палец себе отрубить, а тюкнул по кисти — почитай, напрочь оттяпал... Не иначе зажмурился, когда топором замахивался. Его потом спрашивают: «Что же ты, дурак, себя без правой руки оставил? Куда ты теперь без нее? Рубил бы, как другие, на левой большой палец...» — «Я,— говорит,— встал неловко: руку-то на пень положил, а ноги-то оскользнулись — лед вокруг. Мне бы на колени встать, ловчее бы вышло. А так левша я...» Засудят его теперь, как думаешь?

— Десятку как пить дать вкатят,— звучит категорический ответ.— Теперь статья есть в кодексе для саморубов. Только что без руки, куда его? На инвалидной командировке дойдет.

— Нескладный народ эти деды, норовят поскорее до хаты, к бабе на печку, а как сделать, не знают,— рассудительно определяет кто-то и тем подводит итог разговору.

И все снова угрюмо смолкают, и снова становятся слышнее шипение сырой колоды в костре и выстрелы мороза, все лютее оковывающего мир. Мы отлично знаем, что давно пора начать работу, но нет сил оторваться от завораживающей игры огня, покинуть теплое место. И как же трудно сделать усилие, шевельнуться!

Нас, как всегда, пригнали на лесосеку затемно, и мы развели костер, поджидая рассвета. Но уже показался край нераннего зимнего солнца — багрового, зловещего,— а мы все еще сидим. Пожалуй, грейся хоть целый день! В лесу все равно продержат, пока не будет выполнен «урок». Бригадир с воспитателем раскидают костер — это испытанный способ, чтобы заставить свалить назначенное число деревьев и подтащить к санной дороге положенное количество бревен.

И я наконец решаюсь встать первым и отойти от костра.

— Ему больше всех надо, очкастой суке!— злобно цедит кто-то за моей спиной. Я узнаю голос, но мне неохота обернуться, чтобы ответить. Пусть себе!

Один за другими работяги следуют моему примеру, у костра не остается никого. Еле двигаясь, через силу, принимаемся за работу.

Стужа, затаившаяся за пределами очерченного огнем магического круга, сразу сковывает, хватает, как клещами. Стоит ступить в рыхлый снег, как он тотчас попадает в ботинок: сухой и черствый, как соль, снег, просыпавшись за портянку, ожигает кожу. Ноют стынущие пальцы, нетвердо охватившие рукоять лучковой пилы.

Не скоро, ох как не скоро начинает брать свое движение: понемногу разогреваешься, мысли сосредоточиваются на том, откуда лучше делать запил, в какую сторону валить дерево. И поневоле начинаешь шевелиться проворнее, чтобы не терять попусту времени: кубометры урока как наведенное на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликующие перья, писавшие об этом как о трудовом подъеме!.. Но, как бы ни было, ГУЛАГ лес заготавливал.

Справившись со здоровенным стволом — не менее двенадцати дюймов в отрубе! это, пожалуй, без малого кубик,— я распрямляюсь, сдвигаю шапку с влажного лба... Стоит околдованный зимой лес. Да не какой-нибудь жиденький, просвечивающий, а нетропутый от века северный бор — глухой, нескончаемый, с великанами соснами и лиственницами. Его впервые потревожили люди... Деревья плотно укрыты снегом. Ели стоят как торжественные, сверкающие свечи. Там,

где не достает солнце, скопились яркие синие тени. Не заросшие подлеском поляны и прогалы в плавных мягких буграх, похожих на белые волны: они искрятся и блестят в тени. И так тихо, так неподвижно кругом, что мерещатся какие-то волшебные чертоги из сказки. Я поддаюсь очарованию, даже отвлекаюсь от своего дела — такой первозданной красотой довелось любоваться! но не настолько, чтобы забыться, зашагать между деревьями. Уйти в эту красоту куда глаза глядят...

Невдалеке сухо щелкает винтовочный выстрел. Сразу настораживаюсь: давеча у костра рассказывали про знакомого зэка с ближнего лагпункта. Приметный был человек, и многие его знали. Он носил пышные усы с подусниками в память командира своей незабвенной Первой Конной, сохранил папаху, которую лихо заламывал и сдвигал набок. Его не остановил предупредительный выстрел конвоира, крикнувшего ему, чтобы не заходил дальше прибитой к дереву дощечки с выведенными углем буквами: «Зона». Этот бывший буденовец, сильно поморозившийся накануне, будто бы сказал товарищам: «Чем тут понемногу десять лет сдыхать, лучше разом кончить» — и, зашвырнув топор в снег, открыто попер мимо часового... Так, должно быть, когда-то бесстрашно шел он на цепи белых. Четвертым выстрелом часовой убил его наповал.

Однако на этот раз все было вовсе иначе.

Послышалось тугое поскрипывание снега под бойкими шагами, и на дороге из-за деревьев показался припорошенный снежком человек в коротком полушубке, с раскрасневшимся на морозе оживленным лицом: он издали приподнял — смотрите, мол! — убитого глухаря, которого держал за лапы. Это — конвоир. Но сейчас он только охотник, хвастающийся своей добычей, радующийся удаче. Подправив винтовку на ремне за плечом, он запросто подходит к кучке заключенных, рассказывает, демонстрирует убитую птицу, «аж в сердце угодил». Потом, вынув кисет и закурив, отрывает бумажки и дает щепоть махорки:

— Покурите, ребята!

Проснулся и во мне охотник: не отрывая взгляда, любуюсь великолепной птицей, просто вижу, как сидит на вершине сосны темный, отливающий синим блеском глухарина. Мне хочется сказать, что и я ходил на тока, метко стрелял из мелкокалиберки, расспросить его, как все произошло, но... Сквозь мимолетный приступ добродушия проглядывает — ее не спрячешь — привычная настороженность

конвоира, зоркие глаза его помимо воли шарят и шарят по нашей кучке. Да и винтовка с боевыми патронами выдана этому сытому и крепкому, самодовольному парню вовсе не для стрельбы по боровой дичи...

* * *

В растворенные настежь ворота лагпункта с прибитым к перекладине кумачом со слинявшей надписью «Добро пожаловать» входят быстрым шагом, шеренга за шеренгой, люди с кладью в руках и на спине. Конвоиры с двух сторон громко отсчитывают пятерки. Начальство стоит в стороне, оценивая пополнение. Вокруг преданно суетятся сотрудники УРЧ из заключенных. Они тоже считают людей, делают перекличку, сличают приметы с установочными данными в формулярах. Происходит предварительная сортировка прибывших по статьям — этих в барак, тех — в землянку, а вот того сразу в шизо (штрафной изолятор) — в зависимости от спецуказаний при каждом пакете. Врачи бегло всех осматривают и тут же проставляют категорию трудоспособности. Кого-то с места отправляют в стационар.

Мы стоим в некотором отдалении. Приглядываемся к лицам, вслушиваемся в выкликаемые фамилии. Каждый ожидает — и страшится — встретить родственника, друга, прежнего сослуживца. Хотя расспросы впереди и сейчас разговаривать с новобранцами запрещено, у иных не хватает терпения. Они бросают наугад: «Кто, может, встречал такого-то?» Эти наверняка ждут сведений об арестованных близких.

Большинство в партии — военные в комсоставовских длиннополых шинелях, без форменных пуговиц и знаков различия. Много и штатских. Люди самые разные, но вид у всех растерянный: на лицах — обида и недоумение. Этапники словно не вполне очнулись после водоворота событий — изматывающего следствия, шока приговора, мытарств пересылок. И наконец, последних ритуалов, как бы подытоживающих переходное состояние и открывающих новую лагерную главу жизни: их стригут и рядят в арестантские бушлаты. У некоторых выражение, словно они не вполне осознают происходящее, надеются, что это им померещилось: они вот-вот очнутся и возвратятся к своим привычным делам — будут командовать воинскими частями, сидеть в штабах, руководить, приказывать, выполнять ответственные поручения за рубежом. Словом, снова вкусят сладости своего положения.

Положения лиц, включенных в сословие советских руководителей...

Эта уже в те годы достаточно четко выделившаяся общественная формация успела приобрести черты, которые отличали ее ото всех когда- и где-либо прежде складывавшихся аппаратов управления и бюрократии. Чтобы попасть в эту элиту, не требуется знаний, тем более умения самому работать. Пригодность кандидата определяется в первую очередь его готовностью беспрекословно выполнять любые указания и требования «вышестоящего» и заставлять подчиненных работать не рассуждая. Само собой исключаются умствования, нравственная брезгливость: все, что на жаргоне советских сановников презрительно отнесено к разряду «эмоций». Зато безоговорочная исполнительность, рвение в стиле аракчеевского девиза «усердие все превозмогает» и льстивость обеспечивали подчиненным полную безответственность, в смысле ответа за результаты своей деятельности. Тут они всегда могут рассчитывать, что их прикроют, выгородят. Если уж слишком скандальны злоупотребления или провал, тихонько уберут... чтобы также без рекламы пристроить на другое, одинаково прибыльное место.

Счастливец, попавший в номенклатуру, то есть зачисленный в некие списки, обеспечивающие до смертного часа жизнь в свое удовольствие за счет государства, паче всего должен уметь вдалбливать своим подчиненным — при помощи вышколенного аппарата в полном смысле купленных пропагандистов и агитаторов — представление о несравненных достоинствах строя, привилегированном положении советских трудящихся, о непогрешимости партии и т. д. и т. п. И особой заслугой признается умение внушить окружению представление исключительности природы «слуг народа», как всерьез называют себя самые разжиревшие тунеядцы, занимающие высокие и высочайшие посты, требующие, само собой, и чрезвычайной обеспеченности.

Эти присвоенные высоким чинам привилегии ответственные работники, особенно высшая прослойка, до поры до времени маскировали. Сверхснабжение шло скрытыми каналами, и даже жены и любовницы наркомов не рисковали щеголять драгоценностями и туалетами. Из ряда выходящим случаем были бриллианты, утверждали — из царского алмазного фонда,— демонстрируемые со сцены Розанель, названной смелым карикатуристом «ненаглядным пособием» Наркомпроса. Только положение дарителя (наркома просвещения Луначарского) спасало от скандала.

Но после того, как было предложено придерживаться стиля «жить стало лучше, жить стало веселее», а народ оказался взнузданным до состояния столбняка, фиговые листки были отброшены. Лимузины, фешенебельные дачи, царские охоты, заграничные поездки и курорты, больницы-хоромы, дворцовые штаты прислуги, закрытые резиденции и, разумеется, магазины, ломящиеся от заморских товаров и изысканных яств, потому что-что другое, а выпивку и закуску «номенклатура», как и все выскочки, ценит,— все это сделалось узаконенной принадлежностью быта ответработников. Разумеется, в строгом соответствии с табелью о рангах — важностью занимаемой должности.

Тогда, в конце тридцатых годов, не была еще вполне изжита ненавистная для партийных боссов «уравниловка» — отголосок счастливо канувшего в преисподнюю периода ношения потертых кожанок, партмаксимума, сидения в голых кабинетах и привития личным примером населению пуританских нравов. Регламентация атрибутов власти еще не приобрела нынешние четкие грани стройной системы (поясню: если, например, заведующему отделом полагается всего место в служебном автобусе, то начальнику главка дается «Волга» в служебное время, а заму министра — она же в личное пользование. Второстепенному министру выделяется «Волга» в экспортном исполнении — черная, а министру ведущего ведомства — «Чайка», и так все выше, вплоть до бронированного персонального лимузина с вмонтированными фирмой «Роллс-ройс» баром, телевизором и прочими дорожными необходимостями... Та же шкала в закрытых распределителях. Кому под праздник приносят с почтением на дом пудовый короб со всякой снедью, а кто сам отправляется на улицу Грановского и получает строго по норме полкило балычка, звенышко осетрины, копченой колбасы, баночку икры — тут опять по чину: кому черной, а кому кетовой. Это — вожделенный кремлевский паек). Снабжались не по чину, отчасти стихийно — кто сколько урвет.

Но как бы ни было, большинство расходившихся по лагпункту, подгоняемых дневальными, обряжаемых в лагерную сряду новичков переживало внезапное и крутое ниспровержение, тем более горькое для многих, что этому резкому переходу «из князи в грязи» предшествовало длинное и упорное, унизительное выкарабкивание из низов.

Но было не только пробуждение у разбитого корыта, а еще и шок, встряска всего существа, вызванные полным крахом нехитрого миропонимания этих людей. Их крушение

нельзя назвать нравственным, потому что длительное пребывание у власти, при полной безответственности и безнаказанности, при возможности не считаться ни с чьим мнением, критикой, законом, совестью,— настолько притупили у этих «государственных мужей» понимание того, что нравственно, а что безнравственно, понимание границ дозволенного, что они сделались глухи к морали и этическим нормам.

Тут удобно сослаться на появившееся в шестидесятых годах в самиздате сочинение Аксеновой-Гинзбург. Она очень честно рассказала, скрупулезно придерживаясь запомнившихся фактов, о своих тюремных и лагерных мытарствах, начавшихся в 1937 году. Ее воспоминания — это документ. Документ, характерный для лиц очерченного выше сословия «ответственных». Автор не то троцкистка, не то вдова крупного партийца-троцкиста, то есть плоть от плоти этой породы. Как же неподдельно горячо она обличает «произвол», задевший ее «неприкосновенную» особу — ведь она старый член партии, сподвижница «вождей», проводница ленинских заветов! И какой конфуз: оказалась за решеткой и на этапе вместе с... да вот именно, почтеннейшая поклонница Льва Давидовича... с кем? Уж не назовете ли вы, Евгения Семеновна, врагами народа вот ту тройку бородатых работяг в лохмотьях, с наследственными мозолями на руках, которых оторвали вы от плуга, помогли разорить и благословили сослать сюда, на каторжную работу? Или этих двух истощенных лесорубов, что точат возле инструменталки топоры, обреченных сложить здесь кости только из-за того, что они, поверив вашим обещаниям, не уехали от вас подальше, а остались работать на КВЖД — один сцепщиком, другой стрелочником,— когда вы вырвали дорогу из цепких японских лап? Вы описываете, как выстраивали вас на поверки. Пройдемся с вами вдоль строя, вглядимся в лица, порасспросим... Из десяти вброшенных в этот ад — такого не могли видеть около ста лет назад Чехов на Сахалине и почти полтораста — Достоевский в «Мертвом доме»,— девять человек попали по выдуманному, вздорному обвинению. Они здесь лишь потому, что вы и ваши сподвижники если и не работали сами в карательных органах, то есть лично не отправляли сюда этих несчастных, то одобряли эти расправы, голосовали всегда «за». Для вас было нормой, в порядке вещей, чтобы тихого и робкого деревенского батюшку, обремененного многочисленной семьей, придавленного нуждой, невежеством и страхом, хватали, держали в подвалах ЧК, до смерти пугали и, вдоволь наглумившись, «шлепали».

Эка штука, одним попом меньше!.. А не то истерзанного, сломленного, ссылали умирать с голоду в Тмутаракань, а изгнанным отовсюду «матушкам» с исключенными из школы детьми предоставляли погибать, как им заблагорассудится... Вы сидели в первом ряду партера, когда уничтожали ветхих, впавших в детство царских «сатрапов», кадровых и случайных прежних военных, духовенство, чиновников. Даже лавочников и церковных старост... И приветствовали, и поддерживали: «Враги, так им и надо!» Но вот очередь дошла до вас...

Беды и страхи, что вы считали справедливым обрушивать на всех, кроме вашей «элиты», коснулись вас. Грызня за власть закончилась вашим поражением. Если бы взяла ваша — Троцкий одолел Сосо,— вы бы точно так же стали бы избавляться от настоящих и предполагаемых конкурентов! Вы возмущаетесь, клеймите порядки, но отнюдь не потому, что прозрели, что вам открылась их бесчеловечность, а из-за того, что дело коснулось лично вашей судьбы.

И потому, что Аксенова-Гинзбург пишет обо всем этом, так и не углядев по прошествии лет, как, в сущности, безнравственна и подла такая позиция, можно думать, что и прежние ее единомышленники и друзья, пригоняемые тогда в лагерь, не сознавали, что угодили под жернова, ими же приведенные в движение и уже подавившие и уничтожившие миллионы и миллионы безвинных. Притом людей, не рвавшихся, подобно им, к власти, а со страхом вжимавших голову в плечи перед грозой, людей, непричастных к политической борьбе и потому не лишивших себя, подобно «оклеветанным ленинцам», права роптать и возмущаться. Но воистину — поднявший меч от меча и погибнет...

И еще мемуары Гинзбург позволяют заключить об общем нравственном одичании утратившей совесть советской «интеллигенции», перенявшей мораль и понятия правящей клики[1].

Потрясение, о котором я упомянул выше, не было тем ужасом и отчаянием, что охватывают человека, вдруг уразумевшего мерзость и непоправимость совершенных им злых дел. Не было началом раскаяния при виде причиненных людям

[1] Свои суждения о воспоминаниях Аксеновой-Гинзбург я основываю на ознакомлении с ходившей по рукам в Москве самиздатовской машинописной копией. (Речь, по-видимому, идет о первом томе «Крутого маршрута», который Е. С. Аксенова-Гинзбург писала в надежде на публикацию в СССР.— *Ред.*).

страданий, а лишь возмущением обстоятельствами, швырнувшими их на одни нары с тем бессловесным и безликим «быдлом», что служило им дешевым материалом для безответственных социальных экспериментов и политической игры. Они не только не протянули руку братьям, с которыми их соединило несчастье, но злобились и обосабливались, как могли отгораживались от лагерников прежних наборов. Всякое соприкосновение с ними пятнало, унижало этих безупречных, стопроцентно преданных слуг режима.

Все это, считали отставные советские партдеятели, происки врагов, агентов капитализма. Как удобно этой емкой формулой все объяснить, оправдать и ждать «happy end»...

Именно агенты пробрались в карательные органы, чтобы расправиться с вернейшими солдатами партии и подорвать веру в непогрешимость ее «генеральной линии». Пусть им удалось там, наверху, оклеветать достойнейших — ложь будет неминуемо опровергнута, и тогда Вождь вновь взглянет отеческим оком на своих оговоренных верных холопов, и они станут с удвоенным рвением и преданностью выполнять его предначертания. Партия разберется, партия непогрешима, партия победит! Можно, положа руку на сердце, возгласить: «Да здравствует ее мозг и сердце, великий вождь Сталин!»

И первой заботой низвергнутых ответственных, вернее, безответственных сановников было установить — чтобы видело и оценило начальство — четкий водораздел между собой и прочими лагерниками. В разговоры с нами они не вступали, а если уж приходилось, то это был диалог с парией.

Однако скученность и теснота брали свое. Я приглядывался и прислушивался к заносчивым новичкам, стараясь разобраться — истинная ли вера и убежденность движут этими твердокаменными «партийцами»? Или в их поведении и высказываниях расчет, надежда на то, что дойдет же какими-то путями до Отца и Учителя, как пламенно горят любовью к нему сердца под лагерными бушлатами, как далеки они все от ропота и неколебимы в своей вере в правоту вождя и как ждут, когда он сочтет нужным шевельнуть мизинцем — поманить, и они ринутся наперегонки восхвалять его и славить, служить ему — Великодушному и Справедливому! Чураясь зэков некоммунистов, «твердокаменные» пытались сомкнуться с начальством, держаться с ним по-свойски, словно их — вчерашних соратников и единомышленников, рука об руку укреплявших престол Вождя,— разделило всего недоразумение, случайность, которые вот-вот будут устранены.

И потом, разве нет больше на крупных постах, даже сре-

ди тех, кто на снимках и в газетах удостаивается быть названным «ближайшим учеником», приятелей, с кем от века на «ты»? С кем неделимы воспоминания о гражданской войне, с кем рука об руку водили продотряды, раскулачивали, устраивали процессы, работали в органах? Они заступятся...

Лагерное начальство на первых порах растерялось: безопасно ли мордовать нынче тех, перед которыми вчера тянулся? Ввело послабления: отдельные бараки, особый стол, освобождение от общих работ. Доходило до полных переворотов.

...Я лежал в центральной больнице лагеря. Однажды с утра наше отделение обошел начальник санчасти со свитой врачей — и началась суматоха. Всех больных стали срочно переводить в другие отделения, а то и выписывать. Оставшихся напихали по-барачному, а освобожденные помещения принялись мыть, скоблить, застилать койки новым бельем. Парадом командовала Роза Соломоновна, врач, ведавшая терапевтическим отделением. Была она из отбывших короткую ссылку по одному из ранних процессов вредителей и в лагере работала вольнонаемной. Больных зэков лечила сравнительно добросовестно, но держалась недоступно.

Мне не приходилось прежде видеть Розу Соломоновну в таких хлопотах. Она вдохновенно входила во все мелочи, требовала со складов санчасти пружинных кроватей, собственноручно застилала тумбочки накрахмаленными салфетками.

Еще не все приготовления были закончены, а в освобожденные от нас палаты поступило пополнение: люди в штатском, неотрепанные, все больше средних лет, не растерявшие самоуверенности и нисколько не походившие на ссыльных и больных. Мы скоро узнали, что то были средней руки аппаратчики партийных органов, которых по чьему-то распоряжению прямо с этапа отправили в Сангородок — отдохнуть и прийти в себя после тюрьмы — до подыскания им подходящих должностей в лагерном управлении.

Розу Соломоновну мы теперь видели редко и мимолетно: обежав наши переполненные коридоры, она исчезала за дверями привилегированного отделения. Мы слышали, как она из своего кабинета обзванивает отдел снабжения, требуя «курочек» и «яичек» для своих истощенных будто бы больных. Она заботилась о них, как о близких.

Однако эта возня с отставленными опорами режима продолжалась недолго. Только было некоторые из них стали

примеряться к должностям в следственном отделе, по снабжению или, на худой конец, брезгливо усаживаться в каких-то плановых отделах, как из центра грянули боевые предписания и понаехали комиссии. Одних лагерных начальников поснимали, другим дали нахлобучку, а всю «троцкистскую сволочь» распорядились держать искючительно на тяжелых работах, поселить с уголовниками и вообще перевести на положение злейших врагов, и в лагере подкапывающихся под авторитет Генсека. Надежды падших ангелов на привилегированное место в аду были грубо похерены.

И пришлось им поневоле вживаться в долю работяг. Они стали искать смычки с уголовниками (против контры!), надеясь панибратским отношением обезопасить от раскурочивания свои полновесные «сидоры». Воры их, разумеется, обобрали и стали вдобавок презирать. Надо сказать, что в очень короткие сроки обнаружилось, как нестойки эти внешне решительные и самонадеянные люди, едва им пришлось хлебнуть лагерной житухи. Они становились отчаянными стукачами, кусочниками, причем нередко обнаруживали шакалью хватку. Они позорно пасовали перед суровостью условий, как бы обнажившей их нравственное убожество. Разумеется, встречался среди сосланных оппозиционеров народ иного склада.

Моим соседом по нарам стал бывший военный — начальник дивизии Иван Семенович Терехов. В этом тщедушном, невысоком человеке таилась недюжинная нервная сила, угадывалось мужество. Он едва ли не один из всех отстоял свою длинную, до земли, шинель с кавалерийским разрезом и ходил в ней, хоть и сутулясь от донимавшего его судорожного кашля, но с большим пальцем правой руки, засунутым по-командирски за борт. Был он, по-видимому, настолько болен, что его не угнали на лесозаготовки, а оставили на лагпункте конторщиком в хозяйственной части. Сдержанный и молчаливый, Терехов никогда не жаловался, но как-то ночью, измученный кашлем, сказал мне:

— Все внутри отбили: после допросов фельдшер приходил в камеру отхаживать. На мне нет живого места... Протяну недолго. Ах, что за гады там засели!

Терехова вскоре увезли в Сангородок — у него открылась чахотка. Простились мы с ним по-дружески. Этот бывший начдив вел себя не в пример другим командирам: был справедлив, корректен и не заискивал — ни перед начальством, ни перед шпаной. Напоследок Терехов разговорился — и то были речи отчасти прозревшего человека.

Он говорил, что если бы ему пришлось начать все сызнова, он, не задумываясь, как и в восемнадцатом году, бежал бы из гимназии воевать за Советскую власть — но не за «власть райкомов»! Полностью отречься от партии он еще не мог и уверял, что вступил бы в нее опять. Потому что она во всем права, вот только сбилась с пути: нельзя было, по его мнению, переносить суровые и жестокие меры военного времени на мирные дни и тем более воспитывать в людях привычку к слепому подчинению. Достаточно было холопства в старое время, вот и могли любые держиморды командовать.

А ныне раболепства и страха перед начальством больше, чем когда-либо: в стране слышен только один голос, ему вторит холуйский хор. Как тут не сбиться с пути, не наделать ошибок? Не забыть об ответственности?

...— Хотите, запомните мои слова, но не повторяйте — это опасно... Ах, свежий воздух нам нужен, сквознячок, задохнулись мы. Прощайте, спасибо за добрые соседские услуги. Если доведется встретиться, буду рад. Но вряд ли.

Нет, честный мой и искренний, но слепой командир, не стану я повторять ваших слов. Не только из осторожности, а потому что в них — заблуждение: вы прозрели лишь чуть-чуть, краешек только правды увидели. Истина от вас еще закрыта.

Сейчас недоумеваешь, вспомнив про сомнения, какие нет-нет да и возникали в то время: да полноте, думалось, уж вовсе ли без основания, вовсе зря оказались за решеткой вчерашние капитаны жизни? Они, быть может, виновны косвенно, помимо воли, но все же замешаны во вредительстве, в заговорах, пусть в роли марионеток иностранных разведок?.. Теперь эти сомнения выглядят наивными. Но если представить себе, какой оглушительной демагогической декламацией сопровождались массовые репрессии, чудовищные дутые процессы, нетрудно понять, что и люди более искушенные, чем я, были не всегда способны увидеть за этой завесой беспринципную борьбу за власть — вернее, единовластие — средствами террора и устранения действительных или возможных конкурентов. Тогда могло выглядеть, что в ряды верных сторонников и слуг пробрались враги...

Разобраться в этом мне помог один случай. При поступлении очередного этапа я с изумлением услышал, как выкликнули: «Копыткин Сергей!»

Помнил я его деревенским пареньком, сиротой. Садовник в имении моего отца взял мальчика к себе и обучил своему искусству. С Сергеем у меня было связано немало дет-

ских воспоминаний. Был он старше меня, его призвали в армию еще в пятнадцатом году. Вернулся он в родные палестины уже после октябрьского переворота — яростным большевиком, ринувшимся перестраивать жизнь в наших захолустьях. Это не помешало ему тогда же вызволить меня — восемнадцатилетнего заложника — из уездной тюрьмы. С дружеским внушением: примкнуть к провозвестникам грядущего счастливого устроения человечества, взяться работать с ними и громить старые порядки. Сам он был преданнейшим сторонником и борцом за Советскую власть, свято верившим в провозглашаемые тогда Urbi et Orbi истины. И то, что Сергей Копыткин в лагере, было лакмусовой бумажкой: значит, расправляются со ставшими неугодными соратниками.

Как бы ни было, этому человеку, несмотря на разделявшие нас бездны разногласий и непонимания, я доверял как себе и не боялся высказать ему все, что думаю.

Мы оба подивились, как сильно изменили нас годы. Похудевший, почти лысый Сергей не утратил прежнего решительного и открытого выражения. Держался он превосходно: с достоинством, мужественно.

Ему, занимавшему после вуза значительные должности по своей специальности (сказались юные годы, проведенные у парников и в оранжерее: он стал ботаником-селекционером), припомнили какое-то голосование в середине двадцатых годов и обвинили в троцкизме. Требовали, чтобы он назвал сотрудников своего института, завербованных им в состав подпольного правительства, формируемого по заданию германской разведки на американские деньги. Я узнавал от него про изощренные приемы, к каким прибегали осатаневшие, поощряемые властью следователи, и задним числом содрогался: мне еще не приходилось испытывать самому ничего подобного...

— Старались они без толку, ну и бесились вовсю,— рассказывал Сергей.— На одном допросе следователь отворил дверь в смежную комнату. Вижу, сидит там моя двенадцатилетняя дочка. Напугана, не смеет голову повернуть в мою сторону... «Видишь, твоя дочь,— говорит следователь.— Прямым ходом отправим отсюда в колонию — к малолетним преступникам. Как ей там придется, сам знаешь. Так что выбирай: ты отец, от тебя зависит». В другой раз слышу — за стеной женский плач, стоны... Уверяют, что там допрашивают мою жену: «Подпиши — и мы прекратим допрос — ведь о тебе расспрашиваем. Какая же ты скотина — упираешься,

семью не жалеешь...» Ну и снова... то сутками на стойке держат, линейкой по костяшкам лупят... Пот прошибает, когда вспомнишь...

Мы спорили. Копыткин, почти как Терехов, валил все на зарвавшихся заправил НКВД, создающих «дела», чтобы набить себе цену в глазах Сталина. Он-де и не знает, что творится в застенках... Но я с Сергеем не отмалчивался, как с начдивом, а спорил, и очень откровенно.

— Не наивничай. Как ты, умный человек, допускаешь, что все, что творится с нами, с вашим братом, тем более с крестьянами, да в таких масштабах,— дело рук и политики ведомства, а не верхушки — Сталина и его заплечных дел мастеров из Политбюро. Без их разрешения никому в стране лишний раз чихнуть нельзя, не то что пересажать миллионы народу, пачками расстреливать...

Сергей сердился, не давал прямого ответа, но видно было, что и сам он давно поколеблен, сомневается. Даже как-то полушутя признался мне, что сделался форменным ревизионистом, так как додумался до того, что основной порок видит в учении о «диктатуре пролетариата», оказавшейся ширмой для тех, кто рвался к власти.

— И остается,— горько усмехнулся Сергей,— голая диктатура без пролетариата! Насилие, регламентация и подчинение жизни народа правителям — на византийский манер. Попадется когда-нибудь — прочти историю византийских базилевсов. Это они первыми, вкупе с православными иерархами, придумали влезание чиновников во все поры общественной жизни, прочную бюрократическую структуру, мелочную опеку подданных. Даже колхозы — и те у них были!.. С обязательными поставками — добровольными, подчеркиваю — государству продуктов по особым ценам. Вся жизнь в Византии была опутана тенетами регламентации и правил: духовенство низведено до уровня нынешних партийных пропагандистов. Полезное чтение для раздумий.

* * *

Как и следовало ожидать, моя двухлетняя карьера лесоруба кончилась больницей. Я слишком много мерз, и первыми сдали легкие. Приходилось нет-нет обращаться в амбулаторию, но двух-трехдневные освобождения не помогали: скакала температура, требовалось невероятное усилие воли, чтобы утром подняться и идти на работу. Почти невозможно стало заставить себя съесть пайку. И как-то выслушавший

мои легкие фельдшер — поволжский немец — буркнул регистратору, своему земляку: «Schwindzucht» (чахотка), сделав не ускользнувший от меня жест, говорящий недвусмысленно: готов, испекся. И без его взмаха руки диагноз не оставлял надежды — в лагере ТБЦ не прощает!

Я продолжал сидеть на табурете, обнаженный по пояс. Фельдшер всматривался в меня, точно про себя решая мою судьбу. Он мог попытаться меня спасти, отправив в центральный стационар, мог для себя бесхлопотно снова водворить меня в барак. Санчасть строго следила, чтобы персонал не потворствовал зэкам и лишь в самых крайних случаях назначал лечение в больнице. За попытки «дать отдохнуть» или «набраться сил» взыскивали. Я не очень-то поверил, когда фельдшер сказал, что направит меня в Сангородок. Встал, медленно оделся, даже упустил поблагодарить — так мне было тогда все безразлично, кроме надежды сию минуту вернуться в барак, залечь на свои нары и по возможности теплее укрыться. Днем, пока все на работе, можно воспользоваться одеялом соседа.

Однако фельдшер сдержал свое слово. Спустя несколько дней меня на подводе отправили в больницу. Везли мягкой, укрытой светлыми, пронизанными солнцем сосняками дорогой, то вившейся по песчаным гривкам, то спускавшейся в ложбинки с мшистыми кочками, заросшими черникой и багульником. Ехал тихо и мягко, как по ковру, телегу не подкидывало на ухабах, а слегка покачивало. Чувствуя себя обреченным, я смотрел кругом, мысленно со всем прощаясь. Было грустно, но как-то не остро, а примиренно. Едва не стало необходимости бороться, цепляться за жизнь, я расслабился. Никакие сильные впечатления не одолели бы моего безразличия.

Безучастно, как посторонний, отметил отдельные койки, чистое, хотя и застиранное белье, давно не виданные тарелки; вяло обрадовался невозбранной возможности лежать.

Первым встряхнувшим впечатлением был врачебный осмотр: у меня оказался тяжелый эксудативный плеврит, а не туберкулез. Радость вспыхнувшей надежды не согрела и не взбодрила; раз не ТБЦ — меня поторопятся подлечить и снова вернут на лагпункт... Вдобавок, изменение условий сказалось сразу: мне стало легче, уменьшились скачки температуры. Я приуныл: вылечат за считанные дни.

Не знал я, что попал в оазис, где, несмотря ни на что, последнее слово было все же за врачами. Лагерное начальство было вынуждено считаться с их заключениями. Глав-

врач Сангородка, отбывший детский срок хирург, также из немцев-колонистов,— персона, распоряжающаяся курортами и бюллетенями, назначающая отпуска и отдых по болезни, хозяин целого корпуса для вольнонаемных. Человек политичный и в угождении начальственным женам наторевший, он и заключенным, в чем и когда мог, не отказывал. Взявшиеся мне помочь врачи и рентгенотехник Боян Липский обрели в нем молчаливого пособника.

...Взглянешь на Максимилиана Максимилиановича Ровинского — и безошибочно поймешь, с кем имеешь дело! Все в нем: и внешность — порядочная эспаньолка с пышными усами, аккуратно подстриженная седая грива, пенсне на шнурке, мягкие пухлые руки, и манеры — приятные, с налетом провинциальной светскости,— выдавали старого земского врача, вдобавок бывшего уездного льва со склонностью к общественным начинаниям в кружках либерального направления. Он и был всю жизнь врачом в Крыму, кажется, в Ялте, где заведовал больницей и создал симфонический оркестр из любителей, ставший его любимым детищем. Максимилиан Максимилианович отбывал десятилетний срок, жил в Сангородке в сносных условиях и ходил в местный клуб, где подолгу играл на расстроенном рояле Мендельсона и вальсы Штрауса. Вот он-то, приглядевшись ко мне, и занялся моим здоровьем и будущим устройством. Потом он мне рассказывал, что принял поступившего с лесопункта долговязого доходягу за уголовника высшей квалификации — медвежатника — и косился в мою сторону несколько опасливо.

— А потом — о капризные начертания судьбы!— пришел ко мне ваш милейший Боян и рассказал про вашу Одиссею. И я даже — представьте!— хлопнул себя по лбу: как это проглядел? Положительно, это провиденциально, мы станем теперь вашими э... э... Вергилиями, Орфеями, или как там у этих греков... кто выводил из ада? Вылечим, восстановим, а там и... не отпустим!

Максимилиан Максимилианович любил экскурсы в античную мифологию, звучные слова и многозначительные недомолвки и отчасти прикрывал ими свою очень добрую и чувствительную натуру: помогая от всего сердца, он держался при этом несколько чопорно и выражался витиевато. Ровинский оставался не утратившим вкус к жизни человеком, еще находящим чем и для чего жить. С медициной за многолетнюю практику он сроднился неразрывно — она сделалась частью его сути. Музыка помогала отключаться от лагерных будней.

Трагической выглядела рядом с ним фигура другого врача, Сергея Дмитриевича Нестерова, тоже прекрасного специалиста. Двигался он и разговаривал нехотя, через силу. Ровным глуховатым голосом давал немногословные заключения, сам никогда в разговоры не вмешивался. Он как бы оборвал живые связи с окружающими и механически выполнял все, что от него требовали. Из больницы он уходил к себе, ложился не раздеваясь на койку — и застывал, заложив руки за голову и уставившись в одну точку. И молчал. Если замечал, что на него смотрят, прикрывал глаза. И приходилось сожителю по комнате напоминать ему, что пора укладываться на ночь. Он подчинялся, снимал обувь, раздевался. То же было и с едой. Ему говорили: «Поешьте, доктор, выпейте чаю», и он молча принимался за еду или брал стакан. Товарищи заставляли его менять белье, умываться, водили в баню.

Доктор Нестеров был врачом в белой армии. У него на глазах расстреляли двух сыновей. Потом он жил в захолустном городке на Волге, потерял жену и после очередного ареста был заключен в лагерь на десять лет.

Когда я с ним познакомился, он был уже очень болен, но врачом оставался проницательным и болезнь определял безошибочно. Коллеги делали что могли, чтобы не дать угаснуть окончательно желанию жить, заботились о нем, негласно следили. И не уберегли — он вскрыл себе вены. Его нашли истекшим кровью в рентгеновском кабинете.

Мне почти не довелось с ним общаться, хотя именно он определил мою болезнь и назначил лечение. Помню, как в операционную, где меня подготовили для выкачивания эксудата, вошел Нестеров — высокий, сутулый, с мешками под глазами, в измятом халате. Взглянув на его застывшее лицо — желтое, с кое-как подстриженными усиками и остановившимся взглядом,— я подумал: «Врачу, исцелися сам!» Прослушав меня очень внимательно, он тихо, как бы с трудом подбирая слова, произнес: «Рассосалось... жидкости нет. Выкачивать нечего... сам... справился».

Тем не менее они с Ровинским меня не выписали: я был оставлен на положении ходячего больного и получил самое укрепительное питание. Затем, когда настало время, меня на комиссии безапелляционно причислили к третьей, инвалидной категории, правда, временной: она на целый год избавляла меня от общих работ, и я мог вступить в почетную корпорацию «лагерных придурков». Ровинский обработал начальника финчасти Сангородка вольняшку Семенова, и я прямо из больницы попал к нему в кассиры.

* *

После землянок и скитаний по глухим лесным лагпункта зона Сангородка показалась раем. Чистота, в бараках — вагонки, то есть двухэтажные сдвоенные койки из строганых досок; белье и одеяла; сносная — на лагерные мерки — кормежка. И немалое благо: малолюдство. Обслуга городка не очень многочисленная, без бича лагерной жизни — уголовной рвани.

И немудрено, что на первых порах эти чисто физические радости и удобства ставшего доступным опрятного обихода, покойность условий — ни лошадиной работы, ни зверских морозов на сечах, ни осаждавших в глухих болотистых лесах туч комаров — заслонили все печали. Тем более что и режим в Сангородке был не в пример мягче и переносимее. Сытые, обленившиеся вохровцы не придирались. Да и знали они каждого из нас в лицо и по именам; одно это протягивало между нами какие-то если не человеческие, то житейские нити. Меня же, кассира, им даже приходилось несколько выделять: они расписывались у меня в ведомости, я выдавал им зарплату, причем мог наделить пачкой засаленных кредиток или отсчитать новенькие купюры. Даже сунуть авансик до получки.

Так что мне не возбранялось, пройдя утром через вахту — даже не предъявляя пропуска,— до самой ночи не возвращаться в зону: гуляй себе! И куда ходить и у кого бывать, у меня находилось. И мне снова приходится рассказывать об этой передышке в Сангородке как о днях, осененных милостью Божией...

...Сангородок в известной мере оправдывал свое название. Помимо больничных корпусов, всяких павильонов с кабинетами, хозяйственных построек, бани и длинного ряда домиков вольнонаемного персонала, был там еще и настоящий театр — внушительный, с портиком о четырех обшитых тесом колоннах. Такой впору бы иметь и районному центру. Два передних ряда кресел были обиты дерматином и отделены от остального зала, где сидели зэки, широким проходом: они предназначались для хозяев. Перед театром, выстроенным среди остатков соснового бора, на площадке, окаймленной подобием цветочных клумб, в антракты прогуливалась публика. Чтобы не смешиваться с бушлатной братией, начальники выходили подышать воздухом на верхние

марши лестницы и там, наверху, вознесенные и недосягаемые, красовались со своими дебелыми крепдешиновыми супругами.

Площадка была для нас местом встреч и свиданий. Сюда стекался народ из соседних лагпунктов — огородного и проектного — ухтинской «шарашки», где были собраны технические сливки лагерной интеллигенции. Подходить к женщинам и с ними разговаривать разрешалось. Их было мало, мужчин — избыток, и потому возле каждой зэчки роем клубились поклонники. Присущее женщинам умение пустяшной мелочью придать авантажность и самому неказистому наряду вело к тому, что они выглядели щеголихами рядом с кавалерами, лишь подчеркивавшими убожество своего вида неуклюжим прихорашиванием.

...Не заметить ее было нельзя. Она выделялась из толпы не только ростом, но и осанкой, шедшей от длинной чреды родовитых предков. А одета была во все лагерное, тогда как товарки ее щеголяли в большинстве в своем. Она шла легко, непринужденно, с ленивой грацией. И тонкая шея выгнута гордо и женственно, и высоко и гибко вознесена ее маленькая темная головка. В этой женщине я сразу узнал Любу Новосильцову. Было ей тогда двадцать пять лет... А помнил я ее подростком с тугим жгутиком косички, в куцем платье. Я постоянно встречал ее у своей московской тетки — Марьи Юрьевны Авиновой, сестры отца Любочки — Юрия Юрьевича Новосильцова, погибшего в тюрьме еще в первые годы революции.

Мы встретились, как две родные души на чужбине, вернее — во вражеском стане. И в горячности нашего родственного поцелуя была радость обретения.

Судьба была к Любе немилостива. Детство, запомнившееся, как длинные годы страха и нужды, непрерывных гонений на близких и друзей ее круга; первое, очень раннее замужество. Супругом ее стал простецкий, с кое-каким образованием паренек, чувствительно певший под гитару, добродушный и веселый. Любе отчасти мерещилось, что, расставшись с аристократической фамилией, она сможет жить спокойнее. Однако добрый малый оказался забулдыгой, да еще и бессовестным. Как ни претил ей развод, она с ним разошлась.

В строительной конторе, где Люба работала чертежницей, был иностранец — немецкий инженер, из тех специалистов, что сотнями были приглашены Сталиным из Германии. Все они, поголовно обвиненные в шпионаже, пострадали в раз-

ной мере и навлекли беды и гибель на сонмы людей, имевших несчастие с ними соприкасаться.

Любин избранник был красив, мужествен, хорошо воспитан и щедр. Его ограниченность и совершенное равнодушие к культуре обнаружились только позднее. К ним прибавились и другие разочарования... Взаимное непонимание росло. Начались размолвки и нелады — кто знает, повели бы они к разводу или молодые люди притерлись друг к другу? Но вмешалось Ведомство: мужа арестовали, и Люба уже не сочла возможным от него отречься. Тем более по требованию органов, хотя и знала, что формальный отказ от мужа ее бы спас. Перешагнуть через себя, через свои унаследованные представления она не могла. В этом была она вся — раба того, что считала своим долгом.

Шпионская статья обрекала Любу на общие работы. Но чертежник — специальность в лагере дефицитная. Это и позволило начальнику проектного отдела вытребовать ее к себе. Облегчило дело и то обстоятельство, что шла она по формулировке «пш» — подозрение в шпионаже. Будь у нее полновесный шестой пункт, никакие ходатайства не могли бы помочь.

Я зачастил в проектный отдел — расконвоированную командировку без зоны и вахтеров, с комендантом, пропадавшим с удочками на реке: дом отдела и две утепленные палатки для персонала находились на обрывистом берегу Ухты. Ведущим инженером отдела был Кирилл Александрович Веревкин. С ним нас сближали общие воспоминания.

В старинном петербургском доме на Фурштатской улице, на площадке верхнего второго этажа — дверь с дверью — жили семья Веревкина и моя двоюродная бабка генеральша Маевская. Нас, внуков, во все большие праздники возили к ней на поклон, и фамилия Кирилла Александровича на меди дверной дощечки запомнилась из-за забавного сопоставления с обиходным словом: веревка, бечевка... Я был в том возрасте, когда древности фамилии не придаешь значения и никакого решпекта к «шестой книге», в которую был записан род Веревкиных, не испытываешь.

В лагере Кирилл Александрович оставался тем же суховатым петербуржцем — холодно-вежливым, корректным, не допускавшим и тени фамильярности в обращении. Он и в Ухтинских лагерях не расстался с галстуком и старенькой пиджачной парой.

...Люба понемногу оттаивала. Лишенная переписки и посылок, она со дня ареста ничего не знала о своей матери —

единственном оставшемся близком и любимом человеке. Страхи за нее точили Любу, она воображала новые тюрьмы и мытарства, через которые уже с двадцатых годов проходила ее мать. Мне удалось довольно быстро наладить нелегальную переписку: Любины письма отправлялись через вольняшек, ездивших в командировку, а мать давала о себе знать через подставное лицо. Писала она иносказательно, задавая иногда, перестаравшись, неразрешимые головоломки. Поступило и несколько посылок — Люба приоделась.

И снова зыбкое лагерное благополучие усыпило привычную мою настороженность травленого зверя. И мы оба были молоды, и у обоих не было будущего, и общей была тоска по человеческим радостям. Мы одинаково искали иллюзий, способных подменить счастье...

Встречались мы с Любой в летнюю пору и вплоть до весны следующего года виделись почти ежедневно, иногда по нескольку раз в день: от Сангородка проектный отдел отстоял в пятнадцати минутах хода. Режим в этих особых лагерных подразделениях был, конечно, исключением, но моему вольному хождению содействовало и побочное обстоятельство: статья «соэ» расценивалась либерально, допускала расконвоирование.

Берег Ухты, где расположен Любин отдел, порос сосняком. Мы подолгу бродили по его прогретым незаходящим солнцем мхам в ковриках брусники. Особенно любимым был склон овражка с редкими старыми пнями и пушистой сосновой порослью. Высокое бледное небо над нами, дружелюбная тишина — и мы могли забыть про лагерь.

Женщины, по-настоящему страстные, целомудренны. Люба долго не решалась встречаться со мной в комнатке врача рентгеновского павильона, ключ от которого находился у Бояна Липского — обретенного мною в Сангородке друга и заступника.

Боян первым пустил в ход механизм лагерного блата для вызволения меня с лесозаготовок и успокоился, только когда я оказался вполне вылеченным и благополучно устроенным. Мы сошлись с ним коротко. Был он несколькими годами моложе меня, плохо и мало кое-чему учился из-за рогаток, существовавших для таких, как он, дворянских отпрысков, да еще с матерью, урожденной Орловой! — стал ярым футболистом, отчасти поэтом и — полностью — оптимистом. Здоровье и сила натренированных мышц питали его всегдашнюю бодрость и предприимчивость, как и неизменный успех у женщин, сделавший Бояна немного фатом. Физиотерапия

и рентген приводили к нему решильно всех супруг начальников, и Боян, великий, по-лагерному, блатмейстер, легко обращал их в своих покровительниц и, не сомневаюсь, любовниц. Некрасивое, но характерное лицо с чувственным, жадным ртом, плотоядно вырезанные ноздри, прижатые к черепу острые уши придавали ему сходство с фавном, да еще фигура олимпийского чемпиона с греческой вазы влекли к нему праздных, сытых пресными ласками своих дубоватых мужей супруг, и Боян мой катался как сыр в масле. Его даже поселили за зоной в домике, отведенном заключенным врачам.

И чудесным же был товарищем мой легкомысленный, циничный Бояшка! Едва о чем-то догадавшись — а сметлив и шустер он был как никто,— он предложил достать для Любы назначение на водные или электропроцедуры. Вот и предлог для посещения его заведения, а там:

— Комар носу не подточит! Запру вас в своей комнате и — на здоровье.... Да не красней, святая душа,— Боян от души хохочет,— дело житейское. И все будет шито-крыто. В лагере, сам знаешь, всего опаснее сплетни.

Пошли дожди, и я передал Любе предложение Бояна. Она закрыла лицо руками. В этом было и вправду что-то унизительное, коробящее стыдливость. Но... затянулось ненастье. И настал день, когда Люба сказала, что сама договорилась с Бояном.

По вечерам мы иногда сидели в опустевшей чертежной. Добросовестная Люба корпела над своими ватманами и в неурочное время — под аккомпанемент моих рассказов о местных происшествиях. Вспоминали мы и стихи; я, робея, читал свои переводы. Изредка присоединялся к нам Веревкин, по-всегдашнему замкнутый, немногословный. Он был сильно привязан к Любе, даже признавался ей в своих чувствах. Убедившись в отсутствии отклика, стал ее надежным другом. Его выдержка и такт меня поражали.

Мирные, тихие, усыпляющие дни...

Сообща с Кириллом мы уговорили Любу лечь в больницу. Тревога за нее не была напрасной: сдавало сердце. Ее лечили почти наравне с вольными, с выпиской не торопились, и через какое-то время сделались слабее, реже приступы, так пугавшие меня, когда она внезапно замирала с резко сдвинутыми бровями, переставала дышать, потом медленно открывала глаза, устало расслаблялась. «Темная лилия с надломленным стеблем...» — именно так, старомодно и пышно, сказал о ней доктор Ровинский.

У ее койки я просиживал часами. Нам вместе было хо-

рошо. Иногда меня пускал к себе в крохотную каморку подкупленный санитар, и тогда мы оставались с ней подолгу, иногда до подъема. Она серенькой тенью растворялась в глубине полутемного коридора, я осторожно выскальзывал на улицу, испытывая подобие ужаса перед захлестнувшей нас петлей...

Любовь спасала от пошлости и погрязания в вязкой топи себялюбия, не давала опускаться, поднимала нас над собой. «Милый», «любимый» — не было ничего радостнее, полнее и утешительнее этих вечных слов. Они и сжигали, и окрыляли.

Обо всем этом трудно писать и спустя десятилетия, когда уже нет давно Любы. Попытка оживить ее образ приводит к тоскливым размышлениям, застилающим воспоминания об испытанных острых радостях, даже счастье. Томит сознание убожества средств, какими я мог хоть несколько украсить ее дни. Наше чувство обостряли страх и беспокойство за другого. Всякое опоздание порождало тревогу. Все это придавало нашим отношениям напряженность агонии, неведомую в мирной жизни. И еще они так много значили для обоих, что в них было прибежище и огонек, отогревающий нас, издрогших и отчаявшихся.

Люба была, бесспорно, из тех женщин, чьим расположением мужчины гордятся, чей и мимолетный взгляд не забудешь. Она и в лагерных обносках выглядела сошедшей с рокотовского портрета недоступной придворной дамой. А в манере говорить, в движениях — замедленных, как бы околдованных — была та сдержанность, что не дает таящейся внутри силе бурно вылиться наружу. В ней угадывалась натура горячая. И если любовь — это сердечная забота о друге, мир, им заполненный, если она, наконец, в полном взаимопонимании и слиянии чувств и желаний — то мы с Любой тогда познали ее в полной мере, пусть и на очень короткий срок. Познали ли мы тогда то особое, высшее и сокровенное, что присутствует в любви и стремит друг к другу по свету тех, кого Платон считал дополняющими друг друга половинками?.. Кто знает, бросились бы мы там — в большом мире, навстречу друг другу, если бы увиделись не в беспросветных потемках лагеря, где нет выбора?

* * *

Все лагерные происшествия воспринимались нами болезненно. То были предупредительные сигналы. Напоминания, что в одночасье все может быть расшвыряно и иско-

веркано, растоптано в беспощадных лагерных дробилках...

...Итак, в Сангородке имелся театр. На его подмостках выступали профессионалы из заключенных. Подобрать труппу на любые вкусы в те времена было нетрудно: певцов, циркачей, балерин, режиссеров, актеров — на выбор. Заводились эти каторжные сцены не только в видах развлечения начальства, хотя тешило его это немало. Иной говорил «мой театр», «мои актеры», точь-в-точь как в далекие времена душевладельцы, и хвастал ими перед начальником поплоше. Театры назначались пускать пыль в глаза, подтверждать прогресс и гуманность на советской каторге: тут заботятся о культуре и развлечениях преступников!.. Теперь только плечами пожмешь, вспомнив, сколько неглупых и даже проницательных людей попадались на эту бутафорию.

...Яша Рубин — пианист Божией милостью. Все его зовут Яшенькой. Он мой сосед по койке. Тощ, небрит, всегда оживлен; ему двадцать три года. Руки у Яшеньки тонкие и сильные, с длинными пальцами — настоящий клад для пианиста.

Яша почти не выходит из театра: репетирует с кем угодно, разучивает, прослушивает... Он аккомпанирует лагерным примадоннам, сопровождает немые фильмы, иногда выступает с самостоятельной программой. Нечасто, впрочем: сонаты и прелюдии нагоняют на начальство меланхолию.

Было в Яше что-то необычайно милое, непосредственное. Простодушный, даже ребячливый, он словно и не подозревал в людях зла. Надуть его мог кто угодно. Лагерь перерабатывает почти всех — там и порядочный человек утрачивает совесть, а не ведающие щепетильности и вовсе распоясываются. Редким Яшиным бескорыстием пользовался всяк, кому не лень. Да еще и называли дураком, высмеивали ими же обобранного музыканта.

Ему поступали посылки, деньги — он все без малого раздавал. Стоило кому-нибудь подойти к нему, потужить, что вот, мол, обносился, как Яша залезал в свой полупустой сидор, вытаскивал оттуда наудачу шарф, носки или кальсоны и торопливо совал просителю, подчас незнакомому, и при этом конфузился. В результате Яша был гол как сокол. Однако житейские невзгоды его не трогали. Он попросту не замечал убожества обихода, нехваток, дурной пищи; ходил в заношенной вельветовой куртке, какие в те годы носили люди профессий, названных в Советском Союзе — должно быть, в насмешку — «свободными», в дырявой обуви, оброс-

ший и... в самом легком настроении. Музыкальный мир образов и звуков отгораживал его от нашего, лагерного.

Когда находилось время, Яша играл для себя. Я слушал его одинокие импровизации в пустом, полутемном театре. Фигура Яши сливалась с чернотой рояля. Когда музыка смолкала, было слышно, как грызут дерево крысы.

Яша играл и играл. Звуки — скорбные, тоскливые — обволакивали. Веселый Яша играл что-то трагическое, говорившее об одиночестве, мрачных предчувствиях, обреченности... Ближе всего эта музыка была настроениям поздних произведений Рахманинова, которые я услышал много спустя. Яша любил бетховенского «Сурка». Наигрывал, приглушенно напевая слова, и по многу раз повторял рефрен: «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною...» И опаляла жаркая жалость: у него и сурка не было...

В бараке мое место было через проход от Яши, напротив друг друга. Во сне тонкое, бледно-смуглое лицо его строжало, взрослело, и он уже не казался так пугающе, так по-детски беззащитен. Заразительной была его всегдашняя готовность к веселой шутке, доброй улыбке; не прочь был Яша подтрунить и над собой. Как-то, благодушно посмеиваясь, он рассказал, как отсоветовал жене важного начальника брать уроки пения.

— Я ей говорю: не тратьте времени на усилия, ничего не выйдет. В вашем возрасте — раз уже за сорок — нет надежды, что слух разовьется. А она говорит: мне слух не нужен! Ха-ха... Вы научите меня петь, а остальное — не ваше дело. Я сказал, что мне это не под силу. А в театре, говорит, вы так же капризны?

— Да разве так можно, Яшенька! Тебе это боком выйдет! — встревожился кто-то.

— А что тут такого? У нее слуха не больше, чем у табуретки.

— Уроки ей все равно ничего не стоят, чего ты щепетильничаешь?

— Ну, знаешь, хоть и бесплатно, а все-таки нечестно давать уроки, когда знаешь, что твоя ученица и кукареку не споет. Лучше открыть глаза, сказать прямо.

Яшу предупреждали: так поступать с начальством опасно — как раз обидится, запомнит.

Из-за полного поглощения музыкой лагерь для Яши был преходящим эпизодом в жизни. Да и срок у него был, кстати, детский — три года. Заработал его Яша шуткой: сочинил, по аналогии с «Марсельезой», слитой с песенкой «Mein lieber

Augustin» у Достоевского, попурри из «Интернационала» с чижиком. Кто-то донес. История в общем банальная. Рассказывая о следствии, Яшенька недоумевал: «Ну что в этом опасного? Шутка, мальчишество... А он: «Дискредитация идеологии!» Право, чудак!»

Не ты ли, друг, Яшенька, чудак, притом неизлечимый? А быть может, и лучше, что ни в чем Яша не разобрался? Лучше, что тоска и ужас тех, кто хоть раз почуял бездну, не коснулись его сознания, что не ощутил он себя нагим и беспомощным во власти Князя Мира? И трудно было верить, что минует его горькая чаша...

...В бухгалтерию лагпункта вбежал растерянный Яша.

— Меня прямо из театра взяли... говорят, на общие работы. Пропуск отобрали... Это наверняка ошибка, правда? Нельзя же прерывать репетиции...

— Не на этап ли берут?— спросил я.

— Нет, говорят, назначили на огороды.

— Вас одного взяли?

— Только меня. Прямо со спевки, мы только начали. Недоразумение какое-то.— Яша прерывисто вздохнул. У него жалко подергивались уголки рта, и он то и дело нервно взглядывал в окошко. Я стал его успокаивать, обещал все разузнать: авось удастся помочь.

— Я в жизни не работал на огороде. Не знаю, как там всё. Вот научусь... огурцы сажать... И на свежем воздухе...— Он пытался пошутить, но улыбнуться не удавалось: губы вздрагивали и не слушались, в голосе прорывались высокие, напряженные нотки.

— Эй, Рубин, чего застрял?— послышался с улицы голос вахтера.

— Сейчас, ах да... вы, пожалуйста...— коротко и беспомощно взглянув на меня, Яша выбежал из конторы.

В помещении сделалось тихо. Мы все понимали: снятие на общие работы — пролог к начатому по чьему-то указанию преследованию.

— «Не работал на огороде», «огурцы сажать на свежем воздухе»...— с неожиданной злобой передразнил Яшу холуй начальника лагпункта Васька-Хорек. Он пришел что-то канючить у завхоза и сидел, развалясь на лавке, с прилипшей к губе замусоленной папиросой.— Там тебе пропишут свежий воздух, жидовская морда! |и сплюнул слюнявый окурок на пол.

Яшу оставили жить в нашем бараке. С зарею уводили с работягами и возвращали поздно — огородные работы

были не тяжелые, но держали на них по четырнадцать часов. Яша замкнулся, стал избегать разговоров. Вернувшись, торопился к своему месту и тотчас ложился. Мне было видно, как он, поджав ноги, лежит на боку и не мигая смотрит перед собой.

Когда барак бывал пуст, Яша подходил к окну и, выставив руки к свету, подолгу их разглядывал. На коже множились морщинки, ладони грубели, образовались мозоли, от непривычной сырости болели суставы. Заметив, что кто-нибудь на него смотрит, Яша прятал руки и отходил. Вызволить его с общих работ не удавалось. Оскорбленная певица, жена начальника УРЧ, распаленная доведенными до ее ушей рассказами Яши о неудаче, пообещала: «Будет знать, как трепаться!»

Полили дожди, выпал мокрый снег, и грязь стала непролазной. На Яшу было страшно смотреть. Шла уборка картофеля. Яша приходил иззябший, со сведенными холодом, вымазанными в глине руками; его расползшиеся опорки оставляли на полу грязные следы. Ворчливый, придирчивый, дневальный молча брал швабру и вытирал за ним. И все-таки тщедушный, слабогрудый Яша не слег. Об этом приходилось жалеть: лучше бы он свалился с температурой и попал в стационар. И расположенные к нему врачи опасались положить его в больницу здоровым: из-за затеянной интриги он был на виду.

Яша молчал целыми днями и украдкой все разглядывал свои огрубевшие руки. Утрата беглости пальцев — конец карьеры пианиста. Он перестал, как всегда делал раньше, наигрывать по столу и по доскам нар: не верил, что руки удастся спасти. И вот случилось непоправимое.

Утром, как всегда, Яша пошел было на развод, но вдруг, не дойдя до двери, повернул обратно, к нарам. Сел и стал неразборчиво что-то выкрикивать. Я разобрал: «...никакого права!..»

Мы бросились к нему:

— Яшенька, не смейте этого делать! Вы себя погубите. Потерпите, устроится...

— Яша, у тебя пятьдесят восьмая. За отказ от работы, знаешь...

— Яша, без разговоров расшлепают...

Он упрямо и потерянно повторял:

— Они не имеют никакого права... У меня пропали руки — это моя профессия. Я не могу больше, я объясню... Они не понимают...

— Боже мой, Яша, пока не поздно, бегите на развод. Потом попробуем, напишем заявление, придумаем что-нибудь — только не это! За отказ ухватятся и погубят! Пришьют саботаж...

Отчаяние сделало Яшу глухим. Он все твердил про свои права и руки музыканта. Больной, взъерошенный воробьенок, вздумавший обороняться...

В дверях появился нарядчик.

— Ты что это, Рубин, от работы отказываешься? — миролюбиво обратился он к нему с порога.

— Они не имеют права... Я требую перевода на другую работу...

— Права, права... Чудило ты, парень,— снова спокойно ответил нарядчик.— Брось-ка лучше эту канитель. Выходи поскорее.

— Не могу, я... протестую... я требую...

— Тогда пеняй на себя, а я тебе худа не желаю.— Нарядчик постоял, словно придумывая еще какие-то слова, потом, пожав плечами, повернулся и медленно вышел из барака. Почти тотчас вошли дежурный с вахты и вохровец.

— А ну, собирай барахло,— с ходу приказал он Яше, и оба подошли к нему вплотную.

Его увели. Больше никто никогда его не видел.

* * *

Судьба Яши потрясла Любу. Она стала подчеркнуто холодно относиться к одному нашему общему знакомому, Михаилу Дмитриевичу Бредихину, который, по ее убеждению, не захотел поэнергичнее заступиться за музыканта.

Трудно найти подходящее объяснение выбору, сделанному такими людьми, как Михаил Дмитриевич, в тот переломный, трагический для России год. Как постичь переход на сторону большевиков кадрового русского офицера, родившегося в старой дворянской семье с прочными военными традициями, отец которого командовал полком Варшавской гвардии? Воспитанник Михайловского юнкерского училища, выпущенный в полк весной 1914 года, Михаил Дмитриевич был разжалован в рядовые за поединок накануне объявления войны. Он проделал ее всю в строю. Вернул себе дворянство и офицерское звание отменной храбростью, отмеченной Георгиевским крестом и оружием. Как же понять службу капитана и кавалера Бредихина в Красной Армии со дня ее образования?

Он никогда не был революционером. Сохранял все касто-

вые представления военной косточки и монархические симпатии, пусть слегка поколебленные бессилием и ошибками царского правительства перед концом и личной неприязнью к императрице. Не снедало его и честолюбие, он не рвался к крупным должностям, всегда был человеком чести, неспособным искать выгоду. Людей такой закваски невозможно представить «своими» в новой командирской среде: воцарившиеся в ней нравы и обычаи его коробили.

С брезгливостью рассказывал Михаил Дмитриевич о хапугах-командирах, спешащих первым делом, едва приняв часть, к каптернармусу и на швальню, чтобы приказать доставить себе на квартиру «штуку» материи, сапоги, кожу, что только приглянется: себе, супруге, деткам, деревенской родне... По облику, понятиям и духу он был белым, эмигрантом, по характеру — фрондером, кем угодно, но не красным командиром, подчиненным троцким и гамарникам со всеми прочими ненавистниками русского офицерства. Бредихин не захотел встретиться с графом Игнатьевым, когда тот, потерпев неудачу в эмиграции, отправился прислуживать новым хозяевам, поманившим его генеральской папахой! «Пятьдесят лет в строю — и ни одного дня в бою»,— с презрением цедил Михаил Дмитриевич, отзываясь об опубликованной книге воспоминаний бывшего царского военного атташе. Прямой, мужественный и честный, Бредихин, если и не хотел, по каким-то принципиальным или личным соображениям, примкнуть к Деникину или Врангелю, не мог, не кривя душой и не вступая в конфликт с совестью, служить в Красной Армии. Внутренний разлад и недовольство собой были неизбежны. И довольно коротко узнав Михаила Дмитриевича, я именно этим разладом объяснял его повышенную раздражительность и неровное поведение, срывы, еле сдерживаемые прежними вышколенностью и воспитанием грубые выходки.

Бредихина я впервые увидал в больничном халате, с забинтованной головой. В дверях палаты вольнонаемных он что-то выговаривал санитару. Тон его, начальственно-уверенный, вежливо-снисходительный, однако безо всякого хамства, привлек мое внимание: так журит слугу желчный, но воспитанный барин. Отметил я и умные, жесткие глаза, и надменное выражение лица со следами породы и холи.

Я расспросил о нем Ровинского,— ему доктор рассказал обо мне. И Бредихин как-то пришел в мою палату. Сближение — в возможных границах — произошло быстро. Михаил Дмитриевич любил вспоминать о своих походах, был отличным рассказчиком, я охотно слушал. Так я узнал подроб-

ности многих событий начала революции, со дня отречения Николая II, и узнал от участника, обладавшего острым и проницательным взглядом. Развал, разложение старой армии обретали в рассказах Бредихина звучание национальной драмы. Не раз побуждал я его взяться за записки, он этого, однако, насколько я знаю, никогда не сделал. Возможно, как раз из-за необходимости объяснить мотивы, побудившие его встать на сторону большевиков.

Бредихин был обвинен в соучастии в армейском заговоре и более двух лет просидел под следствием. Но военный туз, которого надо было свалить, скончался в тюрьме, расправляться с мелкой сошкой сочли ненужным. Оправдывать и освобождать, разумеется, тоже не стали — не в обычаях такое в этом ведомстве. И Михаила Дмитриевича, дав ему минимальный срок — три года, отправили досиживать оставшиеся несколько месяцев в Ухту. Когда я его узнал, он уже освободился и был назначен — не совсем по своему желанию — начальником строительного отдела лагеря.

Он часто приезжал в проектный отдел, где опекал эффектную панну Жозефину, работавшую вместе с Любой и жившую в одной с ней палатке. Вот к нему-то и обратилась она по поводу Яши. Бредихин обещал ей выяснить и сделать возможное. Однако вскоре сказал, что вряд ли может быть полезен: случай был, по его словам, особый.

Деликатность положения заключалась в том, что Бредихин рисковал, заступившись за Яшу, восстановить против себя местную Иродаиду — жену начальника УРЧ, остервенелую партийную активистку, как раз мстившую музыканту за отзыв о ее пении. Та была способна отыграться на прекрасной полячке: за связь с вольнонаемным Жозефину могли крепко наказать. И решительный и самовластный Бредихин спасовал, боясь подставить под удар свой негласный, но всем известный роман.

По характеру и из-за внутренней убежденности в своем превосходстве, Михаил Дмитриевич не стеснялся переступать установленные для лагерного начальника рамки поведения. На виду у всех он подкатывал на грузовике к проектному отделу, вызывал оттуда Жозефину, усаживал ее с великими знаками почтения в кабину и увозил к себе в Чибью, орлом поглядывая на всех с высоты кузова! И это под завистливыми, оскорбленными взглядами вольняшек: его пренебрежение запретами, для них обязательными, унижало и оскорбляло их. Да и чуяли они в нем чужака, белую косточку, поэтому, несмотря на занимаемую Бредихиным крупную должность,

с ним и тут в лагере никто из коллег не поддерживал отношений, кроме служебных. В конфликте с партийкой он был обречен на поражение.

И все же положение вольнонаемного, даже на самых подчиненных ступенях, было настолько выделено, настолько вознесено над массой зэков, что и самый ничтожный служащий Управления был персоной. Бредихин же, в ранге руководителя ведущего отдела, обладал, при всей своей непопулярности, большими полномочиями и возможностями. Его всесильное и благотворное вмешательство в мою судьбу я ощутил в полной мере.

Михаил Дмитриевич предупредил меня, что в кассирах я долго не продержусь, так как на эту должность прочат вольняшку. Да и в Сангородке, как только истечет срок инвалидности, не оставят. И тогда греметь мне снова по предательским лагерным дорожкам. Он поэтому заранее переговорил с начальником геологической разведки: тот согласился взять меня наблюдателем в геофизический отряд. Есть, мол, такой прибор — вариометр, определяющий подземные структуры и нефтяные купола. Игрушка эта стоит целое состояние в валюте, и потому лицу, к ней приставленному, обеспечено прочное положение, едва ли не экстерриториальность — по крайней мере, против посягательств начальственной мелюзги.

— Не боги горшки обжигают. Там есть милейший молодой геофизик, он до полевого сезона вас натаскает в лучшем виде! Станете незаменимым: маг таинственных крутильных весов Этвеша... Так что решайтесь, а я все устрою.

Перспектива бродить по тайге кружила голову. Но расстаться с Любой?

— Выхода нет, милый мой,— твердо и печально сказала она.— С лесоповала уже не вырвешься. А геологи расконвоированы, живут за зоной. Из Чибью ты всегда можешь прибежать меня навестить — всего два километра.— Она с усилием, неловко улыбнулась.

Но как мне было решиться? Я все изыскивал разные предлоги, не давал Бредихину ответа. Не только хотелось продлить горькое наше счастье, но было суеверно страшно оставлять Любу, как-никак живущую с сознанием, что она не одна, есть под боком родная душа. Но одно происшествие побудило меня внять голосу благоразумия.

Экспедитор Сангородка, лицо всемогущее, попался, полагерному — погорел на подделке документов, присваивании денег и посылок заключенных. Его увезли в центральный изолятор, и все считали, что мошеннику не выпутаться.

И были ошеломлены, когда через короткое время он вернулся — следствие прекратили, и поганца восстановили на прежней должности!

Он обходил контору и самодовольно, как бы ожидая поздравлений и одобрения, протягивал всем руку. Изо всех, не исключая простоватого начфина Семенова, один я оставил его руку висеть в воздухе, демонстративно заведя свою за спину. Он переменился в лице. Сипло выматерившись, триумфатор вышел с угрозами в адрес чистоплюя, брезгующего честным оклеветанным пролетарием. Этой донкихотской выходкой я нажил себе опасного врага.

Экспедитор вскоре получил повышение — стал завскладом и все сулил проучить меня на всю жизнь: «Будет помнить, как оскорблять Марка Семеновича!» И когда в моем департаменте произошло ЧП — с кассы была сорвана печать,— мне сразу шепнули, откуда направлен удар. Меня спас на этот раз счастливый случай: кто-то спугнул грабителей, и сейф остался цел. Я помнил судьбу Воейкова на Соловках. И решил не искушать свою.

В эти последние свои дни в Сангородке я запасся впечатлениями, язвящими меня до сих пор.

...Жарко, как бывает на Севере в начале лета, когда солнце круглые сутки не заходит за небоскон. В окошечке вахты — прилепившегося у ворот зоны бревенчатого домика — нудно звенят комары, и по стеклу упрямо ползают серые от пыли слепни. Они будут искать выхода, пока не погибнут от жажды.

Дежурному вахтеру они надоели до смерти. Дотянуться, чтобы их передавить, лень, да и новые скоро наберутся. Впрочем, у него есть занятие. Он макает перо в пузырек с чернилами и, отыскав на исчирканных листках потрепанной книжки пропусков свободное место, выводит свою подпись. Пишет старательно, навалившись грудью на стол, сопя и высовывая кончик языка. Пухлые пальцы крепко сжимают тонкую ручку у самого пера, а росчерка, какого хочется, не получается... С. Хряков... С. Хряков... С. Хряков...

«С» выходит здорово, не хуже, чем у начфина Семенова, а вот завиток после «в» — никуда, закорючка какая-то, не поймешь, к чему, и всякий раз по-иному! Хряков отшвыривает книжку, затыкает пузырек бумажкой, с огорчением замечает чернила на указательном и большом пальцах, про себя легонько матерится и уставляется в окошко.

Что там увидишь, чем развлечешься? В зоне Сангородка и вообще-то народу раз-два и обчелся, всё только калечь, инвалиды, а в выходной день и вовсе пусто. Вызвать, что ли, кого?.. Рассыльный тут — худой бестолковый старикашка в засаленной телогрейке. Он с ней не расстается и в такую жару — торчит вон напротив на лавочке на самом солнцепеке, свесил голову и не шевельнется. Чурка чуркой! Окликни, вскочит как чумовой, зашамкает беззубым ртом, засуетится, а сразу понять, куда посылают, не может. Пуганый какой-то. Забормочет «гражданин начальник, гражданин начальник», словно каша в слюнявом рту. Такому дай раза́ по кумполу — и дух вон! Какой это рассыльный? Ни расторопности, ни вида — вонь одна!

А Хряков содержит себя в чистоте, любит баню. Белье от прачки принимает дотошно.

— Опять небось вместе с вашим вшивым кипятила? Смотри у меня...

Жара размаривает, томит... Сеня, попав в охрану Сангородка после хлопотливой конвойной службы, на диво быстро отъелся и раздобрел. Вот бы в деревню таким заявиться! Кожа на щеках и округлившемся подбородке натянулась и лоснится, что твой сатин; складочки появились на запястьях, как у новорожденного. За что ни ухватись — не уколупнешь! Гимнастерка, штаны, все в обтяжку. Зато Сеня стал сильно потеть, под мышками всегда растекшиеся темные пятна.

Что придумать? Пол в дежурке вышаркан и выскоблен — его уже два раза мыли с утра, а еще нет десяти... Двор прибран, выметен; песок граблями изузорен; пройди вдоль и поперек — не подберешь обгоревшей спички, не то что чинарик, можно поручиться! Насчет порядка — народ вышколенный, не придерешься... Даже Жучка, что прижилась у заключенных, и та в зоне ни-ни! У вахты встанет, хвостом повиливает: ждет, когда кто пройдет в калитку, чтобы прошмыгнуть наружу. И таким же манером обратно в зону: вежливенько в стороне дожидается, пока пустят. Тоже школу прошла, шельма! Голоса никогда не подаст: знает — нельзя. Начальство и так сквозь пальцы смотрит: не положено зэкам держать животных. Вот она — улеглась в тени каптерки против проходной, прижалась к завалинке, так что не вдруг заметишь. Тварь, а свое место знает.

Стрелки ходиков еле ползут. Хряков не дает гирькам спуститься, то и дело подтягивает. Потом подолгу, упорно смотрит, как идут часы после подводки. Забастовали они, что

ли? Часовая стрелка — туды ее растуды! — на месте стоит. До смены, как ни верти, три часа с гаком.

В распахнутую настежь дверь идет раскаленный воздух, если затворить ее — вовсе нечем дышать. В носу, во рту пересохло; ладони влажные, прямо наказание! За квасом в вохровскую столовую посылать рано. Повар не поглядит, что ты дежурный по лагпункту, и пошлет твоего рассыльного с кувшином подальше: знай время! Можно бы прогнать старикашку на кухню зэков за пробой, да на эту жратву Хрякова не тянет. Ему сейчас кисленьких да солененьких заедок, жирненького, запить компотцем: если похолоднее, враз ведро бы осадил! Или нет — сперва лучше помыться. В предбаннике полутемно, скамья застлана простынями, припасен свежий веник. Примешься не спеша разбираться и на дверь поглядываешь: сейчас принесут белье прямо из-под утюга, чистый таз. В прачечной знают, кого посылать к Хрякову. Там, на воле, и не поглядел бы на такую бабенку, а в лагере сойдет. Да и парить мастерица...

Хряков вздрогнул от нахлынувших ощущений. Ему, сытому, двадцатисемилетнему, в самом соку, ему ли сидеть тут зазря? Он с досадой потянулся за книжкой, но больше негде пристроить ни одной подписи. И откуда эта чертова духота взялась? Чем займешься? На беду, раздавил карманное зеркальце. Хряков любит, усевшись поудобнее и облокотившись на стол, не торопясь, обстоятельно освидетельствовать свою физиономию — участок за участком. Портрет, ничего не скажешь, правильный. Возьми хоть глаза — острые, так и сверлят, голубенькие; тот же нос — не задранный какой-нибудь, а с горбинкой, небольшой. Верхняя губа тонковата, к зубам прилипла, зато нижняя полная, валиком. И кожа всюду гладкая, чистая, не как у некоторых, в веснушках да угрях! Про зубы и говорить нечего — все до единого целы, ровные, крепкие — недаром их Сеня на дню по несколько раз спичкой прочищает. Только вот брови огорчают — чего-то не растут и светлые, не видать совсем...

Сеня долго и дотошно осматривает ногти: обкусаны так, что ни единой заусеницы не оставлено, хоть грызи живое мясо!.. Хряков потянулся, снова взглянул на часы и вышел наружу.

С верхней и единственной ступени вся зона как на ладони. По-прежнему ни души. Все словно нарочно попрятались по баракам: ни один не выйдет. Боятся, выученные черти, как бы ради выходного не попасть в кандей! И для чего только зэкам выходные? Ни на что они им, баловство одно. При-

подняв фуражку со звездочкой, Хряков стал обтирать платком обритую наголо, с плоским затылком и маленькими, мясистыми ушами голову. Заодно обтер лоснящиеся щеки, подбородок, тоже свежевыбритый. Исайка не зря трудился — намыливал, скоблил, оттягивал тугую кожу, подчищал, тер, парил компрессами и напоследок освежил «Ландышем».

— Только для вас, гражданин начальник, достал!

— То-то, обрезанный, знаешь!..

Капельки пота, скопившиеся между лопатками, струйкой потекли по спине. Сеня расстегнул пряжку ремня — авось дунет чуток, пахнет под рубаху...

И Хряков стоит, прислонившись к косяку двери, взмокший и взведенный неопределенной, не находящей выхода досадой, смутной неудовлетворенностью плоти, и слегка пощелкивает сложенным пополам ремнем. Распоясанный, он выглядит еще более плотным, налитым.

Что бы такое сделать, чтобы скорее пришло время банного блуда, жирного обеда с компотцем? Маета одна...

А этому дохлому рассыльному жара нипочем: все сидит на солнце и не шевелится. Наверное, задремал. Да что ему — забота, что ли? Сиди себе день-деньской, жди, когда куда сгоняют, на кухню, к нарядчику или каптеру. Ему небось везде обламывается: повара, каптер, хлеборез — не дураки — знают, что около начальника трется!

Старикашка, впрочем, не спит. К нему подобралась собака, стоит возле, положив голову ему на колени, и еле-еле, деликатно помахивает опущенным хвостом; а он темной, с крючковатыми пальцами рукой водит у нее по спине — гладит с головы, вниз по шее и дальше, потом снова и снова. Хряков даже недоумевает: перестанет ли он когда гладить, а дворняга шевелить хвостом? Они, похоже, позабыли обо всем на свете, даже его, дежурного, не замечают, даром что он стоит тут же, почти навис над ними в пяти шагах. Старику что надо? Рад, дурень, теплой собачьей морде на высохших коленях, а ей, твари, только бы приласкаться к лагерникам! Они ее кормят, балуют, каждый норовит погладить, полакомить. Эта ихняя Жучка зато разжирела, обленилась, будто так положено: живет в холе, сыта по горло, спит сколько вздумается, лебезит перед зэками. Ведь что, стерва, придумала: как подходит время к шабашу, садится возле вахты и ждет. Только начнут работяги из-за зоны возвращаться, к каждому подходит, о ноги трется, хвост так и работает... Ни одного не пропустит!

...— Жучка, подь сюда! Чего, дура, боишься? Ко мне!

Старик вскочил с лавки, как ужаленный, заморгал на солнце. Хвост у Жучки сразу замер. Уши ее с вислыми кончиками насторожились. Хряков сошел со ступени, шагнул к собаке.

— Не тебе, что ли, сказано — подь сюда?.. Дура упрямая... Поучить тебя, что ли...

Ошейника на Жучке нет. Хряков поглядел кругом, вдруг вспомнил про свой ремень. Он пропустил его сквозь пряжку и подошел к собаке вплотную. Жучка стояла неподвижно и следила за ним, поджав хвост. Вахтер, нагнувшись, надел ей на шею петлю и легонько потянул за конец.

— Ну что, и теперь не пойдешь? Уперлась? Сила на силу? Да ты никак укусить вздумала, сволочь?

Собака мотнула головой, норовя освободиться от ремня, уперлась четырьмя лапами: петля сдавила ей шею, и она, испугавшись, метнулась прочь. Потом, замерев, с тоской уставилась на Хрякова. Он начинал входить во вкус.

— Ты вот как — не хочешь? Обленилась? Ну так я научу тебя, краля, вьюном вертеться! Ты у меня, стерва, побегаешь...

Он с силой потащил за собой собаку, она поволоклась по песку, упираясь лапами. Петля затянулась туже, тогда Жучка побежала, стараясь не отстать от своего дрессировщика. Он, забыв о жаре, обливаясь потом, стал бегать взад и вперед, круто менять направление. Полузадушенная собака сбивалась с ног, висла и тогда волочилась по земле.

— Бегай, сволочь, бегай!— хрипел он, запаленно дыша. И тут, на крутом вираже, с силой развернутая собака на миг отделилась от земли. Хрякова осенило.

Он остановился, расставил ноги и стал вертеться на месте, все быстрее и быстрее. Жучке уже не удавалось пробежать — она падала, тащилась по песку. Шея у нее неестественно удлинилась, сделалась тонкой. Дергаясь всем туловищем, она сделала несколько судорожных последних усилий.

— Я те научу, я те устрою карусель,— свистел Хряков. Говорить он уже не мог. Весь в пене, он бешено вертелся. Лицо его налилось кровью, дышал он с всхлипами и клокотанием, бормотал что-то косноязычное и страшное. Жучка, с вывалившимся языком и вывернутыми белками, крутилась вокруг него по воздуху, как праща.

Хряков приседал и качался, удерживаясь на месте. Наконец, внезапно ослабев, выпустил ремень. Собака шмякнулась на песок, странно длинная, с вывернутой не по-живому головой.

Вахтер в изнеможении опустился на лавку. Бегавший

все время вокруг него старикашка тоненько верещал, давясь слезами:

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — так что и не разберешь.

Хряков отдышался:

— Ремень, падло, подай!

* * *

...Летний дождь шумит по заплатанному брезенту палатки. В ней, как в теплице, и влажная одежда льнет к телу, а глаза слезятся от едкого дыма. Старенький брезент для комаров не преграда, они пролезают в тысячи мелких и крупных прорех, не дают отдохнуть. Дымарь их несколько угомоняет, но и нас доводит до одури.

Я — в сердце печорских дремучих заболоченных лесов. Всю кладь мы переносим на себе — от лошадей в этих дебрях пришлось отказаться. Солнце светит почти круглые сутки, и круглые сутки донимают комары, в дождь и вёдро — одинаково. Духота в густых ельниках такая, что в накомарниках нельзя работать. Изнурительная ходьба по кочкам и бурелому: за день еле удается справиться с работой, на отдых — и какой! — остаются скупые часы, так что я выматываюсь вконец. Но настроение легкое, даже веселое. Осточертевшие лагпункты с поверками, людными бараками, обысками, стукачами, тупыми и придирчивыми вахтерами, с вечным страхом козней — от начальства и своего брата каторжника — в сотне километров отсюда. И я готов как угодно уставать, кормить таежный гнус, лишь бы туда подольше не возвращаться. Жизнь у костров, без крыши над головой, с ложем из лапника и умыванием в студеных ручьях мне по сердцу. Терпкие запахи трав, изначальный мир нетронутого леса, такой далекий нашей скверны! Не окажется ли и в будущем моя вновь обретенная специальность средством устроить жизнь? С охотой, вольным кочеванием, за тридевять земель от городов-предателей, недосягаемым для очередных репрессий...

Отряд невелик — человек десять притершихся друг к другу техников и рабочих. Со мной в партии — профессор математики Бауманского института в Москве Сергей Романович Лящук и бывалый штурман дальнего плавания Егунов, оба с небольшими сроками. Они не утратили интереса к материям, далеким лагерного житья-бытья, и у костров оживают отголоски забытой жизни. Стихи, Анатоль Франс, миры и звезды...

Снабжение неплохое: чаю с сахаром и махорки хватает. Немало добываем сами. В таежных ручьях пропасть хариусов: я научился ловко подсекать их на мушку. Проводник — местный охотник — дает мне контрабандой ружье, и я приношу рябчиков и глухарей. А когда он дал мне патроны с пулей, я с подхода застрелил лося. Мясо жарили, коптили впрок. У костров — пирование. А сколько ягод! Едва сошла черника, стала поспевать черная смородина, за ней кислица, потом брусника, черемуха, клюква... До затяжного осеннего ненастья мы живем благодатной таежной жизнью. Наконец снега и мороз заставляют выбираться из леса. Нам отведен дом за зоной. Мы вычерчиваем свои маршруты, составляем векторные схемы. На ватмане возникают загадочные очертания подземных структур. Нефтяники по ним укажут, где бурить.

Новенький наш бревенчатый дом оказывается неконопаченым: сколько ни топи, вода в помещении замерзает. Но мы крепимся: лишь бы не переселяться в зону. Весь день уходит на пилку дров — печь ненасытна. Да еще обороняешься от крыс — их полчища. Они и белым днем снуют по стеллажам и кернам — мы живем в казарме брошенной буровой вышки,— по столам с картами и готовальнями и разъяренно пищат. Эти умные твари, как и козлы, сродни нечистой силе. Они способны сблизи злобно смотреть в глаза, причем безошибочно угадывают мгновение, когда надобно отступить.

Вот одна уселась на краю стола, за которым я работаю, и сверлит меня своими бусинками. Я в метре от нее. Замахиваюсь — сидит, не шевельнется: крупная, разъевшаяся. Хватаю припасенный камень, швыряю: она сидит, словно знает, что я промахнусь. Глазки впились в меня, горят — вот-вот подпрыгнет, вцепится. Вскакиваю, бросаюсь к ней. В последнюю секунду она мягко соскальзывает по ножке стола, тяжело шлепается об пол и исчезает. Крысы, когда их много, вызывают мистический страх.

В исходе ноября два наших вольнонаемных руководителя — славные молодые люди, нисколько не похожие на лагерных начальников — добились перевода профессора, штурмана и меня в Ухту и пристроили нас в геологический отдел. Поселили над речкой Чибью, на окраине поселка, в теплой, просторной избе. Так мы и профилонили зиму.

Меня нередко приглашал в свою пустую квартиру Бредихин, и я по два-три дня жил у него в совершенном затворе... Длинные тихие часы одиночества и размышлений. Хозяин не обзаводился ни вещами, ни книгами, жил как на би-

ваке и сам дома не засиживался — все разъезжал по ближним и дальним лагерным стройкам.

Убирал квартиру и приносил обеды из столовой молчаливый, исполнительный Франц. Покончив с пустяшными своими обязанностями, он уходил проведать земляков из приволжских колоний. Возвращался под вечер. Это был настоящий бауэр — с сильными, тяжелыми ручищами пахаря, тосковавший по своим волам, запахам хлебов, разделанной как пух земле и вечерним беседам у пастора, завершаемым пением псалмов.

В двадцать шесть лет Франц стал инвалидом: потешаясь над наивным, плохо понимающим по-русски парнем, надзиратели швырнули его в камеру с отпетыми уголовниками. Оттуда его вынесли обобранным, с тремя сломанными ребрами, заикающимся. Напуганным и потрясенным навсегда. Врачи поставили ему инвалидную категорию, и Михаил Дмитриевич взял его к себе. Франц служил с таким рвением, с таким страхом не угодить, что становилось пронзительно его жалко. Из-за явного моего сочувствия и возможности говорить со мной на родном языке он тянулся ко мне и был по-детски, подкупающе доверчив. Когда Бредихин наконец добился увольнения из лагеря и засобирался в Москву, Франца удалось устроить к нам в геологический отряд — поваром и завхозом.

С отъездом Михаила Дмитриевича я потерял влиятельного покровителя, что, впрочем, не возымело на первых порах для меня дурных последствий. Возглавлял геологию в лагере пожилой петербургский ученый Тихонов (Тихонович?). Лагерные начальники им очень дорожили; ухтинская нефть должна была их вознести до счастья рапортовать Вождю народов. Тихонов мирволил заключенным и не дал переселить нас в зону, как ни мозолили глаза начальственной шушере зэки, жившие в поселке наравне с ними. Тихонов твердо заявил, что мы бываем ему нужны во всякое время и ему удобно, чтобы мы были у него под рукой. И начальство уступило, хотя его очень раздражали зэки, не утратившие пристойного облика и замашек гнилой интеллигенции.

Сам начальник управления часто заходил в геологический отдел — расспрашивал и обхаживал Тихонова: не терпелось доложить в Москву о найденных неслыханных запасах нефти. И как-то вздумалось ему взглянуть на магический вариометр. Аппарат стоял в пристройке к чертежной. Рядом с помещением для драгоценного прибора — светлая комнатушка-закуток, отведенная мне.

В моей келье было чисто и прибрано. Расстеленный половичок у кровати и букет черемухи на самодельном столе делали ее уютной и привлекательной. Начальник поинтересовался, кто тут живет. Ему назвали мое имя. Он помолчал, что-то припоминая.

— А-а, этот барин...

Зловещие эти слова были тотчас переданы мне прибежавшим в контору дневальным. Он запричитал надо мной, как над покойником. Я тут же все бросил и побежал прощаться с Любой. Как было сомневаться, что барину пропишут кузькину мать?!

Гроза, однако, счастливо не разразилась. Как потом стало известно, властелин лагеря не преминул в разговоре с Тихоновым ввернуть ядовитую фразу о заключенных, столь, очевидно, необходимых, что их поселяют в квартирах-люкс. Добрый мой начальник сухо заявил, что должен быть спокоен за прибор с золотыми деталями и рад, что нашелся человек, заслуживающий доверия.

Будь у начальника власть, он и Тихонову показал бы, как разговаривать на равных с ним, владеющим не одним десятком тысяч заключенных душ. Да вот позарез нужны знания оставленного по недоразумению на воле старорежимного специалиста — недобитой контры, какой были, несомненно, для таких вот выкормышей Железного Феликса русские дореволюционные интеллигенты. Ненависть и подозрительность к белым воротничкам и чистым рукам успешно прививал своим сподвижникам и народу с первых дней революции ее вдохновитель и вожак, сам, между прочим, никогда не расстававшийся с галстуком, видимо,— считал, что тем отдает достаточную дань своей репутации интеллигентного человека.

* * *

Наступала весна 1941 года. Я был вправе считать на дни и недели оставшиеся до конца срока месяцы: после пятидесяти семи «высиженных» — три «до звонка». Как будто так мало! Но — это давно отмечено — для заключенного эти последние, поддающиеся счету дни особенно тягостны: они тянутся бесконечно, наполнены страхами, предчувствием внезапной беды. Хотя я суеверно боялся строить заранее планы на будущее, все же про себя решил остаться в лагерной геологической разведке вольнонаемным. Как ни манило очутиться подальше от зон и лагпунктов, не соприкасаться больше с их на-

чальниками и буднями лагерей, я бы остался, даже если бы не было Любы. Начинать жизнь приходилось с нуля, и чтобы мало-мальски опериться, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Всеволод, освободившийся из Воркутинских лагерей в марте, советовал мне не торопиться с возвращением в родные места и стараться зацепиться на Севере. Брату не разрешили вернуться в Москву, а в городишке под Калугой, где он поселился, не принимали на работу. Он жалел, что отказался от предложения остаться в Воркуте.

Передал мне с оказией совет не стремиться из Ухты и Бредихин, которому какие-то военные связи помогли устроиться в Москве. Он, кстати, оказался одним из немногих ухтинских знакомых, с которым мне пришлось встречаться несколько лет спустя, в обманчиво-улыбчивые хрущевские времена. Покидая Ухту, Михаил Дмитриевич очень смело взялся доставить моей сестре кое-что из скопившихся у меня тогда заметок, так что если у меня и сейчас в архиве сохранилась тощая пачка пожелтевших, истершихся на сгибах страничек, этим я обязан ему. Вид их воскрешает его отъезд из Ухты, Франца, пришибленного расставанием, с полными слез глазами; холеную, светски выдержанную панну Жозефину, с кресла молча наблюдающую за последними сборами. Сам Михаил Дмитриевич громогласно командует отправкой вещей: он в необычно приподнятом, нервном настроении. Однако с панной Жозефиной особенно учтив и предупредителен — манера рыцарски-вежливого преклонения перед дамой ему никогда не изменяет. Угадывалось, впрочем, что обе стороны расстаются спокойно, без надрыва.

В Москве Бредихин с налета покорил сердце подруги моей сестры Натальи Голицыной — Ольги Борисовны Шереметевой и на правах мужа поселился в бывшем графском особняке на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка (ныне пр. Калинина и ул. Грановского), с комнатами для прислуги, населенными уцелевшими потомками прежних владельцев. Там жил Александр Александрович Сиверс, отец погибшего в соловецкую бойню приятеля Натальи Михайловны Путиловой. Старый Сиверс-отец благодаря редким знаниям геральдики и генеалогии опекался Академией наук в качестве незаменимого специалиста. Но об этом дотлевающем очажке старой Москвы когда-нибудь потом...

Люба работала теперь только урывками. Она почти не выходила из больницы. Кончилось тем, что ей определили

постоянную инвалидную категорию. Это означало перевод на особый лагпункт, куда свозили нетрудоспособных. Начальник проектного отдела заступался вяло, хотя и ценил искусство Любы: ему был не нужен постоянно болеющий сотрудник. Вмешалось и бдительное начальство, заставившее выписать Любу из Сангородка — у нее был декомпенсированый порок сердца.

Страшны своей обстановкой и царящей в них атмосферой советские дома для престарелых (если говорить о предназначенных для простонародья, а не для элиты!) и на «воле». Небольшой лагпункт неподалеку от Чибью представлял как бы убогую и зловещую пародию на эти «приюты».

В нескольких ветхих бараках, окруженных забором, с караульной будкой у ворот, помещали свозимую со всего лагеря калечь и искали, как и тут выжать из нее возможную пользу. Старики плели корзины и вязали метлы; женщины чинили и штопали всякую рвань — арестантскую одежду и белье. Не пригодным ни для каких работ предоставляли медленно умирать на сверхэкономном пайке.

Эти инвалиды «загибались» на диво быстро, и в сторонке от зоны на глазах заполнялся могильными холмиками, величиной с кротовый бугорок, пустырь, поросший редкими сосенками. Закапывали мелко, без гроба, раздетыми догола, безо всяких табличек. К зиме вырывали несколько просторных ям, как в эпидемию тифа на Соловках, чтобы не долбить мерзлую землю, и уже не хоронили каждого отдавшего Богу душу отдельно, а сбрасывали в общий котлован.

Любу поддерживала вера. Она не ожесточилась и не роптала. Учила и меня терпению. И это испытание она перенесла спокойно, с присущим достоинством, хотя понимала отлично, что распахнувшиеся перед ней дрянные воротца инвалидного лагпункта уже никогда перед ней, живой, не отворятся: к весне сорок первого года она только разменяла третий год своего пятилетнего срока. Не было у нее надежды еще увидеть свою родную Москву, комнатку матери на милом Арбате, оставленных близких и друзей.

Конвоир с сопроводиловкой, Веревкин и я провожали Любу. Женский барак мог на первый взгляд обмануть приметами уюта. Топчаны с прибранными постелями, застланные салфетками столики, на окнах занавески, пришпиленные над изголовьями карточки и вырезанные из журналов иллюстрации. Что-то мишурно-неверное на мгновение заслоняло вопиющую нищету и безысходность жизни в этих стенах. Были тут слепые и впавшие в детство, парализованные, без-

ногие, однорукие... Любу, правда, поместили в одну из двух отгороженных в бараке комнат, отведенных для «работающих». Стоявшие вдоль стен койки обрамляли большой стол на козлах, заваленный стираным лагерным бельем. Его латали и чинили сидевшие вокруг на табуретах женщины.

Эта картина отдаленно напомнила мне просторное сводчатое помещение в женском монастыре в Торжке, где послушницы вышивали белье городским и уездным модницам. Мне мальчиком доводилось там бывать с матерью или гувернанткой — искусное шитье и кружева новоторжских монахинь пользовались большим спросом, помещицы и купчихи заваливали их заказами.

— Ну вот, видите,— говорила измученная дорогой Люба,— совсем и не страшно: чисто, светло. Буду тут жить спокойно и тихо, в свободное время вышью маме сорочку. У вас на работе, Кирилл Александрович, все не успевала. Вы ведь будете меня навещать? И книги носить...

К Любе подошла старшая мастерица — рыхлая, астматическая, с добрыми поблекшими глазами, — показала ей застланную пустую койку:

— Только вчера освободилась. Постарше вас была женщина. Померла в одночасье. Ртом воздух ловит, а дыхания нет... захрипела, и все!

Конвоир поторапливал. Кирилл Александрович вышел первым. Люба стояла против меня с закушенной губой.

— Простимся, милый,— Люба провела рукой по моим волосам, погладила щеку.— Храни тебя Бог... Маме передай...

Сжала руки, зажмурилась и замерла, стиснув зубы, всеми силами справляясь с взрывом отчаяния.

— Не думай так, я же говорил тебе: через три месяца меня освободят, я никуда не уеду, останусь подле тебя. Вольнонаемному будет легче о тебе заботиться. Пуще всего — береги себя. А там — Бог даст, выхлопочем тебе перевод в ссылку...

— Да, да, так, наверное, и будет, все устроится,— одними губами подтверждала Люба.

Она истово меня перекрестила, довела до двери, молча поцеловала в лоб, потом коротко в губы, и я пошел, веря, что и впрямь мне еще доведется ее видеть, потом вызволять отсюда... И мы устроим нашу жизнь, и я снова буду слышать ее родной, медленный колдовской голос, видеть прекрасные движения длинных точеных рук...

* * *

Еще по санному пути гравиметрическая партия была отправлена на полевой сезон и осела в зырянской о нескольких дворах деревне Лача, на крутом берегу холодной и быстрой Ижмы, еще крепко закованной льдом. Мы расселились по избам.

Мои хозяева, потомственные охотники Габовы, были по-таежному гостеприимны, радушны, и я вскоре почувствовал себя членом семьи, был посвящен во все ее дела. Глава дома Николай Костя, как на местный лад переделывают русское Константин Николаевич, маленький, жилистый и подвижный, легкий на ногу, и в семьдесят лет добычливо рыбачил и белковал. Сын его, веселый и обходительный Костя Вань, был подряжен к нам проводником и этой удаче откровенно радовался: паек и зарплата лагерного вольняшки должны были подправить дела многодетной семьи, живущей, как и большинство обитателей Лачи, скудно. Костя Вань сводил меня на сказочно обширные глухариные тока, о каких за пределами северных нетронутых лесов и понятия не имеют. Мы с ним вдвоем намечали летний маршрут и по неделе не выходили из тайги. Мог ли я тогда предположить, что длинные наши и откровенные разговоры мне придется вспомнить в трудный час, дивясь нитям, какими жизнь опутывает нас самым непредвидимым образом?

В нашей партии произошли перемены: освободились и уехали Лящук с Егуновым. И, искренне желая друг другу благополучия, мы не могли не чувствовать при расставании некоторого облегчения: взаимная откровенность выявила глубокие расхождения между нами. Профессор, напористый последователь Кропоткина, презирал всякую власть, а меня из-за моего умеренного монархизма отнес к черносотенцам; капитан же, набравшийся каких-то абсолютистских теорий и считавший неизбежным покорение мира германским вермахтом — как раз тогда Гитлер заглатывал одно европейское государство за другим,— нетерпимо и начисто отвергал мои либеральные взгляды и суждения о достоинствах христианской морали. И обоих коробило мое приравнивание к фашизму большевистской идеологии — для меня обе доктрины были равно бесчеловечными.

Сменился и начальник партии. С новым — молодым, корректным и сухим — установились подчеркнуто официальные отношения: он, не в пример своим предшественникам, сразу дал почувствовать пропасть, отделявшую его от зэков.

И я еще больше сблизился с Францем и несколькими охотниками. Никакая лагерная ржа не могла разъесть честную крестьянскую суть несчастного немца: раздавленный, не понимающий, за что обрушилось на него столько бед, Франц оставался самим собой — добродушным, услужливым, простым, неспособным на зло. Велик был в нем запас любви к людям: обо мне он заботился, как нянька, и был рад услужить кому угодно. Зато во всей Лаче не было более желанного гостя, чем Франц. Его круглую стриженую голову можно было увидеть в любом конце деревни — то он кому-то помогает напилить дров, то истопит баню или наносит воды. Да еще одаривает всех своей простодушной, печальной и славной улыбкой.

Под стать общежительности и простоте Франца был и строй жизни этой глухой лесной деревушки, где и на третьем десятилетии после революции продолжали почитать старших, держать клети незапертыми, выручать друг друга. И как первый грозный признак наступающего разложения — вошедшая в обиход богохульная матерная брань...

Счет моей неволи шел уже на куцые недели, наконец пошел на дни... Настроение было приподнятым, и дни стояли яркие, солнечные, удачно складывались дела на маршруте. Люба писала часто и уверяла, что чувствует себя много лучше. И наконец свершилось: начальник отозвал меня с трассы и предложил сдать лагерное обмундирование — иначе говоря, разуться и раздеться. Было велено отправить меня в Ухту, на лагпункт № 1.

Через реку меня перевез на своей лодке Костя Вань. На ближайшем лагпункте я был присоединен к нескольким этапируемым зэкам и отправлен на грузовике с вохровцами. После почти двух лет расконвоированного существования я снова прошел через все ощущения арестанта, охраняемого бдительным недобрым оком. На огромном центральном лагпункте — в столице ухтинской рабовладельческой провинции — я несколько дней вкушал в полной мере от сладости поверок, вохровских придирок, шмонов. И дождался часа, когда с развода меня выкликнули и повели в УРЧ, где после множества идиотских формальностей, опросов и сличений — процесс освобождения из заключения глубоко чужд и противоречит прочным традициям советских карательно-подавляющих органов — вручили временное удостоверение, подлежащее обмену на паспорт по месту постоянного жительства. Из обшарпанного здания УРЧ я вышел самостоятельно, без конвоира за спиной.

С крыльца управления, построенного на горке, открывался вид на поселок. Над излучиной сверкающей реки дымила кирпичная труба ТЭЦ, темнели бревенчатые стены однотипных домов под тесовыми крышами... Мне предстоит жить в одном из них. Долго ли? Стараясь теперь воскресить как можно точнее тогдашние свои переживания, я припоминаю, что занимали меня практические соображения. Не было и тени того ликования, того вздоха полной грудью, предчувствия воли, что так впечатляюще описал Достоевский в «Записках из мертвого дома»; я переступил порог тесной клетки, чтобы шагнуть в более просторную, одинаково не знающую воли, изгнанной из России еще в семнадцатом году.

Я зашагал к Геологическому отделу, где, как было договорено, меня должны были принять на работу в качестве вольнонаемного: я рассчитывал в тот же вечер показать Любе свеженькое удостоверение лагерного сотрудника...

Глава восьмая

И ВОТ, КОНЬ БЛЕДНЫЙ

— Слышали?

— О чем?

— Как о чем? Война!.. Немцы перешли границу, бомбят наши города.

— Быть не может!— только и мог я, ошеломленный, еще не постигая всего значения новости, проговорить. Однако сразу отключился от насущных забот, меня занимавших. Эту новость мне преподнес Алексей Иванович Куликов, освободившийся уже года два назад бывший зэк.

Он юнцом участвовал в Ледяном походе, уцелел в резню, устроенную Бела Куном в Крыму после ухода Врангеля, а затем испытал все превратности судьбы человека с тавром белого офицера. Ему благоволил Бредихин, через него с бывшим поручиком познакомился и я. Это был замкнутый, привычно скрытный человек, державшийся незаметно и сводивший свои отношения с людьми к интересам специальности: в лагере он прочно закрепился инженером-строителем.

Мы с ним встретились на безлюдном пустыре, каким была тогда центральная незастроенная площадь Чибью.

— Я только что вышел из кабины грузовика... Мы в тайге ничего не слышали. Это что, западный вариант Халкин-Гола или...

— Вот именно «или»... Схватка не на жизнь, а на смерть. И у холопов будут чубы трещать как никогда: паны позаботятся!— Алексей Иванович оглянулся и, хотя вокруг за двести метров никого не было, продолжал горячим шепотом:— Начальство беспрерывно заседает, в Управление никого не пускают. Телеграф работает круглые сутки... И то сказать — есть над чем задуматься. Война, а в стране десятки миллионов за решеткой. И им не заслабит, перестреляют одну половину,

чтобы устрашить другую. Прошел слух, что всех расконвоированных загонят в зону. Вашу геологоразведку прикрывают — не до нее: будут жать на режим... Опасные наступили дни, дорогой мой, не придумаешь, как поступить. Залезть бы на какое-то время как таракану в щель, да где ее тут найдешь? Бежать отсюда надо. Если уже не опоздали...

Мне вспомнились Соловки — остров-западня. Не то же ли и здесь, да и по всей стране, опутанной тенетами слежки, паспортной системы, каким позавидовали бы и самые изощренные полицейские режимы?

Молчун Алексей Иванович заговорил напористо, выговаривая все то, что годами подспудно копилось на душе.

...— Обратился к народу — по радио: проникновенно, с дрожью в голосе: «Братья и сестры!» — а?— Алексей Иванович очень верно скопировал неистребимый акцент Сосо.— «К вам обращаюсь я, друзья мои...» Чуете? Друзьями стали, о братьях и сестрах заговорил, палач! Приспичило, наложил в портки — и протягивает руки: выручайте, спасайте... А руки-то выше локтя в крови этих самых братьев и сестер. Да народ таков, что не разглядит и впрямь подымется защищать... своего убийцу!

Мы простились. В отделе, куда я забежал, уже зна о предстоящем свертывании геологической разведки. Все ходили растерянные и озабоченные. Бывшим зэкам был «временно» запрещен выезд за пределы Коми республики, а оканчивавшим срок прекратили выдавать документы «до особого распоряжения». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!..

В военкомат посыпались заявления добровольцев: «От правьте на фронт». Пятьдесят восьмой статье отказывали. Возможность отсюда вырваться через армию была закрыта.

...На улице уже шагают первые отряды мобилизованных, по поселку ползут слухи о стремительном наступлении немецких танков, о залетающих в глубокий тыл «мессершмиттах»... Впечатление, что в магазине убрали с полок все товары. Люди боятся разговаривать, старательно выполняют первые приказы о затемнении... Беда надвинулась вплотную. Привычный мрак еще сгустился, вот-вот объявятся таящиеся в нем угрозы: убивать будут не только на фронтах войны!

Я сижу в наглухо затемненной кухне — окно плотно задраено одеялом — у моего приятеля и сослуживца. Он — ухтинский старожил, работает в геологическом отделе уже пятый год после ссылки. Но нас с ним сближают дела куда более давние. Он петербуржец и носит фамилию, бывшую особенно любезной юным жителям прежней столицы: это

внук или правнук основателя известной кондитерской фирмы «Жорж Борман и К°», поставщика двора Его Величества. Не знаю, от каких предков — французов или евреев — у Юрия жгучая южная внешность: сросшиеся на переносице шелковые темные брови, крупные, плотные завитки волос; глаза ярко-, густо-черные; нос тонок, породист, с хищной горбинкой. Юрий тих, осмотрителен и разборчив в людях, с хозяйственной жилкой. На работе он строг и недоступен; подчиненные — хозяйственники и кладовщики — его побаиваются: у него не украдешь.

Но сейчас мы далеки от проблем снабжения экспедиции. Вполголоса на все лады обсуждаем нависшую надо мной угрозу. Накануне ночью на лагпункте № 1 переарестовали много народу. Целый отряд «попок» ходил с начальниками по баракам, вызванных по длинным спискам выводили на улицу и рассаживали по грузовикам. Прошелестело: «Заложники»... Выкликнули и мою фамилию. Кто-то с нар ответил: «Ищите ветра в поле. Он освободился!» Вохровец отметил что-то в списке, тем дело и кончилось.

— Опоздали. До следственной части еще не дошло, что вы уже освобождены. Машина лагерного учета громоздкая — не поспевает... Это дает нам крохотный срок, чтобы что-то предпринять. Пока в отдел сообщат, что вас больше нет на списочном составе лагпункта, узнают, что вы приняты на работу вольнонаемным, и начнутся розыски — пройдет день-другой. За этот срок надо отсюда вырваться во что бы то ни стало. Но как?

Юра перечисляет разные варианты, я напряженно слушаю. Ничего путного не придумывается, и мы откладываем решение до утра. Оно, как известно, мудренее...

Уже ночь. Мы потихоньку выходим на лестницу. Юра ведет меня вниз в пустую квартиру: сосед уехал в командировку и отдал ему ключ. Устроив меня, Юра запирает дверь снаружи и велит ни на какой стук не отворять. И я остаюсь один, на самодельном диване, наедине со своей тревогой. Но в безопасности: сюда за мной не придут.

Полудремлю, перебирая в голове всевозможные планы. На всех дорогах заставы — проверка документов: если пробираться тайгой — буссоль есть, карт в отделе достаточно,— то куда? Задержат в первом поселке. Связанные с тайгой заманчивые планы не выдерживают трезвой оценки. Чтобы достать фальшивый документ, нужны не только деньги — они у Юры, может, и есть,— но и знакомства. Да и не вижу я себя живущим под чужим именем.

Под утро я заснул как убитый. И снилось что-то праздничное, светлое. Юра разбудил меня, и сознание тотчас же, без перехода, возвратило к поискам выхода. Я казался себе обреченным, подумывал о самоубийстве: не трать, кума, силы — опускайся на дно! Но Юра — трезвый, находчивый,— был настроен иначе. Его рискованному плану я подчинился с облегчением: сейчас меня более всего устраивало поступать по чужой указке.

Было еще очень рано. Мы позавтракали, а к часу открытия я стоял у двери отдела кадров Управления — сам сунулся в пасть волку! — с заявлением «об отчислении в связи со свертыванием полевых работ». Для читавшего мою бумажку чиновника это было рутиной — увольнялись тогда из лагеря пачками,— но он все-таки спросил:

— Куда переходите?

— У меня повестка из военкомата,— четко ответил я.

И это было как раз то, что он в эти дни слышал от большинства посетителей. В верхнем левом углу моего заявления появилась резолюция: «Бух. Произвести расчет».

Потянулись казавшиеся бесконечными нервные часы ожидания, пока оформлялось увольнение «по собственному желанию», готовилась справка, выписывался расчет, открылась наконец касса. Я сидел в коридоре Управления как на угольях, прячась за других. Томил страх: вот опознает кто-нибудь из снующих здесь начальников и... Гадать, что ожидало меня в этом случае, не приходилось.

Когда меня выкликнули к окошку за удостоверением и расчетом, я уже был измучен, напряжен до предела: мне просто мерещилось, как, пока с одного стола на другой кочуют бумаги на мое увольнение, оформляются другие — на мой розыск и арест... Тут я был в самом деле, как говорят англичане, «a narrow escape» — на волосок от гибели!

Но временного удостоверения об отбытии срока и справки об увольнении недостаточно: билет на поезд по ним не получишь. И я снова под запором в пустой квартире. Юра рыщет по поселку в поисках «вольной», не принадлежащей лагерю конторы: авось найдется в которой-нибудь работа в отъезд!

Томительно идет время. Рабочий день подходит к концу, а на завтра — воскресение, все учреждения закрыты. Это почти верный провал: отсрочка истекает. Чем-нибудь отвлечься, заняться невозможно. Я стою в прихожей и вслушиваюсь в малейший шорох за дверью. А когда надежды почти не осталось — у меня нет часов, светло круглые сутки, но я чувствую,

что приблизился вечер,— резко лязгнул замок, дверь открыл Юра.

— Ступайте скорее в представительство Ленинградского геологического треста, адрес вы знаете. У них работает в Сыктывкаре отряд, и туда еще вчера набирали народ. И если примут, идите прямо на станцию, поспеете к вечернему поезду. Никуда не заходите — кое-что в дорогу я вам соберу, буду ждать на перроне, в конце, у пакгауза... Только не пускайтесь по улице бегом, покажется подозрительным.

За запертой дверью с табличкой тихо. Никто на стук не отвечает. Я жду и снова стучу. И когда в отчаянии уже схожу с крылечка, раздаются шаркающие шаги, звук отодвигаемого запора. Слышу из приотворившейся двери:

— Вам кого?— На меня глядит очень грузный, с огромным животом и отечным лицом пожилой человек, совершенно лысый. У него тяжелое, астматическое дыхание.

Я сую ему свои бумажки, запинаясь от волнения, рассказываю о своем стаже в геологоразведке. Сам чувствую, что получается путано. Он слушает, глядя куда-то в сторону. Я умолкаю. Молчит и он. Молчит долго, мучительно долго. Наконец:

— Зайдемте в помещение.

Крохотная комнатка с конторским столом и несгораемым шкафом выглядит тесной для своего громоздкого хозяина. Пройдя к окну и повернувшись ко мне спиной, он что-то выглядывает на улице и вполголоса, словно рассуждая с собой, роняет редкие слова:

— Что тут сделаешь? Да... у них там комплект... И распоряжение — вон на столе телеграмма из треста: представительство закрыть, мне сматывать удочки. Война, буровые консервируют... Да и бурильщики мы, а вы гравиметрической съемкой занимались... Нет, ничего, пожалуй, не придумаешь...

Я стоял, как приговоренный, даже не пытаясь настаивать, просить. Видимо, не судьба отсюда вырваться... И все же... он не повертывался ко мне, не выговаривал твердо слова отказа. Я медлил, не уходил, сам не зная, на что еще надеюсь. Мелькнуло в голове: сказать начистоту, какая надо мной нависла опасность? И я и сейчас не могу решить: испугался бы толстяк и сразу меня выставил, или, наоборот, это побудило его меня выручить?

— Мне необязательно техническую должность, я могу и рабочим...

Наконец начальник и, как я догадываюсь, единственный служащий представительства отворачивается от окна и долго

в меня всматривается, как бы определяя, что за птица к нему залетела.

— Небось по пятьдесят восьмой сидели? Сколько?

— Пять лет. И до этого пришлось...

Кряхтя и продолжая с собой говорить, грузный добряк — именно таким было первое впечатление, едва он отворил дверь,— стал отпирать сейф, достал бланк, печать, снял чехол со старинного «ремингтона».

— В Сыктывкаре всего одна гостиница — найдете сразу. В ней у нас постоянный номер, работы только начали по-настоящему разворачивать. Начальник экспедиции хороший человек, мой приятель, вот для него записка — спрячьте подальше. А это — командировочное удостоверение: с ним прямо в кассу, получите билет. И — с Богом, как говорится.— Он взглянул на часы:— Поезд через час, еще успеете.

Станция, разумеется, наводнена охранниками и агентами, но я пробираюсь сквозь толпу без той тревоги, что клещами сжимала сердце в последние двое суток. После встречи с добрым, отзывчивым человеком на душе легче. Можно, значит, жить, коли в критическую минуту еще находятся незнакомые люди, идущие на риск, чтобы выручить. По тем временам и Юрий, не побоявшийся меня спрятать, и незнакомец в конторе, выдавший мне спасительный документ, подвергали себя несомненной опасности: тут было пособничество врагу, во всяком случае, личности подозрительной. «Настоящий» советский человек, стопроцентный, воспеваемый сонмом служителей муз, должен был следовать канонам, обусловившим памятник Павлику Морозову, и, являя образец бдительности и преданности режиму, выдать меня властям. А люди взяли да спасли.

Как я упомянул, станция кишела народом, и я почувствовал себя затерянной в толпе песчинкой. Еле протиснувшись к окошку кассира, я смело подал свои бумаги. «Сезам, отворись!..» И билет мне продали. Я, ликуя, ринулся вон из тесного зальца разыскивать Юру.

— Вижу по лицу — со щитом... Уф, вздохнул свободно — уже не чаял, что пронесет! Вот вам рюкзачок — белье, фуфа ка, провизия. Возьмите и немного денег. Берите, берите, пригодятся... Какие там счеты! Впрочем, мне кажется, мы не навсегда прощаемся — еще увидимся. Как подадут состав, не спешите к вагону: протиснитесь в последнюю минуту, когда документы еще смотрят, но уже не проверяют. Есть поручения?

Как не быть! Никакие страхи и заботы последних дней не заслоняли тревогу за Любу. Мучила невозможность к ней

сходить, дать знать о случившемся. Веревкин в отъезде, и принести от нее известие было некому. Я тут же наспех на клочке бумаги написал несколько слов и печальные прощальные строки из Байрона:

FARE THEE WELL, AND IF FOR EVER
STILL FOR EVER FARE THEE WELL!
(Прощай! И если навсегда,
То и тогда все-таки — прощай!)

Надо было найти слова ободрения, надежды, но где их взять? Юра обещал сходить на инвалидный пункт и рассказать о поспешном моем отъезде.

Мимо платформы покатили обшарпанные пассажирские вагоны. В открытых тамбурах рядом с проводником стояло по два вохровца. Выждав, пока проверочный пыл поостынет, я пробрался к вагону, где посадка шла всего живее. Охранник и впрямь едва взглянул на мои документы и пропустил на площадку. Поток едущих тотчас потащил меня, и я очутился в проходе, набитом людьми, ищущими, где бы пристроиться на плотно занятых трехъярусных полках. В окне мелькнул Юра. Я почувствовал себя спасенным.

* * *

Начальника партии я застал утонувшим в груде бумажек в походившем на вещевой склад номере. Борис Аркадьевич Сеймук был сухощав, примерно моих лет, с большими залысинами и в стар採еньких металлических очках. Суховатый, деловой человек, несомненно, умный и проницательный.

Взглянул на мою справку, прочитал магическую записку. Задумался.

— С лошадьми управитесь?.. Вот и отлично. Нечего вам тут сидеть, на людях толкаться. Требуется перегнать на буровую тройку лошадей, вот вы на первых порах и займитесь этим. А там подумаем, как вас использовать.

Спустя час я шел в подгородный колхоз, где мне, завхозу геологической экспедиции, передали лошадей, повозку, сбрую фураж. С этим надлежало отправиться верст за восемьдесят в деревушку на реке Кельтме за Усть-Куломом, а оттуда провести лошадей по тропе на буровую. В дорогу я пустился словно в увлекательное путешествие.

В лесной своей пристани — заимке о двух легоньких бревенчатых домиках, еле отвоевавших тесную площадку у дремучего леса — я обжился очень скоро.

Мне отвели голую комнатенку с оставленной прежним постояльцем кое-какой по-походному сколоченной мебелью. Я выписал себе — сам хозяин каптерки! — постельные принадлежности, добрые охотничьи сапоги, обзавелся котелком с кружкой и приступил к несложным обязанностям кладовщика, рассыльного, отчасти учетчика. Кроме меня, на заимке было несколько семейных рабочих, техник, не ахти какой квалификации мастер — в общем, с семьями человек тридцать, живущих своей обособленной жизнью, замкнутых и необщительных.

Оком власти на буровой был, как я догадался, пожилой слесарь, член партии с девятнадцатого года, хмурый и ленивый. Если ему и было поручено следить за нами, то действовал он не слишком ретиво, предпочитал всему сидеть в своей конуре — он соорудил себе отдельную полуземлянку, впрочем, уютно обставленную, и углублялся в затрепанную книжку. У него была до дыр зачитанная библия комсомольцев «героических лет» — «Как закалялась сталь»... Этот в общем мирный и покладистый работяга, может быть, и разделял накалявшие Павку страсти, но сим бурлящим молодым вином опьянялся человек изношенный, утомленный жизнью.

Спустя некоторое время на буровую приехал Сеймук, окончательно очертивший круг моей деятельности: я возводился в ранг его помощника по хозяйству и снабжению и должен был отныне ездить по району и в колхозы — получать всякое прод- и вещдовольствие. Борис Аркадьевич был, как я понял уже в номере гостиницы, не только деловым специалистом, но еще и ловким политиком. Убедив руководителей Коми республики в первостепенном значении экспедиции для ее судеб, он добился исключительного внимания для своей организации. Да и умел, очевидно, щедро благодарить за оказанные услуги. Передо мной, как представителем Экспедиции с большой буквы, отворялись все двери и, что было особенно ценно, склады с такими архидефицитными существенностями, как сливочное масло и сахар, которые в военные годы употребляли одни руководящие начальники и снабженцы. Картофель экспедиции поставляли колхозы, расставались с овечками и бычками, выделяли овес для наших лошадей — это было какое-то округлое фантастическое благополучие, невесть на чем основанное. И это в то время, как сами колхозники не получали зерна за трудодни, не помышляли о мясе, а кляч своих

кормили чем попало, поскольку накашиваемое сено шло в армию!

Теперь, по прошествии стольких лет, нелегко ощутить реальность того времени, когда узаконилось, сделалось нормой обирание крестьян до нитки, до степени, обрекавшей на голодание. Они должны были кормить всех, не оставляя себе ничего. Под флагом снабжения армии сыто обеспечивались партийные работники и примазавшиеся к ним холуи, не зевали и такие ловкачи, как мой начальник, столь деятельно и успешно хлопотавший о сотрудниках экспедиции, чтобы обеспечить и свою семью, и многочисленную родню, предусмотрительно вывезенную из Питера в тихий тыловой городок.

Прочно сделавшись «агентом по снабжению», я почти не жил на буровой, а обосновался в Кирде, упомянутой мною деревушке на берегу Кельтмы. Там была учреждена перевалочная база, откуда грузы вьюками доставлялись на три или четыре участка, где работала экспедиция. В пяти домах деревни оставались малые да старые. Жили тихо и дружно, какой-то особой замкнутой лесной жизнью: главными кормильцами были два деда, делившие между всеми поровну добытые ими дичь и рыбу — хлеба почти не ели.

Неправдоподобной, невозможной для того тягостного, накаленного злыми страстями времени выглядела жизнь этой горстки спокойных и мирных людей, родившихся и состарившихся в незамутненной тиши первозданных лесов, живших, «как жили деды». Ни ропота, ни богохульства: не жалуясь и не озлобляясь, сносили обездоливавшие их поборы, молча скорбели о своих взятых на войну добытчиках. Дед Архип, мой хозяин — рослый и крепкий семидесятилетний таежник,— привечал соседских детей наравне со своей внучкой, следил, чтобы никого не обделили рыбой. Приняв меня в свой дом, обходился как со своим. Так же благожелательна и заботлива была его бабка, любившая меня расспрашивать об оставленных далеко близких, соболезновавшая моему одиночеству. На первых порах дичилась молодая хозяйка, их невестка, незадолго до меня проводившая на войну мужа.

И из своих частых поездок по деревням и в районный городок я стал возвращаться в Кирду как домой. Там меня ждали. Дед Архип выходил помочь распрячь лошадь, бабка доставала из печки чугуны с обедом, оживлялась и сдержанная, молчаливая Дуня. Эти хлопоты согревали и радовали. Топилась для меня банька, у бабки бывали припрятанные свежие хариусы, Дуня заботилась о моем белье. Я нередко привозил гостинцы — кулек сахару, хлеб, пачку чая, а то и кусок

мыла, отрез ситца или иной материи, о которых давно забыли жители деревни. Всем этим меня премировал мой начальник — разумеется, вполне незаконно.

Ласковая и тихая обстановка помогла восстановить утраченное после последних передряг и внезапного расставания с Любой душевное равновесие. Писать ей в лагерь я не мог, опасаясь выдать свой адрес. Все же из Кирды мне удалось отправить несколько писем родным и узнать кое-что о Всеволоде.

Отбыв свои пять лет в Воркутинских лагерях, он успел до войны выехать с Севера и жил в небольшом железнодорожном поселке под Калугой. Работы там не находилось. Нечего и говорить, что к тому времени никакие Калинины и иные прежние его влиятельные покровители (в большинстве не пережившие 37-го года) уже не могли помочь, и жилось ему тяжко. И он, человек мужественный, неспособный пасовать перед неблагоприятными обстоятельствами, поступил решительно: осадил местного военкома, пока не добился от него назначения в санитарный железнодорожный отряд. Пусть наденут на рукав повязку с красным крестом, раз признан «недостойным защищать отечество с оружием в руках!».

Правда, под этим предлогом отказывали в приеме в армию социально чуждым лишь на первых порах. Едва обозначилось, каких гекатомб требует сталинская стратегия, приступили к формированию из этой «контрреволюционной сволочи» особых батальонов и бросали их, кое-как вооруженных и обученных, на затычку прорывов и дыр фронтов. И были придуманы красивые слова: «Они смертью искупили вину перед родиной...». Их чудовищную лживость должно оценить потомство.

От брата я получил письмо, когда им был сделан второй — непоправимый — шаг на единственном, как он полагал, пути, ведшем к нормальной жизни.

«Пятилетний срок в лагере закрыл мне все дороги,— писал он.— Я даже не могу жить с семьей в Москве. В сорок один год с таким положением нельзя мириться. И я решил: «голова в кустах или грудь в крестах!» После двухмесячных курсов, куда я откомандирован по ходатайству начальника санпоезда, помощником которого я сделался, меня направят на фронт офицером. Коли вернусь, все должно быть забыто, потому что я намерен отличиться. Если погибну, жене и сыну станет легче жить».

И невозможно отсюда, из своей норы, остановить брата, не дать ему совершить этот мужественный, благородный, но такой напрасный и ошибочный шаг, открыть глаза на его заблуждение! Мне было так очевидно, что никакие заслуги и

жертвы, никакие подвиги не могут изменить отношение властей к тем, кто был однажды занесен в списки лиц, для них опасных,— лиц осуждающих и рассуждающих, со своими мнениями и взглядами, способных умалить их авторитет, посеять сомнение в непререкаемой праведности. Короче — тех, кто не обманут ни гримом, ни демагогией, а видит их неразоблаченную суть дорвавшихся до пирога власти невежественных временщиков. Даже наоборот: человек, выдвинувшийся благодаря своему мужеству, заслугам, таланту, становился особенно опасным и подозрительным. Упования Всеволода покоились на неверных оценках, на непонимании сути господствующей политики и тактики, основанных на принципе, что лучше обезвредить сотню невиновных, чем прозевать одного врага или возможного конкурента. Прошлое никогда не забывалось и не прощалось никому. Будь я рядом, я внушил бы брату, что наследники Ленина и Дзержинского не способны на благородный поступок, не могут честно простить старого, сделавшегося безвредным не только врага, но и инакомыслящего, предать забвению былые расхождения.

Не дожил ты, родной мой, до дня, когда так трагически оправдались все эти предчувствия и безнадежные оценки! Уже на второй год войны сразили тебя немецкие пули, и покоится где-то в новгородских лесах твой безвестный прах, так что и узнать нельзя, где могила.

Как оборвалась твоя жизнь? Что передумал ты, оказавшись в рядах армии, сражавшейся против вековых врагов России, но и объявивших крестовый поход за освобождение мира от ига марксизма? Почти наверняка угадываю, что ты, как и я, едва нарушили гитлеровские полчища наши границы, стал жить надеждой на то, что победительницей из огненной боевой купели выйдет милая наша, исстрадавшаяся Россия, которая сможет не только поставить на колени извечный тевтонский милитаризм, но и покончить с домашними диктаторами. Пусть пожрет гад гада! Да избавится навеки Родина, а с нею и растоптанная Европа, весь мир, от власти насильников и демагогов, всех кровавых освободителей человечества. Пусть развеется в прах приманчивый ореол их учений и они сгинут, обескровив друг друга, и очнутся народы, придут в себя после кошмарных лет террора и насилия, заживут по-настоящему свободно и достойно. Должны были, непременно должны были и тебе мерещиться задышавшая вольно Россия, наш народ, наши мужики, по-настоящему расправившие плечи, поднявшие голову, почуявшие, что нет более над ними жестоких указчиков и погонщиков, закабаливших их, опусто-

шивших души, приучивших в раболепию, чтобы воплотить идеал элиты, правящей безгласными крепостными, как в лучших социалистических утопиях...

Да, один из гадов был сокрушен. А второй, еще не придя в себя после опьянения победой, еще оглушенный фанфарами, призванными рассеять испытанный смертельный страх, спешил насытить жертвами стосковавшиеся по массовым пополнениям ячеи ГУЛАГа, загрузить застенки, дать палачам работу. Корчились на виселицах тела казненных, и среди них повисли в петлях пойманные где-то в Азии девяностолетние старцы — уцелевшие призраки белых атаманов... Одних этих расправ с ничтожными тенями гражданской войны достаточно, чтобы опровергнуть иллюзии, какие вдохновляли поступки моего брата.

Я вчитываюсь в строки последнего письма Всеволода и вспоминаю нашу переписку с ним в тульской тюрьме и в Архангельске, какую мы вели, помня о перлюстрации и соглядатаях... Не они ли мерещились ему, когда он писал мне в этот последний раз?..

* * *

Все это еще впереди, за жутким опытом смертельной схватки двух диктатур, за годами лишений, голода, расправ. Пока что я разъезжаю по пустынным дорогам Зырянского края, ставшего республикой Коми, с редкими таежными деревнями, глухими лесами и растекшимися пятнами лагерной проказы. Война, и потому матери не могут требовать хлеба для своих детей, колхозники — оставления им зерна для посева, переселяемые и ссылаемые народы — требовать еды в свои теплушки: все для фронта, все для победы!

Иногда мне приходилось бывать в Сыктывкаре, прежнем Усть-Сысольске, ставшем столицей Коми. Тут я получаю от моего шефа очередные выхлопотанные им наряды на поставки и снабжение. Не то он поручает мне самому сходить в соответствующие республиканские организации. Тогда я ощущаю, с каким затаенным негодованием, с каким внутренним возмущением ведающие выдачей служащие подписывают документы на получение сахара, масла, мяса, круп... кем же? Чужаком, представителем никому не нужной экспедиции, когда всего этого лишены они сами, их дети и родители...

Городок наводнен приезжими. В Сыктывкар доставляют вывезенное из Прибалтийских республик население. Это большей частью семейные горожане, интеллигентные люди с се-

мьями и обычным бестолковым багажом беженцев и ссыльных. Они рады обменять на кусок хлеба, на что-либо съестное все, что находит покупателя. Рынок кишмя кишит этими продавцами, а спроса почти нет. Золотое время для спекулянтов и ловкачей! Повторяется то, что наблюдалось в первые годы революции, в период «военного коммунизма», когда и меха, и драгоценности сбывались за овес и картофель. С той только разницей, что овес и картофель мужики обменивали свой, добытый трудом, тогда как нынешние ценности, служащие валютой,— буханки хлеба, куски сахара или завернутые в газету крохи масла и ломтики сала — ворованные, поступившие со складов или пекарен от заведующих и кладовщиков, работающих в доле с начальством. А в остальном — те же попавшие в беду люди, расстающиеся в мороз с валенками или овчиной, с последним бельем, и те, кто, радуясь удаче, жадно бросается на добычу... Впрочем, была и ленинградская блокада, после которой, я полагаю, удивить ничем нельзя: и там были люди, ни в чем, благодаря связям с всесильными обкомовцами и райкомовцами, не нуждавшиеся и располагавшие даже излишками, которые очень выгодно выменивали на ценные вещи, когда под боком у них вымирали целыми семьями, а выжившие с гадливостью вспоминают, как варили кошек...

...Облитые ярким лунным светом нескончаемые ельники, бросающие густую тень на окаменевшие от мороза сугробы, и тишина, взрываемая нещадным скрипом полозьев. До ближайшей деревни не менее пятнадцати верст. Конь мой, весь закуржавевший, неторопливо трусит, но чаще переходит на спорый шаг. Я не очень понукаю — позади уже с десяток верст, надо поберечь лошадку, да и приходится то и дело соскакивать с саней и идти рядом, держась за оглоблю. На мне тулуп, валенки, ватные штаны, но стужа пробирает, и если время от времени не разогреваться, не выдержишь дороги. Накануне в городе термометр упал до −38°, а тут ночью застывший лес и воздух словно железный. И так пустынно, так все недвижно, что из-за этого хочется двигаться, подтвердить себе, что ты живой в этом мертвом, стыло мерцающем царстве.

За два с лишним часа дороги не было встречных, никого не пришлось обогнать. И так будет всю ночь: во всей простывшей насквозь — до еле мигающих звезд — Вселенной попряталось все живое, затаилось и пережидает... И только моя упряжка с хрипящим конем и подневольным седоком движется

крохотной живой точкой по едва наезженному твердому снегу: ничтожный и беспомощный очажок жизни. Страшны эти заковывающие Север стойкие стужи, беспощадные для ослабевших, плохо укрытых, бездомных.

Я остановился, чтобы очистить ноздри у лошади от закупоривших их льдинок. Яростный скрип полозьев смолк, и особенно глубокой и полной сделалась всеобъемлющая тишина тайги. Белое безмолвие! Такое же, как по Клондайку,— и тут на десятки верст кругом нет ни живой души, ни жилья.

Вдруг явственно донесся скрип. Сразу сделалось тревожно. Добра не жди, если это один из тех патрулей, что разъезжает по деревням, разыскивая лагерных беглецов! Эти охранники опасны: они приучены охотиться за людьми и получают премии с «представленной головы». Вдобавок, я везу два ящика со сливочным маслом, связку одеял, еще кое-что — приз богатый...

Я вскочил в сани, высвободил из-под сена топор, потом круто натянул вожжи, хлестнул ими задремавшего конька: на всякий случай — вдруг придется пуститься вскачь... Снова послышался насторожививший меня скрип. Он раздался ближе, прервался, чтобы снова ненадолго возобновиться и тут же смолкнуть окончательно. Я тронул лошадь навстречу, вслушиваясь и вглядываясь. Мелькнула догадка: раз не слышно матюгов, вряд ли это охранники. А потом на фоне заиндевевших, ослепительно белых, искрящихся придорожных кустов зачернела человеческая фигура.

Синий свет месяца в большие морозы настолько силен, что позволяет на близком расстоянии видеть, как днем, только выглядит все неживым, вернее, непривычным и таинственным, как в старинных балладах. Я сразу различил лицо старой, грузной женщины с побелевшими от мороза щеками и блестящими неподвижными глазами. Она была закутана в тряпье: голова обернута в обрывки шали или пледа, туловище неимоверно утолщал заплатанный просторный бушлат, надетый поверх пальто, ноги-тумбы были обуты в огромные разношенные армейские ботинки. Ей в плечо врезалась лямка от веревочных постромок, привязанных к деревянным санкам — довольно длинным, но не настолько, чтобы уместились ноги лежавшего на них навзничь мужчины. Они деревянно вытянулись, оставаясь на весу, носки расшнурованных ботинок, неподвижные и жуткие своей оцепенелостью, торчали кверху. Я успел разглядеть лагерные штаны, что-то вроде ватного рваного одеяла, каким был накрыт лежащий... очевидно, мертвый, подумал я.

Завидев лошадь, женщина замахала руками, стала что-то хрипло торопливо выкрикивать. Я подошел к ней. Вблизи мне показалось, что она смотрит на меня, не вполне сознавая мое присутствие. Не все мог я разобрать в ее непрерывной скороговорке, тем более что она продрогла до косноязычия, губы и язык ей плохо повиновались. К русским словам примешивались украинские, немецкие; акцент выдавал еврейку из какого-нибудь белорусского местечка.

И все же из бессвязных ее фраз — она то обращалась к лежащему на санях мужу, пеняла ему за то, что он не хочет встать и ей помочь, то доказывала кому-то, что нужное лекарство легко достать в соседней аптеке, или просила помощи, жаловалась, в каком отчаянном положении ее оставили, — я понял, что она повезла заболевшего мужа в больницу и не понимает, что он мертв и окоченел. Догадался я и о том, что она помешалась от нужды и лишений, а в пути ее разум окончательно помутился. Что было делать?

Старуха, случалось, впопад отвечала на мои вопросы, и это помогло принять решение: везти ее в деревню, куда ехал сам и откуда она отправилась в свой безумный путь.

Они с мужем жили там на отшибе, никому не нужные чужаки-ссыльные, дряхлые и беспомощные. Голодали и мерзли в развалившейся избе. И когда заболел муж, начал в жару бредить, плохо соображавшая старуха не стала ни к кому обращаться — да и не к кому было скорее всего! — решив, что сама отвезет его в больницу, как возила на себе из леса санки с валежинами на дрова. По ее словам выходило, что она еще засветло пустилась в путь — не зная толком ни расстояния, ни названия деревни с больницей — по уводившей куда-то первой попавшейся дороге.

Муж ее замерз уже давно — на его лице с синими втянутыми губами и плотно закрытыми ввалившимися глазами, на которых как-то удерживались железные очки, блестел иней. В женщине огонек жизни еще не потух, помутневшее сознание побуждало непрерывно что-то бормотать и двигаться, куда-то стремиться.

Она не сразу поняла, что я собираюсь с ней делать. Когда я стал снимать с нее лямку, повел к своим саням, она даже запротестовала, уперлась. Но силы ее были на исходе: она еле держалась на ногах, и мне пришлось ее, грузную и неповоротливую, приподнять, чтобы посадить в сани. Чуть не всей дюжиной одеял я с головой укутал свою пассажирку и зарыл поглубже в сено. Много труднее пришлось с покойником — он никак не умещался в возок, и подогнуть затвердевшие

ноги было нельзя. Я уже собрался оставить его в лесу, как вдруг нашел выход: уложил вниз головой в передок, так что туловище легло наискось вдоль роспусков, а ноги торчали наружу. И сам кое-как примостился между старухой и покойником.

Я с места погнал лошадь крупной рысью, понимая, что если еще можно спасти несчастную путешественницу, то только доставив ее как можно быстрее в теплую избу. Сани подбрасывало на ухабах, и мне пришлось остановиться, чтобы привязать мертвого. Потом я стал мерзнуть сам, так как изрядно взмок, пока возился со своими седоками. Но слезть с саней и согреться бегом я не мог: лошади нельзя было давать сбавлять ходу,— и сквозь толщу одеял я почувствовал, как старуху, начавшую стонать, колотит озноб.

До деревни было недалеко, и мы скоро доехали. Тут я бывал прежде и сразу направился к знакомому хозяину. Он помог мне внести в дом еще живую старуху. Покойника мы побоялись оставить во дворе из-за собак и заперли в чулане. Оказалось, что в деревне уже знали об исчезновении стариков-ссыльных. Об этом сообщили в сельсовет, откуда ответили: «Ладно, отыщутся, далеко не убегут»,— чем деятельность властей и заключилась.

Звонок в сельсовет, чтобы объявить о происшествии и вызвать фельдшера, мне пришлось отложить до утра: ночного дежурного на телефоне не было. Старуха перестала бормотать, прерывисто и мелко дышала. Хозяин уверял, что до утра ей не дотянуть. Дав лошади отдохнуть, я поехал дальше.

Она и в самом деле скончалась вскоре после моего отъезда. Колхозники, наряженные закопать одного ссыльного, уложили в яму обоих. Ходившая прибрать избу покойников соседка даже не нашла, что бы взять на память: так называемого имущества в наличии не оказалось. Ничего. Наверное, и во всем свете не было живой души, которая бы знала эту чету, помнила, ею интересовалась. Не люди, а горстка праха, вьющегося за колесницей революции...

* * *

Среди деревень, которые подвергались моим наездам, оборачивавшимся мешками картофеля и овсеца, возами сена, свежей убоинкой,— деревень, один вид которых говорил о скудости обихода, выделялась одна, выглядевшая, несмотря на поборы, менее опустошенной и пришибленной, поживее и посытнее остальных. Десятка два изб недавней постройки,

добротные общественные дворы и прочие хозяйственные заведения, скирды соломы вокруг гумна, сараи с сеном,— все тут свидетельствовало хозяев «справных», как говорили в старину.

Это был вовсе молодой колхоз, основанный не более десяти лет назад ссыльными — раскулаченными русскими мужиками. Председатель, крепкий и напористый мужчина лет под сорок, у которого я не раз останавливался, со временем, когда мы сошлись с ним покороче, рассказал, как довелось ему с уцелевшими земляками поселиться здесь, в пропастях тайги, корчевать лес, таскать на себе бревна, строить дома. Обживать бедный от века Зырянский край...

...В белых берегах темная вода незамерзшей речки выглядит жуткой. Сплошные стенки елей и пихт, подступившие к ней вплотную, четко отражают тарахтение катера. Это единственный звук, нарушающий литую тишину предзимней тайги. Короткий день быстро гаснет, и еле поднимающийся встречь течения караван сливается в сумерках с тенями леса. Штыки часовых на корме и носу барж взблескивают тускло, словно оловянные.

Двигатель смолк. С катера забрасывают в прибрежные кусты якорь. Течение прибивает к берегу и баржи. С катера сходят на берег военные в ремнях поверх белых полушубков. Под их командой начинается выгрузка.

По крутым, упертым в обтаявшие кочки доскам с набитыми поперечными перекладинками сходят люди. Мужчины тяжело нагружены мешками, женщины несут узлы полегче. Детей и дряхлых стариков сводят на берег общими усилиями. Иные оступаются, попадают в ямки с талым снегом и тогда, уже не разбирая, куда ставить ногу, спешат напрямик через узкую болотистую пойму на угор, где под соснами сухо.

Там уже скопилось много народу, а с барж все сходят и сходят новые люди. Ни разговоров, ни возгласов — все стоят молча, неподвижно. Никто даже не присаживается на вещи: ждут. Вот опорожнят баржи, всех построят в колонны и поведут. Только куда? Не видать нигде дороги, нет даже срубленного дерева. И никаких следов жилья. Со всех сторон обступил дремучий, хмурый лес...

Между тем охранники накидали через борт катера на берег кучу лопат, топоры, пилы.

— Чего встали?— зычно кричит начальник охраны.— Не видите — ночь на дворе... Или кто станет тут за вас разворачиваться? А ну, живей — разбирай струмент!

Охранникам приходится вновь и вновь повторять распоряжение браться за топоры, сооружать навесы и шалаши из

хвойных ветвей, зажигать костры и готовить дрова на длинную октябрьскую ночь: люди, оцепеневшие от долгого пути в баржах — друг на друге, без места, где бы лечь, без обогрева, кипятка,— не могут сразу взять в толк, что властью им предназначено поселиться именно здесь, в этом диком таежном урочище.

По толпе расхаживает, с руками в карманах полушубка, начальник.

— Лес станете валить, рубить избы,— упруго ступая, бодро растолковывает он онемевшим мужикам.— Кирпичу вам на первых порах подвезем. А там пни начнете корчевать, хлеб сеять... заживете! Это ж какую почетную задачу поручил вам наш любимый вождь товарищ Сталин, родная наша партия: сделать цветущим советский Север, где прежде была одна царская каторга...

Разгуливает и говорит, говорит и разгуливает, сознавая, как все это выходит у него складно и к месту, округло и убедительно. Несмело и настороженно, еще не вполне веря, что все это не розыгрыш, не очередное издевательство, кое-кто из мужиков отбрел в сторону, прихватив топор, и выглядывает сушину на дрова или жердняк для шалаша. Две-три бабы взяли по лопате и молча сшибают мшистые кочки, расчищают от снега и лесного мусора точки; кто достает из мешков котелки, высыпает из сумок раскрошившиеся сухари на расстеленный грязный ручник. Несколько человек слоняются у реки — отыскивают место, где посуше берег и способнее зачерпнуть воду.

Взялись за дело лишь немногие — те, кто потверже, самые крепкие. И те, кто с детьми, особенно маленькими. Большинство же так и стоят, не двигаясь с места, все еще не веря, чтобы такое было возможно. Отсюда тесный, сырой трюм баржи с брезентом над головой выглядит уютным пристанищем. Глаза у людей потухшие — в них тоска, отчаяние, смерть.

Но вот загорелся один костер, вспыхнул другой. Огонь бежит по дровам, становится ярче, разрастается, искрит. Сразу непроницаемо сдвигаются вокруг потемки, и дети замирают от страха. Мужики копошатся в темноте, волокут откуда-то жерди, охапки лапника. С катера кричат, чтобы шли за пайками — по одному человеку с мешком на каждые двадцать душ.

К ночи выросло несколько шалашей. В них настлали еловых ветвей и уложили вповалку сморенных усталостью самых маленьких детей. Кто-то продолжает с отчаянным упорством рыть яму — затеял сразу соорудить землянку. Песок сухой, и работа спорится. Вокруг костров сидят тесно, смотрят в огонь.

Все как онемели: привела судьба! Детей пугает настороженное молчание, они боятся плакать громко и жмутся к матерям. Даже не просят есть.

Тишина необъятная. Лишь в кострах сильно трещат дрова, да с катера доносится пенье под балалайку. Кто-то фальшивым тенорком все начинает песню «Тучки над городом встали», произнося «тючки», сбивается и начинает снова.

...И потянулась над диковинным кочевьем долгая таежная ночь. Когда забрезжил рассвет, в хвое вершин легонько зашуршал снежок, тихий и ласковый. Он неслышно порошит затоптанный мох и брусничник, шапки и плечи дремлющих у потухших костров новоселов, ложится на борта, рули, палубы барок и берега. Речка выглядит еще глубже и чернее.

На утренней перекличке недосчитываются восьми человек. Кто говорит — утопились, кто — в лес убегли! Охранники посмеиваются:

— Далеко не убегут, куркули проклятые! Тут вокруг на полста километров тайга да болота... Эти, считай, себя сами в расход вывели...

...Себя вывели в расход не одни беглецы. К весне перемерло более половины всех новоселов. Но само собой сколотилась группа тех, кто поздоровее и крепче духом, кто решил во что бы то ни стало не поддаться, выжить. Сплотились, стали валить лес, рубить поначалу зимовья, позже обращенные в баньки, подбадривать других — не давали опустить руки. Нашлись умевшие ладить с начальством, выколачивать нужное, добиваться продовольствия, материалов, а потом семян.

Выжила всего, как определял председатель, пятая часть высаженных с барж в тайгу: поумирали дети, смерть косила стариков, гибли беглецы, морозились, мерли от поносов, простуд, разных воспалений — лечить было нечем, негде и некому. А уцелевшие, не растерявшие свои вековые крестьянские навыки, стали прилаживаться к нерожающей таежной земле, вскапывать грядки, корчевать. Завели плуги и бороны, лошадей и коров. Понемногу, куриными шагами начали выбираться из пропасти, куда их загнала власть. И — «всем смертям назло» — выбрались, и выстроили вдоль широкой улицы два порядка домов, и обзавелись всяким скарбом, одежонкой и живностью. И уже спешили власти обложить их татарской данью, начисто забыв про свое обещание на двадцать лет освободить от всяких податей и налогов «новоселов».

— Им иначе никак нельзя,— объяснял председатель.—

Кругом зырянские деревни — сами видели, какая нищета. Разговоры пошли, недовольство: русские как бары живут, а вы с них не берете — все с нас лупите... Выходит — скоро и здесь в кулаки запишут. Ну да Бог милостив — война кончится, и нам можно будет отсюда податься. Куда? Нет, что вы, какие «свои деревни»... Там теперь для нас пусто, не светит: чужая сторона. Да и с землей, видать, надо кончать: не кормилица она нам долее — время новое, а мы все по старинке — норовим холить ее да ласкать, к ней приноравливаться. В город, в город будем подаваться, запишемся в рабочие — оно спокойнее. Станем хозяевами жизни, а не пасынками...

Одна из тропок крестного пути русского крестьянства... Сколько же лихолетий вынесло оно за свою многовековую историю! Вот и нет меры стойкости, мужеству и трудолюбию русского мужика, того самого, кого назвали кулаком, выставили к позорному столбу и разорили дотла. Изгнали из деревни, лишив землю лучших ее сынов.

* * *

Пир да и только, настоящий пир! Опорожненные блюда с жареным и вареным мясом, тарелки из-под холодца — убирают и тотчас заменяют полными. В бутылках желтеет еще теплый — свежей перегонки — первач, стаканы беспрерывно наполняются, а перед главным распорядителем гулянки, моим боссом Борисом Аркадьевичем, стоит бутылка ректификата: из нее он самолично разливает гостям по своему выбору.

Застолье — с десяток человек: колхозное начальство, какие-то нужные райкомовцы, три начальника буровых. Шеф знает, кого позвать, с кем как обойтись, чем закрепить дружбу. Меня он посадил возле себя по правую руку: пусть видят, что я его доверенное лицо, «alter ego» — другой он! Борис Аркадьевич, как и я, не пьет спиртного, и мы чокаемся налитой в наши стаканы водой. Причем он преискусно разыгрывает приподнятость, компанейское веселье, шутит, откровенничает.

Мы собрались по случаю сдачи-приемки мяса в колхозе, назначенном снабжать экспедицию. Владелец обширной избы на подклете — единственный не вступивший в колхоз хозяин в деревне. Экспедиция арендует у него дом — для проезжающих сотрудников, под склад, вот для таких оказий. Во двор его дома колхозники навели скота, и хозяин расторопно и со знанием дела распоряжается всей операцией. Телят, овец, бычков взвешивают, тут же режут, обдирают, разделывают туши. И выписывают квитанции. Выполнившие «доброволь-

ную» сдачу мяса государству бережно их складывают, прячут в карман и уходят, не позаботившись проверить сделанную запись: знают, тут все равно ничего не докажешь — всегда будет права сторона, за которой власть!

Этот последний единоличник деревни Антон — жилистый пожилой мужик с рыжеватыми, неседеющими волосами, реденькой бородкой и тусклым, ускользающим взглядом. Он говорит тихо, мало, распоряжается немногословно, приглядывает за всем незаметно, но все видит, и дело у него спорится. Успевает за взвешиванием проследить, проверить резаков: отнял у кого-то припрятанный за пазуху кусок мяса. Заходит он и к нам наверх, в просторную горницу, распорядиться прислуживающими бабами, присесть к столу и медленно, со вкусом выцедить без передышки стакан самогону. Не закусив, снова отправляется вниз — к растущей груде туш, развешиваемым шкурам, к бабам, копошащимся у ведер с внутренностями. Случается, подходит к Борису Аркадьевичу, что-то на ухо ему скажет, дождется утвердительного знака и снова исчезнет.

Благодать моему шефу с таким приказчиком! Никто не будет обделен при дележе, грамма не пропадет: получат что полагается буровики, понесшее труды начальство и сам шеф с детками; и себя не забудет хлопотун-старик. И все сойдется тютелька в тютельку, комар носа не подточит.

На меня этот угрюмый, рыжеватый, вкрадчивый мужик производит неприятное впечатление. Он расчетлив, хитер и, несомненно, не из робких: чего стоит одному из всего «обчества» упереться против коллективизации... А глядеть, как он с ножом подходит к обреченной овце, и вовсе жутко.

Весь деревенский наш двор — с добротной просторной избой на подклете, ладными хозяйственными строениями, толпой в деревенских овчинных шубах и подпоясанных туго кушаками армяках, в подшитых валенках, а кто и в чунях — напоминает картину дореформенного времени, когда крепостные привозили на усадьбу своему барину оброк. Толпились у избы приказчика или возле барской конторы с живностью, куделью, дровнями с хлебом. И должно быть, так же тоскливо и недоверчиво поглядывали на проворных приемщиков — барских холуев, зная наверняка, что обвешают и обсчитают! И так же ни с чем убирались восвояси. А на поварне уже шипели сковороды и бурлили котлы, и дворня готовилась пировать всласть. Вот и мы, местная «элита», пресыщенно тычем вилками в куски сочной, дымящейся баранины, пируем невозбранно, почитая это даровое угощение естественной принадлежностью присвоенных нам должностей. И будем удив-

лены, если при отъезде у каждого в санях не окажется увесистого гостинца.

Глядя на непринужденно расположившихся вокруг стола гостей, внимая обрывкам несдержанных речей, я понимаю, что народ этот привык бражничать за счет тех, кому по долгу службы обязан что-то сделать. Это самые обыкновенные, традиционные взяточники, возродившиеся гоголевские типы! Пригнанные сюда председателем колхоза деревенские женщины старательно и добросовестно стряпают, подают, моют посуду; этим не обломится ничего — разве дед Антон позволит унести домой связку бараньих кишок. Но по лицам видно — они не ропщут, покорны, ни одна не осмелится уйти к оставшимся без призора ребятишкам. Великий трепет перед властью проник всюду. И нет ему противоядия!

Мне приходилось останавливаться в этом доме и в тихое время, когда дед Антон был в нем один. Топилась печь только на кухне, в остальных горницах было холодно и сыро. Наперекор нежилой тишине громко тикали старые ходики, и хозяин, проводивший целые дни на печи, не ленился то и дело подтягивать гирьки. К нему нет-нет заходили односельчане: одолжить подсанки, продольную пилу, бурав, мешок, кадку, возовую веревку... У него находилось все, и он одалживал охотно — не отказывал никому. Себя он содержит крайне скудно, хотя запасено у него всего, должно быть, и припрятано на черный день достаточно. Живет он, не крестьянствуя. Зарезал корову, продал лошадь, чтобы не попасть под твердое задание.

В один из моих приездов я увидел у Антона жилицу — он поселил у себя молодую женщину. Был он с нею молчалив, даже суров, но прикармливал и определил ей место на печке — самое теплое в доме. Мне никак не объяснил ее появление.

В его отсутствие она сама рассказала о себе — сбивчиво, что-то привирая, о чем-то умалчивая. Была она по всем признакам горожанкой, оставленной, должно быть, завезшим ее в эти края случайным сожителем. По ее словам выходило, что она, потеряв работу где-то в районе, пробирается домой — к матери в Москву. Но вот обокрали по дороге: не оставили ни вещей, ни денег. Даже литер на бесплатный проезд стащили. Но в Сыктывкаре знакомый — влиятельный человек, только бы до него добраться...

Я скоро убедился, что многогрешный Антон обратил странницу в свою наложницу, с чем она из-за безвыходности положения должна была мириться, однако сносила эту повинность

с трудом: похотливый старик внушал ей отвращение. За постылые ласки она была не прочь утешить себя со мной, и я вынужден был довольно круто пресечь призванные соблазнить меня маневры. И сейчас помню, что она была хорошо сложена, еще свежа, не лишена известной привлекательности, но признаки беспорядочной жизни были налицо, и элементарная опасливость требовала держаться от нее подальше. Я даже стал следить за подаваемой мне к столу посудой, сам ее перемывал.

И вот странствующая одалиска исчезла: собралась тихо, пока мы еще спали, и скрылась. Я вспомнил, что она накануне расспрашивала у меня дорогу в Сыктывкар, но говорить об этом Антону не стал. Он, всегда молчаливый и спокойный, был в это утро возбужден и без толку ходил по избе, что-то без нужды перекладывал с места на место и не давал гирькам опуститься на вершок. По лицу у него пошли красные пятна, и всегда тусклые зрачки блестели: мне показалось — недобро, мстительно. Однако он сдерживался, даже заводил посторонние разговоры. Вдруг, спохватившись, кошкой бросился в соседнюю нетопленную комнату, там повозился, выдвинул ящик комода, пошарил. И разразился крикливой бранью. Его душила злоба. Он подвывал, скрежетал зубами... Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться: хозяин обнаружил какую-то пропажу. Особа, видимо, решила вознаградить себя за понесенные труды и, дождавшись его отлучки, обыскала все укладки. Чего он хватился, Антон мне не сказал. Он хрипло матерился, чего за ним не водилось,— сулил б... нож в сердце, грозил задушить своими руками. Меня он больше не замечал и метался по избе с перекошенным лицом. И вдруг решил, что побежит ее догонять. Какое-то время колебался — должно быть, взвешивал, успеет ли? Обулся в легкие ичиги, достал короткую куртку, туго перетянулся кушаком, порылся в каком-то хламе в чулане, взял было топор, потом положил на место. И ни слова не говоря, выскользнул из дома.

Возвратился он ночью, из последних сил: на рухнувшем на лавку старике лица не было — он даже не осилил разуться.

Я так и не узнал никогда, что произошло. Думаю, что он все же догнал беглянку и похищенное у нее отобрал — иначе продолжал бы бесноваться и на следующий день. А вот выполнил ли он свои угрозы — как угадаешь? Мог он, конечно, побить ее, плюнуть в лицо, изругать, а мог и порешить. Такой человек, разгоряченный погоней, чего ни натворит...

* * *

Наступила весна, разлились реки и мои поездки прекратились. Наша деревенька сделалась островом, отделенным от мира расступившимися болотами, затопленными речными поймами, что обратились в усеянные табунами уток озера, рухнувшими зимниками — двухаршинная толща снега сделалась жидким месивом.

Отступили привычные хлопоты и дела, подспудное ожидание подвоха, что рано или поздно собьет с налаженной и благополучной стези. Далеким и посторонним представлялся охваченный раздорами, ввергнутый преступными доктринерами во вселенскую бойню мир. Тут были пробуждающаяся под высоким небом природа, ликующие голоса птиц, достигших своих гнездовий, весенний праздник любви, радость первых ростков возобновленной жизни.

Целыми днями ползали мы с дедом Архипом по разливам в его просторной долбленой лодке, перегораживали сетями залитые старицы и курьи, ставили вентири и верши. Под вечер я оставлял семью за разделкой и засолкой рыбы и уходил, вернее, уплывал на утлой и быстрой, легкой, как перышко, ветке за реку, в бор, где на полянах собирались несметные стаи тетеревов и зорями пели по мшаринам глухари. У меня загодя, еще по насту, были поставлены шалаши возле первых очистившихся ото льда озерков, и я на ранней зорьке, затемно, подбирался к токующим мошнякам, подкарауливал на перелете уток или следил из скрадка за яростными поединками косачей. Птицы было много, невиданно много, и мне случалось грузить в лодку увесистые связки дичи. Та весна 1942 года сохранилась в памяти несравненным охотничьим праздником. Уже никогда впоследствии не приходилось мне так полно предаваться охоте, видеть такое количество всевозможной дикой птицы и тем более слышать, что лишь одни мои выстрелы будят эхо в безлюдных угодьях. Даже позже, на Енисее, не видел я таких «населенных» глухариных токовищ, таких туч уток на разливах.

Наконец весеннее буйство начало понемногу стихать, исподволь отступать полая вода, просыхать пригорки; утомленная игрищами птица стала покидать тока, нежиться и дремать в пригревающих утренних лучах. Откуда-то узналось, что под Усть-Куломом налажена переправа. Я стал нехотя готовиться к возобновлению своей деятельности — на первых порах надо было пробраться на буровые, проверить кладовые, инвентарь.

В одно радостное весеннее утро я возвращался из леса и еще с лодки увидел Дуню: едва меня заметив, она по мосткам сошла к самой воде. Значит, поджидала. Сердце кольнуло недоброе предчувствие, хотя — видит Бог! — далек я был, бесконечно далек от тревожных мыслей. Заботы, думы о будущем как бы вовсе от меня отступили, весь я был в делах семьи, в которой жил, поглощен весенними превращениями в природе... Дуня выглядела озабоченной.

— Там тебе повестку принесли — нарочным. Из комиссариата, требуют явиться.

Печально звучал ее голос, похоронным звоном отозвались ее слова в моем сердце. Завертелись, завертелись в голове догадки, предположения; сразу прихлынула сосущая тоска, как перед бедой.

— Ну, мало ли что, Дуняша, не стоит заранее огорчаться... Пойдем домой, небось озябла — давно тут караулишь? Ах, милая... Пошли, вот увидишь, все еще обойдется...

Дед Архип протянул мне помятую бумажку — предписание военкома немедленно явиться в Усть-Кулом для перерегистрации. Это выглядело подозрительно: всего в феврале — три месяца назад — мне поставили в этом комиссариате на удостоверении штамп регистрации сроком на шесть месяцев... Но свою тревогу я скрыл, стал уверять, что тут недоразумение, не то изменились ограничения для призыва в армию таких, как я... Словом, давайте завтракать, а там подумаем, как и когда добираться мне до района. Вот увидите, через неделю вернусь!

Но до чего трудно убедить людей, будто требование власти явиться ничем не грозит. Хозяин сосредоточенно молчит, бабка глядит на меня пригорюнившись, Дуня еле сдерживает слезы — то и дело выбегает из горницы.

Начались сборы. По понятным причинам я не торопился, даже тянул последние «красные деньки», как сверлило где-то в глубине сознания. Мы подконопатили и просмолили лодку экспедиции — легкую гребную посудину, дед закоптил добрую связку рыбин, бабка сбила комок масла, насыпала туес ягод... Ничего из своих вещей я брать не стал, отчасти подкрепляя этим успокоительное «возвращусь непременно», отчасти из предчувствия — не пригодятся они мне! Да и пусть останется хоть что-нибудь на память: добрые охотничьи сапоги деду, хозяйке простыни и одеяла... А Дуне, милой Дуне что оставить? Я, кажется, разбередил ее сердце, хотя и в помыслах не было нарушить ее одиночество... надо прощаться. Ой, лишенько!

Через неделю я тронулся в путь — в тихое, ласковое утро. Река, еще по-весеннему полноводная и стремительная, весело сверкала рябью. На прибрежных тальниках нежно обозначились зеленой дымкой первые листики. Прощались мы по-деревенски сдержанно: пожимали друг другу руки. А хотелось обнять закручинившихся стариков, поцеловать Дуню в ласковые губы, признаться: «Не ждите обратно, милые! Простите. Снова ударила в колокол судьба и угоняет меня прочь. Не поминайте лихом!»

Я вскочил в лодку, оттолкнулся веслом, и сильная струя тотчас подхватила и понесла. Берег с тремя фигурками быстро удалялся и вскоре скрылся за поворотом — навсегда! Невесело было у меня на душе.

* * *

Грести не надо. Течение несет быстро и плавно. Достаточно, сидя в корме, подправлять веслом ход лодки, чтобы не дать струе отнести ее в сторону, обогнуть мыски, обойти свесившиеся с берега кусты и деревья. Это не требует ни усилия, ни внимания — бесшумное и легкое скольжение: сиди и любуйся лесистыми берегами, наслаждайся ярким солнцем, теплом, идущим от распустившихся ив горьковатым медовым запахом. И не думай! Вспоминай, загадывай, коли хочешь — считай последние часы, что остались до роковой минуты, когда войдешь в помещение, протянешь бумажку и... узнаешь, что тебе уготовано попечительной властью: опыт и чутье подсказывают, что арестуют и заключат в лагерь. Безнадежное это ожидание оспаривает не слишком уверенный голосок, уговаривающий не падать духом: не переведут ли на положение ссыльного с обязательной регистрацией? Не то, в самом деле, призовут в армию — немцы захватили пол-России, нужен каждый лишний солдат...

Я накануне отверг — правда, не сразу, сгоряча ухватился было — предложение старого Архипа увести меня в дальнее надежное зимовье: за болотами, за трясинами, можно отсидеться, переждать. Там еще в гражданскую войну хоронились. Подумав и поостыв, я отказался: Советскую власть в лесу не пересидишь и не миновать — пусть через год, через два — сдаваться. Да и самолеты теперь — в два счета обнаружат. И тогда голову снимут и с тех, кто пособлял.

Можно было уйти в другую сторону — выплыть по Южной Кельтме на Каму, там затеряться или, достав паспорт, жить под чужим именем... но, Боже мой, я не уголовник, не развед-

чик, чтобы носить маску! И потом — как это достаются паспорта?

И вот я плыву навстречу свой судьбе и не умею или не властен ей воспротивиться, повернуть по-своему ее начертания... Помню, как под вечер я причалил к берегу для ночевки, выбрал место для костра, ладил его, варил ужин — и все в уверенности, что в последний раз, что навсегда прощаюсь с лесом, с вольными речными дорогами, с возможностью распоряжаться собой как хочу. В общем, малодушное чувство обреченности, когда не хватает мужества или находчивости восстать, взбунтоваться. Надо было самому лезть в петлю, деться было, я считал, некуда!

Случайно выбранное для ночлега место оказалось токовищем. Неожиданно, уже в ясных весенних сумерках, в десятке метров от костра с шумом опустился великолепный косач: посидел тихо, прислушиваясь, потом чуфыкнул раза два и замолк. Я, не отрываясь, смотрел на неподвижно сидевшую птицу, видимо, остро прислушивавшуюся, не откликнется ли где соперник? Но тетерки уже сидели на яйцах, призыв остался без ответа. И так же внезапно косач сорвался и улетел... Я решил, что он прилетел проводить охотника.

...В Усть-Кулом я приплыл к концу следующего дня и явку в комиссариат отложил до утра. Не ради лишней ночи, проведенной вне тюрьмы,— выйдя из леса в дрянной, убогий районный городок, я как-то сразу проникся равнодушием: днем раньше, днем позже — не все ли равно?— а чтобы отправить несколько писем. Одно Любе — дать ей знать, что я жив и не теряю надежды на встречу.

Сотруднику экспедиции было где остановиться и в Усть-Куломе. Предусмотрительный Борис Аркадьевич и тут арендовал дом, хозяева которого — бездетная пожилая чета, люди по нраву необщительные и негостеприимные — были все же достаточно предупредительны: иметь дело с моим начальником было всегда выгодно. Высокий и худой, чахоточный Николай помог мне вытащить на берег лодку, отнес в дом мои пожитки, его супруга заспешила с самоваром. На вопросы, еду ли я дальше и долго ли погощу, мне захотелось ответить нарочито прямолинейно: знать этого не могу, так как вызван по повестке. Это прекратило расспросы. Я провел вечер за письмами.

Утром тщательно уложил в чемоданчик белье, провизию и отправился на почту. Оттуда вразвалку пошел в военкомат. Проходя мимо отделения НКВД, чуть было не зашел: «Вот, мол, я — могли пригласить меня сами, незачем было морочить

мозги!» Однако передумал: многолетнее общение с этим ведомством убедило в тщете всяких жестов и демонстраций. Когда имеешь с ним дело, нашему брату от них ни толку, ни лавров, ни удовлетворения не добиться. Непробиваемая стена. И через тридцать лет она не поддалась, не дрогнула от такого тарана, как «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Должен измениться строй, породивший эту всесильную, безответственную тайную полицию, наделенную функциями следователя, судьи, прокурора и палача, чтобы сокрушилось ее господство.

Принявший от меня повестку дежурный в полувоенной форме исчез за дверью, предложив подождать. Потом я услышал, как крутят ручку телефона, вызывая абонента. Последовал короткий разговор, и не более чем через десять минут мимо меня прошли вошедшие, как и я, с улицы два молодца в фуражках ведомства. Не задерживаясь, они проследовали в дверь за стулом дежурного, а через минуту попросили туда и меня. Навстречу мне, едва я вошел в кабинет военкома, шагнул, протягивая бумажку, молоденький оперативник. Это был ордер на мой арест, подписанный еще в феврале. Целых четыре месяца меня разыскивали — иначе говоря, я незаконно разгуливал на воле еще с зимы! «И то выигрыш»,— подумал я про себя и отдаленно не представляя себе решающего значения для меня этой проволочки.

Я расписался, меня обыскали, отобрали удостоверение, какие-то служебные записки, деньги, хотя их было ничтожно мало. И повели, уже под стражей, в местное отделение милиции: содержать меня и этапировать по назначению поручалось ей. Уже будучи заведенным в крохотный «клоповник» КПЗ (камера предварительного заключения) городской милиции, я попросил принести мне с квартиры вещи. Получил их лишь на следующее утро, после повторных настойчивых требований. Мог бы, впрочем, и не хлопотать. Чемоданчик оказался раскуроченным по всем правилам: рыба, сахар, белье, мыло, теплая одежда, сапоги — все было похищено.

— Откуда мы знаем, что у тебя там было?— резонно разводил руками милицейский чин.— Может, хозяева твои польстились, или он и был пустой, а тебе теперь подавай полный...

Впрочем, уцелели очки, пара портянок, еще какая-то мелочь. Захватить бы, идя с квартиры, чемодан самому, корил я себя задним числом, как ни наивно было рассчитывать сохранить в камере свое добро. Будь чемодан при мне, подсадили бы задержанного вора, меня вывели на полчаса и я вернулся

бы к пустому чемодану. Времена были голодные не для одних заключенных и ссыльных: всего доставалось скудно, продовольственные карточки почти не отоваривались. Особенно тяжело жилось семейным. И несколько полновесных килограммов копченой рыбы, сахар и масло были завидным призом не только для рядового милиционера, а и для среднего начальства.

Мне стали выдавать пайку, однако наметанным арестантским глазом я сразу увидел, что не получаю и половины полагавшихся мне четырехсот граммов хлеба, но жаловаться некому. Уже на второй день пребывания за решеткой я был остро голоден.

Сутки за сутками я сижу в полутемном грязном закутке с вонючей парашей, кормлю полчище клопов, доски нар голы, нет ни одеяла, ни подушки. Резок, что и говорить, переход от жизни в прибранном доме деда Архипа, с баней и мисками наваристой ухи! Но я не впадал в отчаяние, полагая, что вот-вот буду отправлен по назначению — как мне объявили, в распоряжение следственного отдела Ухтпечлага. А там — те самые лагерные условия, что мне хорошо ведомы. Чибью, Ухта, значит, Боян, Борман, друзья в геологическом отделе... Как-нибудь, как-нибудь выберусь, выживу, милостивый мой Боже!

* * *

...Полустанок, куда меня доставил милиционер, чтобы дальше этапировать по железной дороге. Возле лавки, на которую он посадил меня в ожидании поезда, валяется корка черного хлеба. С мякишем! Я сижу так, что она почти подо мной, немного справа от моих ног: стоит нагнуться, слегка протянуть руку — и можно взять. Утоптанный песок в этом месте гладок, и хлеб не обвалялся. Упал, должно быть, плашмя, песчинки пристали разве снизу. Да и произошло это только что: кусок выглядит совсем свежим. Очень тянет его поднять, а я между тем сижу — и давно,— не отрывая глаз от этого участочка земли с ломтем хлеба. И не смею сделать быстрый вороватый жест — мгновенно нагнуться с вытянутой рукой и схватить,— медлю.

Вдоль платформы легкой трусцой, опустив морду и чуть прижав уши, бежала небольшая черная собака. Так пробегают у нас полубездомные приблудшие псы, чтобы прошмыгнуть незаметнее: ждут, что заулюлюкают, ударят, швырнут подвернувшийся камень или палку. Я всегда жалею этих несчастных и, если есть под рукой съестное, терпеливо скармливаю им,

преодолевая их настороженный страх перед приближающимся человеком. Они по опыту знают: подманят, чтобы напугать или ударить.

Тут я сжался от страха — вдруг пес учует запах хлеба и унесет «мой» кусок? Ведь я все надеялся, вот переломлю себя и съем этот хлеб! Голод я узнал сравнительно недавно, и мне чудится в нем что-то постыдное, чего нельзя обнаруживать на людях. А тут мимо проходит народ, на соседних лавках сидят пассажиры. Причем мне кажется, что все за мной незаметно наблюдают: в дорожных буднях человек под конвоем — предмет праздных догадок и любопытства.

Со дня, что меня повезли по этапу из Усть-Кулома к железной дороге, прошло очень немного времени — всего шесть недель. Поездом довезут до Княж-Погоста, где милиционер сдаст меня лагерю. Но эти недели дались мне трудно, длятся бесконечно, расшатали мою собранность и уверенность в себе. Как будто и не происходило ничего страшного, тяжелого, а я измотан. Даже доведен до какой-то черты.

Приключение, в сущности, очень обыденное и даже мирное. Меня препровождают из сельсовета в сельсовет, то есть из одной деревни в другую. В них содержат в местных КПЗ при отделениях милиции. В этих крохотных, обшарпанных помещениях всегда угарно, зловонно, клопы и вши. Держат в них, пока не представится оказия переправить дальше, то есть не найдется свободного милиционера и наряженного колхозника с подводой. И случается, сидишь в этих гиблых дырах подолгу, иногда по неделе.

Бани нет и в помине. Не везде удается даже умыться. Конвоирующие милиционеры, садясь в повозку или телегу, стараются держаться подальше — из-за вшей. Но худшее — это голодный паек, все труднее и труднее переносимое недоедание. Чаще всего случается обойтись двумястами граммов хлеба, а иногда и этого не добиться: не успели выписать, выходной день, пекарня на запоре...

Это обманутое ожидание как-то приглушить голод напрягает нервы, заставляет подскакивать к двери, колотить в нее, требовать начальника.

— Снова без горячей пищи! Пайку не выписали, гражданин начальник,— лепечу я растерянно и неубедительно появившемуся наконец старшему милиционеру, хотя готовился протестовать резко и внушительно...

— На фронте по неделе не видят щей, понятно?

А в общем эти милиционеры народ спокойный. В них меньше враждебности, чем в чекистах, они тянут служебную лямку

старательно, но не усердствуют. Случается даже поговорить с ними за долгую дорогу, даже услышать слова сочувствия. «Всех теперь берут,— ободрял меня однажды пожилой милиционер в очках, более походивший на конторщика, чем на вооруженного стража порядка,— время такое подошло. Коли лагерь дадут — скажи спасибо, как-нибудь проживешь, всё не на фронте». От них можно дождаться и послабления.

Как-то на речной пристани — часть пути меня этапировали по Вычегде — ко мне подошел пассажир, по виду питерский мастеровой на покое или сельский учитель. Попросив у милиционера разрешения, он передал мне несколько завернутых в бумажку ломтиков пожелтевшего сала и аккуратно срезанных хлебных корок, какие оставляют беззубые старики. Так впервые в жизни мне подали милостыню. Она потрясла меня. Со стыдом и страхом оглядывал я свидетелей этой сцены, но милиционер небрежно кивнул — бери, мол, разрешаю. И я взял. Хотел было отложить, чтобы съесть не на людях, видевших мой позор. Но не удержался — стихия голода уже засасывала — и стал тут же запускать пальцы в кулек и совать, совать в рот корки...

На исходе второго месяца пути я был сдан в лагерь и водворен в небольшую пересыльную зону Ухтлага при станции Княж-Погост.

* * *

Не так запомнились скученность и грязь, как неизбывные, все сильнее обволакивавшие разговоры о еде. Нас в тесном бараке с нарами из жердей, вероятно, около ста человек — в большинстве такие же пересыльные, как я. Никого на допросы не вызывают, нет, разумеется, и прогулок: мы сутками сидим взаперти и, когда не спим, до одури толкуем все о том же. Я еще настолько свеж, что это меня ужасает. Нет, что ли, ни у кого иных забот, тревог? Не могут разве переключиться на другие воспоминания? А самого сладко будоражат рассказы соседа по нарам. Он оказался ветеринарным врачом из-под Кировабада, прежнего Елизаветполя, и расписывал на все лады свое плодоносное, изобильное Закавказье, благодатные ореховые и каштановые рощи, щедрые урожаи лесных фруктов. Нависают над головой тяжелые ветви, обвешанные плодами: бери сколько хочешь, ты в лесу, ешь, все тут — твое!

В этой зоне меня продержали с месяц, но тут пайку и баланду выдавали аккуратно, можно было очень непрочно, но регулярно приглушать голод. В общем, ступенька вверх после кочевания с милиционерами.

И наконец выкликнули: «Волков!» Меня включили в партию, отправляемую в Чибью по всем лагерным правилам: всех обыскали, потом насовали в кузов грузовичка, заставили сесть с подвернутыми ногами, над нами встали «попки» с винтовками, и мы поехали.

Уже наступала ранняя северная осень, сумерки быстро сгущались, было холодно и тоскливо, шел ровный несильный пронизывающий дождь. Немели поджатые ноги, было больно сидеть на голых досках, на ухабах вытряхивало из нас душу, мы дрогли. А шофер гнал, цепко держащиеся за борта и кабину охранники материли нас и не упускали случая ткнуть прикладом куда попало — так, на всякий случай, чтобы знали, чувствовали, что в лагере! И это было узаконенным, ставшим традиционным способом транспортировки зэков в чекистской империи — озябших, побитых, голодных...

В Чибью меня завели в здание управления, остальных повезли дальше. Ночной дежурный запер меня в каком-то темном чулане под лестницей, где стоял табурет и крохотный столик. Я растянулся на полу и заснул как мертвый.

Меня вызвали к какому-то чину близко к полдню. Тот задал несколько вопросов, сличая мои ответы с лежавшей перед ним справкой, и объявил, что сегодня же меня отправят дальше, на Крутую. Потом спросил, выдано ли мне с места отправки «хлебное довольствие».

— А должны были по правилам снабдить,— назидательно изрек он, узнав, что довольствия вообще никакого не было.— Мы ведь ничего этапируемым не выписываем. Управление здесь, комсоставская столовая. Да и та только в обед открывается. Так что придется до места потерпеть.

Теперь даже трудно вообразить, как расстраивали тогда невыданные пайки, никогда задним числом не компенсируемые...

Крутую я увидел только поздно вечером. Весь длинный день просидел на скамье в прихожей Управления, предоставленный себе. Мне было велено никуда не отлучаться, в дверях торчал вахтер из зэков, и я послушно не покидал своего места, разве осмеливался ходить в уборную, находившуюся подле моего ночного чулана. Народ сновал мимо почти непрерывно. Скрипучая и разбитая входная дверь хлопала то и дело, озабоченные военные спеша вбегали по стертым ступеням. Редко кто бросал на меня рассеянный взгляд, я же всматривался во всех жадно — все ожидал, что увижу знакомое лицо, может быть, друга. Мечтал, что остановится кто-то, поразится встрече, расспросит и побежит добыть для меня хлеба, авось доста-

нет мыло, зубного порошка... Но не нашлось ни одной знакомой души, и я сидел на своей жесткой лавке, измученный обманутым ожиданием, опустошенный сознанием своей беспомощности и слабости перед надвинувшимися испытаниями.

На Крутой мне приходилось бывать. Небольшая зона и поселок при сажевом заводе, где я когда-то останавливался, выйдя с партией из тайги. У меня там даже было несколько знакомых заключенных, работавших в местном геологическом отделе. Один из них, фон Бринкен, типичный остзеец, прежний военный топограф и крупный специалист по аэрофотосъемке, был приятен своей воспитанностью, но держался чрезвычайно замкнуто и, помню, ждал тогда, ждал всем существом, считая последние недели, окончания своего десятилетнего срока.

Другой, Гордельман, тоже немец, но из волжских колонистов, очень обруселый, был геологом, влюбленным в свои палеозойские отложения, способным сочинять гимны мергелям и магмам, будто бы таящим в себе жизнь, крайне непрактический и неосторожный человек, фантазер, верящий в добрую человеческую суть. Он нередко появлялся в нашем таежном стане, интересовался данными съемки, но пуще всего любил отвлеченные мечтания, споры на возвышенные темы у костра, был поэтичен, красноречив, искренен, и я любил слушать его импровизации. Свой пятилетний срок в лагере переживал легко: «Все в жизни — ко благу»,— и я очень надеялся его увидеть. Оба эти мои знакомца должны были, по моему расчету, закончить срок и перейти на положение вольнонаемных. Им вряд ли, полагал я, разрешили покинуть Север.

Но доставили меня на Крутую не в зону и не в поселок вольнонаемных, а к расположенному в лесу участку, обнесенному высоким дощатым забором, увенчанным колючей проволокой. Ничего этого прежде тут не было.

Все было новеньким — из-под рубанка. Доски не успели потемнеть, сверкала чистотой незахватанная ручка двери проходной. Посередине огороженного пустыря красовался свежерубленый дом под железной, блестевшей краской крышей, с высоким крыльцом без перил. Не было у дома ни фундамента, ни завалинки — он стоял, вознесенный на частоколе деревянных стульев, между которыми валялись стружки и обрезки досок. Я потом не раз их рассматривал сквозь щели в полу, но уже сверкавших инеем, занесенных снегом...

Небольшой Т-образный в плане дом был разделен коридором, расходившимся в обе стороны. Посередине его, против

длинных сеней, стояли стол с табуретом дежурного, со своего места проглядывавшего весь коридор с дверями камер по обе стороны. Все и внутри было незатоптанным и пахло свежим деревом. Передо мной распахнули дверь угловой камеры, потом ее захлопнули, прогремели ключи в замках, скрипнули засовы, и я мог оглядеть свое новоселье. Меня прежде всего поразил давно забытый запах: такой скапливается в необжитых бревенчатых помещениях — на дачах, когда переезжали туда после долгой зимы, и в только что покинутых плотниками помещениях. Я был, несомненно, первым постояльцем крохотной одиночки с зарешеченным окошком под потолком и чисто выстроганными узкими нарами. За стеной довольно явственно были слышны голоса. Я прислушался: там спорили, долго ли еще ждать обеда. По манере выражаться и интонациям, разговаривали дорогие бытовички — «социально близкие». Кто-то сказал, что надо бы узнать, кого привели в одиночку.

— Чего узнавать? Известное дело — фраер, раз к нам не подбросили.— Потом ровный, немного приподнятый голос стал дорассказывать, как у них в образцовой колонии под Москвой варили обеды: жирная свинина, каша на палец залита маслом... Мне все было слышно, точно стены вовсе не было. Она оказалась неконопаченной.

В коридоре затопали, что-то с грохотом ставили на пол, загремела посуда. Обед! Я подошел вплотную к своей двери — скорее получить свою миску баланды с хлебом после двух дней полного поста. И дверь действительно отперли, однако не с тем, чтобы дать обед: охранник предложил следовать за ним на допрос «без вещей» — словно они у меня были!

— Что мне теперь с вами делать? — огорошил меня следователь вопросом, едва я сел у его стола и вышел конвоир.

— Вам лучше знать,— только и нашелся я ответить.

Попереливав из пустого в порожнее и заполнив длинную, уже множество раз повторенную, знакомую по всем пунктам анкету с «установочными данными», проведя в общем более часа за праздным выспрашиванием, он отправил меня в камеру. Мой огороженный коттедж был, как я узнал, Центральным следственным изолятором Ухтлага, всего две недели назад запущенным в эксплуатацию.

Отправил надолго. И я стал забывать, что нахожусь под следствием. В камере я был по-прежнему один, но соседей слышал беспрепятственно. Иногда они со мной переговаривались. Мне постепенно открылось кое-что из лагерных событий, имевших прямое отношение к моей судьбе. Теперь-то я могу

изложить их полно и связно, пристегнув к ним и загадочную реплику следователя. Обстояло все вот как.

Понагнав на зэков страху расстрелом заложников в первые месяцы войны, лагерное начальство стало далее прибегать к испытанному методу монтажа процессов: раскрывались «заговоры», предупреждались попытки восстания. Эхо постоянных залпов должно было напоминать лагерникам, что никакие поражения на фронтах не ослабили карательные органы и они по-прежнему бдят, на страже, и горе тому, кто вообразит, что настал час избавления!

Дошла очередь и до геологического отдела Ухтлага. По заранее составленному списку всех, кто чем-нибудь маломальски выделялся, объединили — при помощи провокаторов, лжесвидетелей, пыток и запугиваний — в преступную группу, сформировавшую «подпольное правительство». Оно ждало наступления Гитлера на Москву, чтобы поднять восстание в лагере. В списке министров оказались не только ведущие геологи — фон Бринкен, Гордельман, но и я. Узнать об этом мне пришлось позднее — из толстой папки с моим «следственным» делом.

Всех переарестовали, на меня объявили розыск. На след мой навел сотрудник лагеря, знавший меня в лицо и случайно увидевший в гостинице в Сыктывкаре; он и донес о встрече в следственный отдел. За те полгода, что меня разыскивали и доставляли, заговорщиков успели расстрелять.

Сидевшие в соседней камере уголовники рассказывали, что встречали в старом изоляторе Гордельмана. Его долго держали в одиночке, выколачивали признание. И как-то ночью, по воровскому выражению, «взяли» — вломились в камеру, связали и потащили по коридору. Как раз об эту пору меня — затерявшегося «министра» — арестовали в Усть-Куломе. И тут, впервые в жизни, международные события непосредственно повлияли на мою участь. В Москве побывал английский премьер Иден, сказавший Сталину о чрезвычайно неблагоприятном впечатлении, какое производят на общественное мнение Англии расстрелы заложников в советских лагерях и казни духовенства. И дана была команда — отставить! Священников стали пачками освобождать из заключения, прекратились дутые процессы. И все это со дня на день, как может произойти только в государстве, где нет законов и диктатору достаточно пошевелить пальцем или кивнуть, чтобы падали головы, или, наоборот, им было разрешено и дальше моргать глазами, шевелить ртом и выражать преданность. И когда я наконец предстал пред очи следователя, все мои заговорщи-

ки-«единомышленники» были расстреляны, дело, по которому меня привлекли, перечеркнуто и объявлено небывшим! Как было поступить со мной?

Было бы наивно предполагать, чтобы следователь действительно ломал голову — как мною распорядиться? Была железная заповедь: не выпускать, не освобождать! Осечка с «подпольным правительством» — дело поправимое: найдется и другая зацепка, да и статей кодекса и формулировок достаточно. Да и время терпит — можно не спеша подыскать, не то что-нибудь само подвернется! Никаких стеснительных процессуальных норм нет — в лагере просто смешно о них упоминать. Непререкаемая аксиома и истина: раз арестован — значит, виноват!

Примерно два месяца спустя — со счета времени я стал сбиваться — меня потребовали к следователю, однако не для допроса, а по особенному случаю. Приехавший ревизовать лагерных следователей бывший мой архангельский допрашиватель Денисенко, очевидно, выслужившийся в тридцать седьмом году и сильно вылезший в гору, захотел на меня взглянуть, любопытствуя посмотреть на то, что он мог справедливо считать отчасти творением своих рук.

Развалившись в кресле — я сразу отметил, как прибавилось в нем важности,— Денисенко неторопливо меня разглядывал. Он прищуривался, откидывал голову, небрежно делился с младшим коллегой соображениями и выводами по поводу моей персоны — этаким метром перед подмастерьем. Тот внимал с величайшим пиететом.

— Ну, право, не узнаешь... Лагерный работяга, да и только! Щетина на подбородке, телогрейка замызгана, из ботинок торчат портянки. И не догадаешься,— а?!— кого эта сряда прикрывает: за-ма-ски-ро-вал-ся! Ты бы поглядел, каким франтом он по Архангельску разгуливал — брюки в складочку, куртки заграничные... Еще бы! Его брата американская разведка снабжала. Так что если бы тогда не разоблачили... И ты не смотри, коли он станет комедию тут разыгрывать: беспартийный я, политикой не интересуюсь. Спроси, на любом языке тебе ответит... И вообще... помни: перед тобой матерый враг, озлобленный. И ты следи, дознайся — с кем он теперь связан, чем дышит? Разве не так, Волков? Ну, что опять натворили? Небось опять скажете — ни в чем не виновен! Пока вас не приперли...

— Вы и тогда ничего не доказали,— вдруг вскипел я,— и теперь вот уже более трех месяцев сижу — где обвинение? Небось и предъявить-то нечего...— Я сбился, забыл, что хоте

еще сказать: мысли в голове путались. Мне не удавалось сосредоточиться, излагать связно.

— Все ершитесь? Не обломали рога? Ну что ж, ваше дело. А мы, это вы хорошо знаете, добиваться своего умеем.

Меня вели обратно в изолятор, и я, помню, корил себя, что вот — обменял на хлеб свою куртку, теперь хожу в обносках и всякие Данисенко могут надо мной потешаться. И мучительно стыдился своих грязных рук, рваных бумажных штанов, настолько коротких, что из ботинок торчали голые ноги — носков не было...

Изредка — зто зависело от настроения дежурного в коридоре — меня выводили на прогулку в огороженный двор. И хотя сходить и особенно подниматься по крутым ступеням крыльца становилось трудно — не было уверенности в ногах,— я все же торопился выйти, чувствуя, что поддаться искушению лежать, не утруждая себя, нельзя, что тут одна из позиций, которую я должен отстаивать как можно дольше, защищая свою жизнь. Дежурный усаживался на крыльце с папиросой, я медленно ходил взад-вперед перед его глазами или садился на валявшийся чурбачок, ощущая тепло последних солнечных дней — в пасмурную погоду не выводили гулять,— но не умея подняться мыслями и душой над сосредоточенными вокруг выживания заботами.

Чем труднее становилось, например, нагнуться, чтобы разуться, или требовалось больше выдержки, чтобы сохранить до вечера кусочек хлеба, тем эти напряжения мышц или усилия воли полнее поглощали и занимали сознание. Ни о чем другом уже не думалось и не мечталось. Драмой, трагедией оборачивались недоразумения и разочарования, относящиеся к пайке или обеденному ритуалу. Надзирателям приходилось следить, чтобы соблюдалась очередь на получение горбушки. Каждый караулил ее ревниво, и какими же исступленными сценами сопровождались и самые пустяшные заминки! Ожидавший получить ее утром уже с вечера нервничал, тревожился: вдруг на камеру не достанется ни одной горбушки или, на грех, попадется вовсе сырая, с мягкими корками? А как следили за черпаком раздатчика, коротким движением уравнивавшего содержание «гущи» — редких крупинок, взвешенных в мутной тепловатой жиже. Миску выхлебывали, не черпая ложкой до дна, чтобы напоследок зачерпнуть пол-ложки крупы! А ее сплошь и рядом не оказывалось вовсе.

В стене в одном месте между бревнами оставалась порядочная щель. Округлость бревна не позволяла видеть сквозь нее, но пальцы проникали настолько, что можно было про-

сунуть не только записку, но и небольшой сверток. Мне не с кем было вести переписку, да и не о чем, но соседи как-то соблазнили меня произвести обмен: я отдал на три крученки табаку, мне следовала порция сахару.

Как же я волновался, согласившись на обмен! Надо было отсыпать махорки достаточно, чтобы не вызвать нарекания, но и каждой лишней крупинки было жалко. И я добавлял, снова отсыпал, прикидывал. Но, подбираясь по нарам к щели с пакетиком махорки, я испытывал чувства, обуревавшие почтмейстера с письмом Хлестакова в руке: мерещилась ложка сахарного песка, подсластившая кипяток, и страшно было — вдруг обманут? По договоренности, я должен был отдать свой товар первым.

И, разумеется, меня обманули. К отчаянию моему по поводу пропажи ценной махры примешивалась обида: надули, как новичка, желторотого фраера! Мне-то пора было знать, с кем имею дело. Не такое же ли отребье обирало на этапах, отнимало у слабых пайки?.. Я понимал, что уже не умею четко вести свою линию, распознавать надвигающееся. Ведь я и у щели проторчал бесконечно, все веря, что за словами: «Сейчас, завертываем!» — последует и передача, пока меня не заставили просунуть пальцы как можно дальше, обдирая их о дерево.— «Да бери же, вот он, еще чуть просунь...» — и не огрели чудовищной сальностью. Не скоро пришел я в себя после пережитого потрясения.

Потом со мной был разыгран другой фарс, но уже не ворами, а следователем. Ко мне в камеру втолкнули человека, сопроводив его появление мизансценой, за версту отдававшей чекистской режиссурой. Новый сокамерник — юркий человечек с мелкими чертами неумного, лживого лица с убегающим взглядом — на весь изолятор материл какого-то партийного секретаря, преследующего его за раскулаченного отца, поносил порядки, взывал ко мне: где у Советской власти справедливость? Я каменно молчал. Улегшись на нары, он стал то же повторять монологом, изредка вызывая меня на ответы. Закрыв глаза, я притворился спящим.

Когда внесли обеденные миски с баландой, он набросился на еду, притворившись осатанелым от голода. Но ел нехотя, лениво и посуду отставил, не слив последнюю капельку в ложку. Почти сразу после обеда дежурный вызвал его на допрос, хотя конвоир с улицы не заходил — в изоляторе всякий звук прослушивался с одного конца в другой.

И когда этого молодца снова ввели в камеру, я спросил его в упор:

— Ну как, сытно покормили?

Должно быть, еще два дня прожил я с наседкой, потом его убрали и от затеи состряпать «камерное» дело, видимо, отказались. Там подбирали под меня ключи, искали, из чего слепить мало-мальски приглаженный повод для обвинения. Но все это, как я говорил, не занимало воображения, скользило по мне, глубоко не задевая. Как раз тогда стала одолевать другая забота: к голоданию прибавился холод. В камере не было печи, в неконопаченые стены и щели пола дуло, а на дворе стоял октябрь, уже выпадал снег, и согреться почти не удавалось.

Но тут, должно быть, в начале ноября, меня перевели в общую камеру, куда выходило обмазанное глиной зеркало печи. Топили, правда, редко и плохо, но немного тепла печь давала: прижавшись к ней спиной, мы простаивали тут подолгу, пока держали ноги. Сморившихся тотчас подменяли другие — очередь тут не переводилась весь день. И нередко возникали ссоры, даже драки из-за места.

Эта камера сделалась на долгие месяцы тем тесным, придавившим меня мирком, за пределы которого уже не вырывалось ущербное, гаснущее сознание.

...Ближе к полудню понемногу стихают напряженные разговоры о разных блюдах, преимущественно сытных деревенских яствах, приготовленных в русской печи с великим обилием мяса, сала, щедро политых сметаной и растопленным маслом, яствах, накладываемых горой в просторные миски-тазы. Идут на убыль сводящие с ума воспоминания о том, кому, по скольку раз в день и чего приходилось есть там, на воле, вдвойне недоступной для этого полутора десятка человек, не только заключенных в лагерь, но еще и запертых в изоляторе.

Никто не замечает, как перестали спорить о разносолах и угощениях, от одного перечисления которых всех лихорадило, и съехали на простой черный хлеб. Ты — русский ржаной хлеб-батюшка, ты — сытный, пахучий, увесистый мужицкий каравай, с нижней коркой, обсыпанной прижаренной мукой и твердо-глянцевой верхней! Да и ты, городской формовой кирпичик с пахнущими подсолнечным маслом боками, вы одни день и ночь мерещитесь и снитесь нам неотступно!

Буду ли я, Боже мой, держать когда-нибудь в руке ломоть ржаного хлеба или отрезать от целого каравая большие доли и, поедая их, иметь перед глазами оставшийся хлеб, от которого волен отрезать еще и еще куски, потом бережно их разламывать, чтобы не уронить крошек, набивать и набивать рот

мякишем? Это видение одно занимает мое воображение.

Как же все на днях набросились на паренька из Закарпатья, когда тот стал уверять, что на воле не съедал и четверти фунта хлеба, довольствуясь другой едой! Есть мера лжи: как поверить, чтобы человек мог равнодушно отказываться от ржаного хлеба, предпочитая ему какие-то галушки и налистники?! То было посягательство на самые дорогие представления, какими мы жили. Казалось просто чудовищным, даже кощунственным, чтобы можно было так пренебрежительно упомянуть о хлебе, от него отвернуться, и я, едва не плача от бессильной досады, поддакивал общему негодующему хору: «Врешь все, обманщик, все врешь! Да хохол просто смеется над нами, дурачит!»

Но наконец стихают разговоры и о хлебе. Один за другим все смолкают. Но не лежат спокойно после пережитых волнений, а прислушиваются. Напряженно ловят всякий звук в коридоре. В камере часов, само собой, ни у кого нет, окно загорожено деревянным щитом, и все-таки час раздачи пищи мы угадываем безошибочно, как животные в зверинце. Его ожидание всех настораживает и напрягает до изнеможения. Воцаряется гробовая тишина. Вздумавшего ее нарушить злобно одергивают, раздаются истерические протесты.

Но вот лязгнули запоры наружной двери. По нарам шелестит судорожный вздох, происходит короткое движение, и в камере снова все стихает. Тихо, впрочем, во всем изоляторе, словно обед принесли в морг.

Эта глиняная плошка с черпачком жиденького мутного отвара! Он вдобавок едва теплый, потому что его приносят издалека и разливают в мерзлую посуду — после ополаскивания ее складывают в стопки на полу у столика дежурного. И хотя ничего, кроме этой жидкой бурды, я, пока там пробыл, то есть больше года, не получал, ждал своей обеденной миски всем существом, томясь и волнуясь... Вот заскрипели под валенками половицы, стукнули поставленные ведра. Потом звякнул черпак. Слух, обоняние, нервы напряжены до мучительного предела. Тем более из-за того, что дежурный начал раздачу с противоположного конца коридора.

Меньше чем за минуту миска опорожнена до последней капли. Съеденного без хлеба супа так мало, что голод нисколько не отступил. Но разрядка предобеденного ожидания привела к призрачному оживлению — диспуты о еде возобновляются. Это наваждение, помутнение разума. Настолько заразительное, что избавляешься от него только в часы, когда удается крепко заснуть.

На днях в камере внезапно заболел, стал бредить и метаться в жару пожилой колонист-немец, недавно попавший в изолятор, а потому еще хорошо экипированный — по нашим меркам, понятно — и прятавший, как можно было подозревать, запасец махорки и даже, быть может, сахару. Под вечер зашел фельдшер, измерил температуру и буркнул, уходя, что переведут больного в стационар. Но надвигалась ночь, и никто не приходил. Больной горел еще пуще, стонал, иногда затихал, и тогда становилось страшно, не умер ли?

Он помещался на нижних нарах, как раз подо мною. И уже с вечера к нему в ноги сели двое, как бы случайно, как бы с тем, чтобы подать кружку воды или поправить сползший бушлат. Но мы знаем, что они караулят, чтобы в случае чего оказаться первыми, и что гложет их неотступно: не обманет же он их ожиданий — помрет в камере, и тогда что-нибудь да перепадет на их долю. Они уже высмотрели, где в изголовье спрятана пайка, уже облюбовали суконную куртку, портянки... Уже поделили между собой пожитки умирающего!

Нет, чур меня, чур! — я не желаю ему смерти, я отгоняю мысль о конце... И все же сверлят сознание эти щепотки махорки, этот несъеденный кусок хлеба, даже виденный на немце теплый шарф. Я не пойду сторожить и осуждаю воронье, что, учуяв добычу, ждет, караулит, сидит над ним, но, Боже, если он умрет, ему уже ничего не будет нужно, и почему всем воспользуются другие, а не я?

Изредка, с большими многонедельными промежутками меня водят к следователю. Он о чем-то спрашивает, вызывает на откровенные суждения, попеременно угрожает и уговаривает. Я понимаю, что он все еще не нашел, за что зацепиться, чтобы состряпать обвинение, но не способен вникнуть в суть его хитросплетений, ни принять близко к сердцу всю эту возню. Словно дело идет не обо мне, а о постороннем лице. И кроме того: при всех обстоятельствах дадут срок, куда-то погонят... И там будут кормить! И в общем повторение пройденного. Я уже не способен осмыслить, что со мной происходит.

С головой делается что-то неладное — это я начинаю сознавать в редкие минуты душевной ясности. Они — гости ночи. В камере бывает относительно тепло, и, проснувшись, я чувствую, что угрелся. Еще не точит голод, а с ним и навязчивая мысль о хлебе. Ненадолго возвратилась трезвая способность оценить свое положение.

В камере находился помешавшийся от голода портной Селим — не то курд, не то турок со склонов Арарата. За добавочный черпак супа он мастерил дежурным тюбетейки

из материала, который они ему приносили. Подражая ему, я на днях сшил из подкладки фуражки нечто, отдаленно напоминавшее изделие Селима. Потом терпеливо надергал ниток из ветхой нательной сорочки и принялся за узор. Задумал я пустить по кромке тюбетейки волнистую нить, а на маковке расходящиеся лучи, что-то в общем вовсе примитивное, лишь бы было что предложить дежурному.

Но что это? Почему игла ходит и тычется, как в бреду, оставляя за собой путаный след? Я утратил власть над нею и не способен расположить узор так, как хотелось. На старенькой лоснящейся ткани возникают неровные запятые, беспорядочно расположенные косые черточки... Вот нитка пьяной линией, точно спотыкаясь, увела на самый край тюбетейки. Воображаемые узоры и серенькая нить опутали, как паутиной, мое сознание, утратившее устойчивость. И я собираю все свои силы, дрожащей от напряжения рукой тычу иглой в потертый шелк, мучительно стараюсь подчинить ее движения какому-то замыслу, сбиваюсь и растерянно останавливаюсь: мне кажется, что я схожу с ума!

...Кромешная темнота камеры и мертвая тишина. Голодные видения и страхи копошатся где-то в сторонке, не подступают вплотную, и я вдруг ясно сознаю, что заболеваю, как Селим... Так ли это плохо? Быть может, даже к лучшему, сознание притупляется, многое скользит мимо, не задевая... И в самом деле, иначе разве бы я так быстро успокоился после сегодняшней передряги? Вспоминал бы о ней, словно не со мной все произошло, а при мне? Вот только с брезгливостью думаю о некоторых подробностях.

...Надзиратель стоял надо мной и орал во весь голос:

— Вставай, интеллигент моржовый, не то пну ногой и угодишь в очко — в дерьмо головой! Открыл мне тут заседание... Все давно оправились, а он расселся, профессор говенный....

Я отчаянно цепляюсь за стену, ищу, за что ухватиться, другой рукой опираюсь в икру, в грязную доску стульчака, хочу подняться, лишь бы смолк крик, но ноги как ватные, и я продолжаю раскорякой сидеть перед расходившимся вахтером, еще ниже опускаю голову. Жду, что толкнет, ударит. От страха растерял последние силы. Наконец, наскучив криком, дежурный зовет уборщика, тот помогает мне подняться и проводит в камеру.

Я уже давно — должно быть, месяца два назад — перебрался на нижние нары, хотя там гораздо холоднее: влезать на верхние сделалось не под силу. Я что-то быстро слабею. И мысли в голове бродят вяло, путаются; ни с того ни с сего

навертываются слезы, посещают ребячьи страхи. И все же в такие вот умиротворенные ночные минуты я начинаю, наперекор всему, тешить себя надеждами. Обстановка так их опровергает, в таком противоречии с ними, что они как бы вне меня, не порождают сил, какие бы помогали цепляться, бороться, чтобы выжить. Впрочем, что это за хилые, бескрылые мечтания! И не уводят далеко: получить бы лагерный срок и выйти из этого страшного домика, показавшегося мне, когда я его впервые увидел, таким мирным, таким безобидным...

Думаю даже, что срок будет небольшим: что может, в оамом деле, высосать из пальца следователь, что потянуло бы от силы на пяток лет? Меня даже могут отправить в ссылку... И на лагпункте, а тем более за зоной, несомненно, будет возможно раздобыть хлеба, на первый случай хотя бы граммов двести... Или лучше полкилограмма. Или даже — буханку. Я усядусь с ней в укромном месте и начну расчетливо, сдерживая нетерпение, аккуратно отрезать по ломтику пальца в два толщиной, потом... Кошмар возобновляется...

...В крохотной камере не больше четырех квадратных метров. От двери к окошку тесный проход и по бокам — высокие двухъярусные нары. Все тут свежевыстроганное, незатоптанное, как оставили столяры. Даже стружка по углам лежит. На вбитых в стену под окошком крюках висит батарея, но трубы к ней не подведены. Металл густо покрыт инеем: это я обнаружил только теперь, когда рассвело.

На дворе ясно, морозно. Свет идет в карцер через загороженное козырьком окошко, но его за ним столько, что отраженное сияние солнца попадает и сюда. Да еще светлеют щели между половицами. Приглядевшись, вижу сквозь них припорошенные снегом щепки и моховые кочки: здание приподнято над землей более чем на метр.

Меня втолкнули сюда накануне вечером. Тогда я ничего этого в потемках не увидел, как не заметил и иней на калорифере, только ощутил такой холод, что себе не поверил. Решил, что за отворенной передо мной дежурным дверью не «кандей», а тамбур или даже обшитое тесом крыльцо. Но то была настоящая «холодная»... Хотя все относительно: на лесных лагпунктах я видел непокрытые срубы, обращенные в карцер. Зимой в них запирали зэков босыми и в нижнем белье.

Но сейчас мне впору думать о собственном отчаянном положении. Снега в карцере, правда, нет, но мороз как на улице, а оборониться от него нечем: на мне летние старые гимнастерка и брюки, куцая — чуть ниже пояса — телогрейка с короткими не по росту рукавами; на ногах, обернутых в

бумажные портянки, кирзовые ботинки, на голове та самая кепка, откуда я выдрал подкладку, из которой так неудачно пытался смастерить тюбетейку. Она, между прочим, и стала косвенной причиной моего заключения в карцер. Помешанный Селим, усмотрев во мне конкурента, бросился на меня отнимать мое рукоделие. Едва сцепившись, мы грохнулись на пол. Селим успел уползти под нары прежде, чем дежурный отпер дверь, я же никак не мог подняться.

— Драку мне устраиваешь? Говори, с кем? Я вас, доходяг, проучу! Что, что? Споткнулся, упал? Так я тебе и поверил... то-то крик стоял. Не хочешь назвать — я те остужу мозги, интеллигент ср...!

Надо было, вероятно, осторожно постучать в дверь карцера и униженно, льстиво просить прощения и милости, назвать Селима. Но этого сделать я не мог... Мне показалось, что я бесконечно долго простоял в проходе, прислонившись к двери и смутно ожидая, что за мной придут. Не может быть, неправда, что бы это было всерьез: припугнули, и все... Но никто не приходил, и я достоял до того, что вовсе окоченел. Сделалось невмоготу шевельнуться. И меня охватил подлинный ужас.

Превозмогая стылость во всем теле, я стал карабкаться на верхние нары, чтобы достать до решетки окна. Еще когда дежурный отворял дверь, там в луче света из коридора блеснула висевшая на ней проволока. Но послужить мне она не могла. Пальцы оказались слишком слабыми, чтобы ее разогнуть и тем более соорудить из нее петлю: проволока была толстой и упругой. Изо всех сил, придаваемых отчаянием, я старался ее отмотать. В ту минуту мне казалось легче повеситься, чем медленно замерзать.

И все-таки надо было что-то предпринимать. Я вспомнил своих зябких пойнтеров — как они в холод свертываются калачиком и, уткнув морду в брюхо, греются собственным дыханием. Забравшись на верхние нары — все-таки дальше от стылого пола,— я заставил себя окостеневшими пальцами расстегнуть телогрейку и снял ее. Потом встал на колени и согнулся так, что почти достал их головой; телогрейкой покрыл спину, растянув полы ее от ступней до затылка. Свисавшими рукавами кое-как ухитился с боков. Потом лбом оперся о скрещенные руки и засунул пальцы под мышки; в таком положении кровь приливала к голове, и это слегка оглушало. Я затих и стал ждать. Чего?

Я уже плохо помню последу щее, даже не могу сказать доподлинно, в какое время меня вывели из карцера: пробыл я в несколько более полусуток. Пока был в силах,

заставлял себя шевелить пальцами в ботинках, причинявших боль и сделавшихся каменными. Мерзли руки, колени, несло холодом с боков; иногда казалось, что со спины съехала телогрейка, и всего колотил озноб. Стылый воздух вокруг словно отвердел.

Мерещились открытый огонь, хлынувшие отовсюду волны тепла. Особенно упорно возвращалось одно видение. Чудилось, что я лежу на нарах, окруженных со всех сторон пышущими жаром батареями. Под досками тоже проложены трубы отопления. Я никак не мог придумать, как защититься от холода, идущего сверху, и приспособить калориферы над собой.

Так — то отчетливо сознавая окружающее, то забываясь в видениях или снова думая о проволоке на решетке — я просидел, скорчившись, на досках, скрипевших от мороза, всю долгую зимнюю ночь. Помню проникшие в карцер первые отсветы зари. И четко обозначившиеся в полу щели. Холод страшнее голода...

* * *

Как ни плох я был и вяло соображал, некоторые протоколы из папки, которую положил передо мной следователь, объявив об окончании следствия, я прочел с интересом. Даже волновался, вчитываясь, даже пытался что-то выписать для памяти. Мне дали карандаш и бумагу: я мог готовиться к защите — законность и правосудие торжествуют! В кабинете было тепло, передо мной был поставлен стакан сладкого чая, и от такой благодати я немного приободрился.

Выходило, будто мои прежние коллеги-геологи меня оговорили. Я будто не раз высказывал монархические взгляды, давал согласие взять на себя внешние сношения директории, как только произойдет восстание и надо будет связаться с немецкими союзниками. В одном из показаний даже говорилось о моем сходстве с Романовыми, которое можно было при известных обстоятельствах использовать. Были ли эти протоколы целиком подложными, или следователям удалось угрозами и пытками добиться таких показаний, не придется, вероятно, никогда установить. Впрочем, то была «историческая часть» моего дела. В обвинительном заключении о ней не упоминалось: ничего из этого бреда мне не инкриминировалось, а обвинялся я очень четко в ведении агитации против колхозов, что подтверждалось показаниями рядового охраны лагеря, колхозника деревни Лача Ивана Константиновича Габова, моего квартирохозяина во времена пребывания в составе экспедиции.

Костя Вань! Друг и неразлучный спутник длинных таежных походов, гостеприимный, внимательный хозяин, доверительно изливавший мне у лесных костров свои жалобы на нищенскую жизнь! Обремененный большой семьей отец, которому я выхлопатывал, в своей ипостаси старшего наблюдателя, какие только было возможно премии, льготы, пайки...

Как дошли до следователя сведения о моих бывших связях с Габовым, попавшим по мобилизации в охрану лагеря, я не узнал, но как его заставили дать нужные показания — представлял себе отлично. В то время чины лагерной администрации и охраны зубами держались за избавляющую их от фронта службу. Каждый искал, как выслужиться, проявить рвение, закрепиться попрочнее, стать незаменимым! Путь для этого был один: жестко и беспощадно обращаться с зэками, безотказно угождать начальству, всюду обнаруживать козни врага. От Кости Ваня потребовали подписать облыжные показания против меня — мог ли он отказаться? Своя рубашка ближе к телу... Ему, несомненно, пригрозили отправкой на фронт, а дома «жена, малолетки» — полуголодные, беспомощные; отсюда же всего тридцать километров до деревни — удается помочь семье, ее подкармливать.

Должно быть, в марте — стояли уже светлые длинные дни, и было слышно, как за окном отчаянно возятся воробьи — меня вызвали на суд. Впервые мое дело «разбирали» при мне, а не решали заглазно, как уже трижды делали в прошлом.

По дороге охранник стал было подгонять меня, но, сообразив, что никакие окрики его и понукания не помогут, обреченно поплелся в нескольких шагах позади, приостанавливаясь закурить или попросту оглядеться, подставить лицо горячим лучам весеннего солнца. И я бы наслаждался теплом, светом, мягким ветерком, уже несущим запахи оттаявшей хвои, первых прогалин, раскатистыми голосами птиц, не поглоти меня всего трудность ходьбы: не только требовалось невероятное усилие, чтобы волочить ноги, но было ощущение, что никак не ступишь твердо — вот-вот спотыкнешься и упадешь. На подтаявшей дороге было скользко, и видневшийся в полукилометре впереди поселок казался отстоявшим недостижимо далеко. И я чувствовал, что не дойду. Не хватит сил.

К Дому культуры или клубу, где должен был состояться суд, мы подходили вместе: вохровец подхватил меня под локоть и твердой рукой поддерживал мои шаги. И в зале, с покрытым кумачом столом, портретом Сталина на затянувшей заднюю стену алой портьере и рядами жестких, сбитых вместе

стульев с подлокотниками, он довел меня до назначенной для подсудимого лавки.

— Суд идет!— провозгласил вышедший из-за кулис военный.— Прошу встать!

У меня это не вышло, и конвоир снова подошел ко мне и помог подняться. Усевшись на свои места, трое военных — члены «выездной сессии военного трибунала»,— посовещавшись, разрешили мне в дальнейшем не возобновлять своих попыток вставать всякий раз, что один из них обращался ко мне с вопросом.

Смысл спрашиваемого доходил до меня с трудом. Я просил повторить, отвечал неуверенно, останавливался, утратив нить мысли. Собственно, я даже не мог сосредоточиться на происходящем — занимало меня более всего ожидание перерыва: бывалые люди в камере уверяли, что в это время подсудимых кормят «по рабочей норме». И судебные прения все более смахивали на скороговорку, на прокурорский монолог, подкрепляемый репликами председателя суда. И вся тройка, скоро наскучив пустым разыгрыванием разбирательства, не то почувствовав неприглядность этой возни с полутрупом перед конвоирами и несколькими случайными людьми в зале, объявила перерыв и удалилась на совещание. Провели его в ускоренном темпе, и, должно быть, через четверть часа — я едва успел дотащиться до уборной и вернуться — председатель, спеша и глотая всякие «именем...» и «в составе...», объявил приговор: четыре года заключения в трудовом лагере за «к/р агитацию». Это означало, что меня тотчас же водворят на лагпункт. Изолятор был позади.

Я радовался, чувствовал какую-то приподнятость. Вот только огорчало несбывшееся ожидание обеда. Я даже решился напомнить о нем конвоиру. Он очень весело рассмеялся — его, видимо, позабавило, что я поддался на розыгрыш.

* * *

...Все это в памяти сохранилось. Воспоминания об этом времени порой прихлынут, бередят душу, и годы не в состоянии умерить их горечь. Бывает, я словно спокойно рассказываю, деловым голосом описываю свои приключения — происходило со мной вот то-то и то-то,— словно гляжу со стороны, и герой мой человек мне посторонний. И вдруг необъяснимо какая-нибудь подробность, пустяковая мелочь мгновенно воскрешает подлинное давнее переживание, когтя-

ми процаранавшее сердце, и оно оживает во всей своей жестокой наготе. И сжимается сердце, и подводит голос, и надо с собой справиться, чтобы не «облиться слезами» — увы, не над вымыслом! Пронзают когда-то перенесенные обиды и унижения. Они похоронены на дне души, но не мертвы. Не выветрились, способны и сейчас, разбуженные, сочиться кровью...

...Меня, как-то уже очень ослабевшего, уже вовсе доходягу, вели по обледеневшей тропинке в баню. Оступившись, я упал в рыхлый снег. Прошли десятки лет, я начисто забыл, в каком именно месте это было, на каком лагпункте и даже во время отбывания какого срока, но и сейчас вижу всю сцену, как на четком снимке. Все, все, до малейших подробностей помню...

Я беспомощно барахтаюсь в сугробе, не нахожу, обо что опереться, чтобы перевернуться — упал я навзничь,— встать на четвереньки и выползти на тропу. Снег сразу просыпался во все прорехи куцей рваной одежды, заполнил надетые на босу ногу кирзовые ботинки. Сразу выдохшись, я затихаю, лежу без движения. Слышу матерную брань конвоира. Фигура его высится надо мной, четко определилась на фоне синего неба, штык над папахой блестит против солнца. Блестят и даже лоснятся его разрумянившиеся на легком морозце щеки. Молча и серьезно вслушиваюсь в исходящие оттуда — из этого беспощадного полногубого рта — потоки смрадной ругани и угроз:

— Все не бросил свои штучки, интеллигент ср... Ему бы только поиздеваться... Разлегся, мать его перемать!— на дороге, ожидай его тут на морозе, пока подымется. А ну, живее, не то как подколю в зад! — И краснощекий идол надо мной срывает с плеча винтовку и даже повертывает штыком ко мне.

Особенность этого воспоминания в том, что я и тогда видел всю сцену со стороны, сознавал ее безобразность. Понимал, насколько уродлива была моя долговязая фигура в грязном рванье, с заголившимся животом, раскоряченная на снегу, с руками, цепляющимися за неровности утоптанной тропки, со свалившейся со стриженой головы ушанкой...

Кстати, на всем протяжении моих лагерных хождений, на этапах, в следовательских кабинетах, на лесоповале и при генеральных шмонах, как охранники, так и начальство всех рангов тыкало меня моей интеллигентностью, усугублявшей мою и без того преступную сущность. Причем качество это устанавливалось по необъяснимым для меня

признакам, даже в периоды, когда я оказывался на самом дне, был среди самых обтрепанных и самых немытых. Самых голодных...

* * *

...Как ни туго жилось заключенным в лагпункте, меня старались поддержать кто чем мог: приносили миски с супом, остатки каши и даже крохотные куски хлеба, отторгнутые от драгоценной пайки. Я принимал все с признательностью, съедал, но сил не прибавлялось: я продолжал слабеть и неимоверно отекал. Доброхоты советовали добиваться больницы, кто рекомендовал покориться и идти на инвалидную командировку. Считая, что то и другое — верная «доходиловка», я продолжал упрямо, отчаянно цепляться за свой статус «работяги», чтобы получать рабочий паек. Но ходить становилось день ото дня труднее, почти невозможно...

— Из строя не выходить, шаг в сторону рассматривается как попытка к бегству, конвой будет применять огнестрельное оружие без предупреждения. Партия — шагом марш!

Это напутствие при отправке на работу за зону. Выстроенных в колонну у ворот пересчитывают в последний раз, уже на ходу, и мы выходим на дорогу. Конвойные в пути поторапливают. Только и слышно: «Не отставать, шире шаг!» — с соответствующими кудреватыми добавлениями. Проводники с собаками идут вплотную к строю. Это тоже стимул.

До места работы меньше километра, но конвоирам хочется скорее сдать партию, чтобы до самого вечера бить баклуши.

Идти со всеми в ногу я просто не в состоянии, хотя и мои товарищи, по правде говоря, не торопятся: их ведь не ждут, как вохровцев, уютные чистенькие квартирки с раздобревшими бабенками, закармливающими своих мужиков сдобными пышками! Зэкам, наоборот, хочется растянуть прогулку.

Меня поставили в первый ряд, но уже через полсотню метров я оказываюсь в последнем, затем отстаю и от него, пока не начинаю маячить далеко позади. Вохровец в хвосте покрикивает. Но рыхлые ноги бесконечно тяжелы — и, стиснув зубы от усилий, я еле тащусь. Дорогу, на беду, пересекает узкоколейка: не могу переступить через рельсы, ногу никак не отдерешь от земли. Топчусь на месте, без толку опираясь на палку. Выручает выбежавший из строя товарищ. Конвоир терпеливо ждет, для порядка вяло ругаясь — к доходягам здесь давно привыкли.

— Сидел бы в бараке, дохлый, коли проку нет! А то туда же — выискался стахановец... Ковыляй, давай, интеллигенция вшивая, с тобой тут до вечера проваландаешься. Завтра нипочем не возьму, загорай в зоне!

Это самая страшная угроза. Я задохнулся, черпаю силы в отчаянии, но до двора сажевого завода добираюсь с отставшим конвоиром, когда все уже выстроены в две шеренги нарядчик отсчитывает зэков бригадирам.

Развод подходит к концу, а я все стою — кому нужен этот еле держащийся на ногах отечный полумертвец?.. Что за тяжкая минута... Сейчас раздастся: «Забирайте обратно в зону!» Но и среди вольнонаемных могут встретиться люди, хотя — видит Бог — их подбирают с толком.

— Беру к себе в лабораторию!— Женщина в белом халате делает мне знак следовать за ней. И идет к избушке в углу двора, не оборачиваясь. Я так рад, что почти за ней поспеваю.

В темном низеньком помещении, схожем с деревенской банькой, с высоким порогом, крохотным оконцем и грубо сколоченным голым столом, уставленным лабораторной посудой, тихо. Никого нет. Тут же оцинкованная лохань с горячей водой, тряпки. Вода остывает, а я все сижу на лавке, не берусь за мытье. От напряжения и ходьбы отекло все тело — живот, даже грудь точно обложены подушками, и сковывает движения мягкая, неодолимая тяжесть. Вдобавок сильно натянулась кожа. И сидеть становится невмоготу — надо хоть немного отдохнуть. Я осторожно соскальзываю на пол и на нем растягиваюсь. Будь что будет!

Ноги я взгромоздил на высокий порог. Если их так подержать приподнятыми, отеки слегка спадают. Лишь бы никто не пришел...

В проем отворенной двери видно далекое бледное небо. Ветерок редкими волнами наносит дыхание жаркого июльского дня. Невдалеке — в сотне метров от лаборатории — сплошь заросшая розовым кипреем опушка тайги; жужжат шмели и перелетают молчаливые таежные птицы. Укромно там, под лесным пологом, надежно... Лишь бы никто не пришел!

Лаборантка появляется перед шабашем. Услышав ее покашливание за стеной, я успеваю подняться.

— Собирайтесь, сейчас будут строиться,— говорит она, остановившись у входа и не заглядывая в помещение. Мне необходимо и хочется что-то сказать в свое оправдание, пообещать, что завтра я непременно перемою все колбы

и пробирки. Но говорить надо много и убедительно, я этого не могу и потому виновато молчу, не смея на нее взглянуть. Она тоже молчит и помогает мне перенести ноги через порог — сначала одну, потом другую. У меня по лицу катятся слезы — от стыда, жалости к себе и страха, что завтра меня наверняка прогонят с утреннего развода. Конец тебе, конец, человече! Нет у тебя сил для жизни в джунглях!

* * *

То, чего я так страшился, все же произошло. С рабочего лагпункта меня отправили в стационар № 8, куда свозят безнадежных дистрофиков. Я лежу на топчане с тощим соломенным тюфяком и жиденьким одеялом, под головой — подушка с комками сена. Палата заставлена стоящими вплотную друг к другу топчанами и вся занята такими же доходягами, как я. Из нас мало кто выживет, потому что сюда поступают с опозданием, когда истощение зашло слишком далеко и ничтожные средства лагерной медицины уже бессильны отстоять у смерти ее жертвы.

Я собрал остатки воли и энергии, чтобы не поддаться. Врача слушаю как оракула. Сколько человек умерло при мне — по-лагерному, «загнулось» — из-за того, что неумеренно пили воду, обманывая сосущую пустоту в брюхе, наедались всякой дряни или, раздобыв подпольными путями хлеба, сразу пожирали все добытое не то, наоборот, обменивали пайку на махорку. Я отвергаю все соблазны, ем только в предписанное время и то, что дают. Даже, как велит врач, заставляю себя сидеть, сколько могу выдержать, на койке: нельзя залеживаться, надо перебарывать слабость, из-за которой подчас не шевельнешь рукой, не поднимешь головы.

Случается, я слышу, как надо мной переговариваются. Ясно разбираю полушепот, знаю, что это слоняются по проходам между топчанами те, кто еще способен ходить, и подкарауливают умирающих. Но нет сил открыть глаза, тем более заговорить. И про себя я упрямо твержу им: «Шиш вам! Не достанется вам ни моя пайка, ни обед. Вот соберусь сейчас с силами и встану! Я еще поборюсь, я еще выкарабкаюсь!»

...Поносы лишают последних сил. Провалы сознания чередуются с детской возбудимостью; выпадают короткие промежутки прояснения. Я продолжаю судорожно цепляться за край ямы. В палате смрадно и угарно. И еще мучает

грязь, ощущение немытого тела. Изредка водят в баню, но как вымоешься, если невмоготу и пустую шайку поднять, потереть тело тряпкой?.. Голодные дни, голодные бредовые ночи — огонек жизни еле тлеет и чадит.

Главный врач — громадный тяжелый еврей с лошадиной челюстью, крикун и самодур — показывается в палатах в короткие промежутки между запоями. Тут он бывает сладкоречив и даже растроган.

— Эх, бедолаги мои,— останавливается он у койки, окидывая нас отеческим взглядом, охватывающим всю палату,— эх вы, горюны! Всех вас, ей-ей, поставил бы на ноги в два счета, будь только чем! Варил бы крепкий куриный бульон — наваристый, густой, по котелку на брата в день, да пшеничного хлеба в придачу по полкило давал, да еще лимоны всем бы прописал, молоко... Через неделю поднялись бы все, стали за бабами бегать...

И как-то, задержавшись возле меня, распорядился выдать мне халат — мы все ходили в нижнем белье — и поручить в канцелярии составление строевой записки. И назначил вознаграждение: стакан простокваши и дополнительное блюдо.

Маленький, размером в четверть листа типографский бланк, на котором надо проставить против четырех слов: «налицо на...», «прибыло», «убыло» и «состоит» — соответствующие цифры. Старший санитар дает мне сведения: «За день умерло 28 человек, в венерический диспансер отправлено 3 человека, поступило с лагпунктов 30 человек». Ну что же, отлично, сейчас разберусь! Накануне числилось в стационаре триста одиннадцать человек — четким каллиграфическим почерком вписываю сверху «налицо на такое-то декабря 311 человек». Так же красиво проставляю прибыло — «30 человек». Дальше идет «убыло» — это умершие, да, но там еще сифилитики; их — в ту же графу. Надо сложить, потом вычесть из первой цифры. А там — еще прибавить поступление. Я начинаю растерянно смотреть на цифры, чувствую неуверенность, от этого робею еще больше и перестаю соображать окончательно. Сижу, облокотившись на стол, гляжу на образцово выведенные мною первые цифры, на сведения, вчерашнюю строевую записку и теряюсь окончательно, не знаю, что делать. Все спуталось, плывет в голове так, что не могу ни за что ухватиться, найти, с чего начать сызнова... Приходит за сведениями сестра-хозяйка, я не нахожу, что ответить. Заглянув в бланк, она пожимает плечами и отходит, фыркнув что-то вроде «Нашли грамотея!». Я понимаю, что

пропал. И действительно, меня в тот же день водворяют обратно в палату, отбирают халат. А вскоре происходит чрезвычайное событие, после которого я оказываюсь окончательно изгнанным из стационара.

Прогневал я старшего санитара, первейшего вора, державшего вместе с сестрой-хозяйкой в руках весь стационар, включая и главного врача, подчинявшегося им слепо: они выделяли ему спирт, отпускаемый для перевязочной. Пользуясь беспомощностью доходяг, эта шайка вместе с поварами-урками бессовестно, в открытую вполовинивалась в наши пайки, и без того скудные. И однажды, получив вместо полагавшейся мне крохотной порции супового мяса кусочек голого сухожилия, я запротестовал, потребовал замены. На мою беду, тут приключился главный врач, громивший и разносивший всех с утра. Он бросился выгораживать своего дружка:

— Кто, кто тут недоволен? А, этот, как его, самозваный профессор! В университетах учился, а дважды два не знает... Так он что, моих больных тут мутит? От обеда отказывается? Списать немедленно! Перевести в рабочий барак, проучить! Я ему покажу бунтовать: идет война, а ему цыплят подавай... Знаю я этих... выродков-интеллигентов...— И он грязно, по-блатному выругался.

Под аккомпанемент криков и угроз нетвердо стоявшего на ногах врача санитар содрал с меня больничное белье, мне швырнули принесенный из кладовой узел с моими лагерными обносками и свели в рабочий барак, стоявший на отшибе, в той же зоне лагпункта № 8.

...Врачи сюда не заглядывают. Раз в день забегает самоучка-фельдшер и, раздав порошки с содой, уходит прежде, чем успеет растаять иней на его усах: они у него тщательно подвиты и, должно быть, нафабрены мылом. Иногда он записывает на бумажке: прислать санитаров с носилками.

Кто покрепче, ходит в столярку, чистит картофель на кухне, толчется возле прибывающих больных: у них бывает махорка, иногда удается что-нибудь стащить. Хлеборезу понравились мои очки, и он передал мне через прислуживающего холуя, что даст за них восемьсот граммов хлеба, по довеску в двести граммов четыре дня подряд. И я, разумеется, с ними расстался.

Я почти не поднимаюсь с топчана и этим навлекаю на себя нарекания:

— Ишь, разлегся, барин, полена не принесет, таскай за него! Интеллигент дохлый! Не пускать его к печке!

Завхоз не выдавал дров на этот барак, и отапливались чем придется: обрезками и стружками из столярки, ночью воровали дрова из поленниц возле кухни и бани.

И, должно быть, меня в этом бараке, холодном и грязном, уходили бы не только условия, но и враждебное отношение — постоять за себя я уже не мог,— если бы не сосед, больной пеллагрой, но еще способный ходить. Он защищал меня от нападок, ободрял, иногда делился добытым котелком супа. Был он инженером на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. После командировки за границу его арестовали и приговорили к двадцати годам заключения в лагерь.

У инженера были выбиты передние зубы и глубоко рассечена верхняя губа. Обрабатывавшему его следователю не удалось сломить допрашиваемого приемами, обычно приводившими к согласию подписать и признать что угодно. В припадке бешенства (разумеется, наигранного!) он подскочил к инженеру и, подставив ногу, сильным ударом сшиб его с ног, так что тот, как стоял с заведенными назад и связанными руками, так и упал с размаху — лицом на вентиль отопления.

У этого человека на ногах, пониже колен, зловеще темнели широкие поперечные полосы — следы ударов рантом сапога. Следователь усаживался на край стола против подведенного конвоирами к нему вплотную инженера и, непринужденно болтая ногами и вкрадчиво и мягко задавая вопросы, внезапно резко и сильно ударял носком сапога по кости, не спуская при этом глаз со своей жертвы. Неистовая резкая боль должна была заставить упрямца сдаться. Иногда инженер терял сознание. Из него выколачивали признание, что его завербовала вражеская разведка.

— Почему я так отчаянно сопротивлялся?— объяснял инженер, когда мы оставались с ним наедине.— Да распишись я в том, что шпион, и конец бы мне: заставили бы назвать десяток-другой имен по списку и расстреляли. Вот я и боролся. Не знаю, чем бы кончилось, но сдался товарищ, ездивший со мной в Америку: он подписал все, что им хотелось, и от меня отступились. Его расстреляли, я очутился здесь.

Нужно было видеть зловещие пятна на ногах инженера, его изуродованное лицо, глаза, полуослепшие от ярких, как прожекторы, ламп, на которые его заставляли смотреть в упор, чтобы убедиться в реальности сталинских застенков. О них уже в тридцатых годах знали в стране все, у кого были

родственники или друзья в заключении, то есть все население Союза. Но не смели говорить и замалчивают по сие время.

Знали и молчали: обывательская робость, усугубленная страхом и, пожалуй, оправданная у тех, кто был «один из миллионов», составляющих серую, невежественную и затравленную толщу советского народа. Но были и те, кто, зная все досконально, на весь мир объявляли правду клеветой, доказывая справедливость и гуманность сталинского правления.

В конце пятидесятых годов мне пришлось встречаться с писателем Ильей Эренбургом, уже желчным, больным стариком, почивающим на заработанных дачах, квартирах, коллекциях и сомнительных лаврах. Я тогда переводил русских и советских писателей на французский язык, и Эренбург как-то привез из-за границы томик своего друга, бельгийского поэта, надписавшего его мне — переводчику понравившихся ему сказок Сергея Михалкова. Мы иногда виделись, причем — свет мал — случайно установил, что брат его отца был на рубеже столетия поверенным моего деда. Я помню изысканно — на коммивояжерский лад — одетого джентльмена с бриллиантом в галстуке, приезжавшего в Петербург и останавливавшегося только в «Европейской» гостинице. Он появлялся у нас с визитом и презентовал моей матери роскошные коробки шоколадных конфет харьковского старинного кондитера-француза Фока, очень ценимых в столице («PHOQOE» — золотым тиснением по белому атласу коробки)... Разумеется, я не поведал Илье Григорьевичу, как его почтенный дядя едва не пустил по миру мою бабку и присвоил-таки себе из наследства деда изрядный куш: мы беседовали о временах более близких.

Эренбург интересовался моими приключениями, расспрашивал. Он и сам знал о множестве жертв сталинских катов, был даже, пожалуй, шире осведомлен в отношении размаха злодеяний, убийств неугодных лиц, свидетелей и исполнителей операций, вроде ликвидации Кирова и т. п. Развертывались бесконечные хроники режима, более кровавого и коварного, чем любые летописи средневековья, пресловутых тиранов прошлого. То были списки жертв, длинные, как столичные справочники...

Вижу перед собой Эренбурга — ссутулившегося, худого, с потухшими глазами на костистом лице; вслушиваюсь в его глуховатый, но четкий голос; улавливаю оттенок брезгливости и презрения, с каким интеллигентный человек говорит о насильниках, вероломстве, держимордах...

И представляю себе этого человека на международных форумах, выступающего с горячей апологией порядков у себя на Родине, язвительно разоблачающего оппонентов, тех, кто говорит о закрепощенном русском мужике, о рабском труде в лагерях. Воздающего в каждой речи хвалу Сталину, мудрейшему и гуманнейшему; искусно и последовательно обеляющего устроителей процессов, палачей целых народностей.

Его посылали — и он отправлялся в Париж и Стокгольм, Вену и Лондон и там поднимался на высокие трибуны: Эренбург, беспартийный, неподкупный представитель советской интеллигенции — совесть народа! В то самое время, как гибли Мандельштам, Корнилов, Михоэлс, Мейерхольд, десятки близких ему людей, сотни и тысячи его соплеменников...

Я иногда думаю: ничего не изменилось бы, если бы такие, как Эренбург, Максим Горький, Алексей Толстой, Шкловский, Шостакович и иже с ними, не брались — вполне корыстно и лицемерно — объявлять на весь мир несуществующую ленинско-сталинскую правду. Не просветлели бы от того тяжкие судьбы русского народа. Но одновременно не забываю, что большинство имен этих приспешников и глашатаев было известно за границей, по ним судили об отношении нашей интеллигенции к творимым преступлениям — и потому тяжка, безмерно тяжка вина их перед своим народом, перед обманутым ими мировым общественным мнением. Что нам негодовать по поводу разглагольствований Роменов Ролланов, Сартров, Расселов и прочих Линдсеев, коли они, развесив уши, внимали таким соловьям, как Илья Григорьевич?!

...Я забыл имя своего недолговременного товарища, не знаю, естественно, его судьбы, но и сейчас, спустя десятилетия, отчетливо вижу его отечное бритое лицо, беззубый рот, помню глухоту, лихорадочный блеск глаз под темными хохлацкими бровями, нервные руки; его истлевшую, аккуратно застегнутую, заплатанную гимнастерку... И — за далью и годами — лучше понимаю высоту духа этого мужественного человека, этого безымянного героя, выдержавшего непомерный искус и сохранившего честь и достоинство настоящего человека, сочувствие к людям и готовность помочь. Если бы можно было отыскать следы этого человека, высечь его имя на цоколе памятника жертвам ленинского учения в действии!

Именно в этом неотопимом, загаженном бараке, на хромом топчане среди одичавших от лишений, отверженных, по недоразумению еще числящихся на списочном составе лагеря и уже вычеркнутых из жизни, как раз в этом отторженном от всего мира, забытом Богом и людьми уголке — мне было дано получить два свидетельства памяти и заботы: обо мне еще помнили!

В барак зашел техник из проектного отдела управления — осмотреть его на предмет ремонта. Мне показалось, что он, пока ходил по помещению, обмеряя простенки и полы, нет-нет да пристально в меня вглядывался. И под конец, усадив сопровождавшего его завхоза за составление акта, как бы невзначай подошел к моему топчану.

— Я вас разыскивал. И узнал — вы бывали у нас в отделе и приходили к Любови Юрьевне. Тут в пачке несколько штук папирос — в одной из них записка... Выздоравливайте.

Он поторопился уйти, а я стал дрожащими руками, хоронясь от соседей, потрошить пачку. Написанное на папиросной бумаге длинное послание было свернуто в трубочку, засунутую в мундштук папиросы.

Люба уже давно узнала, что меня привезли на Крутую. Пока я сидел в изоляторе, не было способа со мной связаться. Теперь она будет мне писать и постарается собрать посылку. «Не беспокойся обо мне, бедный ты мой,— писала она,— я очень сносно устроена, научилась вышивать, мои изделия сбывают вольняшкам, так что у меня приработок, и я ни в чем не нуждаюсь. Не болею: жизнь как в теплице. Поправляйся — теперь ты снова от меня близко, и мы, Бог даст, увидимся». Потом Люба писала о нашей общей родне, упомянула, что ее постоянно навещает Кирилл Александрович — как раз он и наводил обо мне справки на лагпункте. Через его техников и надеялась Люба наладить переписку. И были в строках Любы ласка и ободрение и твердая вера в милость Божию — слова надежды. Но как раз тогда я достиг грани, когда уже ничто не могло всколыхнуть, ободрить меня — не сама жизнь, а какие-то слабые отголоски слегка тревожили мой слух. Любин посланец не обещал вернуться, и передать ответ я не мог, но если бы и представилась возможность, я вряд ли мог бы тогда связно и толково написать.

А вскоре после этого мне поступила посылка. Даже смутно не помню, при каких обстоятельствах это произошло. И если бы не заботившийся обо мне инженер, ее, вероятно, украли бы — и я даже никогда про нее не узнал. Это он

растормошил меня, заставил спустить ноги с топчана, сесть, потом положил на колени фанерный ящичек и втолковал, что содержимое его — мое. Меня снова спасал Юра Борман — именно он ухитрился одолеть все рогатки и прислать с надежным человеком «на первый случай», как значилось в записке, теплое белье, носки, мыло, немного сахара и сухарей. Был в ящике и мешочек с самосадом — Юра завел огород и выращивал свою махорку, составлявшую тогда наравне с хлебом самую ходовую обменную ценность.

Я растерялся перед свалившимся на меня богатством, с радостью, слезами — они тогда по всякому поводу непроизвольно появлялись на глазах, делился полученным с инженером, заставлял его брать, как он ни отказывался. Он же взялся за охрану и разумное расходование доставшегося мне клада. Мы стали мыть руки с мылом, пить сладкий чай с размоченными сухарями; мой друг приносил из столярки котелки с вареным картофелем или кашей, выменянными у каптера на махорку.

Уже через несколько дней инженер стал уверять, что чувствует себя чуть крепче, и внушал мне, что и я должен взбодриться, стряхнуть с себя безразличие, двигаться... А я не мог: одолели одышка, отеки, почти не спадавшие после лежания. Даже были немного в тягость дружеские его попытки растормошить меня, вывести на улицу, пройтись, сходить в баню. Я нехотя им подчинялся; всего более устраивало меня сутками лежать навзничь на набитом стружкой тюфяке, не шевелясь, в полусне. Окружающее воспринималось равнодушно и терпеливо. Лишь бы не беспокоили, не нарушали мою летаргию...

...— Не узнаете? Да что это с вами сделали? Почему вы здесь? Вас не лечат?

Вглядываюсь в близко склонившееся надо мной лицо, улавливаю в голосе слышанные прежде интонации, но продолжаю молчать. На меня уставился стоящий позади главврач стационара — лохматый, грузный, насупленный,— и я предпочитаю не отвечать.

— Я доктор Ефремов, помните? Срок окончил, остался по вольному найму. Теперь я начальник санотдела лагеря. Ни за что бы не узнал, но прочел вашу фамилию в списках. Кто вас сюда загнал?.. Ну, ну, ладно, не отвечайте, я сам во всем разберусь. Не бойтесь никого. Сегодня же я вас отправлю на центральный лагпункт, а там и назначу на комиссию — спишем вас по акту: через месяц дома будете!

Я сдерживаюсь изо всех сил, и все-таки по лицу текут слезы. Хотя я почти не вникал в суть обращенных ко мне слов и тем более не мог в них поверить, задел сочувственный тон, вспомнилось, как мы с Ефремовым провели с неделю на одних нарах в Кеми, пока сортировали нас перед отправкой. Я тогда сидел уже второй срок и делился лагерным своим опытом с новичком. Его, еще свеженького, только начинавшего восьмилетний срок и на редкость не осведомленного о волчьих нравах лагеря, тогда увезли на Медвежью Гору.

Ефремов сдержал слово. В тот же день меня выкликнули на этап. В кузов машины затаскивали как нескладный груз. Набили нас в него плотно и усадили на голые доски. И если я выдержал тряскую езду и меня живым внесли в больничную палату, значит, и в самом деле возносились где-то горячие и искренние молитвы за меня и Провидение их услышало — ему угодно было сохранить мои дни.

Спустя несколько дней меня осматривала комиссия из трех врачей и одного лагерного чина, очевидно, следившего за врачами. Меня и свидетельствовать не стали. Едва я предстал перед ними, дружно замахали руками: «Идите, идите, одевайтесь!» Лишь один из докторов почему-то поинтересовался взглянуть на меня со спины, очевидно, чтобы удостовериться, что сидеть мне действительно было не на чем! Сам я, разумеется, отлично об этом знал, так как сидел на костях. Впрочем, не было не только ягодиц, но и икр, ляжек, живота, мышц на руках: оставались одни «мослы», как у дряхлой клячи. Живые мощи — обтянутый кожей скелет да череп с ввалившимися глазами. Про таких доходяг в лагере говорили «ворона пролетит» — имея в виду промежуток между ляжками при плотно сдвинутых коленях. Иногда я, впрочем, сильно отекал, и это была какая-то ватная, водянистая полнота.

Определив у меня пеллагру, скорбут, ББО — «большой безбелковый отек» и крайнюю степень истощения, комиссия заключила, что «дальнейшее пребывание в лагере угрожает жизни», и постановила досрочно выпустить из заключения по статье четыреста пятьдесят восьмой. Ее ввели в кодекс, чтобы помочь лагерям избавляться от лишних ртов — неработоспособной калечи.

Их скапливалось так много, этих беспомощных, износившихся на работе заключенных, стариков с переставшими гнуться суставами, скрюченными пальцами, с пудовыми грыжами, тронувшихся умом, оглохших и ослепших, что надо было их куда-то сбывать — освобождать скрипучий рабочий

организм ГУЛАГа от этого балласта. Поступить, как на далекой Колыме, где ослабевших и больных бросали на глухих приисках, предоставляя морозу с ними покончить, в прочих — менее удаленных и недоступных — лагерях было сочтено, вероятно, неполитичным из-за нежелательной огласки. Вот и стали пачками выпроваживать за зону. Пусть сами отыскивают себе нору, куда заползти, как почуявшие близкую смерть старые собаки, и где дождаться Великой Избавительницы... Я видел, как выпускали за зону этих гулаговских ветеранов труда.

* * *

Их стали собирать сразу после утреннего развода. Бойкий табельщик из УРЧ ходил со списком по баракам и выколупывал оттуда дедов, как вытаскивают колоду или грузный камень из засосавшей их болотистой почвы. Все они вросли, словно пустили корни, в свои клопиные логова, угнездились в них, чтобы уже до смерти не расставаться. Эти деды, раз водворившись в своем уголке на нарах, уже далеко не отлучались, обрастали тряпьем и томились одной заботой — как бы их отсюда больше не стронули.

Однако — стряслось. На лагпункт приехала комиссия, уполномоченная освобождать из лагеря самых престарелых, самых огрузших, самых разрушившихся. С разбором, понятно. Однако деды — древние российские мужички, над чьей горькой долей сокрушались прогрессивно мыслящие россияне в XIX веке и объявленные врагами народа в нынешнем — не подпадали под эти ограничения: для строя считалось безопасным выпустить их за зону.

Дежурный указал первому приведенному деду, где дожидаться — у лавочки возле вахты,— и к нему стали лепиться остальные, по мере того, как их доставлял разгоряченный табельщик, подгонявший своих подопечных хлесткими прибаутками вперемежку с матюгами.

Сняв с плеча перевязанные мешки, деды оглядывались, потом, постояв немного, нерешительно присаживались, приваливаясь спиной к лавке, на корточки, не то располагались прямо на земле. Она после снега пообсохла, но еще не прогрелась — шла от нее зимняя стылость. День был, впрочем, теплый, с затянутым легкой пеленой небом.

Мы проходили мимо и оглядывали дедов с удивлением, хотя и знали, что накануне их актировали и теперь отправят за зону. Но откуда их столько наползло? В каких щелях они

прятались, раз так редко попадали на глаза на пятачке лагпункта?

Решительно все деды — высокие и приземистые, худые и грузные, сивые и пестрые, с жиденькой куделью бородки и заросшие до глаз,— все они выглядели скроенными на один лад. Так казалось потому, что двигались они все одинаково натужно и с опаской, сидели сутулясь, с обвисшими плечами, что лица у всех были темными, с кожей, задубевшей от грязи, опаленной стужей и у костров. И особенно из-за выражения глаз, смотревших с неприкрытой тревогой, пожалуй, даже ребячьей.

И само собой — из-за одежды. Большинство дедов в вытертых донельзя нагольных полушубках с рваными полами, употребленными на рукавицы и стельки, в казенных летних кепках с наушниками из клоков овчины, пришитыми грубыми стежками, в расползшихся стеганых чулках, заменявших валенки, в ботах из автомобильных покрышек, с тряпьем вокруг шеи, с тряпьем на ногах, во всем латаном, заношенном, залоснившемся от грязи и пота. Были деды как тумбы: поверх остатков шубы напялен бушлат, надето по двое шаровар. На себе все, что удалось накопить, чтобы оборониться от самого лютого врага лагерников — стужи.

Этих обряженных, как огородное чучело, дедов, торчащих у вахты среди сваленных мешков, перевязанных бечевками и тесемками сумок и торб, легко принять издали за тюки утиля. Да и сблизи не вдруг распознаешь лицо. Оказывается, здесь не сплошь деревенские деды. Чуть в стороне стоит, прислонившись к стене, Романыч, бессменный счетовод вещстола. Его знает весь лагпункт. У него отекшее бескровное лицо, щетинистый подбородок и вислые пожелтевшие усы. Стекла пенсне в трещинках. Он сгорбился и не расстается с палкой: какая-то чудовищная, двойная грыжа мешает ему ходить. Все привыкли видеть, как он, кряхтя и расставляя ноги, ковыляет по утрам из барака в хозчасть. На нем особенно засаленная, особенно изношенная лагерная сряда — это удружил кладовщик: пусть помнит интеллигент с...й своей дерьмовой честностью, за кем последнее слово. Косясь на вахту, прошмыгиваю к Романычу:

— Что, Сергей Романович, и вас отправляют? Можно поздравить?

— Не знаю, поздравлять ли. Еду, сам не зная на что. Никого близких не осталось. Выбрал наугад: Алма-Ату. Все же юг, а там яблоки, ведь это по-старому Верный. Знаменитый вернинский апорт! Да и вузы там...

— Преподавать-то вам все равно не дадут.

— Буду частным образом репетировать: я не только математике, могу еще и немецкому обучать.

У Сергея Романовича — бывшего преподавателя столичного вуза — даже узелка с собой нету: нести все равно не может — при ходьбе заняты обе руки. Ах, как остарел он, да и один как перст на свете. И его все страшит — дальняя дорога, город, где нет души знакомой...

— Поди, равняйся с ним, с прохфессором,— простуженно сипит сидящий подле дед. Шея туго обмотана тряпьем, и он с трудом поворачивает голову. Дед беззуб, поэтому шепелявит и шамкает, слов почти нельзя разобрать. Он не очень ветх, но на левой отмороженной руке недостает четырех пальцев.— Грамотей, и тут был при должности. А мне вот куда деваться? Хоть сейчас ляжь да помирай. К кому поеду, кто меня ждет? Пайку где дадут, в баню сводят?

В обед у вахты поднесли ящик с хлебом и в мешках — сухой приварок: побелевших от соли твердых щук. На длинной фанере — рассыпанный на кучки влажный сахарный песок. Дедов начали вызывать по фамилии. Они стали суетливо развязывать — негнущимися пальцами, а кто зубами — мешки и сумки, доставать кисеты, столь же заношенные, как и все остальное, запихивать и ссыпать туда полученные продукты. Они молчали, но были, видимо, взволнованы. Остерегались, как бы не обронить довесок, не просыпать сахар, и наверняка хотели, но не смели пожаловаться на каптеров, так бессовестно вполовинившихся в их пайки.

Потом принесли дедам в ушатах кипяток, и они пили его из жестяных банок и кружек, помятых и ржавых. Под конец длинного дня явилось начальство. Дедов стали выкликать по одному, тщательно опрашивали, вручали каждому литер на проезд «до избранного места жительства», справку об освобождении и сколько-то денег — суточные на проезд. Все это они, как и хлеб с соленой рыбой, завертывали в тряпки, перевязывали и убирали понадежнее. Потом стали вызывать их снова и по одному выпускать за зону. Деды подхватывали свою ношу и, волоча ноги и запинаясь, ковыляли мимо толпившегося у вахты начальства и вахтеров.

— А ну, дед, шагай веселее, держись козырем: небось к старухе едешь, то-то радости будет!

Странный пронесся на следующее утро по лагпункту слух: говорили, будто бы неподалеку от вахты, за зоной, на обочине дороги заночевали — и стоят там до сих пор табором — вчерашние деды. Не все, но более половины, человек

сорок. К ним не раз подходил дежурный с вахты, утром побывал сам начальник лагпункта, а они твердят одно: «Некуда нам ехать, деревни наши давно разорены, семьи повымерли, берите обратно в зону. Попривыкли в ей — тут и отмаемся. Нигде нам, кроме как тут, не светит. Не отказываемся, станем снова корзины плесть, веники вязать. Словом, что прикажете, то и станем делать...»

Что это? Свет наизнанку? Люди отказываются покидать лагерь, просятся в зону! Клопов кормить, перед всяким вертухаем тянуться... Мы ходили смутные и озабоченные. Да что же это за жизнь настала, коли гиблый лагерь милее той самой расхваленной счастливой жизни, дарованной рабочим и крестьянам?

В чердачное оконце третьего барака через палисады было видно дедов, и мы, прячась от «попок», стали туда пробираться. К дороге, уходившей на станцию, примыкал клин озимой ржи. На яркой зелени темнели унылые фигуры упраздненных пахарей. Деды держались кучкой, только два-три человека дыбились у самой кромки поля, за придорожной канавой, похожие на нескладные пни-раскоряки. Кто-то лежал ничком на молоденькой травке, другие сидели неподвижно на своем барахле, иной еле-еле отбредал в сторонку, к кустикам. Словно кто выбросил горсть серых и тусклых, сонных жуков на ярко блестевшие против солнца зеленя... Так прошел, без всяких перемен, долгий весенний день.

На следующее утро, задолго до подъема, мы слазили на чердак. Деды были по-прежнему на месте, слегка скрытые тающим утренним туманом. Почти все лежали, укрытые с головой, на своих мешках. Лишь немногие сидели, грузно осев и понурив голову: не то дремали, не то выглядывали что-то на дороге.

В зоне гадали, перешептывались — как будет поступлено с ослушниками-дедами? Им велели ехать, а они вот уперлись — «не хотим»! И это всем скопом! Ведь это же бунт, почти восстание... Однако местное начальство ничего не предпринимало, дожидаясь указаний.

В середине дня дежурный по лагпункту послал двух рабочих с кухни снести дедам полкотла баланды. Его потом пробирал на вахте начальник: «Они с довольствия сняты или нет? Я спрашиваю, они на списочном составе или нет?»

Солнечному дню на лагпункте втихомолку радовались. Но к вечеру натянула хмарь и должен был неминуемо пойти дождь.

— Хлеб у дедов в мешках раскиснет — пропадут...

Ночью их куда-то увезли на грузовиках. От стоянки следов не осталось. Да и откуда им быть: ничего такого лишнего — ни бумаги, ни банок — у дедов не водилось. Да и не такой они народ, чтобы что выбрасывать, не любят, когда что зазря валяется... Ведь они и в лагере не то чтобы что бросить, а всякий лоскут, веревочку подберут — и к себе, под тюфяк или в изголовье. Скопидомы они...

Впрочем, что-то у самой канавы чернело, но и самые зоркие не могли за далью разглядеть, что именно: кто говорил — развалившаяся калоша, кто — клок овчины или шапка. Грузили ночью, в спешке, тут и самый бережливый дед мог оплошать, обронить что, пока в кузов втаскивали...

* * *

Вот, видимо, и меня теперь сочли не более опасным для строя, чем ветхих деревенских дедов и калеку-математика, потому что следственный отдел лагеря заключение медицинской комиссии утвердил и постановил выдать мне документы на освобождение, на вольное проживание — поезжай, куда вздумается! Кроме, разумеется, столиц, портовых и режимных городов, областных центров, пограничных и прочих специальных зон.

Меня оставили в больнице подлечить, причем Ефремов едва ли не ежедневно навещал, следил, чтобы выполнялись все назначения. Я находился в двойственном положении: как бы и вольный, которому дозволено выходить на зону, но лежал в больнице для зэков, правда, с обедами, витаминами и лекарствами, предназначенными вольняшкам.

И силы восстанавливались. Начали уменьшаться отеки, стали надежнее служить ноги, укрепились в деснах зубы. Меня навещали Юра, Веревкин, мы подолгу разговаривали, я уже читал книги, писал письма. Ждал с нетерпением, когда окрепну настолько, чтобы сходить к Любе, и слал ей записку за запиской. Словно спала пелена, окутывавшая сознание, прекратилась путаница бессвязных мыслей.

Но Ефремов предостерегал: до подлинной поправки ох как далеко! И, говорил он, без юга не поправиться — надо на два-три года расстаться с зимами. Я вспомнил ветеринарного врача из Закавказья, его рассказы о горах фруктов и орехов. Ожили в памяти и мусаватисты — их дружелюбие и приветливость. И, получая справку об освобождении и литер на проезд, указал «Кировабад, Азербайджан». Этот выбор представлял и другую выгоду: на каждый день пути выдавалось по

шестьсот граммов хлеба, а туда ехать чуть не две недели... Я должен был сделаться Крезом.

В этой записке — последней — Люба писала:

«Уж лучше пусть о постигшем тебя горе ты узнаешь от меня. Да помогут тебе моя любовь и сочувствие с ним справиться. Олег, милый, бедный мой Олег, крепись: у тебя нет больше брата. Всеволод уже скоро два года как погиб на Волховском фронте...»

И были еще слова любви и преданности, и ощущалось, как больно ей за меня. Но что могло заполнить вдруг образовавшуюся пустоту?..

Я не сразу дочитал длинное письмо. А в последних строках там стояло: «Не одно у тебя горе, узнай все сразу. Прошлой весной в Москве скончалась твоя мать — тихо, во сне. Легла с вечера и не проснулась. Ей было семьдесят пять лет, и она многих потеряла, за тебя одного более пятнадцати лет болело сердце. Смерть соединила ее с ушедшими. А за тебя и остальных своих детей она будет молиться оттуда. Помоги тебе Бог. Твоя Люба». И еще стояла приписка: «Я немного простудилась». И уже вслед за нею, совсем с краю: «Хочу, чтобы ты помнил, знал, пока я жива, ты неодинок».

Сгоряча я не ощутил невозвратимость и горечь утрат в полной мере. Слишком притуплены были тогда мои способности, слишком я был поглощен возвращением к жизни, возникающими надеждами на будущее, насущными заботами о лечении, самочувствии, режиме. Минуты отчаяния, приходившего от сознания, что нет больше Всеволода, любимого брата, были впереди... Как сообщили из части его жене, брата вынесли из боя с простреленной грудью.

С остальными членами семьи, даже с матерью, у меня никогда не было близких, сердечных отношений. В детстве я считался упрямцем, замкнутым и неласковым, а повзрослев, уехал. Жизнь в разных городах еще ослабила и без того не слишком тесные узы, а длительное заключение почти вовсе их пресекло. Известие о гибели Всеволода заслонило боль от утраты матери.

«Я немного простудилась»,— упоминала Люба. Это тревожило: с ее сердцем так опасно всякое заболевание. И наполнило, придавило сосущее, тяжелое предчувствие. Пришибленный всеми этими известиями, я не находил себе места. Все ждал Юру, надеясь, что уговорю его проводить меня к Любе.

Но вместо Юры пришел Кирилл Александрович. Я впервые увидел у этого сдержанного и замкнутого человека на

глазах слезы. Он говорил не своим голосом. У Любы воспаление легкого, сильнейший жар. Она с ночи бредит, никого не узнает, зовет мать...

Как же мы спешили! И когда наконец-то одолели дорогу до инвалидного лагпункта — я еле шел, вынужден был останавливаться, Веревкин со мной измучился,— вахтер на проходной не стал нас пускать за поздним временем. Но согласился вызвать санитарку или сестру. Пришла пожилая мастерица, та самая рыхлая, с одышкой, что принимала Любу, когда мы ее сюда проводили. Она откровенно плакала.

Несколько часов назад, не приходя в сознание, Люба скончалась.

— Уже в морге. Завтра нашу голубушку похоронят. Тут без гроба — яму выроют и положат... Отмучилась милая, Господи милостивый, такую молодую прибрал!

Мастерица передала мне крохотный сверток: связку писем, несколько фотографий, салфетку с незаконченной вышивкой. И тихо мне:

— Поминала вас... ждала. Жалела, как надеялась, что поправитесь, придете...

Люба, Любочка... На следующий день я не мог подняться. Кирилл Александрович один пошел на лагпункт. И мне показалось невозможным не проститься с Любой, не взглянуть на милое ее лицо. Но сил хватило только на то, чтобы спустить ноги с койки.

Оказалось, что Люба была еще в морге — не пришли рабочие вырыть могилу. Веревкин вернулся к себе, запасся махоркой и хлебом и снова туда отправился, чтобы самому устроить похороны. Заказал гроб и небольшой крест.

Спустя две недели, уже перед самым отъездом, я на поросшей редкими сосенками вырубке, обращенной в кладбище, без труда нашел по кресту бугорок земли, под которым лежала Люба. На кресте надпись славянской вязью: «Любовь Юрьевна Новосильцова, 1912—1944».

Сколько простоит этот крест? Впрочем, это не имело значения: сюда все равно никогда не придет навестить родной прах близкий человек. Завтра уеду я, не останется здесь и Веревкин. Подгнивший крест со стертой надписью станет не нужной никому памятью о неизвестном человеке...

Не пришлось тебе, болярыня, покоиться в усыпальнице с пышным новосильцовским гербом и мраморным надгробием, на принадлежащем тебе по праву месте, рядом с прадедами твоими и прабабками... Как ласково встретили бы они свою замученную внучку...

* * *

...В серенький весенний день — это было в конце апреля — я шел на станцию. Уже не в кирзовых пудовых котах, а в галошах Юры. Они пришлись впору по шерстяным носкам, также подаренным им. Мы решили, что так я выгляжу пристойнее, да и ходить легче — ноги продолжали отекать. Нашлись у Юры и летние брюки, гимнастерка — все очень короткое, но выстиранное и заштопанное. Не расстался я только со своей задубевшей от тяжкой службы телогрейкой: предполагалось, что в Москве тепло и я оставлю ее в вагоне.

На спине горбилась порядочная торба с хлебом. С ним очень повезло. В те поры в лагере выпекали хлеб из американской крупчатки — своей ржаной муки не было,— и мне выдали три пышные буханки белейшего хлеба, какого я очень давно не видел.

Велико было искушение наесться до отвала, но много сильнее — предостерегающий голос: теплый мягкий хлеб способен убить, внушали врачи, образно объясняя нам, как при длительном голодании организм начинает сам себя поедать и всякие оболочки и кишочки становятся тонки и непрочны, как папиросная бумага! Бог с ним, со свежим — пусть зачерствеет. И сухим съем его до последней корки.

Всего полчаса назад я видел в зоне, как двое из получавших вместе со мной хлеб в каптерке кандидатов на «волю» стали, едва буханки оказались у них в руках, тут же отрывать грязными пальцами куски и с невероятным проворством запихивать в рот. Потесненные толпящимися у раздаточного окошка, они ступили несколько шагов в сторону и присели на бревно, ни на мгновение не переставая жевать и проглатывать хлеб.

— Вы что, ошалели? — крикнул следивший за ними одним глазом каптер.— Обожретесь и до станции не дойдете. На месте загнетесь — заворотит кишки.

Они словно не слышали: слепо взглянули в его сторону и продолжали жадно и торопливо совать и совать в рот теплый мякиш с похрустывающими корками. Совали с остановившимися, невидящими глазами: они словно были обращены внутрь, напряженно караулили, когда отступит неутолимая несытость, разойдется по всему телу благодатная удовлетворенность, заглохнет сосущее ощущение голода. На них было жутко смотреть, но и отвернуться невозможно. Эти два безудержно наедающихся бедняка завораживали, вызывали острое желание последовать их примеру. Мне захоте-

лось тут же развязать свой мешок, выхватить оттуда буханку, и я уже почти ощущал, как начну уминать и жевать пахучую сытную массу.

Вдруг один из них выпустил из рук хлеб, со стоном схватился за живот, скрючился и стал сползать с бревна на землю. Я поспешил отвернуться и поплелся на станцию, весь взмокший от переживаний.

И думал по дороге, что вот возвращаюсь снова в мир уже позабытый, но наверняка ощетинившийся опасностям зыбкий и обманчивый. Возвращаюсь ослабевшим и безоружным: если позади трясина, едва не поглотившая, то впереди — джунгли. Устраивание жизни под подозрительным враждебным оком власти, в обстановке предательства и зависти.

Как лагерное напутствие — последняя ночная сцена В темноте на меня набросился дюжий санитар, чтобы отобрать висевший у меня на груди порядочный кисет с махоркой. Подаривший мне ее практичный Юра полагал, что за длинную дорогу он пригодится: за цигарку не только кипятку принесут, но и место посидеть уступят. И я, как ни был слаб, стал стойко обороняться, мертво уцепился за свою сумочку. Схватка затянулась, стали просыпаться соседи, зажгли свет, и насильнику пришлось убраться несолоно хлебавши. И на прощание мне все-таки пришлось услышать: «У, дохляк, морда интеллигентская!» На шее и на груди остались ссадины и подтеки.

На станции, кишевшей освобождающимися лагерниками, я неотступно караулил свое сокровище. И в первую ночь в вагоне его у меня украли.

Глава девятая

И ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕТРЫ НА КРУГИ СВОЯ

Путь мой пролег поперек всей России — от Печорской тайги до предгорий Арáрата — России 1944 года, втянутой в четвертый страшный год войны, притерпевшейся к лишениям, придавленной двойным гнетом войны и произвола, нашедшего дополнительное оправдание в необходимости военного времени.

Словно весь народ взялся переезжать с места на место. Битком набитые вагоны опаздывающих, простаивающих на запасных путях поездов; кишащие проезжим людом станции и вокзалы; семьи, спящие вповалку на узлах и мешках в загаженных нетопленных залах с полами, устланными измученным народом. Ступают, пробираются к дверям и в чудовищно грязные сортиры, балансируя и не всегда находя место, куда поставить ногу между телами. Крики, ругань... Отпущенные на побывки и возвращающиеся в часть солдаты; пробирающиеся из голодной эвакуации в свои разоренные деревни жители; бабушки, отправившиеся на розыски сирот-внуков; подростки, заблудившиеся во всеобщем переселении; покинутые старики и, конечно же, пропасть безруких и безногих, «костыльников», как называют инвалидов милиционеры... Нужда, беды, горе...

Вкраплениями — плотные, справно одетые, самоуверенно прокладывающие себе дорогу в толкучке люди с прочно увязанными тяжелыми чемоданами и твердыми лицами. Скудость и нехватки расплодили многочисленное племя знающих, где, что и у кого достать и куда переправить, чтобы нажиться. Всюду комендатуры, охрана, патрули: развернуты внушительные военные силы против своих мирных граждан. А для таких, как я, эшелонами отправляемых на высылку и рассасывающихся о дороге лагерников,— летучие отряды оперативников.

Они то и дело прочесывают вагоны, проверяя документы. Их не обескураживает никакая толчея в проходах: все равно протиснутся, не пропустят никого, наметанным глазом сразу обнаруживают подозрительное.

Среди нас большинство уголовников. Их — «социально близких» — легко отпускают из лагеря: для них — зачеты рабочих дней, какие-то амнистии. Они голодны и дерзки: то в одном, то в другом конце вагона раздаются вопли обокраденных. Оперативники выслушивают жалобы и проходят дальше.

Как я упоминал, в первую же ночь обокрали и меня: выхватили из-под головы торбу с хлебом. Я спал на узкой боковой полке для багажа. Пока слезал, расталкивал: «Пропустите, хлеб украли!» — вора и след простыл. Стал было заявлять проходившему по вагону оперативнику... В отчаянии снова улегся на своей полке: нет на свете ни правды, ни милости...

Но случилось невероятное. Под утро — поезд стоял на станции — меня вызвали в комендатуру. Я сразу увидел на столе свой мешок. В сторонке стоял паренек в бушлате - вор, безошибочно определил я. Человек за столом предложил перечислить содержимое мешка. Пока я называл хлеб, рыбу, теплые носки, кружку с ложкой, он шарил в нем рукой, удостоверяясь в их наличии. Потом пододвинул его ко мне:

— Забирай и уходи. Повезло — все цело, не успели растащить, попались на другой краже. А ты, парень, отгулял на воле...

Так пришлось и мне — впервые — воздать хвалу оперативной службе и ее расторопности!

А потом я медленно и робко шел в толпе, запрудившей платформу московского вокзала. У выхода стояло несколько человек в штатском. Они пронзительно зорко оглядывали пассажиров, словно просвечивали. На миг остановили взгляд и на мне. Мелькнуло — сейчас задержат! — и я чуть ли не сделал шаг в их сторону. Но острый взгляд скользнул — и мимо. А вот шедшего рядом мужчину в пальто поманили, стали о чем-то спрашивать. Он полез в карман за документом...

На вокзальной площади гремели трамваи, бежали грузовые машины и «эмки»: за годы, что меня не было, Москва пересела с лошади на автомобиль. Красные огоньки убегавших машин образовали вдалеке, на подъеме к Красным воротам, хоровод мелькавших в темноте точек, и мне чудилось, что то загораются и гаснут в потемках глаза таинственных инфернальных существ, подозрительно и враждебно присматривающихся к пришельцу. Они как бы свидетельствовали при-

шествие новой эпохи, покончившей с вековым укладом жизни, еще не полностью подчиненным власти машинных ритмов и скоростей. И я почувствовал, как много утекло воды, как я отстал от совершившихся перемен.

Задерживаться в Москве было рискованно из-за вошедших в обиход проверок жильцов. Пустивший к себе ночевать гостя был обязан тотчас известить жилищное управление, представить его документы, получить разрешение. Нарушение этого порядка грозило немалыми неприятностями и даже карами. Было тем более неполитично обращаться с объявлениями о своих связях со вчерашним лагерником. И родственники продержали меня в городе всего два дня, да и то с тем, чтобы я ночевал в разных местах, не показывался, пока светло, на лестницах и не попадался на глаза соседям... За свиданием чудились осложнения. Меня очень деятельно и поспешно снаряжали в дальнейший путь. Как ни бедны все были, как ни обносились, отыскивали одежду и белье, нашлись даже парусиновые туфли — на юге они должны были пригодиться.

Так пустился я в далекий путь. Но не по Курской железной дороге, а через волжские города. Ехали бесконечно долго и того дольше повсюду стояли или едва ползли по только что восстановленным путям.

Ехали по опаленным войной полям с торчащими надолбами, изрытым траншеями, мимо разоренных станций и деревень. Особой жутью повеяло от развалин прежнего Царицына, многоверстных кладбищ сбитых самолетов, сгоревших танков, гор покореженного металла, на котором чудилась кровь. Выглядело, словно жизнь никогда не возродится после такого разорения; уродливые развалины с просвечивающими глазницами пустых окон должны навеки отпугнуть ее отсюда. Любой бугорок земли казался могилой.

Вагоны медленно катились длинные километры; слева от дороги блестели широкие и пустынные излучины Волги, мощно и невозмутимо стремившей свои воды к далекому морю. Она так же изливала их, когда утвердилось на ее берегах, а потом пало Хазарское царство, шумели таборы кочевников, основалась Золотая Орда; когда простерлась сюда длань Москвы и мирно и мерно протаптывали бечевники-бурлаки с их будившей совесть россиян песней-стоном. Справа расстилалась мертвая степь — без единого клока зелени,— высились покинутые дома с пустыми проемами окон и дверей, корчились железные переплеты взорванных мостов и почерневшие остовы сгоревших заводов.

Я вглядываюсь в измученное, нездоровое лицо солдата, сидящего на лавке против меня. У него охрипший, тусклый голос. Не нужно вслушиваться в его слова, чтобы заключить: он прошел через величайшие муки и перед глазами у него все еще стоит смерть. И таких — миллионы. И таких, как я, лишенных возможности защищать родную землю — миллионы. Нас заперли в лагерях, завезли в тайгу, и мы пережили войну за сотни и тысячи километров от фронтов. Даже медали «За доблестный труд во время войны» не оставим мы своим детям и внукам на память, мы, лишенные права отстаивать Отечество с оружием в руках. И отсюда — неприятие отождествления победы народа с торжеством ленинских заветов, осуществленных Сталиным. Победа — торжество народа, вдохновленного любовью к родной земле, а не управляющего им режима.

Не виноваты русские солдаты в том, что участвовали в подавлении венгерского восстания 1848 года, штурмовали стены туркестанских крепостей, покоряли Кавказ, что были завоевателями и насильниками — мир праху павших в бесславных делах русских царей! Однако в народной памяти не сохранились имена героев взятия Будапешта, не увенчаны лаврами сподвижники генерал-адъютанта Кауфмана...

Исторические параллели помогают разобраться в первопричинах противоречивых чувств, испытываемых перед полем Сталинградской битвы или измученным лицом ветерана. Сердце русского человека обливается кровью при виде их, но радость избавления от чужеземного нашествия омрачена торжеством своих насильников. Великие победы над фашистами сокрушили одного гада, но позволили воспрянуть другому, укрепить победой свою диктатуру, учуять в перемене военного счастья возможность безнаказанно продолжать угнетать и подавлять... Что за мучительная, чудовищная дилемма! Защита Отечества от внешнего врага увековечивает власть, разрушившую его историческую основу...

...Пока ехали по Кубани, по Ставрополью, нас не покидали следы войны, картины пожарищ и разорения. И только когда добрались до Каспия и повернули к югу, они остались позади. Изменился и состав пассажиров. В вагоне все чаще слышался нерусский говор, места занимали кавказцы в папахах и ноговицах, подпоясанные наборными ремешками, однако без традиционного кинжала, отнятого революцией. Вполне мирный народ, едущий с женами в глухих платках и длинных, до земли, сборчатых юбках, как у цыганок, и все — с ковровыми вьючными сумами, из которых достают лаваш

с пахучим сыром и молча сосредоточенно едят. Но теперь и у меня не пустой стол. На больших станциях я иду к крану за кипятком, завариваю им щепоть чая в эмалированной кружке, потом, выложив из сумки разную снедь, не торопясь чаевничаю за столиком, накрытым чистым и выглаженным полотенцем. Мне все еще так внове этот опрятный обиход с чистыми салфетками и посудой, а главное, с отступившим жадным стремлением как можно скорее съесть все доступное, что чаепитие обращается в милый сердцу обряд.

На последних перегонах перед Кировабадом все сильнее гложет беспокойство — не безумие ли ехать в чужой, иноплеменный город, без единой знакомой души? Что-то не торопились меня приветствовать ореховые рощи, не манили к себе обремененные плодами сады! Всюду было голо, даже пустынно, по долинам едва зеленела трава, и безлюдными выглядели крохотные пристанционные рынки. Меня не всегда понимали, когда я заговаривал по-русски. Край не только далекий, но и иноязычный.

Конечно же, это добрый мой гений подсказал мне отправиться первым делом в институт. Оставив багаж на вокзале, я пустился в длинное путешествие по городу в дребезжащем, переполненном трамвае, тотчас погрузившем меня в местные патриархальные нравы. Водитель сбавлял ход, чтобы дать пассажиру выйти в нужном ему месте и взять нового, издали машущего рукой; резко останавливался и начинал неистово звонить, чтобы понудить невозмутимого буйвола убраться с рельсов. Десятки людей давали мне совет, где лучше всего сойти, как ближе добраться до института, составлявшего, очевидно, городскую достопримечательность.

Вдоль тротуаров обсаженных платанами улиц текли в узеньких желобах потоки чистейшей горной воды из знаменитых «кыгрызов» — сооруженного еще в средние века гандкийскими ханами водопровода. Мостки через них были перекинуты не везде, и мне, еще с трудом волочившему ноги, запомнились эти рискованные переправы: приходилось, потоптавшись на месте и попримерившись, отчаянно отрывать ногу от земли и широко шагнуть... И как же я рад был радешенек, что обошлось без падения после этого аршинного прыжка через бездну.

Я стоял возле не чересчур импозантного подъезда института, с огорчением дочитывая вывеску, на которой значилось, что почтенное это заведение «имени Л. П. Берия». Сразу потускнели мои смутные надежды увидеть себя в этих стенах преподавателем языков: имя современного Малюты

над входом в институт как бы преграждало путь по недоразумению ускользнувшему из его застенков.

— Вы, вероятно, кого-нибудь здесь разыскиваете?

Обернувшись на голос, я увидел очень немолодую русскую даму в старомодном платье и крохотной соломенной черной шляпке, красноречиво напоминавшей о старом Петербурге. Пока я торопливо излагал свои сложные обстоятельства, стараясь дать как можно более выгодное представление о своих знаниях, незнакомка с участием слушала.

Ксения Дмитриевна Кленевская ведала кафедрой иностранных языков института, остро нуждавшейся в преподавателях. Она оказалась сестрой мичмана, чье имя высечено на памятнике «Стерегущему» на Каменноостровском проспекте...

Ксения Дмитриевна ввела меня в темноватый вестибюль и, предложив там подождать, отправилась к директору. Потом мы с ней вместе сидели в его кабинете. Прием директора поразил меня чрезвычайно: он не только говорил со мной доброжелательно, но очень твердо заявил, что с осени зачислит меня в штат института, и тут же вызванному начальнику отдела кадров поручил согласовать мой прием с НКВД.

— Никаких препятствий не будет, поверьте,— угадал он мое сомнение в возможности обремененному судимостями человеку сделаться вузовским профессором,— тут у нас не придают этому значения.

Летние месяцы он предложил мне поработать в библиотеке института по разбору иностранной литературы. И мое жалкое временное удостоверение было тут же передано на оформление.

Ксения Дмитриевна, когда мы вышли, рассказала немного о себе. Как я угадал, она была смолянка и принадлежала петербургской военной семье. В дни великого исхода русской интеллигенции из Петрограда, когда бежали куда кто мог от зловещих камер Шпалерной, повальных обысков и дирижируемых Зиновьевым массовых расстрелов, они с мужем укрылись в Закавказье. Ее супруг служил в министерстве юстиции. Оба давали уроки языков — тем и жили. В институт она была приглашена со дня его основания.

Библиотекарем оказалась молоденькая русская девушка, бывшая студентка Кленевской. Она указала на груды книг, ожидавших внесения в каталог и размещения по полкам — этим предстояло заняться мне. Поручив меня попечениям милой застенчивой Наташи, Ксения Дмитриевна ушла.

Моя новая принципалка первым делом осведомилась о

моем устройстве. Узнав, что у меня нет крыши над головой, как нет и основы основ — хлебной карточки, расстроилась.

— Как можно, конец рабочего дня, а завтра воскресенье... Я побегу. Ждите меня. Хотя нет... Лучше съездите за вещами, привезите прямо сюда — у меня идея. Один справитесь?

Пожитки мои, хоть и громоздкие, были не очень тяжелы. Ничего капитального в дерюжном мешке и допотопном портпледе не было: заполнявшие их белье и одежда, старые и изношенные, весили немного. Однако, доставив все это во временное мое пристанище, я выдохся окончательно и, пока не возвращалась Наташа, удерживался от искушения растянуться на полу, как случалось не раз на этапах и пересылках.

Она пришла едва ли не более нагруженной, чем я. Принесла подушку, одеяло, белье, какую-то посуду и горшочек супа, кукурузные лепешки, ветку сушеного винограда!

— Вот видите, как хорошо все устроилось. Комендант разрешил вам временно поселиться здесь. Соорудим постель на стульях, вон как их тут много. Карточку он вам достанет, а пока я вот немного принесла... После дороги...

Воскрешать ли эти ничтожные подробности, спустя десятилетия перечислять — что именно припасла для незнакомца, впервые увиденного, занятая и обремененная собственными заботами, нелегко живущая девушка? И почему мне с такой пронзительной четкостью вспоминаются стеганое лиловое одеяло в сшитом из кусков пододеяльнике, прокаленный на огне глиняный горшочек с луковым супом, вижу как сейчас баночку с засахаренным вареньем из айвы? Во всем этом было подлинное человеческое тепло, сочувствие, не забываемые не привыкшими к ним людьми. И, смутно представляя себе сейчас черты Наташи, я все слышу ее мягкий голос с вызывающими расположение и отклик интонациями, все помню ее серьезные глаза, в которых искреннее сочувствие. Она мне потом говорила, как поразили ее мои медленные, неуверенные движения и больной вид.

А вот Ксению Дмитриевну в первую очередь привлек покрой моей куртки — это была, кстати, английская куртка погибшего в тюрьме отца Любы Новосильцовой, отданная мне ее матерью: бывшая воспитанница Смольного института учуяла в ней нечто принадлежащее отвергнутому, но не забытому миру. Мое произношение убедило ее окончательно, что облачен в потертую, но все еще щеголеватую куртку человек, с которым у нее может быть общее.

В эту первую ночь я, как ни удобно лежал, не мог уснуть. Занесший хлебную карточку комендант — пожилой добро-

душный армянин, одним видом своим опровергающий жестокое представление об облаченных этим званием лицах, внимательно оглядел все, чем располагал я для ночлега, зацокал языком, покачал головой:

— Нэ годится? Что дэлать будэм?

И очень быстро нашел, как именно поступить. Через полчаса за библиотечным шкафом стояла раскладная кровать с матрацем, а на столе высилась увенчанная чайником керосинка. Комендант даже не забыл снабдить меня спичками.

Было очень тихо, даже глухо. Скреблись и шуршали по углам мыши, и телу было предельно покойно. Но слишком много набралось за день впечатлений, разрозненные мысли не давали уснуть. Зароились надежды. Вот она, зацепка для них: в вольно гуляющих по стране, заливших все вокруг волнах злобы, жестокости, себялюбия сохранились и добро, и отзывчивость. Меня попросту ошеломил переход от привычной грубой враждебности, от черствости к нуждам «чужого» — к такому вот сердечному приему, бескорыстной готовности помочь. На глаза нет-нет да набегали непрошеные слезы. Я поднимался, ходил по комнатам, стараясь взять себя в руки, успокоиться; потом всего вдруг пронизывало острое ощущение своей беспомощности, зависимости от других, одолевали горькие сожаления.

И еще эта куртка. Нить к Любе. Мучительное воспоминание о свидании с ее матерью не давало покоя. На семейном совете было решено скрыть от нее смерть дочери, дать пройти времени: опасались, что внезапное известие убьет ее. И мне пришлось ровным голосом и глядя тетке в глаза уверять ее, что Любу перевели на другую командировку, что ей там будет лучше, но пока не налажена связь для переписки, и Веревкин хлопочет, что мне хоть и не удалось с ней встретиться, но письмо от нее было... Глуховатая тетка переспрашивала, задумывалась, снова задавала вопросы. И я врал, боясь запутаться в своей лжи и выдать себя фальшивым тоном.

А потом жизнь вошла в предначертанную ей колею, и потекли дни. Очень скоро к занятиям в библиотеке прибавились частные уроки. Дважды в неделю я ходил в дом доцента института — азербайджанца, женатого на русской,— обучать английскому языку его супругу и дочь-школьницу. Глава дома с самого начала отнесся ко мне сдержанно, как бы подчеркивая намерение не выходить за рамки официальных отношений, в противоположность жене — молодой, очень яркой женщине с пышной фигурой, крупными голубыми глазами и роскошными белокурыми волосами героини нордических саг. Они с до-

черью стали баловать меня, к договоренной плате прибавлялись чаепития с угощениями и украдкой передаваемые кульки с овощами и ранними фруктами — доцент-ботаник ведал оранжереями института. Со временем я привык к радушному приему, освоился с ролью домашнего учителя, на которого отчасти косится хозяин дома, недовольный вниманием, оказываемым ему его семьей. Было очевидно, что супруга не очень считается с нахмуренным челом ревнивого мужа, как бы приглашая и меня не принимать всерьез его надутость.

Покинул я и библиотечный кров. Та же Наташа подыскала мне приют у уборщицы института, одинокой русской женщины с двумя детьми. Я сделался «угловым» жильцом в ее просторной неперегороженной комнате. Жилось этой Дусе с двумя болезненными, хилыми мальчиками бесконечно трудно, хотя ей и выдавали нищенское пособие за пропавшего без вести мужа. Она была вечно озабочена, затуркана, до ночи перестирывала груды белья, отдаваемого ей не слишком щедрыми клиентами.

По вечерам я готовился к предстоящей педагогической деятельности: штудировал программы различных курсов, читал руководства и пособия. И заранее со страхом представлял себе, как окажусь перед незнакомой аудиторией, десятками молодых людей, ожидающих, что на них сейчас просыплется — через мое посредство — манна знаний. Не только не было опыта, но и той необходимой самоуверенности, какая может всегда прийти на помощь: я заранее постыдно робел. Тем более что чувствовал себя еще слабым и неполноценным, что было стыдно появиться в профессорской и перед студентами в заплатанных штанах и невозможной, недопустимой обуви. Из-за отеков я был вынужден ходить в фетровых домашних полусапожках — очень уютных, чтобы сидеть в вольтеровских креслах у камелька, для чего они, несомненно, некогда предназначались (они нашлись в старом сундуке на чердаке). Пока на дворе было сухо, они отлично служили для походов в библиотеку и в город. Но как я буду выглядеть в таких зелено-коричневых, утративших форму растоптанных ладьях перед насмешливыми очами юнцов, готовых по косточкам разобрать своего преподавателя?

Повадился я — увы! — ходить на рынок, кишевший толпами людей, жаждущих что-то спустить, приобрести, перекупить, подцепить. Я нуждался лишь в одном — в покупателях, которые бы польстились на те тряпки и вещички, что я выносил туда, мучаясь необходимостью держать их перед собой

на виду, давать оглядывать и прощупывать, назначать цену, торговаться. Чувствовал я себя униженным не только из-за жалкого скарба, какой приходилось сбывать, а еще и потому, что расставался с тем, что с такими хлопотами и далеко не безболезненно было мне пожертвовано в Москве. Дали, чтобы я носил, мог регулярно менять белье, а я вот продаю и на вырученные деньги покупаю съестное — не обхожусь полагающимся мне пайком!

Но со мной происходило странное. То ли стал организм возрождаться и восстанавливаться, то ли по другим причинам, но я всегда остро хотел есть. По карточке скромного служащего полагалось четыреста граммов хлеба в день, давали соль и кусок стирального мыла. Не будучи ни преподавателем, ни студентом, я не был вхож в институтскую столовую, поэтому с приварком обстояло предельно скудно. На обесцененные деньги можно было купить на рынке так мало, что моей месячной зарплаты едва хватало на кирпичик хлеба и кулек картофеля. Я, разумеется, стеснялся откровенно «приналечь» на угощения Валькирии, чтобы не выдать своего волчьего голода. Да и семья была не слишком обеспечена, жила, с трудом сводя концы, прибегая к разным стратагемам, чтобы что-то достать, откуда-то привезти. Милые хозяйки подкладывали на тарелку, а я отказывался, уверяя, что сыт..

Испытываемый стыд — пусть ложный — при продаже своих шмоток трудно объяснить, но он сковывает тем более, чем сильнее нужда в выручке. Чрезвычайного усилия, даже насилия над собой потребовал почин, но положение рисовалось безвыходным: хлеб по карточке забран вперед, последние гроши от зарплаты истрачены и — никаких запасов, хоть шаром покати! Я уходил — будто бы по делам — из дома, чтобы не присутствовать при скудном обеде хозяйки.

И вот я шарю в своем мешке... Ага! Почти не траченная молью шапка, да еще бобровая. Тут юг, я вполне без нее обойдусь; вот еще свежий жилет от костюма; пара сносных башмаков, из-за отеков тесноватых... Выбор труден бесконечно, я колеблюсь, соображаю, перерешаю, наконец понимаю, что медлю, обманываю себя — страшно идти туда, в эту ощетинившуюся подвохами и унижением горластую толкучку. И вдруг срываюсь, почти в отчаянии выбегаю из дома, завернув в платок первую подвернувшуюся вещь.

Я никогда к этому не привык, хотя за почти лишними или мало нужными вещами наступил черед сорочек, белья, даже надежной английской бритвы. С выручкой я шел в ряды, где

продавался хлеб, крупа, кукуруза — на стаканы, и тут же покупал что удавалось. Там же торговали маслом, сыром, молоком, иными недоступными благами. Туда я и не совался.

Не сразу решился я заглянуть в чайхану — мне можно было бы в те поры приписать комплекс неполноценности,— но однажды все-таки переступил ее порог, сел за столик и заказал чай, подаваемый, как в старых русских трактирах, в двух чайниках. Это стоило недорого, и я попривык сюда заходить. Изредка, если удавалось сбыть что-нибудь поудачнее, добавлял к чаю сахар или конфету.

Мне нравилось подолгу тут сидеть, поглядывая на посетителей, прислушиваясь к незнакомому языку, смутно и лениво о чем-то мечтая. Выглядело, словно все тут друг друга знают, были клиенты, перед которыми трактирщик, едва они появлялись, ставил горшочек «пти» — местный наваристый бульон, тарелки с каймаком, медом и маслом. Как истые кавказцы, они расплачивались величественно, швыряя пачки еле пересчитанных денег и небрежным жестом пресекая попытку вернуть сдачу. Но по-настоящему свою широту и щедрость эти состоятельные посетители — как я узнал потом, мясники и другие торговцы с рынка — проявляли, когда в чайхану приходил певец, мужчина лет сорока с полным, выбритым до синевы лицом, в добротной, военного покроя одежде.

Певцу тотчас же освобождали столик в дальнем углу, ставили перед ним еду. С его появлением помещение быстро наполнялось. На певца как бы не обращали внимания, он не торопился начинать. Но вот наступала минута, когда, почти не меняя позы, облокотившись на стол и слегка подперев голову рукой, он начинал петь. Сначала низким глуховатым голосом, речитативом, с вибрирующими горловыми нотами. Постепенно они усиливались, чайную наполняли напряженные окрепшие звуки. Чем больше расходился певец, тем выше, пронзительнее и слитнее звенела гортанная нота, отдавалась в сердце невысказанная скорбь. Все сидели молча, затаив дыхание, взятые в плен. Мне, не понимающему ни слова, чудилась в песне отчаянная жалоба, трагический плач, тоска Востока... Вопль, исторгнутый из-за невозвратной потери. И я вдруг осознал, что песнь оплакивает моего Всеволода. С беспощадной ясностью представился ужас разлуки с ним навсегда, его ухода навечно. Как тисками сжали сердце сожаление, нежность к брату; вспомнились его заботы, и укором — моя невнимательность, случаи, когда, занятый своими переживаниями, бывал неотзывчив и черств, а он словно не замечал... Я в отчаянии закрыл лицо руками. Мир заполняли похожие

на рыдания звуки. Меня терзало раскаяние, тем более горькое, что я только и мог про себя повторять: «Брат мой, милый братец, что ж ты оставил меня одного? Как я без тебя, близнец мой родной?» Я насилу с собой справился; украдкой вытер лицо и не сразу решился оглянуться вокруг.

Песня внезапно оборвалась. Я осмотрелся. Кругом были расстроенные лица, взволнованные люди, опущенные головы. Потом все стали подходить к певцу, и на его столике быстро росла кучка денег. Как ни были они обесценены, я видел, что кладут купюры, составлявшие и тогда весомую сумму. И все же осмелился положить свою бумажку под отсутствующим взглядом певца.

И вот как бывает: все замечавший хозяин, до того достаточно неприязненно смотревший на чужака, от которого ни дохода, ни чаевых, заставлявший подолгу ждать, сделался внимательным. Вступал в разговор, расспрашивал, сразу приносил мои чайники. Он хорошо говорил по-русски — до революции держал буфет на одной из крупных станций Николаевской железной дороги — ныне Октябрьской. Тут он ведал пищеторговской точкой на закавказский манер, то есть был одновременно директором, официантом, кассиром и пайщиком заведения. Я запомнил его — со всегдашней сильно отросшей седой щетиной на подбородке, с добрым и очень темным отечным лицом постоянно пьющего человека.

Он рассказал, что приходивший в чайхану певец — один из известнейших ашугов Азербайджана, что он вернулся израненным с войны, орденов не носит, и что песня, так потрясшая меня,— переделанный им на свой лад старинный плач невесты над убитым джигитом. И был хозяин чайной первым человеком, с которым я в Кировабаде заговорил о своих встречах с мусаватистами — до того показался он мне заслуживающим доверия. Он знал несколько семей погибших в заключении, но, все взвесив, отсоветовал заводить с ними знакомство: это только разбередит старое горе. Да и небезопасно — трагедия мусаватистов оставила глубокие следы, и власти по-прежнему относятся очень ревниво ко всему, что может напомнить о расправе с ними.

Занятия начались поздно, в октябре: студенты были мобилизованы по колхозам. Я подзабыл, как именно сие произошло и как я впервые поднялся на высокую вузовскую кафедру, но сохранил воспоминание о чрезвычайной суете и загруженности — мне сгоряча поручили столько групп, что пришлось перетряхивать расписание, чтобы я мог физически поспевать на лекции: аудитории были разбросаны по всему го-

роду. Учил я двум языкам тюрков и армян, первокурсников и оканчивавших вуз, и, конечно, очень долго не узнавал в лицо своих студентов, не представлял себе, усваивают они хоть что-либо из моих объяснений, терялся, имея дело с пареньками из далеких горных аулов, не понимавшими русского языка. Как всякого неопытного преподавателя, меня угнетало сознание недостаточной подготовленности и пробелов в знаниях, и я до смерти боялся каверзных вопросов, какие бы могли меня оконфузить перед всем честным народом.

К концу семестра я справился с внутренней робостью, в аудиторию входил увереннее и даже научился наводить тишину и порядок на занятиях. Познакомился и кое с кем из своих коллег. Ксения Дмитриевна следила, чтобы я чувствовал себя полноправным в профессорской комнате, выхлопотала мне пропуск в столовую и дополнительную, полагающуюся ИТР, карточку. Положение мое существенно улучшилось: прибавилось наполовину хлеба, сахару; случалось отоварить талон с надписью «жиры».

Дел становилось все больше. К концу зимы — неверной, непривычной и тоскливой южной зимы — меня стали регулярно дважды в неделю возить в пригородный НИИ табаководства (или южных культур — запамятовал), где я обучал языкам научных сотрудников, сдававших кандидатские и докторские минимумы.

Но вот в жизнь ворвались оглушительные фанфары. У диктора Левитана не хватает октавы, чтобы объявлять победоносное продвижение фронта на запад, перечислять возвращенные, а потом и завоеванные города, освобожденные столицы, трофеи. Имя верховного главнокомандующего генералиссимуса Сталина произносится на истерическом пределе, скандируется так, как возглашали придворные дьяконы долголетие членам царствующего дома... Сделалось очевидным: разгром Гитлера неминуем, имя Сталина озолотят лучи славы полководца-победителя.

И мне заранее страшно. Несравненное счастье и милость Божия, что повергнут лютый враг России, близится конец войны, но уже можно предвидеть, что все силы режима будут брошены на подавление и рассеивание проявляющихся робко и осторожно — надежд многострадального народа на льготы, человеческую жизнь, послабление. То были месяцы зародившихся иллюзий. Предсказывали — на ухо и с оглядкой — всеобщую амнистию, роспуск лагерей; колхозникам мерещилось раскрепощение, конец грабительским поборам; оптимисты ожидали реформ, отдушин для торговли, производства, снаб-

жения; безумцы уповали на добровольный отказ власти от бессудных расправ, дутых процессов, произвола.

Победа, доставшаяся ценой неслыханных жертв, потоков крови и слез, должна была неминуемо вызвать подъем духа. Люди непременно захотят видеть и знать больше, чем дозволено, их потянет поездить по белу свету, показать свое, перенимать чужое, в пораженных апокалипсическим ужасом сердцах оживут заглушенные ростки веры, тяга к нравственному совершенствованию, поиски правды. Народ захочет жить сытнее, достойнее, лучше одеваться, вольнее говорить, шутить, критиковать, возмущаться, высвободиться из-под гнета полицейской цензуры и казарменных порядков.

Но в глазах власти всякое мечтательство предосудительно, таит в себе семена критики и недовольства, неверия в справедливость ее путей и потому должно пресекаться. Притом — в зародыше, пока эти смутные, почти инстинктивные сомнения не переросли в уверенность, что творится неладное, что людское счастье на земле устроится по-иному, необязательно путем затыкания ртов и устрашения.

За неполные четыре года, что длится война, множество народу побывало на запрещенном Западе, повидало, как живут люди, угнетаемые капитализмом; русские солдаты насмотрелись на немецкие и чешские деревни, на жителей «нищих» Балканских стран. Они не смеют рассказать о зажиточных «бауэрах», условиях жизни австрийских рабочих, о независимой прослойке ремесленников; не смеют заикнуться о невмешательстве буржуазных правительств в частную жизнь, отсутствии запретов на выезд, но победа неминуемо развяжет языки. И можно априори сказать, что Сталин со товарищи не упустят вовремя дать острастку, подсечь под корень всякие «бессмысленные мечтания».

Я привел эти слова Николая II, сказанные депутации тверского дворянства, всеподданнейше советовавшей после коронации ввести реформу строя — ограничить самодержавие парламентом. Но последние русские цари уже не могли и не умели никаких мечтаний пресекать и подавлять. Принимаемые ими куцые и непоследовательные меры для искоренения крамолы лишь подбавляли в огонь жару, дразнили и разжигали страсти, бывали бессмысленно жестоки и безобразны, вроде дикого расстрела на Лене (то-то Ленин потирал тогда в своем Цюрихе руки — этакий козырь в руки для пропаганды!). Большевики эти ошибки царской власти помнили и не повторяли: они отвергли страшивший путь истинного просвещения народа, воспитания в людях независимости и свободы, собственного

достоинства и стали безжалостной рукой подавлять живую мысль и самостоятельность.

Итак — посыплем главу пеплом и раздерем на себе одежды — похороним поглубже «бессмысленные мечтания» о либерализации строя и прекращении произвола.

В моем безоблачном небе как-то прогремел громок. Это было уже после 9 Мая, дня капитуляции Германии, отмеченного в нашем городе фейерверками, пальбой, собраниями, торжественным появлением партийных тузов на трибунах.

Так вот, вскоре после этого гремучего дня, когда я готовился отправиться на каникулы в горы, погостить у родителей одного из моих коллег, ко мне с таинственным и многозначительным видом подошел начальник кадров института и предложил после занятий зайти к нему в кабинет. Я, естественно, насторожился и, все взвесив, решил ослушаться. К тому времени у меня сложились дружественные отношения с местным видным врачом-гинекологом, вхожим в силу своей специальности — через супруг — в дом чекистов, и я отправился его разыскивать; хотел предупредить о вызове, исходившем, я в этом не сомневался, из госбезопасности. Он мог разузнать, в чем дело, и по возможности отвести или смягчить надвинувшуюся на меня угрозу.

Однако до доктора не дошел. Встретив по дороге к нему директора института, вдруг решил, именно ему расскажу о происшествии. Этот человек, с самого начала хорошо ко мне отнесшийся, нашел и в дальнейшем не один случай выразить сочувствие моей судьбе, схожей с тем, что испытали многие его друзья, среди которых были жертвы Багирова. Мне приходилось разговаривать с ним с глазу на глаз, очень откровенно, и я вполне уверился в его доброжелательности.

Он сразу провел меня в свой кабинет и оттуда переговорил с начкадрами. Тот подтвердил — повестка из КГБ, явиться имярек в 24.00 в бюро пропусков управления госбезопасности. Тогда директор заглянул в записную книжку, позвонил куда-то и долго потом разговаривал. Раза два назвал мою фамилию. Потом положил трубку.

— Вам придется сходить — это запрос из Москвы, очевидно, проверка, потому что ни о каких мерах в отношении вас речи нет. Анкету заполните и вернетесь. Да нет, не сомневайтесь — вы знаете, что если бы вам что грозило, я бы, поверьте, предупредил. Не нервничайте — до завтра.

Все и на самом деле ограничилось длинным вопросником,

параграфы которого старательно и медленно заполнял плотный рыжий следователь с воспаленными глазами навыкате. Это была все та же знакомая канитель с генеалогическими экскурсами, графами о службе в охранке и в белой армии, перечислением родственников за рубежом до третьего колена, судимостей — с тем чтобы совокупность всех данных позволила обнаружить в биографии любого лица изъяны, какими бы можно подкрепить обвинение. Так на допросе следователь вам бросает: «Ваш дядя был товарищем прокурора, значит — присуждал революционеров на каторгу, значит — научил вас с детства ненавидеть революцию, и таким образом вы...» и т. д. Или: «Ваша тетка выехала из оккупированной зоны на Запад... у вас была с ней переписка, значит, вы...» и т. д. Воспаленное полицейское воображение творца этих анкет возносится к идеальному варианту, когда бы одних расставленных в них ловушек было достаточно, чтобы дать человеку срок!

Грустно и теперь, спустя много лет, признать, что мы, опрашиваемые, чувствовали себя в самом деле виновными в том, что был дядя-прокурор и тетка, уехавшая на Запад, считали себя в ответе...

В четвертом часу ночи я вернулся домой и разложил по местам зубную щетку с мылом, полотенце, белье и кулек с провизией — все, чем запасся, отправляясь на ночное собеседование.

Нависшее надо мной грозовое облачко рассеялось, таким образом, бесследно, явилось как бы лишь с тем, чтобы напомнить, что ведомство обо мне не забыло и я состою у него на учете... Помни о смерти! Но то был очень слабый тревожный звонок, и я не стал о нем задумываться. С легким заплечным мешком и посохом отправился я побродяжничать в горы...

Я осматриваю древние, венчающие скалы крепости с обвалившимися стенами из валунов, уцелевшими глубокими цистернами и проемами, перекрытыми многотонными плитами. Никто в округе не знал, когда и кем были воздвигнуты эти сторожившие перевалы каменные твердыни и когда ушла отсюда жизнь. К какому веку, какой народности принадлежат эти циклопические постройки, я этого не узнал и позднее, в Москве.

Часами осматривал я остатки вымощенных плитняком дворов и ступеней, дивился уцелевшим в кладке деревянным связям, крепившим стены, угадывал в нагромождениях камней разрушенное жилье. И казалось, так бесконечно удалены от нас жившие здесь не одну тысячу лет назад люди, и было невоз-

можно представить, что они думали, чувствовали, любили и гневались, как мы... Что будут знать о нас потомки через тысячелетия? Если вообще сохранится жизнь на земле...

В октябре 1945 года я возвратился в аудитории института если и не как в родной дом, то и без следа прошлогодней растерянности. Я знал в лицо и по именам всех своих студентов, со многими установились хорошие отношения, появились любимые группы и фавориты обоих полов.

Койку у уборщицы я покинул ради крохотной сторожки в одну комнату с прихожей в обширном саду армянского семейства, состоявшего из двух немолодых одиноких сестер и брата, всем скопом опекавших семнадцатилетнего племянника-сироту. Были это люди интеллигентные, не очень-то умевшие приспособиться к тогдашним трудным обстоятельствам, а потому и жили они стесненно и необеспеченно, тем более что подкармливание и даже закармливание юного краснощекого шалопая, будто бы расположенного к туберкулезу и катавшегося как сыр в масле, составляло основную круговую заботу.

Особенно хорошие отношения сложились у меня с одной армяно-русской группой старшекурсников, на диво не только мне, но и всему институту охотно и прилежно ходившей на мои лекции французского языка. Я даже с увлечением к ним готовился, с чем-то похожим на вдохновение рассказывал о языке, крепко сидевшем, несмотря ни на что, из-за воспоминаний детства в моем сердце.

Октябрь в Кировабаде — сезон роз, и в первый день занятий студентки этой группы разносили целые ворохи их своим преподавателям. Одна из моих хозяек, помогая ставить цветы в кувшины и ведра, занявшие почти половину моей каморки, пожимала плечами:

— Розы! Нашли что приносить... Да две трети ваших студентов дети состоятельных родителей и могли бы лучше поддержать своего учителя. Вы бы поинтересовались, как устраиваются другие преподаватели... А вы что... сидите на карточке, хлеб вперед забираете.

Не она одна — увы! — советовала мне поступить «как все»: не отказываться от подношений, какие в обычае принимать от учеников и студентов. Один из моих коллег, молодой и популярный в институте преподаватель русского языка, терпеливо и настойчиво объяснял мне, что мои студенты — почти поголовно дети колхозников, которым ничего не стоит преподнести дорогому муэллиму кулек муки, комок масла, овечьего сала или банку меда.

— Как откуда возьмут? Или вы думаете, что они на пайке, как у вас там, в России? Э, дорогой мой, наши давно приспособились. Как именно? У каждого уважающего себя председателя заначка: столько-то пашни, лугов, скота — бывает, около половины,— не числится ни в каких планах, отчетах, ведомостях. Это свой персональный фонд, предназначенный руководству, родне, нужным людям. Государству сдают что полагается — план выполняется. И сами не в обиде: как говорится, кесарю — кесарево, ну а остальное, сами понимаете — жить как-то надо. Если на рынок пуд муки или головку сыра не свезешь, без керосина останешься, соли не будет, рубаху не из чего будет сшить... Заставляет жизнь, так-то вот! Поверьте, и студенту приятно поделиться излишками с уважаемым преподавателем, выразить благодарность... При чем тут взятка? Глупое слово! Что я, ему пятерку поставлю, если он ни в зуб? Да кол влеплю, как миленькому! Это подарок, знак признательности...

А я вот знал, что этот милый и сладкоречивый жрец науки выводит удовлетворительные отметки совершенным неучам и лодырям. Но, разумеется, не за банки мацони или кульки лобио, а за отрезы на костюм и пачки денег...

Пришлось мне несколько раз изгонять являвшихся ко мне домой со скромными свертками студентов — иностранные языки были дисциплиной второстепенной, отметки по ним всерьез не принимались, а потому и подношения были пустяшными,— причем изгонял столь горячо и даже шумно, что попытки меня одарить не возобновлялись. Так что хозяйка моя была права — я и в самом деле мог завести буфет с запасцами всякой снеди, но как вот, принимая зачет у студента-дарителя, смотреть ему в глаза? И я жил, никак не умея связать концы.

Бесконечно долго тянулись пустые и томительные, голодные воскресные дни. Хлеб, как правило, забран вперед, иногда на десяток дней — уломать продавца на большее было невозможно. Столовая закрыта; не было и загородной поездки к научникам, где меня привечали химик Галина Федоровна и ее мать, из потомственных оренбургских казаков — гостеприимные, сердечные и простые.

Галина Федоровна была немного старше меня. Ее в шестнадцать лет выдали замуж за диковатого есаула, от которого она сбежала через неделю, после чего жила в одиночестве. Отец ее, богатый офицер, увел своих казаков за рубеж, разоренная мать осталась с единственной дочерью. Она обожала свою Галочку, да и чувствовала, вероятно, вину перед ней, так

что жили они спаянно и согласно. И когда дочь горячо взялась за мой быт — то платки подрубит, то скроит и сошьет сорочку или свяжет носки: она была выдающейся рукодельницей, — старая казачка всячески поощряла ее и всегда настаивала, чтобы Галина приводила меня к ним после занятий, угощала за обедом особыми оренбургскими лепешками, темным сахаром и патокой, вываренными из свеклы по рецептам дочери-химика.

Все это давно поглотили годы, и потому не будет нескромно здесь упомянуть, что я, как ни мало присматривался тогда к людям из-за поглощенности своими заботами, скоро заметил, что Галина Федоровна относится ко мне особенно внимательно и пристрастно, но полагал, что в этом — женское сочувствие к одинокому, выбитому из седла человеку. Лишь несколько лет спустя, встретившись с Галей в Ялте, я убедился, что был предметом привязанности более серьезной. Но у меня еще будет случай вспомнить эту достойную добрую женщину. Надо мне признаться в том, что, быв смолоду избалован женским вниманием, сделался несколько легкомысленным по этой части.

Так вот, по воскресеньям ничего этого не было — обедом в субботу заканчивались мои трапезы до понедельника, и я проводил время, лежа на своем жестком ложе с закрытыми глазами, лениво перебирая в уме, что следовало бы предпринять, чтобы добыть что-нибудь съестное, но не шевеля для этого и пальцем. Овладевала мною в те часы великая необоримая апатия. Беда моя была еще и в том, что после лагерной голодовки я утратил способность наедаться при случае впрок, про запас и чувствовал поэтому постоянную слабость, словно какая-то пружина во мне сломалась. А потом я стал хрипнуть.

Врач, к которому я обратился, поморщился: все вы, лекторы и актеры, на один лад — горло, горло! Читать надо поменьше лекций, да вполголоса, не напрягая связок, утром полоскать горло...

Иначе на все взглянул мой приятель гинеколог, уже давно внимательно ко мне приглядывавшийся. Он потребовал, чтобы я разделся, прослушал мои легкие. После чего повел, ничего не объясняя, к своему другу — старому врачу-ларингологу. Тот долго меня мучил, заставлял тянуть звук «и» с высунутым языком, обследовал своим зеркальцем недосягаемые глубины гортани. Эскулапы потолковали между собой по-армянски, а на обратном пути мой милый Степан Акопович объявил мне, что у меня двусторонний дисеминированный

процесс в легких и задета гортань, так что надо срочно ехать в Москву к профессору Вознесенскому — единственному специалисту, умеющему лечить горловую чахотку.

Я поверил лишь отчасти — горло-то не болело. Да и помнил, как ошибся лагерный эскулап, определив у меня туберкулез. Не прав ли тот врач из поликлиники? Великовата нагрузка, бывает — по шесть и даже восемь часов в день. Но в Москву все-таки написал — просил похлопотать о разрешении поселиться за пределами стокилометровой зоны от столицы, запретной для бывших заключенных.

Ответ — благоприятный — я получил лишь летом следующего, сорок шестого года. За это время мне сделалось хуже, хрипота усилилась, и я с трудом дотянул до конца учебного года. Попривыкшие ко мне студенты как бы сговорились сидеть на моих лекциях тихо, почти не переспрашивали, хотя чаще всего меня было плохо слышно. Директор, заведующий учебной частью, не говоря о Кленевской, словно не замечали моей хрипоты и даже относились ко мне подчеркнуто бережно и внимательно.

В эту первую послевоенную зиму жилось еще очень трудно, нуждались в самом необходимом, но появившиеся у меня друзья оградили от лишений. Валькирия, доктор, Галина Федоровна, несколько коллег и студентов, с родителями которых я довольно близко сошелся, снабжали меня наперебой, и если бы хороший стол с мясом, маслом, медом, фруктами мог вылечить, я бы, несомненно, поправился. Тогда-то я окончательно избавился от отеков, окреп, даже сгладилась непристойная худоба, но голос не возвращался; порой овладевало безнадежное настроение, и, думая о скором конце, я не делал никаких планов на будущее. Горевал, что вот — не удалось оставить после себя, как мечталось, мемуаров, которые послужили бы людям предостережением. Я, признаюсь, был высокого мнения о поучительности моего опыта, не оставлявшего иллюзий по поводу тупиков, куда завел Россию премудрый марксизм-ленинизм...

Но внимательной Валькирии или мудрому доктору удавалось нет-нет отвлечь меня от загробных предчувствий, я начинал верить в искусство великого мага Вознесенского, в уготованные для меня впереди успехи и радости и тогда бомбардировал госбезопасность заявлениями, требованиями, просьбами — пустите в Россию.

Несмотря на серьезный и даже грозный диагноз и солидный возраст — уже сорок шесть лет! — именно тогда случалось мне переживать надежды на удачи и счастье, на высокий

час необычайных встреч и переживаний... То не было еще огоньком возродившейся веры, от которой я когда-то, в архангельской одиночке, отступился в одну ночь — я по-прежнему не обращался к Богу и не вспоминал полузабытых молитв — но было, вероятно, преддверием еще далекого, но ожидавшего меня просветления.

Здесь мне придется прервать хронологическую последовательность рассказа, чтобы вернуться назад, к прожитым годам.

... В своих воспоминаниях я не упоминал некоторых обстоятельств моей личной жизни, связанных с людьми, о которых мне не хотелось говорить. Эти люди, некогда мне близкие, сделались впоследствии настолько чужими, что как бы для меня умерли. И, предчувствуя, что я не могу рассказать о них достаточно беспристрастно, а накопившаяся в памяти горечь не позволит быть справедливым, я почел за лучшее руководствоваться латинской поговоркой «de mortem aut bene aut nihil»[1]. Рассудил я так еще потому, что все, с этими подробностями и людьми связанное, выглядит несущественным в свете моего намерения правдиво рассказать о моем времени и насколько возможно объективно его оценить. Личная моя судьба, как я полагаю, не способна привлечь внимание сама по себе, а лишь как отражение общих судеб моего народа и России, поэтому и не имеет значения, упущу ли я или нет рассказать о некоторых своих домашних обстоятельствах.

Однако, приближаясь к концу рассказа о моих лагерных годах, я стал в растущей степени ощущать, что вовсе умолчать о женщине, с которой был прежде связан, сберегшей в течение двадцати семи лет очаг, к которому я имел возможность вернуться, помогавшей мне и вырастившей двоих детей, было бы не только несправедливо, но навело бы тень на понятие о долге у русских женщин.

Итак, мне приходится уточнить, что неопределенное выражение «мои родственники» или «близкие», неоднократно встречавшееся на страницах этих воспоминаний, означало на самом деле мою собственную семью.

Еще в 1924 году, желторотым и влюбчивым молодым человеком, я женился в Москве на дочери упоминавшегося мною Всеволода Саввича Мамонтова, девице Софье. Было у нас двое детей: дочь Мария, родившаяся через год после свадьбы, и

[1] О мертвых хорошее или ничего *(лат.)*.

сын Всеволод, увидевший свет в Архангельске, куда была сослана после лагеря его мать.

Таким образом, моя оборванная арестом в 1928 году семейная жизнь длилась всего четыре года. Впоследствии съезжались мы с женой от случая к случаю, чаще всего ненадолго. Причем вмешательства госбезопасности неожиданно и грубо зорили наши зыбкие очаги, какие удавалось соорудить. Неволи пришлось отведать и Софье Всеволодовне, почти полностью отбывшей пятилетний срок в Мариинских лагерях и короткую ссылку в Архангельске.

Внучка русского мецената и железнодорожного деятеля Саввы Мамонтова, правнучка декабриста Трубецкого и известного славянофила Д. Н. Свербеева, всеми корнями принадлежащая Москве, она была в высшей степени предана понятию о долге, внушаемому рассудком. Став, волею судьбы, женой каторжника, Софья Всеволодовна и приняла на себя все тяготы, обязанности и ореол этого состояния. Растила детей, помогала мне сколько было возможно, предпринимала хлопоты, а когда удавалось — пускалась в дальнюю дорогу, чтобы со мной повидаться. Не оставляла без писем. И прочно завоеванная, заслуженная репутация супруги, не отвернувшейся от впавшего в ничтожество мужа, сделалась как бы опорой в ее жизни и руководила ее поступками.

Властная и умная, она умела себя поставить, и ею, преемницей русских женщин Некрасова, восхищались многочисленные родственники и друзья. Быть женой «декабриста», человека пострадавшего за справедливые цели или без вины,— это не только социальное положение, но и роль в обществе. Они вознаграждали за то, что неизбежно уносили годы разлуки: привычку к взаимному общению, живое чувство, потребность в близости. Необходимость распоряжаться собой, детьми, в полной мере нести одной бремя и ответственность «главы семьи» делали бесповоротно самостоятельным ее характер, и от природы твердый.

Доставшиеся на долю передряги, лагерный искус — все, что надо было вынести и перетерпеть, Софья Всеволодовна перенесла и вытерпела с честью, как полагалось женщине ее круга и традиций. То был долголетний подвиг. Подвиг, настолько приучивший к сочувствию и хвале и заполнивший жизнь настолько, что им удовлетворялись ум и сердце. Коротенькие годы с любовью и нежностью сделались далеким, остывшим воспоминанием, прежний близкий и необходимый человек — символом.

И чем меньше становилась надобность в его реальном

присутствии, тем педантичнее и скрупулезнее выполнялось то, что требовало положение, пьедестал Пенелопы: изыскивались средства, чтобы собрать посылку или перевести деньги, поддерживалось знамя разъединенной, но не разбитой семьи. Детей учили помнить отца — и никогда о нем не говорить (из осторожности!).

Это отступление следует заключить справкой, освещающей хронологию наших встреч с Софьей Всеволодовной со времени ареста по 1946 год, то есть за восемнадцать лет.

В конце лета 1928 года она вместе с Линой Осоргиной, женой Георгия, приезжала на Соловки для недельного свидания. Пока я был в Ясной Поляне, не раз меня навещала, иногда живала подолгу, но не порывала с Москвой и друзьями. Гащивала она и у своего отца, на Тульской госконюшне, в бывшем имении Бутовича на реке Упе, в полутора десятках километров от Ясной Поляны.

Затем мы встретились в Архангельске, в 1935 году, после Мариинских лагерей. Дочь жила с бабушкой в Москве, с нами был новорожденный сын. После моего ареста Софье Всеволодовне удалось вернуться в Москву.

И потом была еще короткая двухдневная встреча при проезде моем в Кировабад. Повзрослевшая дочь глядела с ужасом на «живые мощи», обряженные в жалкие обноски, плакала и дичилась. Софья Всеволодовна, еще в лагерях начавшая работать в больнице, а потом закончившая фельдшерские курсы, была в то время линейным работником в городе Малоярославце, получила там, при станции, квартиру и оттуда приезжала для свидания. Естественно, что медика не мог расстроить вид отчаянного дистрофика — она их перевидала бессчетно в сибирском лагере!

Вот летом 1946 года мне предстояло как раз возвращаться к ней в Малоярославец. Дочь работала радисткой в Арктике, на Диксоне; там вышла замуж за начальника острова, инженера связи Валентина Игнатченко. Странно мне было, что дочь стала женой коммуниста.

В Малоярославце, где было больше высланного народа, чем местных жителей, мое появление не могло привлечь к себе внимания, но с первых же шагов я ощутил — тут каждый следит за каждым. И при случае, натурально, доносит. Здесь опыт меня не обманывал, как среди азербайджанцев, и я с некоторым страхом — как же далеко зашло! — убеждался, что соседка, зубной врач, подслушивает у нашей двери, что за-

шедший сослуживец жены бегает глазами по лежащим на столе бумагам, что за очередной пулькой все играют молча, а заговорившему красноречиво указывали глазами на дверь и окно. Не потому, что предполагалась возможность рискованных высказываний, а из опасения, как бы кто не завел речь о дороговизне картофеля, пустых прилавках... О жизни всемером в одной комнатенке.

На привычные сплетни маленьких городов накладывалось улавливание неосторожных слов, наушничание; питаемые завистью к лишней комнате соседа доносы. Жить тут было душновато.

Впрочем, я сколько мог бывал в Москве, куда влекли завязывавшиеся первые робкие связи с редакторами, достаточно смелыми, чтобы снабжать работой, не вдаваясь в обстоятельства моей биографии. Не помню, кому я был обязан первыми контактами в ИЛе — издательстве иностранной литературы, где мне стали поручать переводы. На первых порах помогли знакомства моей сестры Натальи Голицыной, сведшей меня с внуком настоящего Толстого Сергеем Сергеевичем, публиковавшим свои учебники английского языка в этом издательстве, и с вдовой советского Толстого Людмилой Ильинишной, принадлежащей столичному бомонду и соизволившей отнестись ко мне благосклонно. У нее, само собой, были на кончике телефонного провода самые влиятельные товарищи. Она входила в избранный чекистско-литературный салон снохи Горького и могла позвонить кому-либо из непосредственного окружения Берии, кремлевскому церемониймейстеру слинявшему графу Игнатьеву, расшаркивающимся перед ней заправилам Союза писателей.

Эта львица поставила меня в несколько двусмысленные рамки: встреч со мной отнюдь не избегала и принимала с очаровывающей приветливостью, однако — не вводя в кружок своих друзей и знакомцев. Мне назначались — с лестной для меня готовностью — часы и дни, в какие я оказывался единственным гостем. Такт и воспитанность Людмилы Ильинишны искусно вуалировали этот маневр, обусловленный необходимостью не афишировать визиты столь чуждого элите гостя. Из длинных «тэт-а-тэтов» за музейно сервированным столом (покойный сталинский лауреат, как известно, не зевал по части приобретения антиквариата!) был изящнейшим образом раз и навсегда изгнан малейший намек на вольные суждения: нас интересовали только вопросы искусства и апробированные оценки.

Я понимал, по каким острым граням ходишь, видаясь

с этой женщиной, как она может быть опасна и даже страшна, и все же восхищался ее светскостью и чисто женским очарованием, задушевностью тона, в искренности которого было почти невозможно усомниться, ее умением вести разговор так, чтобы не дать ему ни на секунду выплеснуться за пределы безопасного русла. Меня изумляло, с какой естественностью, точно о предмете давно и незыблемо установленном, о котором не может быть двух мнений, Людмила Ильинишна говорила о необходимости всем пишущим перенимать стиль Иосифа Виссарионовича, «четкий и лапидарный, как у античных мастеров». И тезис свой выдвигала так, что гасло намерение возразить, и я допускал, чтобы мое молчание истолковывалось как признание его справедливости. Лишь потом, на улице, когда улетучивалось действие опасных чар обворожительной хозяйки, я ужасался прочности брони лицемерия, в какую раз и навсегда облачались те, кто составлял хор и свиту диктатора, усердную клаку, рукоплескавшую и кадившую своему идолу. Тряслись от страха и тянулись за милостями, в погоне за ними топили друг друга. Надетая личина преданного слуги и восторженного почитатели прирастала столь плотно, что становилась сущностью. Снять ее не приходило в голову и с глазу на глаз с человеком, общение с которым скрывалось от своего, привычного круга. Войдя в него в качестве супруги купленного с потрохами, задаренного, приближенного к трону даровитого писателя, Людмила Ильинишна не помышляла сбросить маску и став вдовой. И, женщина образованная и со вкусом,— привычно искренне восхваляла беспомощный и корявый стиль недоучившегося семинариста! И это — перед изгоем, прошлое которого ей было известно... Хотя, само собой разумеется, и упоминания о нем не проскальзывало в наших разговорах. И я — слаб человек! — не выдерживал зароков, которые давал себе, больше не показываться в обставленных старинной ценной мебелью апартаментах советской графини, хотя и оценивал трезво, насколько тут не «мои» и не для меня сани.

В скором времени для этих визитов объявился неоспоримый повод. После того, как я перевел «Слепого музыканта» Короленко, детские сказки Михалкова, еще что-то, издательство ИЛ уверовало в мои возможности и предложило взяться за «Петра Первого». С кем было обсуждать блестящую компиляцию Алексея Николаевича, как не с подругой его последних лет? И хотя из затеи ничего не вышло — издательство сочло выгоднее поручить работу переводчикам в Париже, и несколько переведенных мною и одобренных глав

хранят в архивах издательства память о моих несбывшихся надеждах на фантастический заработок и славу,— мы продолжали видеться с Людмилой Ильинишной, по-прежнему любезно и охотно бравшейся похлопотать о моих делах, хотя надобность в этом почти миновала.

Работа находилась все больше уже автоматически: успешный старт предопределил дальнейшее благополучное течение событий. У меня в ИЛе появился влиятельный покровитель, возглавлявший ведущий отдел издательства,— образованнейший эрудит и благожелательный человек. Иосиф Ханаанович Дворецкий. Он не только следил за тем, чтобы я не оставался без заказов, но и очень успешно устранял препятствия, возникавшие из-за призрачности моего промежуточного состояния гражданина, неспособного предъявить у кассы тот самый «серпастый и молоткастый» паспорт, без которого грош цена советскому человеку. Временное мое, бессчетное количество раз продлеваемое удостоверение освобожденного из заключения настораживало и самого беспечного кадровика и частенько отвергалось бухгалтерами. Как это человек без московской прописки очутился в стенах столичного издательства и предъявляет какую-то ветхую бумажку с подозрительными штампами? Иосиф Ханаанович кому-то что-то объяснял, брал на себя не то находил для формальностей подставных лиц. Это был мудрый и умудренный жизнью человек, хотя и державшийся, как все вокруг, ни в чем не сомневающимся и ни над чем не задумывающимся придатком власти и порядков. Он сохранил свое лицо, достоинство и известную самостоятельность суждений.

Бывал я у него дома, в небольшой, заполненной книгами квартире. Они словно вдохновляли своего хозяина: он сбрасывал оболочку исполнительного советского чиновника, оживлялось его крупное лицо с высоким лбом под красивой седой львиной гривой, загорались темные восточные глаза. И речи его лились свободно, и не боялся он выражать свои гнев и боль по поводу взнузданных муз и растоптанной мысли. Это был в Москве тех послевоенных лет единственный, пожалуй, человек, встреченный мною, который, умея думать и судить, был готов в подходящей обстановке высказать свое мнение, внушенное просвещенным сознанием и совестью. Впрочем, я уже упоминал о том, насколько поражали меня по выходе из заключения знакомые моего круга, ставшие попугаями, затверживающими передовицы «Правды», всеобщая немота и придавленность.

Разумеется, всякая отлучка из Малоярославца была в

какой-то степени событием и даже приключением. Хотя бы потому, что высланным запрещалось бывать в столице и всегда был риск очутиться в лапах чекистов. Изредка в вагонах поездов и всегда — у выхода в город выборочно проверяли документы. Наружность моя и платье, по счастью, не вызывали подозрений, и за неполных два года, что я прожил в Малоярославце и Калуге, постоянно наезжая в Москву, ко мне ни разу не подошли с леденящим сердце: «Ваши документы!» Исход бывал разным — все зависело от случайных обстоятельств. Иной раз тут же отправляли восвояси, не дав покинуть вокзал; не то задерживали «до выяснения» — и тут могло последовать что угодно. Новая тюрьма, дальняя ссылка, лагерный срок... При благоприятном отзыве местного отделения МГБ — «Ни в чем, мол, предосудительном не замечен, отмечается исправно»,— да и в силу всегда непредсказуемых путей этого ведомства, можно было, истомившись и похудев от беспокойства, вернуться к себе.

Я вскоре попривык к тому, что обшаривающие толпу глаза сыщиков на мне не останавливаются и никакие проверки не задевают, и уже без прежних усилий держался независимо, так что за версту учуивалась моя благонадежность. Настолько, что я отваживался на вовсе отчаянные предприятия. Так, какой-то журнал (не то «Огонек», не то «Охотник») предложил мне, успевшему под псевдонимом опубликовать несколько заметок, съездить в Саратов к некоему отставному полковнику, стреляющему волков с самолета. Как решился я без всяких разрешений и документов сделаться «столичным корреспондентом», ехать ничтоже сумняшеся с моим полковником на аэродром, где возле его «кукурузника» стояли засекреченные и строго охраняемые первые реактивные самолеты (как же я струхнул, когда мой спутник на них указал, небрежно назвав «свистульками», мне они померещились в зловещем свете статьи УК о военном шпионаже, и я даже отвернулся, чтобы впоследствии твердо заявить, что их не видел!),— до сих пор не знаю. Но все обошлось без задоринки, я благополучно возвратился, а охотничья литература обогатилась несколькими беглыми описаниями охоты с воздуха, поселившей, кстати, во мне навсегда к ней отвращение: такая стрельба не для охотника!

Жил я деятельно и даже напряженно. Втягиваясь в ремесло переводчика и делая первые неуверенные попытки печататься, я стал лелеять куда более широкие и дерзновенные планы: посредством пера донести свой опыт, мысли и чаяния до читателя — осторожно, намеками, эзоповым языком,— чтобы

хоть чуть-чуть, на микрон, разбудить чье-то сознание, приоткрыть глаза. И хотя тогда и помыслить было нельзя переслать что-либо за рубеж или напечатать у себя, я набрасывал планы сочинений, пытался на исторической канве построить фабулу, которая бы перекликалась с тем, что переживала Россия. Писал горячо и воодушевленно, потом уничтожал, задним числом холодея от предчувствия провала. Увы! Невозможно жить изо дня в день — годами — под ярмом постоянного страха, ожидания доноса и ареста, стремления быть незаметным, ничем не привлекать внимания, не поддавшись повальной апатии общества. За колючей проволокой, где не было искушения проявить себя и жизнь сводилась к заботе выжить,— отсутствовало и острое сознание кляпа во рту, скованности, как не было надобности подчеркивать свою преданность власти. Во всяком случае, там можно было оставаться больше самим собой, нежели здесь, вне зон с вышками и без конвоиров с овчарками.

Ныне, спустя несколько десятков лет, трудно очертить свою жизнь в то беспросветное время, с ее неизбывными заботами и однообразием, ненарушаемым событиями или переменами течением. Ни гроз — неизреченная милость Божия! — ни ярких солнечных дней, слов, высекающих в сердцах искру, окрыляющих сознание... Так бурлаки должны были, оглядываясь на свою жизнь, испытывать ощущение неизбывной тяжести, вспоминать натершую плечо лямку и длинные, унылые версты бечевников...

Жилось в те годы трудно, зарабатываемых обесцененных денег никогда не хватало, одеты были, несомненно, «pauvrement» (бедно), но далеко не всегда достаточно «prorpement» (чисто), потому что мыло, как и все прочее, распределялось по карточкам, а нормы выдачи подсказывал, по-видимому, властям предержащим тот цыган из поговорки, что приучил коня кормиться у пустых яслей. Именно тогда власть долепливала образ «правильного» советского человека, слепо перед ней холопствующего, распевающего на голодное брюхо хвалы ее попечениям и мудрости, уверенного о своем превосходстве перед разными прочими «несоветскими» народами и втайне им завидующего. Огромная нация со славным прошлым препоручила кучке властителей за нее думать, судить, определять ее пути и вкусы. Позволила исконное свое доброжелательное и терпимое отношение к иноплеменным обратить в агрессивный национализм, во враждебность ко всему несоветскому. И обращенная в тощую заезженную клячу, повторяла то, что велят и подскажут.

Должно быть, надвинувшиеся потемки вовсе задавили бы жизнь, не находись все же мужественные, светлые люди, искавшие случая помочь и выручить, пренебрегавшие опасностью. Делали они это, не выставляясь и не ища не только вознаграждения, но и благодарности. Обстоятельства сложились так, что я никогда не видел принявшего горячее участие в моей судьбе московского врача Лазаревича, лишь знавшего обо мне со слов сестры, детей которой он лечил. Теперь и не представишь себе, на какой риск надо было идти, сколько проявить настойчивости, чтобы устроить в привилегированную больницу — туберкулезный институт — бесправного высланного, лагерного ветерана, контрабандно наезжавшего в Москву.

Не пришлось мне видеть и сопроводительную бумагу — ту липу, что была предъявлена начальству клиники. Но в некий день меня туда положили и потом три месяца лечили — наравне с полковниками госбезопасности, партийными сановниками, самим Отто Юльевичем Шмидтом! И пользовавший кремлевскую знать профессор Вознесенский стал самым добросовестным образом врачевать мое недужное горлышко, прописывать те же недоступные для простых смертных заморские лекарства, что и важным своим пациентам. Я иногда прогуливался по аллеям парка со знаменитым полярником, не раз пожимавшим руку вождю и особенно прославившимся потоплением своего корабля. С ним я еще находил о чем говорить — хотя бы об улицах Архангельска или красавице Северной Двине, но — Боже мой! — как было общаться с пятком гэпэушников едва не в генеральских чинах, чьи койки стояли в обширной палате, где помещался и я! Помогала хрипота: профессор запретил разговаривать. Но их беседы слышал поневоле. Не запоминал и не записывал, но могу свидетельствовать, что эти люди, если не обсуждали свое лечение, подробности ощущений, аппетит, физические отправления, толковали только о продвижении по службе, чинах, вакансиях, завистливо разбирали карьеру счастливчиков, у которых «рука», и еще — кому что удалось вывезти из Восточной Пруссии в то незабываемое, единственное время (да здравствует Сталин!), когда орудия еще гремели под Берлином, а на завоеванную неприятельскую землю хлынули тыловики в военной форме и стали вагонами и эшелонами отправлять домой «трофеи»! И — само собой — не иссякали самые грубые казарменные анекдоты, весь смак которых в сальности выражений.

Занятые сверх меры собой, эти цветущие здоровяки —

они проверялись «профилактически», поскольку состоящим в номенклатуре чинам вообще, а их ведомству особенно доступно по нескольку месяцев в году кантоваться по клиникам и санаториям — на меня смотрели свысока: какой-то издательский писака. Я же научен был не распространяться о своих заслугах и говорил неопределенно глухо: «переводчик, литработник». Халат больного избавлял от необходимости предъявлять паспорт!

Со старой, почти сорокалетней давности фотографии на меня глядит средних лет сухощавый, одетый в летнюю курточку человек в парусиновых туфлях, достаточно независимо расположившийся с книгой на скамейке среди едва распустившихся кустов и деревьев. В верхнем углу надпись: «Ялта. 1948». Это — я, хлопотами врачей отправленный на юг: приморская благодатная ранняя теплынь должна доделать то, что не поддалось лечению в клинике на Яузе: голос все не восстанавливался. Но как бы ни шло выздоровление — мягкий ветерок с моря, запахи распускающихся деревьев, тишина и безлюдье пустынного живописного южного города, обволакивающее мягкое ощущение расслабленности после многих напряженных лет,— все это поселило в душе мир, словно с Севером оставлены позади вечные заботы и страхи, дергания и вся зыбкость существования.

Я поселился у сестры доброй моей кировабадской Галины, несомненно наказавшей опекать меня вовсю, и наслаждаюсь уютом комнаты с увитым виноградом балконом, в доме, отгороженном от мира стенкой кипарисов и густым садом: подлинный «приют муз и неги», как выражались в карамзинские времена. Я, правда, стихов не кропаю, но в прозаическом жанре упражняюсь усердно. И не впустую: мне заказана книга для молодежи об охоте, и я воскрешаю в памяти этапы своего посвящения в «немвроды», вспоминаю свои первые волнения на тяге или с легашом. Но писать надо так, чтобы не прозвучало ни одной элегической ноты, не было и тени грусти по каким-то ушедшим дням. С охотничьими радостями должен знакомиться бодрячок-комсомолец, приобретающий в лесу меткость и закалку, потребные будущему ворошиловскому стрелку. А участие в волчьем окладе — исполнение гражданского долга во имя целости колхозных барашков. Словом, я впоследствии радовался, что опус этот принадлежал некоему Осугину, был выпущен малым тиражом и заслуженно сгинул в мутной пучине советского массового чтива.

Из далекого Закавказья приехала Галина Федоровна до-

говориться о своем переводе в пригласивший ее на работу Ялтинский институт виноделия. Кажется, мне отводится некое место в ее планах свить уютное гнездо в пленительной Ялте. Во всяком случае, она намерена, устраивая свою половину дома, выделить в ней комфортабельную комнату для приезжих друзей, в том числе склонных к литературным занятиям. Моя заботливая приятельница очень верно учуивала непрочность моих семейных уз и предвидела их распад, но жестоко заблуждалась относительно места, какое могла бы в будущем занять наша дружба.

Провожая Галину Федоровну в обратное путешествие, я, разумеется, не предполагал, что мне не суждено более встречаться с ней и что последовавшие невдолге свидетельства ее памяти и сердечных забот завершат наше знакомство. Роль моя в нем бесславна: я податливо позволил сделать из себя предмет опеки и забот, поддерживая своим поведением иллюзии, без которых был бы их лишен.

Свежий утренний ветер с моря слегка знобил, расстроенная Галина Федоровна кивала мне на прощание с палубы отдавшего швартовы судна. Я с мола еще долго махал ей вслед платком. И, возвращаясь в то утро по пустынному приморскому бульвару, с горьким чувством думал, что через два года мне исполнится пятьдесят и что не только ничего не сделано — я живу блеклым пустоцветом,— но и «настоящего», захватывающего, возносящего над собою чувства я так и не испытал, и бесплодно перегорают предчувствия и ожидания. Сбыться им пришлось только через пятнадцать лет!

Недовольство и разочарование точили тем более, что наедине с собой я отвергал скидки на обстоятельства, считая, что они не властны над подлинными достоинствами, способностями и характером. Бесплодность — синоним бездарности. А я был про себя честолюбив и мечтал оправдать слова Натальи Михайловны Путиловой, когда-то сказавшей обо мне: «On peut l'aimer ou non, mais c'est quelqu'un!» — что в несколько вольном переводе означает, что меня можно любить или нет, но я все же не первый встречный!

Потом элегическое мое одиночество нарушил приезд Софьи Всеволодовны с сыном и моим крестником Николкой Голицыным, и жизнь на некоторое время вошла в матримониальную колею, из которой столь часто выбивали меня приключения. Ялта с приближением сезона стала утрачивать прелесть малолюдства, и я не без удовольствия стал мечтать о долгих прогулках по грибы в окрестностях Малоярославца, столь скрашивавших жизнь в этом постылом городке. Однако вскоре

после возвращения с юга последовали события, заставившие с ним расстаться.

С переводом главврача поликлиники, чрезвычайно ценившего Софью Всеволодовну и ей покровительствующего, сложные служебные обстоятельства побудили ее переменить работу. Она уехала в Москву, мне же представился случай перекочевать в Калугу. Предполагалось, что в дальней перспективе удастся выхлопотать и мое водворение в столицу. Не наступит ли, наконец, «мирное» время, когда прекратятся репрессии, введенные, как известно, из-за предвоенных происков врагов и нападения фашистов...

Домик в Калуге, где я жил, принадлежал пожилой пенсионерке, выросшей в помещичьем доме и сохранившей в обхождении повадки прежних опрятных и щепетильных горничных, не стершиеся и за последующие десятилетия работы на фабрике. Подавая чай, она уставляла поднос по-старинному, не забывая ненужных щипчиков для сахара и салфеточку. Дочь ее работала фельдшерицей в больнице и вечно выглядела озабоченной — я догадывался об осложнениях, вызванных распутыванием старых узлов и завязыванием новых.

И не впервые в памятных мне обстоятельствах последних двух десятилетий наступил уравновешенный период — с потянувшимися друг за другом заполненными работой и незначащими происшествиями днями, одинаково тускло окрашенными в благополучный серенький цвет. С выполненной работой — переводом, рассказиком или комментарием — я отправлялся в Москву, там шел в ставшие «своими» издательства, виделся с нужными людьми, в платежные дни пристраивался в очереди у касс, навещал литературных знакомых, круг которых понемногу рос, затем возвращался в калужскую свою горенку, откуда не было почти поводов отлучаться. С калужанами не завелось никаких связей. Отчасти из-за того, что судьба не сталкивала меня с людьми интеллигентными и симпатичными, отчасти из-за моей необщительности — я попросту избегал знакомств. Всего в один дом хаживал я изредка в гости: к молодой чете, где мне очень понравилась совсем юная жена избалованного, прикованного болезнью ног к креслу одаренного дилетента: он рисовал, играл на скрипке, штудировал философов. Она несла бремя нелегкого ухода за больным и хозяйства, а всякую свободную минуту склонялась над чертежами и планами для городского архитектора. В городе не было ни одной действующей церкви, и ей приходилось ездить в подгородное село. Именно вера помогала

ей оставаться ко всем благожелательной, быть светлой духом и приветливой. Костная болезнь мужа осложнялась наследственностью. Усилий жены не всегда хватало, чтобы удерживать его от отцовского пристрастия к рюмке. Нет, далеко не благополучные лары рассаживались у этого очага, его мрачила тень грустных предчувствий. Оба супруга отлично рисовали, и мне удавалось пристраивать их иллюстрации у знакомых редакторов.

Шла весна пятидесятого года. Не сулящая перемен, исполнения ожиданий. Были, правда, славные воспоминания о недельной отлучке: я ездил под Медынь к старому лесничему, водившему меня на тетеревиный ток, и постоял несколько дивных вечеров на тяге в гремящем птичьими голосами лесу, в виду ярких зеленей за опушками, у говорливых в эту пору ручьев. И что-то от пробуждения природы с его обещаниями и надеждами еще не улеглось во мне, настроение было приподнятым, и я даже с некоторым подъемом работал за своим столом.

Пока проплывшие в окне две тени не заставили вдруг насторожиться и вскочить со стула. Я стал напряженно прислушиваться. И хотя не успел разглядеть промелькнувших прохожих, безошибочно учуял, что они — по мою душу. И в самом деле, в калитку нетерпеливо застучали.

Я растерянно уставился на листы бумаги на столе, лихорадочно соображая, как их спрятать или уничтожить. Стук возобновился. Не было под рукой ни спичек, чтобы их сжечь, ни времени, чтобы вынести на чердак или в огород... Щеколду на воротах ничего не стоило отпереть с улицы — просунь в щель щепку и входи. В глубине комнаты стоял столик с чайной посудой. Я подсунул под скатерть уличающие листки и вышел в сени. Посетители уже отперли калитку и ринулись к крыльцу. Мне тут же был предъявлен ордер на арест, и чекисты приступили к обыску.

Те исписанные странички не были найдены и снова попали ко мне: их, вместе с другими бумагами, хозяйка передала моему племяннику, съездившему спустя некоторое время после моего ареста в Калугу за оставшимися вещами.

Я храню их. Они — о Любе Новосильцовой. Тоскливые мысли о ней, о ее печальном лагерном конце меня преследовали. Эти строки о женском этапе на Кемьской пересылке я воспроизвожу здесь, однако в переводе, так как написал я их по-французски, тем делая их менее доступными для нескромного глаза. Верхний уголок первой страницы отрезан ножни-

цами: там было посвящение Любе. Понятно, почему я его изъял. Вот этот перевод:

СКОРБНЫЙ ПУТЬ

Над пыльными улицами пригорода простерлось чистое светлое небо. Косые ласковые лучи солнца облили землю. Все вокруг — в розовых отсветах закатного золота.

Что за диво эти лучи! Все выглядит празднично: даже вытоптанная тощая травка по обочинам дороги, даже вымостившие ее булыжники и бесконечно длинные заборы, увенчанные колючей проволокой,— все в этом ласковом свете оживает, окрашиваясь в теплые и нежные тона... Но вот из-за поворота показывается что-то плотное и серое, некая сплошная масса, медленно вползающая на дорогу, освещенную закатом. По мере того как она приближается, начинают выделяться плотные ряды человеческих существ. По мощеной дороге медленно разворачивается длинная лента этапа, похожая на застывающую от холода змею. Она еле шевелится, как скованная, движется в полном молчании.

И лучи солнца бессильны придать блеску и оживить эту мертвую процессию, зажечь ласковый отсвет в этой серой массе, вдохнуть жизнь в то, что движется, уже не принадлежа ей. В этой веренице привидений — бескровные, изборожденные морщинами и складками лица, потускневшие, отражающие все оттенки отчаяния взгляды... Головы обернуты изорванными платками, неподвижные зрачки, бесформенные, заношенные одежды на поникших плечах, согбенные спины и безжизненно повисшие руки... Все эти существа движутся как автоматы, словно их охватила неодолимая усталость, отнявшая у них силы, стершая возраст, пол...

Если опустить взгляд, откроется зрелище, быть может, еще более жалкое: тысячи ног, обутых в гнусную обувь — в рваных башмаках, подвязанных веревками, в бесформенных калошах,— обернутых в тряпье, перепачканных грязью, голых, изуродованных, побитых, омерзительных, бесшумно ступающих по камням дороги. Не стукнет по ним каблук, ни одна подошва. Эти ноги принадлежат призракам и ступают мягко, словно ватные ноги кукол...

И все-таки на всех — юбки — пусть засаленные, чиненые,— но они указывают, что это ведут женщин. Над ними висит каменное молчание. Смешок или обрывок шутки прозвучали бы кощунственно — богохульством, разорвавшим сосредоточенную тишину заупокойной службы.

Эти бесконечные ряды автоматов с изношенными пружинами, одни за другими шагают неслышно, словно видение. Это — призраки, еще никогда не порождавшиеся человеческим воображением. Между движущимися ногами робко запутываются лучи заката: они мерцают как свечи, то гаснущие, то вновь вспыхивающие.

Этап, занявший дорогу во всю ширину, подошел к распахнувшимся воротам в опутанной колючей проволокой ограде.

Здоровые смуглые парни, шагающие по бокам этапа, покрикивают и изредка щелкают для развлечения затворами. Они жизнерадостны и ступают пружинисто, бодро...

И присмиревший вечер меркнет. Наползают сумерки...

1949 г.

Глава десятая

ПО ДОРОГЕ ДЕКАБРИСТОВ

— Собирайсь с вещами!

Я только что задремал, подложив под голову холщовую сумку с остатками белья, но тотчас привычно вскакиваю. Осторожно потягиваюсь: сильно болят лопатки и кости таза — успел-таки отлежать.

Нас в камере человек двадцать — этапируемых из разных тюрем. Все мы можем сказать, откуда поступили, но не знаем, куда нас везут. Так, гадаем... и ждем.

Гремит замок. С надзирателем — корпусной со списком. Он с порога привычно четко и повелительно называет несколько фамилий. Никто не откликается. Чертыхнувшись, поспешно убегает. Дверь снова запирают. Мы спешим улечься.

Снова кладу сумку в изголовье, бережно убираю очки и долго примащиваюсь, чтобы меньше врезались доски.

В потолке неяркая лампочка на голом шнуре, окна в решетках наглухо забраны козырьками, не разберешь, день ли, ночь ли. Я окончательно сбился со счета, но какое это имеет значение? Вот если бы удалось часок-другой поспать, было бы славно.

Необычное для тюрем отсутствие тишины. Ни на минуту не затихает шум шагов: то громкие, то отдаленные, они раздаются над головой, доносятся сбоку, как будто с лестниц; иногда топот наполняет коридор. Люди спешат мимо нашей двери, почти бегут. Мы зачем-то пытаемся определить, сколько прогнали мимо человек. Случается, кто-нибудь из проходящих прильнет на секунду к глазку, что-то второпях неразборчиво крикнет — какую-то фамилию. Все настораживаются.

Наступает и наша очередь. Список на этот раз совпадает, и нас выводят из камеры; в коридоре бегло пересчитывают,

ставят в пары и уводят: один надзиратель впереди партии, второй — сзади, подгоняет отстающих. Вверх-вниз по лестницам, вдоль длинных коридоров, опять лестница, снова коридор — уже в другом корпусе. Надзиратель коротко переговаривается с коридорным, тот лениво встает с табуретки, перебирает связку ключей и идет отпереть одну из камер. Мы быстро занимаем места. Те же нары, намордники на окнах, лампочка, свисающая с потолка, и параша. Кто-то развлекается, перечисляя номера камер, в которых уже перебывал за сутки... Еще не конец!

Бывает, кого-нибудь отделяют — выкликнут одного и уведут. Или, наоборот, подбрасывают новичка. Его вяло расспрашивают: откуда, давно ли на пересылке? И вовсе наивно: не встречал ли такого-то? Нет смысла интересоваться. Бывает, пока перегоняют, передний конвоир вдруг заматерится, всех останавливает и гонит назад или резко бежит к двери и ее захлопывает. Это значит — напоролись на встречную партию: перемешаемся, не скоро потом нас разберешь. Но частенько, входя в один конец коридора, видим, как исчезает в противоположном хвост другой партии. А на маршах лестниц всегда гулко отдаются — внизу или над тобой — топот ног, стуканье деревянных чемоданов и терханье мешков о стены, возгласы, подхватываемые эхом пролетов. Бывает, что с коротким списком, чаще с одной-двумя фамилиями, приходят в камеру по нескольку раз: это значит — потеряли.

Такие поиски нам на руку: чтобы напасть на след затерявшегося этапируемого, приостанавливают формирование партий, а именно для этого нас тасуют и перетасовывают по камерам, подбирая в эшелоны, регулярно отправляемые с какого-нибудь из девяти московских вокзалов. Ну что ж, все-таки передышка: поспим.

Сколько? Это никак не определишь — три минуты или час. Все равно не выспишься к очередному «Собирайсь!». Только все больше балдеешь от этой карусели: камера, коридор, лестница; камера, коридор, лестница.

Плохо тем, у кого уцелело барахло, тяжелая одежда: бросить жалко, перетаскивать мочи нет. Да еще стеречь! Тем более что всю эту гимнастику мы проделываем как связанные. На пересылке первым делом отобрали ремни, только что возвращенные железнодорожным конвоем. Без них сваливаются штаны, и их приходится одной рукой поддерживать.

Хорошо бы знать, что сейчас — вечер, глубокая ночь или близко утро: тогда бы раздали пайки, кипяток. Твердо знаю, что привезли меня сюда примерно в полдень: я мельком видел

часы на Курском вокзале, пока нас выгружали из столыпинского вагона.

По городу везли как будто недолго, хотя в этих наглухо закрытых, набитых до отказа «воронках» темно, нельзя ни сесть, ни выпрямиться, и время тянется куда как долго. В Москве нас, правда, не упрессовывали, как случалось в других городах, дюжие развеселые конвоиры, врезавшиеся с разбега плечом в застрявших в задней двери машины.

Огромный, тщательно подметенный двор тюрьмы. С трех сторон — ровные ряды козырьков на окнах в высоченных стенах. С четвертой его замыкает карбас — кирпичная оштукатуренная стена в три этажа высотой. На славу выбелены и корпуса тюрьмы.

На этом дворе непрерывное движение машин, громоздких черных «воронов» и «воронят». Одни выстроились у ворот, сигналят десятку привратников со свистками и кобурами, другие стоят у дверей корпусов: выгружают доставленные с вокзалов партии или сажают отправляемых. Всюду деятельные, самоотверженные, носящиеся рысцой надзиратели со списками и пачками формуляров, стажеры в синих халатах — для шмонов. Идет деловая круглосуточная «отправка-приемка». И многотонные створки тюремных ворот в непрерывном движении: впускают и выпускают, впускают и выпускают.

Так что во дворе круглосуточно:

— Иванов?

— Я.

— Петров?

— Я.

— Иванова?

— Здесь.

— Петрова?

— Тут я.

Из одних дверей, как с конвейеров, выходят и выходят люди — обносившиеся, заросшие, серые, груженные мешками, обшарпанными фанерными чемоданами, узлами, и выстраиваются у машин. Подгонять не надо: их так нашустрили, пока перебрасывали из камеры в камеру, с этажа на этаж, из корпуса в корпус, что они сами по инерции все делают бегом. Все они следуют к месту заключения или отбывать срок ссылки. В другие двери втекает со двора непрерывный, но разбитый на мелкие партии поток — это осужденные или подследственные из районных или областных тюрем. Краснопресненская пересыльная тюрьма обслуживает только провинцию — о сто-

личной жатве заботятся Бутырская и прочие тюрьмы Москвы.

Для привозимых — обязательная баня, с последующим стоянием в очереди за барахлом, в сто первый раз прожариваемом в вошебойках. Потом беглая проверка и — странствование по этажам пересылки с бросками, паузами и остановками.

Надзиратели сбиваются с ног, хрипнут от мата. За оградой и во дворе сигналят «вороны». Тут круговорот, чертов омут, Мальстрём, вбирающий с областей ручейки и потоки, чтобы, перемешав и рассортировав, снова извергнуть вон... И так ежедневно, без праздников и выходных, неделями и месяцами подряд. Длинными годами. А народу все много, как ни прожорлив этот спрут.

Долго ли тут задерживаются? Да по-разному: кто отделывается сутками, иной застревает на недели и даже месяцы. Мне как-то все равно — задерживаться здесь или следовать дальше. Разумеется, тут беспокойно, одуряющая суета, но ведь и впереди — не родной дом.

Течения и сквозняки пересылки подхватили и кружат — в глазах рябит от ступеней и железных ограждений, проволочных сеток, решеток. Лязг и грохот дверей доносятся и сквозь сон. Иногда слышу, что выкликают мою фамилию, и оглядываюсь: почему никто не отзывается? Нет такого... Это я совсем закружился — до одурения.

Изредка кому-нибудь в камеру приносят передачу: родные разыскали. Бывают и свидания. Я гадаю: мог ли кто из моих узнать, что меня вывезли из областной тюрьмы? Вряд ли. Еще в Калуге я узнал, что Софья Всеволодовна в отъезде, тесть скончался... Так что «не надейся и не жди!», как поется в песне. Тем более что все сыты по горло моими приключениями, не стало мочи меня опекать... И все-таки червячок гложет: при всяком вызове я настораживаюсь.

Лязгают замки, хлопают решетки, коридоры и лестницы гудят от тысяч ног — подлинная симфония ленинизма в действии! И отлично, что все мое достояние — полупустая сумка с бельем. Едва хлестнет из глазка «Собирайсь с вещами!», я подхватываюсь и сажусь на край нар в боевой готовности.

* * *

Калужское мое сидение сложилось не слишком благополучно — я почти сразу попал в тюремную больницу и большую часть времени пробыл в ней,— но в смысле следственных волнений оказалось непревзойденно спокойным. Едва ли не в день ареста меня вызвал смуглый, коротконогий майор Табаков —

я твердо запомнил фамилию — старший следователь отдела, ведущий мое «дело».

— Хочу с самого начала поставить вас в известность,— любезно сказал он,— что мы вас ни в чем не обвиняем, но оставить на воле не можем: вы — повторник, и мы вынуждены вас изолировать. Дадим вам срок — он будет, очевидно, минимальным. Не могу пока сказать, будет ли это лагерь или дальняя ссылка — это определит Москва. Сколько продлится? Затрудняюсь сказать: вас ведь много... Но рекомендую — наберитесь терпения, вы — не новичок.

Я не взорвался, не стал вопить о беззаконии. В самом деле, проводится продуманная государственная мера — вылавливаются все бывшие зэки, постепенно просочившиеся в центральные области, и отправляются по давно заведенному на Руси порядку «dans le pays de Makar et de ses veaux», как коверкал еще у Достоевского Степан Трофимович исконную нашу поговорку о пределах, недоступных для Макара и его телят. Даже изобретена формулировка — «повторник»! Чем она уступает «пш» или «чсвн», какие я приводил в своем месте? У меня за плечами четыре судимости, вполне справедливо влепить мне срок, раз я все не угомонюсь, продолжаю бременить землю...

И я заговорил о своих делах — прежде всего о лечении. Потребовал, чтобы было доставлено с квартиры и отдано тюремному врачу лекарство — бесценный по тому времени, добытый для меня с великим трудом Корнеем Чуковским и писателем Треневым, сыном драматурга, пенициллин. Майор не отказал, и к моей хозяйке был отряжен сотрудник, но двадцати драгоценных ампул не оказалось: фельдшерица — увы! — знала им цену. То был за всю мою долгую зэковскую карьеру всего второй — после истории с Сыромятниковым в Архангельске — из трех случаев, когда моим бесправным положением мошеннически воспользовались. Третий оставил еще более гадкое воспоминание, потому что присвоила себе мои деньги фрондирующая дама, размножавшая на машинке неопубликованные стихи Пастернака.

Марина Барановская сделалась моей присяжной машинисткой. Когда оказалось, что издательство не может заключить договора с «беспаспортным» на переведенную мною «Историю Ацтеков» Брайяндта, я попросил Марину выступить в качестве подставного лица. С издательством все уладилось, оно даже согласилось опубликовать книгу без упоминания фамилии переводчика, и с этим я... сел в Калужскую тюрьму. Это не помешало моим ацтекам увидеть свет, однако «les absents ont

toujours tort» — отсутствующие всегда не правы, и на титульном листе было выставлено «перевод Марины Барановской». И она же положила себе в карман весь гонорар — до копейки! С брезгливостью вспоминал я потом нервические капризы эстетствующей машинистки, прикрывавшей игрой в утонченность чувств элементарную подлость.

Но это я узнал много позднее, из прекрасного далека, а пока коротал дни в грязной и запущенной, переполненной областной тюрьме. За те полгода, что я в ней пробыл, ко мне не более двух-трех раз приезжал следователь, что-то у меня спрашивал, чтобы создать видимость следственного делопроизводства — вложить в соответствующую папку протокол допроса... В дело шли даже наши диалоги по поводу месяцев, проведенных Софьей Всеволодовной в занятом немцами Малоярославце, словно я не был в то время в лагере!

Пришел конец и этой игре, которую вели, кстати сказать, на высоком уровне законности: знакомили с «материалами» дела, предлагали встречу с прокурором, заставляли расписываться в санкционированном юридически надзором продлении срока следствия... Чекистский балаган закончился постановлением Особого совещания, приговорившего меня к десятилетней ссылке в отдаленных районах СССР. Десятка была в те годы и вправду «минимальным» сроком!

Я, разумеется, обрадовался. Обстановка в тюрьме была тяжелой, мои силы таяли. В камерах бесчинствовали уголовники, начальство им мирволило, и случаи насилий и издевательств не переводились. Престиж старого соловчанина несколько ограждал меня от шпаны, да и отбирать было нечего; но я слабел, хирел, и условия пугали. С незалеченным туберкулезом гортани отправляться на Север выглядело страшновато, однако во мне тогда стали снова оживать надежды на одолимость зла. И было ощущение, что вопреки всему обо мне печется Благая Сила. Так что я вовсе не в безнадежном настроении отправился на этап, о котором знал только, что путь предстоит далекий и трудный.

Он начался с Ярославского вокзала, где сколоченный солидный этап — более шестисот человек — погрузили в теплушки. Разумеется, и тут от нас скрывали место назначения, но мы теперь могли догадываться, что путь наш — на Восток, очевидно, за Урал.

Доставить до места не торопились — везли с дневками во всех больших городах, в тюрьмы отводили пешими колоннами, по проезжай части улиц. Конвоиры с примкнутыми штыками сурово покрикивали не только на нас, но и на глазев-

ших горожан, замешкавшихся отойти в сторону. Право, воскресни какой-нибудь полицейский чин, отошедший в лучший мир еще при Александре III, и попадись ему на одной из бесконечно длинных привокзальных улиц наш этап, он бы порадовался живучести традиций тюремщиков: все те же нестройные ряды затурканных арестантов, те же бравые солдатушки в серых шинелях и те же окрики и команды, приправленные сочной руганью. Он бы даже восхитился (или оторопел) разворотом деятельности своего ведомства — такие многолюдные партии ему видеть не приходилось никогда. Но, может быть, отчасти и огорчился: не было шашек наголо и аккомпанемента — кандального звона.

Мы шагали, погруженные в угрюмое свое безразличие, про себя кляня канитель с высадками из вагонов, пыльные булыжные мостовые, осточертевшие процедуры перекличек, обысков, санобработок. И недосягаемой мечтой мерещился эшелон прямого назначения, который мчал бы день и ночь до места! Но такого для рядовой советской арестантской скотинки не было, и я побывал в тюрьмах всех областных центров Западной и Средней Сибири, в Вологодской и Свердловской. И мог бы по свежим следам составить славное описание имевшихся там тюрем — от старых, со сводчатыми кирпичными потолками в камерах и с выстланными каменными плитами коридорами, перестроенных, обновленных и расширенных, до воздвигнутых тщанием Ведомства, рассчитанных на неиссякаемые многотысячные потоки арестантов,— многоэтажных, с гулким колодцем и беспотолочными коридорами, обслуживаемыми центральной вахтой...

Теперь все это стерлось в памяти, отложилось общим тягучим воспоминанием о двухмесячной дороге в тесноте, сутолоке, с круглосуточным дерганием в изнурительном, озлобляющем многолюдии ни одной секунды наедине! И были мы все настолько обезличены и обколочены этими бесконечными тяготами, что стали все как бы на один покрой: орда забитых нерассуждающих людей с вытравленным чувством собственного достоинства, но живучих и цепких, неспособных возмутиться и протестовать — разве на лакейский манер исподтишка про себя огрызнуться... Было бы даже невозможно ответить на вопрос: кто такие эти набившие два десятка теплушек люди? Разные возрасты, фигуры, масть, но до скрытой обличием этапируемого арестанта сути не доберешься...

Помню, какой неожиданностью было узнать, уже под конец пути, в средневозрастном соэтапнике, обряженном во что-то заношенное и мешковатое, ничем решительно не выделяв-

шемся, с неряшливой щетиной на подбородке, московского инженера, сына предводителя дворянства одного из уездов Тульской губернии!

В строю на перекличке я услышал, как стоящий рядом отозвался на фамилию Свентицкий, хорошо мне запомнившуюся по разговору с кем-то из старших детей Толстого. Они рассказывали, что, назвав одного из лиц в своем романе, отец воспользовался фамилией знакомого ему помещика Крапивенского уезда, служившего по выборам. Я рискнул спросить. Моя догадка подтвердилась, хотя и шепотом, хотя и с оглядкой. Сергей Владимирович принадлежал той породе вышколенных советских специалистов, что научились носить маску безоговорочной преданности вождю и партии, никогда не откровенничали и, как позорное клеймо, утаивали принадлежность к прежнему «благородному» сословию. Надо было, должно быть, съесть пуд соли с таким Свентицким, чтобы распознать в нем следы воспитанности, некоторую общую, хотя и очень поверхностную культуру, запрятанные за грубостью манер и выражений, свойственных прорабу-строителю, деликатность и даже остатки кастовой предубежденности. Нам пришлось прожить с ним несколько лет в одном селе, и у меня были случаи убедиться в отзывчивости этого порядочного человека, принявшего обличие советского бурбона.

Красноярская тюрьма оказалась последним пунктом нашего железнодорожного путешествия. Отсюда, после растянувшегося больше чем на месяц ожидания, меня отправили — уже по Енисею — на Север.

Было нечто символическое в том, что нами набивали трюмы старого колесного парохода, некогда доставившего Ленина в минусинскую ссылку и носившего имя Ульяновых («Мария Ульянова»). Судно, сподобившееся иметь своим пассажиром ссыльного поселенца Владимира Ульянова, стало, не расставаясь с его именем, верно служить делу обращения Сибири в гигантскую каторжную территорию. Став этакой баржей Харона, перевозившей в суровые северные пределы бессчетные тысячи неприкаянных душ, целые группы населения, даже народности, расправами с которыми власть укрепляла свою непререкаемость... Подлинное, прежнее название судна «Святитель Николай» позже было ему возвращено, когда пароход стал экспонатом музея революции в Красноярске. Оно стоит на приколе у городского причала, выкрашенное и пустое, с русским трехцветным флагом на корме и выведенным золотыми буквами названием на носу. Но чудо возвращения христианского имени — увы! — не символ и не

обещание: уже никогда не вернется на Русь Чудотворец Мир Ликийских...

Я задаюсь праздным вопросом: открылись бы у советских людей глаза, если бы рядом с золотыми буквами названия стояли цифры — шести-, а вернее, семизначные, указывающие число невинных людей, отправленных на этом судне за сталинское время в лагеря и ссылку?

Сплывали мы по Енисею несколько дней, но видеть великую сибирскую реку не пришлось — на палубу нас не выпускали. Подобравшись по низким нарам вплотную к иллюминатору, изогнувшись под нависшим потолком, можно было, прильнув к толстому мутному стеклу, увидеть лишь крохотное пространство воды, с воронками и узорами стремительного течения. Было тесно, смрадно и тоскливо. Этот последний участок пути казался особенно нудным и длинным.

И наконец свершилось: пароход пришвартовался у очередной пристани, и нам скомандовали выходить с вещами. В густой темноте ночи — это было в исходе сентября — за пределами тускло освещенных мостков дебаркадера ничего увидеть было нельзя. Где-то в кромешной тьме под ногами всплескивала струя. Нас завели в пустые пассажирские помещения пристани и там оставили до утра.

Торопившиеся восвояси конвоиры подняли этап затемно и, выстроив в последний раз и пересчитав на пустыре против пристани, повели по пустынной улице, унылой и неприветливой. Темные избы, глухие ворота в бревенчатых заплотах, бродячие тощие собаки, дощатые узкие мостки без единой живой души... Против одного из этих слепых домов попросторнее, с вывеской «комендатура МВД», нас остановили, сгрудив, скомандовали «вольно», и конвоиры, отойдя в сторону, закурили и по всем признакам приготовились ждать. За нами почти не приглядывали, нас не одергивали, как бы наперед зная, что сбежать тут некуда,— край света. И мы порасселись, кто где нашел: по краям мостков, на завалинках ближайших изб, вытащенных из поленниц чурках.

Не заставила себя ждать и главная персона ожидаемого заключительного действа — местный комендант, которому предстояло поставить подпись под актом приемки нескольких сот ссыльных душ. Это был тщедушный, курносый человечек, облаченный в длинную кавалерийскую шинель до пят, сидевшую на нем подрясником. Выступал он, впрочем, важно, с большим пальцем правой руки, по-генеральски заложенным за борт шинели, и разглядывал нас с начальственным прищуром.

Пока всех по одному выкликали, подводили к столу, где мы расписывались в ознакомлении с обязанностями ссыль и карами за нарушение режима, вокруг нас стали собират местные жители, обряженные в большинстве как наш брат арестант — в телогрейки и бушлаты. Появились и предс тели леспромхоза, смахивающие на лагерных наряд Они тотчас приступили к отбору рабсилы: с нами прибы списки лиц, заранее назначенных на лесозаготовки Не бы включены в них единицы — в том числе и я. То ли для удоб ства надзора, то ли еще для чего, но нам было опреде оставаться в селе и самим подыскивать себе заработок. Свен тицкого тут же увел с собой начальник районной стройкон торы, успевший даже подыскать для него жилье: инженеры тут котировались. Я спокойно поглядывал на происходящее, сидя в сторонке со своей котомкой, решив довериться не направляемому ходу событий: впереди целый незанятый день, погода хоть пасмурная, но мягкая, хлеб в мешке есть, можно ничего не форсировать и ждать, как распорядится судьба... Так и произошло. Когда нас оставалось совсем мало — почти всех увели, а кто убрался сам,— ко мне обратилась женщина, предложившая у нее поселиться; подошел познакомиться и местный врач, незабвенный Михаил Васильевич Румянцев.

* * *

На живую нитку сколоченная столярка — дощатая при строечка с земляным полом, прилепившаяся к одному из подсобных строений опытной сельхозстанции на берегу Галактионихи, впадающей у села в Енисей речки,— заполнена заготовками: выстроганными брусками с пазом и фаль с аккуратно запиленными на концах шипами. На полу ворох пахучих стружек; возле верстака они вспенились прибойной волной, затопившей рабочее место. При каждом дви жении фуганка я снимаю с него теплую свившуюся ленту и сошвыриваю в кучу.

Мне заказали связать несколько десятков парниковых рам. Работа спорится: я размечаю рейсмусом, отпиливаю, строгаю, долблю, как заправский столяр — очень и очень «средней» руки! С благодарностью вспоминаю уроки ручного труда в Тенишевском училище в Петербурге, где мне пришлось впер вые взять в руки стамеску и рубанок; доброе меланхолическое лицо нашего деревенского столяра Михайлы, у верстака кото рого мы, мальчики, были готовы провести полдня, дожидаясь, когда он даст нам побаловаться своим инструментом. И уроки

тучного Якова Семеновича в училище, и наставления Михайлы (даст лучковую пилу, обхватит своей лапищей руку и начнет водить по запилу, приговаривая: «Держи крепче, не заваливай вбок!» — и ты как пойманный. И как же рад, когда наконец упадет опиленный кусок доски, но и горд безмерно!) в какой-то мере способствовали тому, что я вот теперь с грехом пополам вяжу рамы, табуреты, сооружаю прилавки и перегородки в рыбкоопе.

Столярной работы в селе, к сожалению, немного. И я, с тех пор как меня привезли в Ярцево, уже переменил не одну профессию. Предполагающую, само собой, использование мышц и пребывание на свежем воздухе: ни в какие конторы ссыльных не берут, разве найдется всесильный блат! Пришлось мне сторожить плоты на берегу Енисея и работать конюхом в лесничестве. А так как оно рядилось доставлять ярцевскому начальству воду, то я с год развозил ее по домам. Чтобы вывезти бочку из-под береговой кручи, приходилось не только понукать лошаденку, но и помогать ей изо всех сил, взявшись за тяж. Много позднее одна дама, милейшая жена доктора Румянцева (эта чета сильно скрасила мое ярцевское житье и помогла выжить), признавалась, что случалось ей поплакать, увидев меня — в дворницком фартуке и застиранной гимнастерке — восседающим на колеснях с бочкой или наполняющим очередной хозяйке подставленные ведра... Чего бы, кажется? Как раз в ипостаси водовоза я вспоминаю себя без особой горечи: чистые стремительные речные струи, обтекающие, журча, островок моих колесней и стоящую по брюхо в воде лошадь; сверкающая против солнца гладь Енисея, конек, с которым мы так старательно одолевали кручу,— словом, библейской или античной простоты картинки... Были, правда, ненастье, обмерзающий на ветру черпак, темнота и недомогание, но их в памяти оттеснили как раз идиллические воспоминания.

Пробовал я плотничать и даже пошел как-то в напарники к рыжему и ражему кержаку, нанявшемуся поставить купленную Свентицким старую избу, подрубив несколько нижних венцов. Но строителем наш хозяин был искушенным, дом ставил для себя и рубку «в охряпку», как он выражался, не признавал. Самозваный плотник был изобличен и изгнан, что и положило конец моей деятельности на этом поприще. Впрочем, работа по-настоящему тяжелая была мне не по силам: прежней выносливости не стало. И я очень скоро познакомился с районной ярцевской больницей.

Правда, сама собой чудесным образом исчезла хрипота,

с которой не справились лечение в туберкулезном институте и Крым, но стала все настойчивее беспокоить язва желудка; как-то долго продержала на больничной койке желтуха.

Чтобы более не упоминать о своих невзгодах, укажу, что жилось долгое время в Ярцеве скудно: приходилось и в немилостивые енисейские морозы щеголять в драповом стареньком пальто, не было и теплой обуви, заработка не всегда хватало на самый непритязательный стол и оплату квартиры. Поселен я был в отгороженном тесовой перегородкой закутке избы доярки Анисьи, уведшей меня из комендатуры. Была Анисья вдовой, невесть как колотившейся с малолетними детьми. Убедившись, что ни пастьба лошадей, ни подряды на топорные строительные работы не способны мало-мальски обеспечить, я пытался восстановить порванные связи с московскими издательствами, разумеется, через подставных лиц. Мечтал, как одержимый, о двух листах переводов в месяц: они дали бы мне впятеро больше, чем я мог выколотить из неподатливых сибирских работодателей. Но тут меня постигло одно из самых тяжких когда-либо доставшихся на мою долю огорчений. Почта доставила мне письмо дочери — ее матери не было в ту пору в Москве,— написанное как бы от лица и всех прочих родичей, в котором четко стояло, что трудно живется теперь всем, у каждого своих забот по горло, так что мне не следует прибавлять тяжести хлопотами о себе: всякий должен устраиваться как может. «Так что не обессудь,— заключала она едва не сразившее меня послание,— а помогай себе сам, как умеешь...» Что ж, заботы обо мне и впрямь длились уже третье десятилетие, пора было, как говорят, и честь знать!

По счастью, у меня завелись друзья в Ярцеве, они и выручали. Никогда не забуду, как мою каморку — я лежал с высокой температурой — заполонила богатырская фигура доктора Румянцева. Он посидел, ободрил, выложил на стол какие-то лекарства, а потом, смущаясь, и завернутый в бумагу кирпичик белого хлеба: «Шел мимо пекарни, прихватил, еще горячий, вам нельзя сейчас выходить...» — и поторопился уйти. Владимир Георгиевич Бер, попавший в Ярцево после десяти лет тайшетской каторги — петербуржец, мой ровесник, ученый-энтомолог, с которым мы впоследствии коротко и дружески сошлись,— принес мне сшитые из овчин чулки; Свентицкие (к Сергею Владимировичу приехала жена — дочь моего соловецкого знакомого Буевского) по воскресеньям угощали меня обедом...

Я, кроме того, стал постепенно переходить на стезю трап-

пера, то есть рыбачить и охотничать. Отвоевание права этим заниматься шло очень медленно. Надо было получить разрешение коменданта отлучаться из села — сначала в дневное время, потом с ночевками,— завести ветку — долбленую охотничью лодочку. А там — добиться права ходить в тайгу и, наконец, разрешение на ружье. Ссыльным нельзя было обзаводиться огнестрельным оружием, и я длительное время промышлял ондатру и белку капканами, ставил петли на рябчиков и зайцев, настораживал в борах слопцы на глухарей. Но вот заготконтора премировала меня двустволкой за отличное качество сдаваемых шкурок. Тут комендант, посоветовавшись с начальником милиции, вызвал меня к себе, подробно втолковал, как быть достойным выходящей мне льготы, и милостиво выдал удостоверение на пользование ружьем. Со временем мне разрешили завести и малокалиберную винтовку, что сравняло меня с местными промышленниками. И я стал жить сдачей пушнины, добыванием боровой дичи да рыбной ловлей. То были занятия по душе, и тяготы таежной жизни и сейчас в моей памяти овеяны непреходящим обаянием общения с нетронутой природой.

О годах, прожитых в ярцевской ссылке, я уже не раз писал в своих книгах, из которых редакторы, само собой, вымарывали все, что могло подсказать читателю истинные причины моего появления на Енисее, любой намек на ссылку. За этим следили бдительно: наторевшая цензура научилась расшифровывать потаенный смысл в самых невинных подробностях. И здесь мне не хочется повторяться. Я ограничусь беглыми заметками о том, что и помыслить нельзя было рассказать в легальной советской прессе.

Веснами, еще по льду, я забирался на остров, полностью отрезанный от мира после вскрытия реки и во время половодья. И пока сюда на заимку не перебирались пастухи со стадом, я был тут полным хозяином. Владения мои простирались верст на шесть в длину и две-три в ширину. Я караулил в полузатопленных тальниках гусей, стрелял на разливах уток, перегораживал протоки сетями. Отсутствие людей — это ощущение полной безопасности, недосягаемости для их козней.

Правда, и на селе жизнь протекает сравнительно мирно и бестревожно. Распростертая над страной зловещая сталинская тень здесь как бы менее застит свет, не маячит над таежным безлюдьем; душный туман страха, придавленности и немоты, окутавший советских людей особенно плотно с тридцатых годов и не развеянный их подвигом в войну, этот туман здесь, за тысячи километров от Москвы, как бы разре-

жен. Ссыльным в далеком енисейском селе кажется, что о них забыли, не станут больше мытарить, и одни отчаянные пессимисты пророчат новые каторги. Но Робинзоном на необитаемом острове я чувствовал себя в полной безопасности от вездесущих, явных и тайных, подлинных и мнимых агентов всемогущей госбезопасности.

...В свободное время и хорошую погоду мы нередко прогуливались по тропке, бежавшей вдоль прибрежного угора над Енисеем, с Николаевым — потомственным петербургским пролетарием, вступившим в партию еще в 1903 году и испившим до дна чашу тридцать седьмого. Мне приходилось замедлять шаг, часто останавливаться, чтобы дать моему спутнику перевести дух. Здоровье Николая Павловича из рук вон плохо, но он не унывает — и это после десятки в самых страшных — Колымских! — лагерях.

— Вот увидите, мы с вами еще выберемся отсюда — по невским набережным пройдемся, поедем в Мацесту лечиться. Нашли что сказать — для могилы место себе облюбовал! Я на добрый десяток лет вас старше, и то думаю дома побыть, родные места увидеть. Все выдержали — теперь как-нибудь дотянем. Быть того не можем, чтобы гангстеры вроде Берии...

— Тише вы, неугомонный! — останавливаю его я.

— Эк вас вышколили! Что — рыбы нас в Енисее подслушают? Одни мы тут с вами.

Я считаю Николаева неосторожным, но не в его натуре молчать. Этот человек отдал жизнь тому, что считал правдой. Когда-то он самоотверженно оборонял Петроград от Юденича, в гражданскую войну командовал частями Красной Армии, затем возглавлял крупные предприятия в родном Питере. Бессменный член, а потом и секретарь Ленинградского обкома, Николаев знал о многом, что творилось в годы, когда страна стала захлебываться в потоке казней, расправ и насилия. Непроизвольно нервничая и шаря глазами по пустынному берегу, Николай Павлович рассказывал про убийство Кирова, очевидцем которого ему пришлось быть в Смольном. И я помню, как верил и не верил в изощренное вероломство и лицемерие убийцы, оплакивавшего друга-соперника, убитого по его заданию.

— Меня больше года лупили следователи всех рангов. Догадывались, что я все знаю. Добивались признания, чтобы расстрелять: ведь Сталин следил, чтобы были уничтожены не только организаторы, исполнители и свидетели убийства, но и те, кто вел по нему следствие, потом и те, кто отправлял

на расстрел первых палачей. Не знаю, как я уцелел... Думаю, не было ли все же в органах людей, пытавшихся кое-кого спасти?

Николаев говорил, что непременно напишет воспоминания. Вряд ли ему пришлось это сделать — смерть настигла его почти сразу после возвращения в Ленинград. А жаль — это была бы летопись честно прожитой жизни! Человек этот вряд ли когда запятнал себя поступком против совести, был верен своим представлениям о правде и справедливости. Николаев был членом профсоюза печатников со времени его основания в начале века, принадлежал к старой рабочей интеллигенции, и это сквозило в его обличии, речах и поведении: то был человек терпимый, внимательный к людям, скромный и благородный.

* * *

Далеко не весь подневольный люд, пригоняемый на Енисей, умел приспособиться и выжить: Север встречал сурово и неприветливо. Многие не выстаивали. И не непременно южане: на приезжих влияла вся тяжесть условий и обстоятельств — начиная с непривычного климата и пищи до пережитого душевного потрясения.

В Соловецкий лагерь в конце двадцатых годов привезли как-то партию якутов — человек триста. Эти крепкие смуглые люди в оленьих доспехах были нагружены вышитыми сумками и торбасами, ходили в легких пыжиковых парках и унтах, словно только что вышли из тундры. И эти-то жители высоких широт, привычные к лютым стужам, не выдержали зимовки на острове: их пригнали в августе, а к весне не осталось в живых ни одного якута — всех скосили легочные заболевания. Поумирали они не только из-за непривычной пищи — их погубил влажный морской воздух: сравнительно мягкая беломорская зима с постоянными оттепелями и сырыми ветрами оказалась для них роковой.

Странно и жутко было видеть этих выросших у полюса холода людей, одетых с ног до головы в меха, чахнущих и пропадающих среди снежной зимы, почти на той же параллели, что и Якутск, на острове, освещенном теми же сполохами, что их стылая лиственничная тайга!

На Енисее та же участь постигла калмыков.

Я не знаю, какова была численность этого народа, но из приастраханских степей вывезли всех калмыков, до единого, от мала до велика. Их целыми семьями грузили в вагоны и отправляли на восток. Массовая эта операция была произве-

дена, если не ошибаюсь, в 44-м году, под гром очередных салютов.

Часть калмыков была отправлена на Енисей — их расселяли по реке вплоть до Туруханска и ниже; несколько сот человек попали в Ярцево. Трудоспособных угоняли на лесозаготовки, отдавали в колхозы, преимущественно на работы, связанные с конями. Калмыки умело с ними обращались, но во всем остальном оказались трагически неспособными примениться к новым условичм, пище, климату, укладу жизни...

Бойкими смуглыми бесенятами носились первоначально отчаянные калмыцкие мальчуганы на неоседланных и необратанных мохнатых лошаденках, пригоняя их с пастбища и водопоя: со свистом, гортанными степными криками, так что только завидовали и дивились местные подростки, сами убежденные, лихие конники. А вовсе маленькие калмычата с живыми черными, как у куликов, глазами и плоскими лицами выжидательно смотрели на матерей, когда они пойдут доить кобылиц и принесут пенистого, с острым запахом молока. Однако — не дождались... Кто скажет, отчего стали чахнуть и помирать в приенисейских селах калмыцкие дети? Или и впрямь нельзя было обойтись без привычного кумыса? Или не хватало им по весне свежих цветущих лощин в тюльпанах, жаркого душистого лета, напоенного пряными ароматами высушенных солнцем степных трав?.. Все больше детей, а потом и взрослых калмыков стали попадать в больницу. Ни внимательные русские врачи, ни ласковые сестры в белых косынках, сами заброшенные на чужбину, а потому старавшиеся помочь от всего сердца, ничего не могли сделать... Калмыки лежали на больничных койках тихие, ужасно далекие со своим малоподвижным лицом и чужим языком, горели в сильном жару и помирали. Одного за другим их всех — детей и подростков, девушек, женщин и мужчин в расцвете лет, стариков — попереносили на голые сибирские кладбища, позакапывали в землю, так и не признавшую их за своих сынов.

Когда меня в 1951 году привезли в Ярцево, трагедия калмыков подходила к концу. В селе их оставалось наперечет. Вскоре узналось, что и по другим деревням перемерли все степняки. И настал день, когда в нашем Ярцеве уцелела всего одна женщина — последняя калмычка. Все ее знали, жалели, но помочь ей уже было нельзя.

Мы с ней вместе караулили на берегу плоты — она от рыбкоопа, я — от другой организации. Калмычка приходила на дежурство с опозданием, неряшливая, разгоряченная и недружественная. Мы были одни меж бревен, устилавших при-

брежный песок, против пустынной реки и чуть видных за гребнем яра коньков крыш села. Она меня словно не замечала, усаживалась где-нибудь на плоту и понуро сидела с засунутыми в рукава телогрейки руками, потом задремывала, свесив голову, обвязанную платком не по-нашему. Так было под утро. С вечера она обыкновенно скороговоркой непрерывно бормотала что-то на своем языке. Наш она совсем не знала, выучила всего несколько слов. Калмычка иногда негромко и на одной заунывно-пронзительной ноте пела, долго и тоскливо, и это походило на безответную жалобу.

Моя напарница много курила, свертывала себе нескладные цигарки из газетной бумаги, просыпая при этом махорку, глубоко, не по-женски, затягивалась. А когда кончался табак, подходила ко мне и хрипло выговаривала: «Курить дай».

Прежде она никогда не пила и исправно ухаживала за овцами на скотном дворе. Поначалу будто бы и не очень тревожилась, когда умирали ее соплеменники, редко навещала больных и тем более не ходила на кладбище. Ее привезли в Ярцево со стариками — родителями убитого на войне мужа. Из замкнутой отчужденности — в деревне всегда все известно, а потому узнали, что она безутешна после потери мужа — вывела, однако, вдову не утрата родных, а болезнь чужого мальчика, матери которого она стала помогать за ним ходить. Носила ему парное овечье молоко, доставала что могла из лавки. Мальчуган умер. И тогда «последняя калмычка» впервые прибегла к спирту, по наущению сердобольных соседок, давно зарившихся на доставшиеся ей от свекра со свекровью сундуки с шелковыми одеялами и пуховыми шалями. Одинокая калмычка скоро сбилась с круга, забросила работу и с каким-то ожесточением стала прогуливать что только попадало ей под руку. И за короткое время спустила все свое добро.

И в рыбкоопе «последняя калмычка» продержалась недолго — не могли держать сторожиху, постоянно пропускавшую дежурства и уходившую с них когда вздумается. У нее уже ничего не осталось, она обносилась, бедствовала. Хозяйки неохотно пускали ее к себе жить...

Мне однажды пришлось видеть, как вырвалось у «последней калмычки» наружу сильное чувство, страстная тоска, на миг поборовшая всегдашнюю угрюмую замкнутость. Это было на восходе, когда должно было вот-вот показаться из-за лесов правобережья солнце. Перезябшая за ночь калмычка забралась на угор повыше, в полгоры, караулила первые лучи.

И когда они наконец хлынули, ласковые и яркие, она внезапно оживилась, стала подставлять им, не жмурясь, лицо, запрокидывая голову, словно устремлялась навстречу их жару и свету.

Я стоял внизу, на песке, в тени.

— Иди, иди! — поманила меня к себе «последняя калмычка» и быстро-быстро залопотала на своем языке, с живостью показывала на солнце и куда-то вверх по Енисею. Не понимая слов, я знал, что она рассказывает о своем юге, о своем жарком щедром солнце, прокалившем душистый простор ее степей и давшем жизнь ее народу. Глаза калмычки блестели, на смуглом бескровном лице скупо показалась краска.

— Это плохо, плохо! — вдруг горько по-русски заключила она и сразу потускнела. Глаза ее угасли, и резко обозначились ранние морщины на облитом утренним солнцем лице.

«Последняя калмычка» внезапно покинула Ярцево. Ходили слухи, будто ей разрешили переехать в Енисейск, где еще были живы несколько ее земляков. Ничего достоверного о ее дальнейшей судьбе так и не узналось.

* * *

У моей хозяйки Анисьи Ивановны было пятеро детей. Только старший, Анатолий, работал, как и она, в колхозе. Веня, Нина и Минька ходили в школу; самый младший, большеголовый Вася, был дома. Анисья, женщина лет сорока, рано состарившаяся и заезженная нуждой, ежедневно по три раза ходила на ферму — километра за полтора — доить и обихаживать свои пятнадцать коров. Ни разу — за все годы, что я прожил в этой семье! — не было у Анисьи Ивановны выходного дня... Ни разу — будь то майские праздники — не пропустила она дойки, не отпрашивалась с работы, не ссылалась на ломоту в суставах, не дававшую ей уснуть по ночам. Долгих три года, в лютые зимние стужи и темное осеннее ненастье, она ежедневно подымалась до света и убегала на скотный двор, в куцей своей телогрейке, бумажном платке и чиненых сапогах, суровая и озабоченная.

А вечером, после третьей дойки, Анисья торопилась в контору своего колхоза «Ленинский путь» и там задерживалась подолгу. И эта ее конторская повинность была намного унылее и даже страшнее неизбывного ярма на ферме. Сюда она приходила выпросить — вернее, высидеть — аванс в три рубля — тогдашнюю цену двухкилограммового кирпичика черного хлеба, без которого нельзя было ей возвращаться к детям.

Колхозники «Ленинского пути» в те поры на трудодень не получали более или менее ничего, и председателю было и впрямь нелегко изыскать, в счет каких зыбких перспектив удовлетворить просьбу доярки. И с другой стороны, было невозможно отпустить мать пятерых детей, солдатскую вдову, не выписав ей трояк, с которым бы она могла забежать в сельпо. Занимаясь очередными делами в своем кабинете, председатель ни на миг не забывал про молча и упорно дожидавшуюся его просительницу. Следует, к чести его, сказать, что, поворчав и отведя душевную досаду криком: «Ходите все ко мне, а я где возьму?», он неизменно кончал тем, что подписывал бумажку. И истомившаяся Анисья бросалась к кассиру, потом опрометью бежала в лавку, боясь не поспеть до закрытия. На следующий день все начиналось сначала.

Немыслимо колотились в те годы ярцевские колхозники. Трудная, подневольная их доля особенно оттенялась тем, что в селе — районном центре — жило начальство, размещались конторы леспромхоза, рыбтреста, торговых учреждений, словом, было немало сытого, вполне благополучного народа, работавшего вольготно.

Жители этого старинного села в давние годы мало занимались хлебопашеством. Их основным занятием были промыслы: рыбный и пушной. Коров держали по многу, правда, малоудойных, мелких, но неприхотливых к корму и условиям зимовки. Теперь даже трудно взять в толк, как это, налаживая новые формы жизни в этих краях, не направили усилия на развитие животноводства и таежных промыслов, то есть укоренившихся и проверенных вековым опытом занятий, наиболее выгодных и надежных в условиях таежного Севера. Весь этот опыт был перечеркнут во имя погони за химерой: надо было доказать, что и «на льдине лавр расцветет» — стоит только выработать конституцию и припугнуть!

Припоминаю деятельность опытного опорного пункта Института полярного земледелия в Ярцеве в начале пятидесятых годов как своего рода рекорд очковтирательства. Директор Бастриков хлопотал о фруктовом саде; его супруга, тоже агроном — и даже с ученой степенью! — взяла на себя не менее сенсационное, хотя и столь же бесперспективное здесь, как и плодововодство, дело — выращивание особых сортов гречихи и пшеницы, которые бы «наперекор» стихии созревали за короткий здешний вегетационный период между последним весенним и первым осенним морозами, выстаивали в знобящие плотные туманы...

Если яблони не плодоносили и никак не росли, в лучшем

случае давали по горстке дрянных плодов величиной с грецкий орех, к тому же больных, тем ставя Котика, как ласково звали Бастрикова подчиненные и собутыльники, в положение почти безвыходное, когда требовались образцы даров северной Помоны на выставку достижений в Москву, то хозяйке полеводства все же удавалось выбрать на своих участках сноп-другой достаточно длинных стеблей пшеницы. Они и свидетельствовали на далеких столичных стендах успешное и победоносное продвижение сталинского земледелия за Полярный Круг!

Преступность всей затеи заключалась в том, что эти шарлатанские эксперименты внедрялись в практику на ярцевских полях. И в колхозе не созревала пшеница, гречиха даже не прорастала, под снег уходили борозды с карликовыми корнеплодами; на покосах курились зароды сопревшего сена. Задерганные мужики не знали, за что браться, не справлялись со взваливаемыми на них работами. То поступало срочное, как боевой приказ, распоряжение ввести куроводство или, наоборот, ликвидировать птицеферму, чтобы срочно переключиться на тонкорунное овцеводство; телеграф приносил колхозу приказ немедленно — со дня на день — обзавестись пасекой; перепахать клевера, чтобы засеять поле медоносными травами... Охотничать и рыбачить этим прирожденным таежникам, готовым все отдать, лишь бы дали побелковать в сезон и поневодить на реке, запрещалось — и очень строго,— чтобы они не отвлекались от полевых работ. А на трудодни колхозникам начисляли в иной год по пятнадцати граммов зерна, причем выдавали им из того, что оставалось в тощих колхозных закромах после выполнения «первой заповеди» — сдачи хлеба государству: то были чаще всего сметки — охоботья, куриный корм низкого качества...

Помню я и корреспонденции, печатавшиеся в те годы в краевых газетах и частенько воспроизводившиеся в центральных. В них на все лады воспевались успехи приполярных хлеборобов. Один такой корреспондент, некто Казимир Лисовский, красноярский борзописец и пиит, расписывал свои впечатления от бастриковских яблоневых садов, «шелестящих листвой на ветру». Они явно не предназначались для жителей Ярцева, хотя — кого в те годы не убеждали в чем угодно газетные безапелляционные строки! Читая оды Лисовского, я имел перед глазами хилых карликовых питомцев Бастрикова, которым не помогали никакие укутывания и удобрения: они редко выживали в грунте — большинство погибало в ближайший год после пересадки из теплицы.

Все это смахивает на анекдот в стиле Салтыкова-Щедрина, на гигантский розыгрыш, над чем бы посмеяться, если бы жертвой ученых экспериментаторов — благоденствующих и процветающих,— каких развелось в сталинское время множество, готовых подтасовать, надуть, угробить уйму средств, если бы, повторяю, жертвой этих бесчестных очковтирателей не стало обширное село, жители которого расплачивались за эти авантюрные затеи.

* * *

Начало шестидесятых годов. Я снова в Ярцеве, но уже по своей воле: приехал по писательской командировке.

Нескончаемые боры на Сыму — впадающем неподалеку от Ярцева могучем притоке Енисея — тянутся по обоим берегам реки. За ними — обширные болота. Они прорезаны речушками и ручейками, потаенными, холодными, наполненными темной торфяной водой. Это лучшие места для промышленника: глухарь с рябчиком держатся здесь — пойменная чаща кормит и прячет. На угоре, по кромке этой поймы, можно всегда набрести на следы расчищенных некогда точков и остатки ловушек давно заброшенного охотничьего путика.

Промышляя по таким речкам, случается наткнуться на старые сечи с редкими дотлевающими пнями. На оголенных площадях — молодые сосняки и отдельные, неведомо как устоявшие столетние великаны. И как-то я набрел на остатки лежневки: вдоль зарастающей, еле приметной просеки догнивали шпалы. В иных еще торчали нагели, какими пришпиливались к ним лежни. Я знал, что заготовки здесь вел Сиблон — Сибирские лагеря особого назначения,— как знал и то, что вывозили бревна по этой лежневке заключенные — чаще на себе, чем на лошадях. Где-нибудь неподалеку должен был находиться лагпункт, какие Сиблон основывал в тридцатые годы везде, где росли сосны и был выход к сплавным рекам. А росли тогда сосны повсюду щедро...

Страшное это слово «лагпункт», особенно если это лагпункт лесной, затерянный в тайге, в те годы не только не обжитой, но большей частью и нехоженой. Лагпункт, где, по сложившейся в лагере поговорке, был «один закон — тайга и один прокурор — медведь».

Вот оно — старое пепелище... Расчистка с оплывшими ямами, валяющимися бревнами, редкими кирпичами; ограничивает площадку с одной стороны невысокий обрывчик над

болотистой поймой быстрой речки с глубокими омутами. Сохранилась выемка — съезд, по которому возили воду, носили в ведрах. Внизу, у самой речки, истлевшие, вросшие в дерн бревна: это, вероятно, нижние венцы прачечной или бани.

Главные строения были наверху — я без труда обнаруживаю их следы. Это прежде всего тянущиеся параллельно на небольшом расстоянии друг от друга ямы, похожие на осыпавшиеся парники. Из песка торчат редкие концы жердей, кое-где покосившиеся стояки — это остатки развалившихся землянок. Если раскопать, там окажется множество тонких неокоренных жердей, лежащих скорее всего в два слоя: ими выстилались двухъярусные нары, тянувшиеся во всю длину землянки, по обе стороны среднего прохода. Ими же обрешечивались стропила. Жерди были самым ходовым материалом для жилья на лесных лагпунктах.

От зоны остались обрывки колючей проволоки и прясла повалившихся палей: если наступить, они рассыпаются в прах — от них сохранилась одна кора. Когда стояла зона, заключенные не смели к ней приблизиться — часовые стреляли без предупреждения.

Вот остатки кухни — битые кирпичи, обломок чугунной плиты и заржавленный, весь в дырах противень: на таких воры-повара жарили премиальные пирожки, достававшиеся более всего прожорливым нарядчикам и бригадирам; не брезгали ими и вохровцы.

Домик начальника, кордегардия, клуб для вольняшек и казарма находились в стороне, вне зоны: их рубили из бревен, добротно, и скорее всего разобрали и увезли. Не раз приходилось мне мыть полы в таких помещениях, подносить дрова и воду, и я хорошо знаю, как все тут выглядело снаружи и внутри, пусть никогда в этом лагере не был. Все строилось по стандарту и разряду, повышавшимся с увеличением количества зэков: у кого больше «душ», тот и жил просторнее и удобнее. Поэтому я не только могу определить, был ли у этого хозяина отдельный дом в две или четыре комнаты, полагались ли ему ванна и теплый сортир, но даже обрисовать здешних вольняшек — начальника, его помощников, охранников: надо только прикинуть, сколько могло содержаться з/к з/к на этом лагпункте. Но здесь и на любом другом, они всюду были скроены на один образец, знали один символ веры: выбивать из отданной под их начало рабсилы установленное количество кубиков древесины, и сколько удастся — сверх того. Для этого им была предоставлена полная, бесконтрольная власть над зэка-

ми. На лесопункты назначались начальниками преимущественно солдафоны и пришибеевы.

В иных был перенят из Колымских лагерей закон, каравший смертью систематическое невыполнение нормы, приравниваемое к контрреволюционному саботажу. Ввели и соответствующую процедуру — куцую и жуткую. Не справлявшегося с заданием зэка отделяли от бригады и заставляли работать в одиночку Сделанное им за день отдельно замерялось бригадиром. Проверяемый работяга возвращался в землянку, где отдавался неизбывным заботам своего состояния — раздобывал махорку, чинил развалившуюся обувь, канючил освобождение у неумолимого фельдшера... А невдалеке, за зоной, начальник накладывал бестрепетной рукой резолюцию на малограмотном рапорте бригадира. Если норма оказывалась повторно не выполненной на сколько-то процентов — менее чем на три четверти,— беднягу в одну из ближайших ночей выводили за зону в тайгу... Товарищи его никогда больше не видели. Пропадал он и для родных — сгинул человек в тайге, и вся недолга! Эти расправы заставляли вкладывать в работу последние силы.

А вот оплывшие, слегка заросшие холмики, в которых нетрудно узнать могилы. Ямы рыли мелкие, раздетые трупы слегка присыпали песком, так что, если копнуть, непременно обнаружатся побелевшие кости... Тут сыны украинских сел и алтайских предгорий, выходцы с Волги и Кубани, жители Прибалтики и Крыма, но более всего российских мужичков, легших здесь во славу коллективизации... Что злодейский синодик Ивана Грозного, его «массовые» казни, расправы с новгородцами, о которых мы узнавали из учебников истории, ужаснувших на всю жизнь! Имена сгинувших и замученных на лесных лагпунктах, разбросанных на наших бескрайних просторах, не припомнит ни один палач!

Я сижу на бревнах, скрепленных скобами и костылями. Это догнивающие остатки поваленной сторожевой вышки. С силой оживают давние воспоминания. О том, как приходилось жить в таких зонах, выполняя непосильную работу, вшивея и слабея, перенося лютый холод, летом — гнус и постоянно — недоедание. И особенно остро воскресло, точно я снова лагерный лесоруб, чувство подавленности, зависимости от злой или доброй воли начальника, расположения духа охранников, от наговоров, от каждого распоясавшегося насильника...

Очнулся я от лая моей собаки, бросившейся навстречу человеку, показавшемуся за соснами. Это знакомый охотник из кержацкой деревни на Колчиме, глухом притоке Сыма. Едва ли не все жители ее ушли в тайные лесные укрытия сразу после поражения белых, из страха перед властями, преследующими веру. Так образовались в наше время скиты, еще не нашедшие своего Мельникова-Печерского. Век их был, впрочем, недолог. Нет более лесных дебрей, над которыми бы не летали самолеты: по дыму, тоненькой струйкой поднимающемуся над лесным пологом, летчики засекают потаенное жилье, а наведенная на их след власть спешит обезвредить отшельников. При Сталине выловленных скитников карали сурово, главарей расстреливали; после него — лишь сселяли и объявляли неисправными налогоплательщиками.

Но мой охотник — отщепенец, давно расставшийся с кержацкими предрассудками: нет для него ни Христа, ни Антихриста. Он сделался сельским активистом и кооператором. Зимовье моего знакомца находилось недалеко, и я охотно принял его приглашение отправиться к нему почаевничать и отдохнуть...

* * *

Ранний час мартовского утра — морозного и темного. Зима еще в полной силе. Помещение, где идет разнарядка, освещено керосиновой лампой. Нас, рабочих опытной сельхозстанции,— десятка два. Мы сидим на узких лавках, молчаливые и нахохленные: еще не прошла сонливость, впереди нелегкий день на морозе, да и надоело до смерти батрачить за гроши в этом опостылевшем за долгие годы ссылки негостеприимном селе. И невеселые, безотрадные шевелятся у каждого мысли. Выйдя по окончании промыслового сезона из тайги, я нанимаюсь сюда на пустые зимние месяцы. Никак не удается заработать впрок, про запас, чтобы сколько-то прожить вольно, отдохнуть. Ведь я все-таки не потомственный таежник, и как ни влегаю в промысловую лямку, не мог сравняться с местными охотниками: нет их выносливости и сноровки вековых навыков, и мне, кроме того, не очень везет — я не из удачливых промышленников!

Возле ведущего разнарядку старшего рабочего, верзилы латыша с похмельным лицом, в мохнатой рысьей шапке — очень славного и доброго малого,— сидит, чуть обиженно и брезгливо поджимая губы, супруга директора, давно увядшая особа, придирчивая и ворчливая. Ей частенько приходится

заменять супруга, доставляющего своей половине немало хлопот и огорчений развеселыми гулянками и приверженностью к женскому полу. Морщится же она потому, что, будучи научным работником и незапятнанным членом партии, почитает общение со ссыльными для себя отяготительным. Она тут чувствует себя в дурном обществе, способном набросить тень на ее безупречную репутацию. Для нее ссыльные — ходячая скверна.

Я знаю заранее, что меня опять пошлют возить сено или, того хуже, вскрывать силосную яму, где не заработаешь и на хлеб: надо стать участником попоек директора и его клевретов, чтобы получить хорошо оплачиваемый наряд, уметь подслужиться. И я сижу безучастно, ожидая, когда выкликнут мое имя. И вдруг встрепенулся: что, что такое сообщает почтенная директорша? Она, надо сказать, считает своим партийным долгом изредка проводить с нами политбеседы и пересказывать переданные по радио новости этим косным, низвергнутым советским обществом отщепенцам.

— Правительство сочло нужным опубликовать сообщение о состоянии здоровья товарища Сталина...

Голос Бастриковой, прилично случаю, выдержан в сугубо строгом, даже суровом регистре, говорящем о тревоге и сердечном сочувствии. Меня как током подбросило. Я живо вскинул голову, быстро всех оглядел — не ослышался ли? Вот бы Бог дал... Тому, чье имя избегают произносить в разговорах между собой, чтобы не накликать беды, как остерегались старые люди упоминать сатану, уже за семьдесят. Или вылечат? Медики при нем дрожат за свою жизнь — любой промах, недогляд... Однако надо скорее потупиться, чтобы не встретиться ни с кем взглядом, а то еще прочтут что-нибудь в глазах!

Сталин — злой гений России, растливший сознание народа, присвоивший себе его славу и подвиг в войну, похоронивший — навеки! — надежды на духовное возрождение. Личность этого невзрачного злопамятного человека была в те времена настолько раздута, что застила истинные причины и истоки диктатуры: тогда не было очевидным, что Сталин лишь продолжил политику и приемы, перенял принципы (вернее, беспринципность!). Он лишь недрогнувшей рукой расширил и углубил кровавые методы, разработанные до него для удержания власти.

Я запряг лошадь и поехал в луга: выдирал вилами пласты смерзшегося сена из зарода, увязывал воз, отвозил на скотный, снова отправлялся за сеном, а в голове весь день бродили

мысли и шевелились надежды, перемешанные с опасениями: а вдруг выживет?

...Нет, не выжил! О радость и торжество! Наконец-то рассеется долгая ночь над Россией. Только — Боже оборони! — обнаружить свои чувства: кто знает, как еще обернется? Вот директорша с рыданиями сообщила о невозвратимой утрате, в газетах стенания и плач осиротевших учеников и соратников... Дети в школах, доведенные до истерики, горько рыдают — помер Отец родной! Однако все это — ложь и притворство одних, инерция многолетнего вдалбливания в сознание представления об Отце, Вожде, Великом, Корифее, Учителе, Единственном, Справедливом — других... Лицемерие вошло в плоть и кровь, сразу не отвыкнуть. Но никаким казенным проявлениям скорби не подавить возникшее чувство освобождения, появившейся отдушины — не повеет ли в нее свежим, вольным воздухом! ВОЛЬНЫМ — о, Боже! Надежды и предчувствия преждевременные, скажем мы по прошествии трех десятилетий, но нельзя было все же не видеть, что народ изжил нечто страшное, стоившее ему великой крови, неисчислимых страданий, приучившее по-рабьи ползать на брюхе и восхвалять попирающий сапог — невежественный и безжалостный. Но — воистину, «тираны приходят и уходят — народ остается». Изрекший сие великий вождь был начисто лишен чувства юмора. И кто, подбирая галерею тиранов, не поставит рядом Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина!

Ссыльные, встречаясь, не смеют высказывать свои надежды, но уже не таят повеселевшего взгляда. Трижды ура! Лихолетие, при всех обстоятельствах, позади, пришла для народа весна, он неминуемо справится, оживет, воспрянет... Крепки были тогда у нас эти надежды, и каждый про себя уже видел, как один за другим распахиваются ставни, не пропускавшие в Россию свет, правду, справедливость, добро... Редки, очень редки были прозорливцы, ожидавшие, что возбужденные смертью грузина надежды не осуществятся так же, как бесплодны были ожидания, порожденные несколько лет назад Победой!

Вскоре в небе черкнула первая ласточка — радио сообщило об освобождении врачей-евреев. Казалось неизбежным, что оговорившие их провокаторы будут тут же разоблачены и наказаны. А чем я хуже этих эскулапов? Разберутся и со мной, и со всей нашей тьмой репрессированных — придет время...

И оно действительно наступает, но не для меня. Вот приунывший комендант вызывает Николаева и объявляет ему о

прекращении дела, вручает свидетельство об освобождении из ссылки и литер для бесплатного проезда к избранному месту жительства — в Ленинград. Становится модным слово «реабилитация». Ссыльные, один за другим, покидают село. Ходит слух, что возвращенным ссыльным предоставляют квартиры и работу, выплачивают компенсацию... Любопытно, какие установлены расценки на годы, проведенные за решеткой и колючей проволокой?..

Моя очередь наступила лишь через два года — в апреле 1955-го. Мне выдали справку о реабилитации по последнему делу, свидетельство, литер. Я не стал дожидаться открытия навигации на Енисее — до Красноярска долетел на самолете. За четверть века до того, на Соловках, я переправлялся на материк на лодке. Вот он — прогресс, завоевание века.

Впрочем, я могу подводить и другие итоги. За плечами почти двадцать восемь лет тюрем, лагерей, ссылок, отсиженных ни за что. У меня в архиве пять уже ветхих бумажонок со штампами и выцветшими печатями. Я их собрал ценой двухлетних хлопот в Москве. Это по-разному сформулированные справки трибуналов, судов и «особых совещаний» о прекращении дела по обвинению имярек в том-то, по статье такой-то, ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Я собирал их не ради коллекционирования, а для представления в жилищное управление Мосисполкома: чтобы получить квартиру и быть прописанным, надо было привести доказательства, что длительное отсутствие из Москвы было вызвано не вольным бродяжничеством по свету, а занявшими весь период репрессиями.

Но это — последующее. А тогда Ярцево покидал пятидесятипятилетний, порядочно испытанный человек с сильно поседевшей бородой, без чрезмерных надежд или иллюзий, но воодушевленный приключившейся переменой и решивший использовать ее в меру способностей и оставшихся сил. Как ни легковесны и незначительны были мои прежние пробы пера, я твердо настроился более не тратить времени ни на какие занятия и профессии, кроме как с ним в руке. Я надеялся, что у меня найдется о чем писать.

Настроение было приподнятым, весенним — в небе стояло высокое апрельское солнце, сияли снега, так что — прочь опасения и малодушие! И все же подспудно, в глубоких закоулках сознания шевелились сомнения, охлаждавшие зароившиеся надежды... Как-никак со смерти Сталина истекло два года, а что-то непохоже, чтобы у нас взялись, как в Германии, выкорчевывать своих эсэсовцев и их патронов... Нюрнберг-

ским процессом над преступниками «против человечества» и не пахнет... И у власти остались те же «сподвижники». У них не только рыльце в пуху, а и порядочно крови на руках. Подлинное разоблачение тридцатилетнего режима неминуемо ниспровергнет и их. А раз сталинскую занозу не выдергивают из больного тела нации, страна не избавится от сталинщины. Иными словами, все может повториться, вернуться на круги своя...

Но именно тогда, в весенний день 1955 года, я перевернул страницу своей жизни, и передо мной раскрылась новая, чистая. Что-то на ней напишется?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло более двадцати лет с того дня, как я вылетел из Ярцева на юг, потом поездом поехал на запад и оказался в Москве, признавшей за мной право снова тут жить.

В Москве ни враждебной, ни дружественной; во всяком случае, на время упрятавшей чекистские свои когти, недоверие и подозрительность и стелившей на первых порах мягко;

обновляющей, но не укрепляющей и тем более не углубляющей прежние связи, родственные в том числе;

с некоторым любопытством приглядывающейся к человеку «с того света» и даже готовой шепотом назвать его декабристом;

поощряющей оптимизм;

настойчиво рекомендующей не оглядываться на прошлое и предать его забвению, все упования возлагать на будущее;

снисходительно, как чудачество, принявшей мой демонстративно обставленный отказ от грошовой подачки «реабилитированному»;

предоставившей мне жить и устраиваться как мне заблагорассудится;

словом — в Москве, в чем-то обнадеживавшей и во многом разочаровавшей.

Рассказ об этих годах потребовал бы отдельной книги. Но мною — увы! — достигнут возраст, уже не располагающий строить планы на будущее и в него заглядывать; я лишь очень условно, как бы платонически, рисую себе работу над главами повествования о вполне мирных днях столичного жителя, прибившегося к одной из наиболее привилегированных прослоек советского общества.

Принадлежность к корпорации советских писателей не служит мерилом литературной одаренности, но дает представление об общественном положении.

О том, как преуспеть на литературном поприще в Советском Союзе, заслужить пожизненное причисление к классикам и, наоборот, при истинном таланте не удостоиться признания, можно бы, разумеется, рассказать немало любопытного и поучительного, но — не скороговоркою и не походя, в заключительных страницах воспоминаний о подытоженном периоде жизни. Мне хочется их использовать для нескольких замечаний и небольшого комментария «от автора».

Первое время по возвращении я налег на переводы, писал рассказы и очерки в охотничьи журналы. И приняли меня в Союз писателей в 1957 году по рекомендации известной переводчицы Н. И. Немчиновой, широко и на разные лады прославившегося С. В. Михалкова, чьи сказки я переводил на французский язык, и благоприятствующего людям, принадлежащим кругу его собственной родни, и охотничьего писателя В. В. Архангельского, памяти которого я навсегда признателен. Еще в бытность мою в Ярцеве он, подвергая себя серьезному риску, опубликовал написанную мною в Калуге под псевдонимом книгу и позаботился перевести в ссылку гонорар. На такое в то время могли отважиться немногие!

В последующие годы я выпустил несколько книг, но завоевал себе «место под солнцем» не ими, а своим участием в движении в защиту природы, кстати, лишь лицемерно поощряемом властью, поскольку государственная экономическая политика внутри страны зиждется на хищническом использовании природных ресурсов и подлинное их сбережение идет наперекор привычной близорукой эксплуатации, отражающей психологию временщиков «после нас хоть потоп». Принципиальная масштабная критика не допускается, цензура бдительно следит, чтобы говорилось лишь о частных недочетах и правда о подлинном уничтожении природы не просочилась.

Все мое прошлое подготовило меня к вступлению в ряды защитников природы: юность, связанная с деревней, охота и — крепче всего — годы, научившие видеть в окружающем мире живой природы утешение и прибежище, нечто, не причастное человеческой скверне. К тому же на Севере и в Сибири я насмотрелся, как безоглядно зорят тайгу, гноят и топят в реках бестолково заготовленную древесину, и за природу, особенно

леса, заступался горячо, от всего сердца обличал и критиковал в зацензуренной печати невежественных и беспечных хозяйственников — рангом не выше стрелочников, само собой,— и со временем удостоился некоего признания. В глазах руководителей Союза писателей я стал присяжным защитником природы и в таком качестве бывал участником всевозможных конференций, «круглых столов» и обсуждений... Словом, тех бесчисленных говорилен, какими в Советском государстве маскируется совершенное бессилие общественного мнения и инициативы. И кстати, накопив опыт и приглядевшись, я вышел из общества Охраны природы, включившего меня в свой центральный совет. Отстранился и от участия в работе Общества охраны памятников истории и культуры, в организации и первых шагах которого деятельно участвовал. Истинное назначение этих организаций — быть ширмами, отгораживающими власть от критики и нареканий — они переадресуются обществам. У них нет реальных полномочий и прав, поэтому они не обладают никаким авторитетом в глазах хозяйственников и градостроителей. Если удается изредка в Советском Союзе отстоять памятник, добиться сохранения природного урочища, то в подавляющем большинстве случаев это результат усилий отдельных лиц, использующих личные связи и удачно выступивших в печати. Заключу это отступление справкой о том, что власть радеет лишь о «потемкинских деревнях» — туристских международных маршрутах, на которые проезжие могут свидетельствовать великолепное состояние памятников архитектуры и разнести по всему миру славу правителей, бережно реставрирующих старинные храмы.

Шли обеспеченные, не ведающие тревожных звонков годы: закатные по возрасту, облитые утренними лучами на литературной стезе. По мере того, как упрочивалось мое положение и становилось устойчивее благоденствие, все громче и требовательнее звучал голос совести, побуждавший рассказать о прошлом. И чем очевиднее становилось, что в арсенале власти все те же методы управления, что и при Сталине, что ни о какой либерализации режима, ни о каком притоке свежего воздуха в пригнетенной нашей действительности мечтать нельзя, что никакого отречения — отмежевания от прошлого не произойдет, что пришедшие на смену правители ввек не откажутся затыкать рты, подавлять и оглушать дезинформацией и лживой демагогией, тем сильнее становилась потребность поведать правду, вскрыть корни, протестовать против бесчестного ее замалчивания. Если короткий период хрущевской «оттепели» и навеял зыбкие

иллюзии, их в прах развеяли последующие события — гонение на Дудинцева, расправа с Пастернаком, волчье-танковый оскал за рубежом.

Становилось невыносимым таить про себя свидетельства уничтожения русского крестьянства, молчать о гибели бессчетных невинных жертв. Пока, убедившись в тщете надежд опубликовать и клочки куцей правды о пережитом, не пришел к заключению о необходимости писать в обход советской цензуры. И писать, как все было, отказавшись раз и навсегда от всяких вариантов с полуправдами, намеками и недоговоренностями, какие — и довольно упрямо — я составлял и относил на суд редакторов журналов и издательств.

Помню день, когда, окрыленный публикацией «Ивана Денисовича», положил на стол Твардовскому свою повесть «Под конем».

— Ну вот,— сказал, прочтя рукопись, Александр Трифонович,— закончу публикацию Солженицына, напечатаю и вас. Только не сразу, а то обвинят в направлении...

Но оттепель прекратилась раньше, чем ожидал редактор «Нового мира». Он, однако, оставался оптимистом и, возвращая рукопись, обнадежил меня:

— Видите, я надписал на папке «до востребования»: мы к вашей повести вернемся.

После этого я ее не единожды переделывал, изымая оттуда один острый эпизод за другим, менял название, пока не удостоверился окончательно, что никакие лагерные воспоминания напечатаны не будут, если не говорить о верноподданной стряпне Дьяковых, Алдан-Семеновых и прочих ортодоксов. Кремлевские архонты дали команду считать выдумками и россказнями толки о лагерях, раскулачивании, бессудных казнях, воздвигнутых на костях «стройках коммунизма» — упоминание о них приравнивалось к клевете и враждебной пропаганде.

Под осужденным культом личности следовало понимать исключительно нарушение внутрипартийной демократии... Словно она когда-нибудь существовала!

Но должно было пройти еще какое-то время, чтобы приступить к работе. Понадобилось до тошноты объесться хвастливой ложью бездарных лидеров, еще и еще раз убедиться в беспочвенности надежд на их способность наладить в стране достойную жизнь, хозяйство, торговлю, производство, остановить бесшабашное разбазаривание природных богатств России; нужно было понять, что мелочная придирчивая опека, вмешательство в частную жизнь, грубое подавление свободы

мнения — продолжались; наконец удостовериться, что во главе страны были хоть и одряхлевшие и постершие клыки, но опасные своей приверженностью методам подавления и устрашения, знающие по-прежнему только тащить и не пущать» доктринеры, ничему не научившиеся, глухие к поступи времени, питающие сектантское предубеждение против вольной науки, знаний, истинной культуры.

Партийно-аппаратная узость не позволяла им критически осмыслить опыт истекших с октябрьской революции десятилетий и, признав несостоятельность проделанных экспериментов, пойти на решительные реформы. Между тем, от того, произойдут ли они или нет, зависит не более и не менее, как будущность нации. Судьба страны, называвшейся некогда Россией.

Тут я имею в виду нечто более существенное, чем нетерпимость власти к критике, неумелое хозяйничанье, груз двойной бюрократии — административной и партийной, — буквально парализовавшей всякую здоровую честную инициативу. Все это хоть и вредило стране, задерживало ее развитие, обрекало население на трудности и скудный обиход, однако могло быть в короткие сроки изжито; достаточно вспомнить, как замирающая от голода, холода и паралича промышленности Россия двадцатых годов воспрянула, едва власть отменила «военный коммунизм», вернулась к практике частной торговли, раскрепостила мужиков и разрешила ограниченное частное предпринимательство, чтобы уверовать в силу и возможности огромной страны. Подорванное хозяйство еще может быть восстановлено разумными мерами. Неизмеримо страшнее выглядит разрушенное моральное здоровье нации, обесцененные нравственные критерии. Длившаяся десятилетиями пропаганда, направленная на искоренение принципов и норм, основанных на совести, христианских устоях, не могла не разрушить в народе самое понятие добра и зла. Проповедь примата материальных ценностей привела к отрицанию духовных и пренебрежению ими. Отсюда — неизбежное одичание, бездуховность, утверждение вседозволенности, превращение людей в эгоистических, утративших совестливость, неразборчивых в средствах искателей легкой жизни, не стесненных этическими и моральными нормами. Прорастало карамазовское «все дозволено», практически вылившееся в готовность не стеснять себя ни в чем, сообразовывая поступки и поведение лишь с одним соображением: «Не попадаться!»

Побуждаемые — и в какой-то мере оправдываемые — низкой оплатой труда, рабочие воруют и тащат из цехов что попало (привратник за мзду отведет глаза!), торговцы обвешивают и обманывают напропалую, хозяйственники и бухгалтеры монтируют головоломные мошеннические комбинации, начальники берут взятки, безнаказанно грабят казну; ржа коррупции разъедает вузы и больницы, все ступени служебной зависимости, любые общественные организации.

Пьянство скрашивает невзгоды жизни, глушит критику, ослабляет людей, ими становится легче управлять, и поэтому власть спаивает народ. Он пьет безобразно, без просыпа. С пьянством на Руси боролись еще в средние века: церковь, лучшие люди, общественное мнение. Патриарх Никон заставил царя Алексея Михайловича закрыть в Москве кабаки; земство боролось с откупами и «монополькой»; существовали общества трезвости. С 1914 года был введен по всей империи сухой закон. И все-таки на самодержавии так и удержался ярлык «царь спаивает народ». В наше время спаивание проходило гладко...

...Право, красные каблуки дворян в королевской Франции не более вызывающе подчеркивали избранность сословия, чем открыто выставляемые роскошь и довольство, сверхобеспеченная жизнь советской элиты. Спекуляция на ярлыке «слуги народа» никого не вводит в заблуждение и тем более не утешает! Слишком резка грань между обслуживаемой, ублажаемой и охраняемой за счет государства элитой и его «хозяевами» — простыми смертными, чей удел — давиться в очередях и автобусах, неизбывные нехватки, стесненность; мелочная регламентация жизни, отдыха, всякого шага, общая бесперспективность существования. Разглагольствования по поводу забот о народном благе не только никого не обманывают, но и вытравили в людях последние крупицы веры в цели и идеалы, о которых еще продолжают, по усвоенной привычке, скороговоркой бормотать в печати и с трибун. Блага и привилегии — для правителей и их холопствующего окружения; серые будни и плохо оплачиваемый труд — для остальных. Для поощрения и в утешение — щедрая раздача рассчитанных на тщеславие побрякушек: девальвированных орденов (расплодились троекратные Герои Труда!), почетных грамот и значков; портретов на стендах и в газетах...

И если присовокупить ко всему этому шесть десятилетий запрета на собственное мнение, лишение права высказывания,

отучившие людей мыслить и поощрявшие лакейскую психологию, то надо еще подивиться вскормленной вековыми традициями нравственной силе русского народа, не давшей ему одичать окончательно, встать на четвереньки и благодарно захрюкать у корыта со скудным кормом, возле которого его обрекли топтаться...

Словом, нужно мыслящему человеку пожить в то время, чтобы понять, какой силы протест исподволь копился в душах против порядков, заставляющих немо и бессильно мириться с ложью и лицемерием, безнаказанно расцветающих в обстановке, не допускающей, чтобы прозвучало правдивое слово.

Я не сгустил краски. Новая Россия унаследовала большинство язв и пороков старой, не устранив и основного нашего, векового зла: не дали русскому человеку распрямиться во весь рост, не внушили ему чувство собственного достоинства, не просветили его душу и разум, а преследованиями еще усилили чувство приниженности, психологию «мы люди маленькие, негордые», заставили еще раболепнее тянуться перед начальством, славословить и обожать «вождей». И убили в нем веру в возможность иной доли.

Нам опротивело настоящее, мы не надеемся, чтобы жизнь можно было направить по доброму пути: некому на него указать — накоплен только отрицательный опыт, знаем лишь, что плохо. Все оболгано, искажено: религия, вера, терпимость, демократия, традиции, духовные идеалы и искания, свобода, братство...

Что же нужно России? Нелегко, а может, и вовсе невозможно кратко сформулировать ответ. Должны истечь сроки. Должна когда-нибудь оправдаться всеобщая уверенность, что дальше «так продолжаться не может». В какой-то мере Идола подтачивает критика — камерная, глухая, подпольная, но встречающая понимание и сочувствие. И все же из всего, что с нами произошло, мы извлекли только знание гибельных путей, того, что заводит в тупик, закабаляет человека, суживает его горизонты до миски с хлёбовом. А вот как дать ему понять, что у него могут отрасти крылья? Что есть мир высоких духовных радостей, перед которыми меркнут тусклые и плоские идеалы материалистов? Воздвигнуть его на подлинное братолюбие? Мы этого не знаем.

И может быть, лучшим вкладом в эти поиски путей для тех, кто не знает, куда идти, является правдивый рассказ о прошлом, отдельными крупицами которого воспользуют-

ся — кто знает? — те, кому будет открыто, как вывести на путь спасения...

Этот вывод повлек и соответствующее направление деятельности. Я не стал искать общения с людьми созвучных настроений, не принимал участия ни в каких коллективных обращениях-протестах (под каждым из которых неизбежно стоит хоть одна подпись провокатора!), не выходил с плакатами на улицу, считая, что мое назначение — написать воспоминания. Как-то, правда, присоединился к общему хору: послал руководству Союза писателей телеграмму, протестуя против гнусной расправы с Солженицыным. Но — Боже мой! — как подтвердила реакция писательских боссов уверенность в совершенной бесполезности подобных акций! И еще, чтобы посвятить себя задуманному делу, требовалось одно условие. Я был не один — и приходилось ставить под удар едва приобретенный покой и благополучие. В памяти семьи были свежи пройденные мытарства, страхи, нужда. Пуганая ворона куста боится: даже в публицистических моих подцензурных выступлениях в защиту Байкала семье чудились источники возможных осложнений. Да и прочно усвоено в Советском Союзе, что один последовательный конформизм — залог бестревожного существования, а при везении — и преуспеяния. Словом, пойди я по стопам Солженицына, мне нельзя было рассчитывать на сочувствие и поддержку близких.

В начале шестидесятых годов круто изменилась моя жизнь: окончательно распалась подточенная длинным разъединением семья. Я волен был поступать по-своему. И тут судьба оказалась пособницей моих планов: послала мне встречу с человеком, не только мне сочувствовавшим, но видевшим в правдивом рассказе о прошлом мой долг и призвание, готовым ради него поступиться личным благополучием и покоем. Естественно, что, поощряемый таким образом, я напрочь отбросил всякие колебания и откладывания.

Случилось так, что молодая женщина сумела внушить шестидесятилетнему, порядочно во всем изверившемуся человеку веру в его возможности, создала условия, позволившие забыть о возрасте и с молодой энергией окунуться в работу. Увидев Маргариту Сергеевну, ставшую моей женой и матерью нашей Ольги, старинный друг семьи Волковых еще по дореволюционному прошлому — умудренная годами Татьяна Ивановна Татаринова (царство ей небесное!) сказала о доставшейся на мою долю «улыбке судьбы». Мне же ви-

дится в этой поздней встрече гораздо больше, чем улыбка, пусть и самая светлая! В ней для меня — проявление благой Силы, воли Промысла, не раз спасавшей и хранившей меня в опасности и давшей на склоне лет познать в полной мере радость и вдохновляющую силу полного взаимопонимания и единодушия с любимым человеком — верным и преданным. То, о чем я писал, сделалось Маргарите Сергеевне столь же дорого, как и мне. Над этими строками кровоточило ее сердце.

Мне, разумеется, трудно судить, в какой мере будут интересны читателю эти воспоминания. Осторожность и опасение кому-либо навредить исключали пробные чтения, советы и консультации: единственным и, бесспорно, пристрастным судьей сочинения была моя жена. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что, отгородившись от внешних влияний, я писал, только как подсказывало собственное чутье, совесть и память, не поддаваясь соблазну драматизировать изложение и прибегать к выигрышным ходам. Плохо же, вероятно, из-за того, что некому ответить на гложущее меня сомнение в очень существенном вопросе: не создал ли я, описывая свою личную судьбу, сложившуюся не по шаблону, а со столькими чудесными избавлениями, счастливыми поворотами в пору величайших тягот и опасностей, впечатления, будто бы и не столь страшна и беспощадна лагерная мясорубка? Не окрашен ли кошмар тех лет розоватыми отсветами субъективных удач? И дело не только в том, что меня на волоске от беды выручали связи брата, счастливые случайности — попросту берег Ангел-хранитель, но и в моей манере писать от первого лица. Я свободнее и обнаженнее рассказал бы о пережитом через третье лицо, которому бы приписал свои приключения, увиденные мною как бы со стороны. Без того сковывающего чувства, для которого я нахожу только французское слово pudeur — позволяющего лишь до известного предела обнажить душу и делиться интимным.

Но все же следует рискнуть отдать свои воспоминания на суд читателей, потому что они в первую очередь выполнение долга перед памятью бесчисленных тысяч замученных русских людей, никогда не возвратившихся из лагерей, откуда меня вызволила рука Провидения. И если хоть у одного читателя содрогнется сердце при мысли о крестном пути русского народа, особенно крестьянства, о проделанном над ним жестоком и бессмысленном эксперименте,— это будет означать, что и мною уложен кирпич в основание памятника его страданиям.

Упоминая о подвиге и жертвах народа во вторую мировую войну, любят повторять: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Я хочу повторить эти слова в ином толковании. Для блага возрождения России необходимо, чтобы они были произнесены вслух в отношении жертв на Соловках и Колыме, в Ухте и Тайшете — во всех бесчисленных островах архипелага ГУЛАГ, которыми душили страну.

Москва, 1977—1979 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Олег Васильевич Волков

ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ

Редактор Н. Н. Нетесина
Художественный редактор Л. Е. Безрученков
Технический редактор Е. В. Кузьмина
Корректор Т. Б. Лысенко

ИБ № 6435
Сдано в набор 27.08.91. Подп. в печать 07.04.92. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1 (на прикл. офс.). Гарнитура обыкновенная нован. Печать высокан. Усл. печ. л. 22,79 (в т. ч. прикл. 0,11). Усл. кр.-отт. 23,21. Уч.-изд. л. 25,53 (в т. ч. прикл. 0,03). Тираж 75 000 экз. Заказ 2239. С 36. Изд. инд. ЛХ-431.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советскан Россин» Министерства печати и информации РФ. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации РФ. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевоснна, 25.

